ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

# ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 6—7
ИЮНЬ — ИЮЛЬ 1924

ИЗДАТЕЛЬСТВО „КРАСНАЯ НОВЬ"
ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ ◇ МОСКВА ◇ 1924 г.

Главлит № 23685. Тираж 5.000 экз.

Типография „Красный Пролетарий" Изд-ва „Красная Новь". Пименовская, д. 1/16.

# СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

*А. Деборин.*—Марксизм, Ленин и современная культура . . . . . 5
*И. Луппол.*—Трагедия русского материализма XVIII в. (к 175-летию со дня рождения Радищева) . . . . . 27

*А. Деборин.*—Г. Лукач и его критика марксизма . . . . . 49
*И. Орлов.*—Логика формальная, естественно-научная и диалектика . . . . . 69
*И. Вайнштейн.*—Тектология и тактика . . . . . 90

*А. Максимов.*—К вопросу о диалектике в истории естествознания (окончание) . . . 97
*З. Цейтлин.*—Метод доказательства закона взаимодействия тяжелых и электрических масс Ньютона—Кавендиш—Максвелла сравнительно с методом исследования К. Маркса и Фр. Энгельса . . . . . 122

*Н. Бухарин.*—Империализм и накопление капитала (продолжение) . . . . . 157
*Ф. Михалевский.*—Этюды по теории кредита . . . . . 171
*М. Рубинштейн.*—Остатки капиталистических отношений при пролетарской диктатуре на Западе . . . . . 196

*Л. Троцкий.*—Новое из наследства Маркса и Энгельса . . . . . 212
*М. Абрамович.*—Фр. Энгельс, как военный теоретик . . . . . 217
*Ник. Карев.*—Гильфердинг против социализма . . . . . 234

*Арк. А—н.*—Трудовая школа у Шарля Фурье . . . . . 247

## Библиография.

*К. Малонов.*—Жебелев. Сократ . . . . . 284
*Г. Тымянский.*—Кржижицкий. Развитие нравственности . . . . . 287
*А. Зайцев.*—Н. Бухарин. Атака. Сборник теоретических статей . . . . . 289
*И. Л—л.*—К. Каутский. Марксова теория государства в освещении Кунова . . . . 291
*И. Л.*—Садынский. Социальная жизнь людей . . . . . 293
*И. Орлов.*—Хвольсон. Характеристика развития физики за последние 50 лет . . . . 295
„ Философия науки, ч. I, вып. 2 . . . . . 296
*З. Ц.*—Анри Пуанкаре. Последние мысли . . . . . 298
„ Новые идеи в физике, сборник № 9 . . . . . 300
*И. К—в.*—П. Дашковский. Конспектированный курс политической экономии. Ф. Михалевский. Начальный курс политической экономии . . . . . 304
*И. Капитонов.*—С. Гожанский. Очерки по политической экономии, вып. 1 . . . . . 305
*И. Горшенин.*—Наумов. Введение в изучение экономической науки . . . . . 310

Сообщения и заметки . . . . . 314

# Марксизм, Ленин и современная культура.

I.

Буржуазные критики марксизма часто указывали на то, что у Маркса нет солидных философских трудов, которые дали бы им возможность причислить его к их цеху. Однако, если Маркс не был философом в школьном смысле слова, то кто ныне станет отрицать, что этот гений является величайшим мыслителем, и что он мог совершить переворот в науке именно потому, что пренебрег школьной мудростью и отнесся с нескрываемым презрением к официальным служителям науки. Ни один мыслитель не оказал никогда такого огромного влияния на жизнь подлинных масс, как Маркс, создавший единственное в своем роде научное мировоззрение, пропитанное жизнью и ее кровными проблемами, т.-е. практикой в истинном смысле слова. Десятки миллионов людей проникаются постепенно этим мировоззрением. Это мировоззрение выросло из жизни и ее условий; оно составляет обобщение жизни и гениальный синтез действительных отношений, а не высосано из чистого разума, как это делают все идеалисты. На нашей эпохе лежит печать творческой мысли Маркса, потому что его мысль облечена плотью и кровью самой жизни. И для всякого, кто умеет мыслить, очевидно, что дальнейшая история будет подтверждать правильность его прогноза относительно исторических судеб человечества.

Мы могли бы показать, как некоторые современные патентованные и дипломированные философы под влиянием пережитого кризиса мировой войны и надвигающейся пролетарской революции, особенно в странах побежденных, начинают принимать отдельные положения марксизма, облекая их, разумеется, в соответствующий метафизический костюм. Эти философы неспособны усвоить марксизм потому, что они принадлежат к буржуазии. Но, вместе с тем, их колебания имеют огромное симптоматическое значение: они свидетельствуют о крушении и разложении старого миропонимания. Мировоззрение господствующего в современном обществе класса бессильно. Оно неспособно творить жизнь. Между тем, марксизм, или материализм, представляет собой теорию крушения старого и создания нового общества.

Ленин — самый крупный мыслитель современной эпохи, ибо мыслителем, с нашей точки зрения, является тот, кто в данную

историческую эпоху выражает ее существенные „черты", ее потребности, и кто ведет за собой массы к лучшему будущему, кто развязывает назревшие революционные силы и кто осуществляет ту действительность, которая уже реальна, но которая еще должна быть освобождена от старой оболочки, ее окутывающей и связывающей. Для такой деятельности—а марксизм и является учением действенным—требуется и соответствующая теория. Величайшее в мире освободительное движение угнетенного класса,—говорит Ленин,—самого революционного в истории класса, невозможно без революционной теории. Ее нельзя выдумать, она вырастает из совокупности революционного опыта и революционной мысли всех стран света. Поэтому марксистский материализм, вся марксистская философия есть не что иное, как революционная критика всей совокупности современных общественных отношений.

Если дипломированные философы придут в ужас от такой „профанации" „божественной мудрости", то мы можем указать им на великого Гегеля, который никак не может быть заподозрен в приверженности к материализму, и который, видя во Французской революции величайшее событие мировой истории, величественный восход солнца, восхвалял материалистическую и атеистическую философию XVIII века за ее разрушительную и сокрушительную критику тогдашнего общественного строя и связанной с ним идеологии, ибо идеология, ведь, есть часть—пусть идеологическая—данной действительности.

Что же такое философия (т.-е. вообще теория)? И Гегель дает такой ответ: философия (теория), как наука о действительности, по самому существу своему есть критика существующего; и так как мировой дух (т.-е., по-нашему, прогресс, развитие) никогда не останавливается, а совершает свое победное шествие вперед, то философия, являющаяся отражением в сознании объективной действительности, приходит в противоречие с самой действительностью, которую она должна подвергнуть всесторонней критике, с точки зрения нового принципа или, как выражается Гегель, с точки зрения новой формы жизни духа. Поэтому Гегель, развивая свой взгляд на развитие философии и роль философов, заявляет, что при всяком сдвиге мировой истории присутствовали философы. Они принимали и должны принимать живое и непосредственное участие в разрушении старого порядка и старой идеологии. „Самыми опасными, самыми последовательными и решительными революционерами являются философы", говорит Гегель. Надо сказать, что Гегель до известной степени прав, но—только до известной степени. Когда на историческую арену выступает новый общественный класс, то он выдвигает своих мыслителей, своих теоретиков, которые играют революционную роль в смысле отрицания старой идеологии и отживших общественных отношений. Они выдвигают новые принципы, т.-е. новое мировоззрение, с высоты которой и критикуют данный им мир. Критика эта затрогивает обычно не только общественные отношения, социальный мир, но всю совокупность



явлений. Критические эпохи непосредственно связаны с „переоценкой всех ценностей". Великий мыслитель тем и велик, что он выдвигает новый принцип, новые методы знания, диктуемые развитием общественной жизни. Эти методы и принципы распространяются на всю природу в целом, так как каждый общественный класс имеет тенденцию из своего „принципа" создать целостное мировоззрение. В этом смысле философы являлись часто в истории революционерами. Ни одна революция не совершается без определенной теории и идеологии, в которой идеальным образом отражаются и формулируются отношения действительности. Но было бы, конечно, неправильно утверждать, что философы вообще всегда являются самыми последовательными и решительными революционерами. Ведь, и отмирающие классы выставляют своих философов, т.-е. идеологов, теоретиков, которые цепляются за старое и всячески его оправдывают и обосновывают. Таким образом приходится различать мыслителей отживающего и мыслителей нарождающегося нового мира. Эти последние, несомненно, являются всегда передовыми, ведущими человечество вперед и уж по тому самому революционерами. Их теории насыщены по возможности научным содержанием, ибо они выражают потребности развития производительных сил данной эпохи и соответствуют ступени достигнутых обществом технических и теоретических знаний.

Но если „опасными революционерами" являются иногда философы, то нет сомнения, что настоящими философами, преобразующими мир, а не изобретающими ту или иную систему, являю я великие революционеры. Творчество, т.-е. преобразование мира, и философия, т.-е. все охватывающая теория, находятся во взаимной тесной связи. Великое освободительное движение рабочего класса, как говорит правильно Ленин, невозможно без революционной теории, без революционной философии. Всякая философия нового класса в этом смысле по самому существу своему революционна.

Сова Минервы начинает свой полет в сумерки, говорил Гегель. Когда существующий мир начинает давать трещины, когда на историческом горизонте явственно обозначается закат старого мира, когда действительность обнаруживает с некоторой определенностью свои внутренние противоречия, тогда вылетают мудрые совы и начинают свою разрушительную работу. Бытие предшествует сознанию. Разъедающая критика сознания начинается тогда, когда действительность сама себя уже в значительной степени подвергла „самокритике" в смысле саморазложения. „Философы" приходят слишком поздно, если иметь в виду спасение существующего мира. Но если их приход имеет задачей своей критику и разрушение существующего мира, то они приходят как раз во-время, именно, в сумерки. Приход Маркса означает для капиталистического мира начало его заката, начало его гибели. Мудрая сова в его лице предрекла смерть современному обществу, основанному на рабстве труда, на эксплоатации человека человеком. С тех пор настоящими революционерами

являются лишь пролетарские мыслители, которые действительно присутствуют при великом сдвиге всемирной истории.

Маркс разрешил проблему взаимоотношения теории и практики. В нашу эпоху, в эпоху монополистического капитализма или империализма, Ленин, продолжая традицию марксизма на высшей стадии развития того же капиталистического мира, приближающегося уже к своему закату, вместе с пролетариатом как бы провозгласил, что честь теоретического принципа требует его практического осуществления, как выражается Гегель, ибо в самом теоретическом принципе уже заложено практическое отношение. Теория должна доказать свое призвание к господству над миром тем, что одерживает практическую победу, она должна обнаружить свою истинность, свое „право" на „власть" на практике. Без этого она уподобляется бесплодной смоковнице.

В огне мировой катастрофы буржуазная философия и все ее теории потерпели полное крушение. Наиболее вдумчивые представители буржуазной мысли начинают понимать, что только марксизм (как теория) выдержал великое испытание, что каждый день приносит новые доказательства правильности научных предсказаний Маркса, сделанных 75 лет тому назад. Но, будучи неспособны, вследствие классовой слепоты, признать и принять марксизм, они отмахиваются от него всевозможными заклинаниями.

Великие исторические события захватили буржуазию и ее мыслителей врасплох. Грош цена тем теориям, которые неспособны предвидеть будущие судьбы человечества и тенденции его развития. Буржуазная мысль по самому существу своему должна была потерпеть крах, ибо, во-первых, она пренебрегла историей, во-вторых, она устроилась практически и, стало быть, теоретически в этом мире так, как будто ей предстояла вечная жизнь. На сверхъисторическом фундаменте, на фундаменте вечности она и строила свои философские системы, свое мировоззрение. Она отстаивала неизменность общественных форм и разрабатывала вечные нормы и истины, которых не должно касаться дыхание вечно текучей жизни, дыхание времени.

Некогда буржуазия посадила на трон богиню разума, которая продолжает царствовать и поныне в ее умах. Эта богиня является единственной законодательницей. На нее категория времени, якобы, не распространяется. С тех пор вся почти философия буржуазии строилась на природе отвлеченного разума. Сознание и его вечная, неизменная природа служила главным предметом интереса мыслителей. Само бытие, вся действительность была заключена в границы сознания, как в темницу, откуда не было выхода на вольный воздух бьющей ключом жизни. В своем мышлении, она останавливалась у самого порога действительности и не отваживалась на опасный прыжок в бурные волны жизни. Этот идеализм в мышлении не мешал в то же время буржуазии практически строить жизнь и своей деятельностью подготовить условия своей собственной гибели. Таков внутренний разлад буржуазной культуры.



Философия стала знанием знания. Она занималась преимущественно исследованием природы сознания, логической структурой разума. Это философское направление ориентируется на математические и физические науки. Это течение мысли проникнуто наивной верой, что все проблемы разрешаются посредством безвременной мысли, так как сознание включает в себя бытие. Абсолютная истина есть выражение этого не подверженного времени сознания, в котором заложены незыблемые законы морали, государственной жизни, искусства и проч. Бесплотный Логос витает над землей, он находится в нас самих. Истинное „рассуждение" способно доставить истинное познание о мире. Человек познает мир посредством понятия, посредством чистой мысли. И то, что отлично от мысли или идеи, мир материальный, есть ложь. Все науки, все знания, по этому воззрению, вырастают из логики. Логика возвышается над временным, эмпирическим потоком явлений. Принципы ее суть прочные, вечные сваи, на которых зиждется все здание современной науки, как и реальные формы жизни. В мышлении они ищут и находят не только знание предмета, но и предмет знания. В этом отношении одинаково сходятся марбургская, баденская и геттингенская школы.

В противоположность логистам и абсолютистам, так называемые релятивисты стоят на почве психологизма. Это течение может быть охарактеризовано как мелко-буржуазное направление в философии, что уже правильно было указано Лениным. С точки зрения релятивизма и феноменализма, действительность нам недоступна. Мы скользим по поверхности действительности, как тени, и неспособны проникнуть в ее объективную природу. Вопрос об истинности наших представлений и идей решает не качество логического понятия, как у логистов, а переживание субъекта. Мир сам по себе представляет собой некий первобытный хаос. Только человек организует, так сказать, природу. Релятивизм ориентируется на психологию и биологию. В лице Файгингера современный релятивизм приходит к выводу, что все наше познание лишено объективного содержания. Истина представляет собой, по словам Файгингера, лишь „целесообразное заблуждение". Таким образом фикция, т.-е. ложь, сознательно возводится в истину. Материя, внешний мир, ожесточенная классовая борьба, революционные бури,—все это сплошные фикции. Однако известные фикции, скажем: бог, имеют практическую ценность, в чем и заключается их подлинный смысл.

Оба кратко охарактеризованных направления философской мысли стоят на почве отрицания материального мира, необходимости преодоления материи (материализма) и освобождения от духа „тяжести" объективного мира, как остроумно выражается один писатель по другому поводу. Объекты давят на человека всей своей тяжестью, заставляют с собой считаться, а идеализм, вопреки этому, заявляет, что он несогласен признать за ними никакой реальности, что он отрицает существование каких-либо объективных законов природы и истории.

Достижения в области естествознания, в частности физики, с одной стороны, и революционные потрясения в обществе, с другой стороны, должны убедить всякого неослепленного еще окончательно схоластикой, что утверждение о неизменности природы и общества представляет собой вздор; чувствительные толчки, исходящие от объективного мира, должны бы пробудить от состояния идеалистического сомнамбулизма самого закоренелого субъективиста. На самом же деле эти явления толкают их еще больше в объятия феноменализма и идеализма по той простой причине, что буржуазная мысль определяется особыми условиями действительности, делающей для нее невозможным усвоение самых простых истин.

Диалектический материализм, или марксизм, есть единственная научная теория, которая находит путь к действительности. Материализм не отрывает познания от жизни. Своеобразие марксизма, в отличие от логизма и психологизма, состоит в том, что он ориентируется преимущественно на историю. В сущности говоря, мы знаем только одну единственную науку, писал Маркс в „Немецкой идеологии", а именно: науку истории, которая подразделяется на историю природы и историю людей. Историзм составляет отличительную черту марксизма, а общественная жизнь составляет центральную его проблему. Именно практическая жизнь людей впервые стала в марксизме основным содержанием теории, мировоззрение имеет свои последние корни и основание в практической деятельности, в культурном творчестве, в общественно-исторической жизни.

Марксизм не знает постоянных сомнений в познавательных способностях человека; класс, призванный историей к строительству жизни, к организации ее, не может, естественно, декларировать бессилие науки, как это делают представители буржуазной философии. Пролетариату присущ здоровый творческий оптимизм. Он не удовлетворяется созерцанием жизни, он разрушает старую и создает новую жизнь. Здесь нет места разрыву между теорией и практикой, как нет отказа от овладения миром и проникновения в его тайны. Мир насквозь познаваем. И если представители старого мира с грустью заявляют, что „история есть великая неудача", то идеологи пролетариата, и в особенности Ленин, доказали, что гибель одной общественно-исторической формации означает рождение новой, что исторический процесс есть беспрерывное восхождение от низшей ступени на высшую. За разрушительной деятельностью следует деятельность созидательная, ибо в отрицании заключается утверждение. В живом диалектическом процессе природы, как целого, историческая жизнь человека, исторический процесс составляет часть всеобщего процесса вселенной.

Исторический процесс отличается двумя существенными чертами: во-первых, он имеет устремленность к будущему. Предметом истории является не только прошлое, но и будущее; исторический процесс представляет собой не только кладбище воспоминаний, но и надежды на будущее. Настоящее не только исчезает в невозвратном прошлом, но оно обращено лицом своим и к будущему. История есть становящееся будущее, постоянно вливающееся в настоящее. Настоящее же течет в будущее. Время является основной категорией истории, как и жизни вообще. И именно поэтому, т.-е. именно потому, что все изменяется, существует история; она составляет основу всех явлений. В этом смысле и надо понимать Маркса, когда он говорит об единственной науке—истории. Но человеческая история есть часть истории природы. Всепожирающему и одновременно всеоживляющему потоку времени и процессу изменений одинаково подчинено все сущее. Нет диалектики без времени, так как оно составляет абстрактную форму всякого изменения.



История по самому существу своему революционна, ибо она есть и связь с прошлым, и разрыв с ним. Реакционные и консервативные мировоззрения связаны с прошлым и настоящим, они отрицают будущее. Революционное мировоззрение связано всегда с будущим, есть прорыв в будущее и разрыв с прошлым. Всякий рационализм и абсолютизм в области философии и теории проявляется в независимости устанавливаемых им истин от времени, чем они приобретают абсолютный и вместе с тем абстрактный характер. В историческом же аспекте всякое учреждение и все существующее имеет лишь относительную ценность. Ничто не может быть оторвано от исторических, т.-е. конкретных, условий и все имеет преходящее существование. В основе диалектического материализма лежит великая основная мысль о том, что мир состоит не из готовых, законченных предметов, а представляет собой совокупность процессов, в которой предметы, кажущиеся неизменными, равно как и делаемые головой мысленные их снимки-понятия, находятся в беспрерывном изменении: то возникают, то уничтожаются [1]).

В своей исторической жизни человек создает некий самостоятельный мир. Религия, право, искусство, философия, наука, хозяйство и пр., т.-е. то, что составляет предмет так наз. „наук о духе", является произведением коллективного человека. В этом заключается их отличие от предметов природы или самой природы. Созданные деятельностью людей, эти продукты отчуждаются от них и противостоят им как объективные реальности, как некие самостоятельные сущности. До поры до времени люди полагают, что все это создано какими-то высшими силами, стоящими над людьми и над обществом. Марксизм низвел религию, метафизику, право—весь этот духовный мир—с заоблачных высот на землю и дал им материалистическое объяснение. Люди, развивая свое материальное производство, развивают и изменяют в этой своей деятельности свое мышление и продукты своего мышления, как говорит Маркс. Все содержание исторической жизни и деятельности людей сводится к изменению природы, к беспрерывному преобразованию ее и к соответственному изменению „духа", т.-е.

[1]) Энгельс, Л. Фейербах, стр. 62.

всей идеологии. Таким образом вся идеология является продуктом истории и на каждой данной ступени—результатом определенного отношения человека к природе и людей друг к другу. История становится при таких условиях центральной проблемой всякого научного мировоззрения.

Гегель перенес центр тяжести философии из естествознания в общественно-историческую жизнь. Культура в широком смысле слова стала для Гегеля основной проблемой. Историческая действительность представляет собой, в сравнении с природой, высшую форму бытия, ибо всякое бытие обнаруживает свою истинную природу, свою внутреннюю сущность в становлении. Но культура есть преобразование природы посредством коллективного труда. Если верно, что природа только тогда могла породить из своих недр человека, когда создались условия для человеческой жизни, то культура означает изменение природы посредством техники, приспособление ее к человеческим нуждам и потребностям.

Проблема отношения субъекта к объекту разрешается не путем созерцания, а путем практического овладения объектом. Только посредством труда, деятельности человек раскрывает сущность вещей, проникает в тайну бытия. Победа субъекта над объектом достигается техникой, трудом. Философы полагали, что наше отношение к миру исчерпывается мышлением. Ныне мы знаем, что истинное отношение наше к миру состоит в деятельности. Мы живем не для мышления, а для труда, для деятельности. Кто не трудится, тот стоит вне культуры, вне истории. Мир существует не как объект размышления только, а как объект труда. Само мышление является средством к деятельности и ее продуктом. Мышление следует за деятельностью, оно является ее орудием. Историческая действительность есть часть бытия вообще, ибо бытие охватывает как природу, так и историю. И подобно тому, как бытие познается через сознание и сознание через бытие, так природа, будучи объектом деятельности человека, раскрывает свои тайны через историю. Со времени Маркса проблема исторического мира составляет центральную проблему жизни и философствования, ибо в исторической действительности концентрируется, как в фокусе, все наше отношение как к природе, так и к духовному миру,—вся жизнь.

Некоторые философы из буржуазного лагеря мечтают о повороте в сторону „историзма". Они говорят о необходимости построения мировоззрения на почве истории, ибо проблема истории, как выражается один из таких философов, „стала роковым вопросом всего нашего существования". В самом деле, буржуазный мир, казалось бы, застраховал себя от неизбежных революций тем, что его мыслители объявили мир неизменной системой вечных и разумных отношений. Но когда почва под ногами буржуазного мира стала колебаться, когда начались социальные катастрофы, тогда идеологи старого мира вспомнили, что они проглядели историю. Но история



против них: история обращена к ним спиной. История на стороне прогресса, на стороне революции, на стороне рабочего класса. Лицом своим она обращена к пролетариату, который призван ею освежить и омолодить человечество. Поэтому история поистине приобретает роковой характер для существования буржуазии. Признать историю—значит отказаться от взгляда, по которому наш эмпирический мир объявляется обманчивой видимостью, ложью, а истинной действительностью—вечные и неизменные понятия или идеи.

Мелко-буржуазный релятивизм диктуется, помимо переживаемого кризиса физики, как это указывает Ленин, еще и социальными причинами. Мелкая буржуазия в эпоху развитого капитализма отрывается от почвы действительности. В мире нет ничего устойчивого, ничего разумного. Он представляет собой хаос, который необходимо как-то организовать. Мелкая буржуазия не находит в этом мире никакой логики, никакой закономерности. Объективный исторический процесс заменяется, подменивается потоком психических переживаний.

Марксизм преодолевает рационализм и беспочвенный релятивизм. Диалектический материализм есть по преимуществу мировоззрение историческое. Природа бытия, всего существующего, раскрывается на путях его возникновения, т.-е. его исторического развития, так как мир постоянно изменяется, а не является чем-то мертвым, застывшим и готовым. Мировая история есть особая форма мировой эволюции. История таким образом составляет форму существования всей вселенной. Если это так, то она становится основной научной дисциплиной.

История людей имеет своим содержанием деятельность людей, поскольку она выражается прежде всего в производстве материальной жизни. Для Гегеля хозяйство, экономика представляли необходимую ступень в развитии идеи. Тем самым экономика была введена им в систему разума. В литературе было, между прочим, указано, что понятие труда составляет метафизический принцип всей системы Гегеля. Непосредственность, в которую дух сначала погружен, преодолевается трудом. История есть, собственно, царство труда, ибо при помощи труда совершается процесс развития, т.-е. восхождения на высшие ступени культуры. Но Гегель не был способен проникнуть в природу хозяйства, где диалектика для него перестает действовать. Гегель не видел внутренней жизни и развития хозяйства, хотя он лучше других своих современников понял вообще его значение. В то время, как диалектика в других сферах обнаруживает внутреннее беспокойство действительности, в то время как искусство, религия и философия подвержены диалектическим превращениям, т.-е. идеальные продукты истории не даны в законченном виде, то экономически-технический базис исторической и общественной действительности представлялся Гегелю законченным и не нуждающимся в дальнейшем коренном преобразовании. Во всяком случае, хозяйство стало, для Гегеля философской проблемой. Истинным философом соци-

ального мира стал Маркс. Маркс установил, что уровень развития хозяйства, развитие производительных сил составляет движущий фактор культуры, что содержание истории есть развитие хозяйственных форм и что наука, философия, искусство образуют ветви или части этой исторически-обусловленной и развивающейся материальной культуры. Значение хозяйства не исчерпывается удовлетворением наших материальных потребностей, но оно является средством человеческого общества овладеть природой, стать господином ее. Хозяйство есть великое объективное творение организованного и объединенного человечества. И в этом творении, в этом деянии все человеческое познание, все науки имеют свое последнее основание. Вместе с тем Маркс поднял на философско-теоретическую высоту конкретную общественную практику. Именно практическая жизнь, практическая деятельность человека впервые становится предметом—и самым важным предметом—теоретической работы мысли. Здесь объект не противостоит субъекту, как нечто чуждое; субъект его формирует и изменяет. Сам же субъект, т.-е. человек, изменяется вместе с изменением внешних объектов—природы. Производство материальной жизни служит связью между объектом и субъектом, между природой и обществом.

## II.

Очередной „сдвиг" всемирной истории, стало быть, совершается ныне под знаменем диалектического материализма, под знаменем марксизма. Буржуазные теории потерпели крах, не будучи в состоянии ни понять хода истории, ни предвидеть исторических событий. Это объясняется тем, что буржуазия не способна уже руководить жизнью, что она сама отошла уже в область истории. Ей не принадлежит завтрашний день, хотя она и может еще временно держаться на поверхности истории. „Наука есть пророчество,—говорил Ленин,—но пророчество, основанное на опыте". К такому научному пророчеству буржуазные идеологи и философы не способны, ибо пророчество имеет дело с будущим, а будущее не принадлежит буржуазии. Она цепляется за прошлое и настоящее. Она грезит о том, чтобы остановилось время, чтобы прекратилась история, и поэтому ей нужны сверхъисторические, сверхвременные, вечные истины. Но в вечные истины возводятся ею временные, исторически-ограниченные формы сознания и жизни. Пролетариат рвется в будущее; он берет приступом посредством революционной борьбы это будущее, которое принадлежит ему одному. Поэтому мировоззрение пролетариата, будучи историческим в выше развитом уже смысле, ориентируется, исходя из всей совокупности условий настоящего, на будущее, на коммунизм, который, по выражению Маркса, не является состоянием, а реальным движением.

Истинное бытие есть будущее; будущее есть развитое и осуществленное настоящее. Поэтому бытие не может быть взято и понято как застывшее и законченное состояние. Напротив того, только через



будущее становится понятным настоящее, только становление раскрывает истинный смысл бытия. Настоящее есть результат прошедшего и содержит залог будущего, как говорит Гегель.

Противоречие между теорией и практикой преодолевается той теорией, которая сделала своим принципом практику. Всякая теория, которая оторвана от человеческой жизни, от практики, бессильна. Немецкий философ Фихте говорил, что философия имеет ценность и значение лишь постольку, поскольку она является орудием против несправедливостей общественного строя. Так говорил великий революционер накануне буржуазной революции в Германии. Недаром Фихте относился восторженно к Французской революции.

Некогда в Греции философами называли великих основателей государств. Ныне же считают философами „основателей" систем и писателей на философские темы. Но очевидно, что истинным философом в пролетарском смысле является тот, кто делает что-нибудь существенное для прогресса человечества и главное для освобождения человечества от рабства, тот, словом, кто не только размышляет о природе и истории, но и творит историю, являясь тем самым участником мирового процесса. Так как только организованный и объединенный труд освободит человечество от рабства и даст ему возможность овладеть силами природы, то очевидно, что деятельность в этом направлении является самой благородной и возвышенной. И кто работает над лучшей организацией человеческого общества, над его изменением, тот является истинным „философом".

Мы видели, что, по Гегелю, новая философия, т.-е. новое понимание действительности, новая „форма духа", как сказал бы он, или новая форма общественного сознания, рождается на закате определенной общественной формации. Это новое сознание предпринимает работу критики и разрушения той формы действительности, которая обречена историей на слом. Новая форма сознания или идеология является продуктом той же самой общественной формации, но вместе с тем и ее memento mori. В нашу эпоху самым ярким, последовательным и бесстрашным выразителем нового назревшего общественного сознания, а стало быть новой нарождающейся формы действительности, являлся Ленин. Империалистическая война повлекла за собой крушение социализма. Марксизму чужда фаталистическая точка зрения. Действия людей, поведение классов и партий являются решающими факторами в исторической борьбе. Нет никакого сомнения в том, что социал-демократия стояла и стоит поныне на фаталистической точке зрения, принижая роль революционных классов и перенося центр тяжести в сторону „автоматизма", естественного хода вещей. Этот „автоматизм" объясняется тем, что некоторые слои пролетариата и представляющие их партии так или иначе „сращены" с современным строем, с мелкой буржуазией, с империализмом. Германской социал-демократии, после революции 1918 года, представился счастливый „случай", объединившись с российским пролетариатом, начать новую

эпоху всемирной истории. Но она испугалась собственной победы, испугалась предстоящей борьбы и решила отдаться на волю „естественного хода вещей", оправдывая свою трусость неподготовленностью Германии к социализму, ее разорением и страхом перед Антантой. Таким образом германская социал-демократия дважды совершила преступление: первый раз—оправданием и освящением империалистической войны и второй раз—отказом и самоотстранением от революционной борьбы за социализм. Партия передового класса, которая не смеет победить, играет уже тем самым реакционную роль и своим же действиями подготовляет победу реакционных классов. Повторение задов о несвоевременности социалистической революции при современном положении вещей свидетельствует о безнадежном тупоумии таких „марксистов". Из того обстоятельства, что в основе политики лежит экономика, делают вывод, что политическая борьба имеет второстепенное значение, чем „принижают,—по словам Ленина,—политическую борьбу до экономической".

Подобно тому, как Маркс, на основании изучения механизма капиталистического общества и восприятия смутных стремлений, чувствований и переживаний рабочего класса, создал целое мировоззрение и стал вождем человечества, так в нашу эпоху Ленин, восприняв то же материалистическое марксистское миропонимание, сумел в хаосе империалистической войны уловить подлинные стремления пролетариата, подслушать биение его сердца в окопах и у станка и претворить его смутные, неоформленные переживания и чувства в высшую форму сознания. Мыслителем является тот, кто выражает наиболее ярко „дух времени", кто возвышает на ступень сознания бессознательные стремления своего класса. Мыслитель же передового класса является вождем всего человечества. Ряд теоретически правильных положений марксизма впервые подвергнут был практическому испытанию. Коммунизм из отдаленной цели превратился в практическую проблему сегодняшнего дня. Эта огромная заслуга принадлежит Ленину, поскольку вообще можно говорить о роли отдельных личностей. Еще в 1905 г. в „Двух тактиках" Ленин превосходно выясняет в нескольких словах значение диалектического материализма, в отличие от старого материализма. Диалектический материализм имеет своей задачей не только описание и объяснение явлений. Стоящие на этой точке зрения „принижают материалистическое понимание истории своим игнорированием действенной, руководящей и направляющей роли, которую могут и должны играть в истории партии сознавшие материальные условия переворота и ставшие во главе передовых классов". Материализм (марксизм)—это теоретический коммунизм, коммунизм же—это практический материализм. Это внутреннее единство теории и практики, материализма и коммунизма превосходно понимал Ленин. И поэтому ему было так чуждо это „раздвоение" социализма на цель и путь, ведущий к ней. Эд. Бернштей некогда пустил свою ревизионистскую крылатую фразу, которая стала символом веры современной социал-демократии. „Конечная цель ничто, движение все", сказал отец ревизионизма. Ленин отличался от других марксистов тем, что он прекрасно владел революционной диалектикой. Поэтому такое метафизическое противопоставление движения и цели было ему органически чуждо и непонятно. Ползучий эмпиризм может довольствоваться мелким крохоборством. Я здесь не вхожу в рассмотрение тех социальных условий, которыми вызывается этот ползучий эмпиризм или ревизионизм, меня в этой связи интересует лишь философско-теоретическая сторона вопроса. Для кантианцев „конечная цель" лежит по ту сторону действительности и, представляя собой некий transcensus, никогда не может быть осуществлена в эмпирическом мире. Отсюда переоценка движения и торжество ползучего эмпиризма. Диалектический материализм ничего общего не имеет с таким эмпиризмом или идеализмом (составляющим другую сторону ползучего эмпиризма). Последователи кантианского социализма прикрывают обычно своими громкими фразами о высоких недоступных человеку идеалах, лежащих по ту сторону эмпирического мира, свои антиреволюционные, оппортунистические и слишком уже эмпирические действия.



Конечная цель и движение для диалектического метериалиста составляют одно целое, конкретное единство. Но в то время, как оппортунисты подчиняют конечную цель движению, революционный марксизм подчиняет движение конечной цели. Идея гегемонии пролетариата, выдвинутая впервые Г. В. Плехановым, составляла руководящую и центральную идею всей революционной деятельности Ленина. Он никогда не упускал из виду конечной цели, т.-е. социализма, на всех стадиях революционной борьбы. Гегемония пролетариата в буржуазной революции переходит в диктатуру пролетариата после победы над буржуазией. Поэтому задача пролетариата принимать самое активное участие на всех стадиях революционной борьбы в целях руководства ею и самоподготовки к захвату власти в целях осуществления социализма. „Пролетариат должен провести до конца демократический переворот, присоединяя к себе массу крестьянства, чтобы раздавить силой сопротивление самодержавия и парализовать неустойчивость буржуазии. Пролетариат должен совершить социалистический переворот, присоединяя к себе массу полупролетарских элементов населения, чтобы сломить силой сопротивление буржуазии и парализовать неустойчивость крестьянства и мелкой буржуазии" (Ленин).

Проповедуя на протяжении всей своей политической деятельности идею диктатуры пролетариата, рассматривая ее как орудие для проведения социалистического переворота, Ленин был больше других субъективно подготовлен к тому, чтобы стать во главе революцион-

ного движения, выросшего из условий империалистической войны. Ленин, в отличие от других вождей социализма, подходил „серьезно“ ко всем проблемам социалистического движения. В то время, как огромное большинство социалистов в империалистическую войну вопреки всем решениям международных конгрессов поддерживало „гражданский мир“, Ленин впервые выдвинул лозунг, который приобретает решающее значение для борьбы пролетариата против буржуазии, лозунг, который, несомненно, составляет эпоху в истории человечества и который гласит: превратите империалистическую войну в войну гражданскую. Ленин совершенно прав, когда он пишет: „Никакими криками злобы, клеветы и лжи они (враги большевиков) не замутят того всемирно-исторического факта, что первый раз за сотни и за тысячи лет рабы ответили на войну между рабовладельцами открытым провозглашением лозунга: превратим эту войну между рабовладельцами из-за дележа их добычи в войну рабов всех наций против рабовладельцев всех наций“.

„Первый раз за сотни и тысячи лет этот лозунг превратился из смутного и бессильного ожидания в ясную, четкую политическую программу, в действенную борьбу миллионов угнетенных под руководством пролетариата, превратился в первую победу пролетариата, в первую победу дела уничтожения войн, дела союза рабочих всех стран над союзом буржуазии разных наций, той буржуазии, которая и мирится и воюет на счет рабов капитала, на счет наемных рабочих, на счет крестьян, на счет трудящихся“ [1]).

Ряд великих мечтателей-философов грезил о прекращении войн. Они при этом ссылались на всевозможные нравственные заповеди и вечные законы разума и проч. Но, как видим, эти „грезы“ не подвинули дело мира ни на шаг. Напротив того, история продолжала развиваться в направлении милитаризма. Жесточайшие и кровопролитнейшие войны потрясают время от времени человеческие общества. Естественно, что в капиталистическую эпоху, которая пришла на смену феодальному обществу, войны приняли характер периодически повторяющихся столкновений народов, огромных государств. Чем дальше, тем эти международные столкновения будут ожесточеннее и разрушительнее. „Химические“ и всякие иные войны будущего поистине грозят разрушением, с ничтожной затратой энергии, целых городов и десятков миллионов людей. Надо быть слепым, чтобы не видеть, что человечество идет навстречу ужасному процессу саморазрушения, самоуничтожения. Производительные силы современного общества обнаруживают свой разрушительный характер. Они пришли в противоречие с производственными отношениями. Но войны ведутся господствующими классами, рабовладельцами, которые не останавливаются перед избиением человечества, раз этого требуют их своекорыстные интересы. Руководство войнами принадлежит буржуазии, но кровь свою за их интересы проливают рабочие и крестьяне, единственный интерес которых состоит в свержении власти рабовладельцев.

[1]) Ленин, Собрание сочинений, т. XVIII, ч. I, стр. 367—368.



Величайшей заслугой Ленина останется то, что он звал к превращению империалистской войны в войну гражданскую, что он поднял знамя восстания против войны, не ограничиваясь одними резолюциями о необходимости объявить войну войне. „Если в самом деле верно,—писал Ленин уже почти в самом начале мировой войны, что нынешняя война есть война империалистская, что империализм есть целая историческая стадия в завершающемся развитии капитализма; если верно, что нынешняя война может открыть собой целую эпоху повторных империалистских войн; если эпоха империалистских войн грозит нам неисчислимыми бедствиями, грозит морями крови, миллионами жертв, грозит ослаблением международной солидарности, грозит отбросить далеко назад все великое освободительное движение пролетариата; если все это так, а это несомненно так,— то мы, революционные социал-демократы, должны ведь поставить себе вопрос, как же бороться против надвигающегося на нас зла, с чем нам пойти навстречу этой надвигающейся целой эпохе, как предотвратить те губительные последствия, которые уже принесла с собой первая из „великих“ империалистских войн“.

Этот проклятый вопрос продолжает стоять перед международным пролетариатом и поныне. Единственный выход из создавшегося положения—это восстание пролетариата, пролетарская революция, захват власти рабочим классом и борьба за социализм. Практический материализм ставит себе целью, говорил Маркс, революционизирование существующего мира. Он практически,—а не теоретически только, не словесно, не платонически, как это делали прежние философы,— обращается против старого мира и изменяет его. Без борьбы ничто великое не осуществляется в жизни. Эту столь же глубокую, сколь и простую истину проповедует марксистский материализм, материалистическая философия. Поэтому ясно, что всякий, кто становится на иную точку зрения, кто думает, что можно изменить мир посредством заклинаний, посредством хороших резолюций, тот фактически становится на почву идеализма, тот изменяет материализму. Великие всемирно-исторические задачи, стоящие перед передовым классом современного общества, могут быть решены только классовой борьбой. Свержение власти буржуазии и установление диктатуры пролетариата составляют начало новой исторической эпохи. Ленин, подводя итоги октябрьской революции, писал: „мы вправе гордиться (и мы гордимся) тем, что на нашу долю выпало счастье начать постройку советского государства, начать этим новую эпоху всемирной истории, эпоху господства нового класса, угнетенного во всех капиталистических странах и идущего повсюду к новой жизни, к победе над буржуазией, к диктатуре пролетариата, к избавлению человечества от ига капитала, от империалистических войн“.

## III.

Материалистическая диалектика учит нас тому, что старая общественная формация, из которой рождается новая, налагает на первых порах на последнюю свою печать. Маркс, а за ним и Ленин, правильно рассматривают поэтому „коммунизм, как нечто развивающееся из капитализма", и устанавливают ряд ступеней экономической зрелости коммунизма.

„В первой своей фазе,—пишет Ленин,—на первой ступени коммунизм не может еще быть экономически вполне зрелым, вполне свободным от традиций или следов капитализма. Отсюда такое интересное явление, как сохранение „узкого горизонта буржуазного права"—при коммунизме в его первой фазе. Буржуазное право по отношению к распределению продуктов потребления предполагает, конечно, неизбежно и буржуазное государство, ибо право есть ничто без аппарата, способного принуждать к соблюдению норм права.

„Выходит, что не только при коммунизме остается в течение известного времени буржуазное право, но даже и буржуазное государство—без буржуазии.

„Это может показаться парадоксом или просто диалектической игрой ума, в которой часто обвиняют марксизм люди, не потрудившиеся ни капельки над тем, чтобы изучить его чрезвычайно глубокое содержание.

„На самом деле, остатки старого в новом показывает нам жизнь на каждом шагу: и в природе, и в обществе. И Маркс не произвольно всунул кусочек „буржуазного" права в коммунизм, а взял то, что экономически и политически неизбежно в обществе, выходящем из недр капитализма" [1]).

Государство вообще есть организация систематического насилия одного класса над другим. В этом отношении не существует разницы между буржуазным демократическим государством и диктатурой пролетариата, между различными формами государственной организации вообще. Но по существу между ними существует огромная разница, состоящая в том, что буржуазное государство, даже высшая его форма, имеет своей задачей утверждение господства буржуазии; пролетариат же делает свое государство орудием отрицания, уничтожения всякого государства. Деятельность пролетарского государства состоит в том, чтобы сделать его излишним. Пролетарское государство имеет своей задачей сломить сопротивление буржуазии и по мере того, как этот процесс осуществляется, пролетарское государство отмирает.

„Мы ставим своей конечной целью,—говорит Ленин,—уничтожение государства, т.-е. всякого организованного и систематического насилия, всякого насилия над людьми вообще. Мы не ждем прише-

[1]) Ленин, Собрание сочинений, т. XIV, стр. 377—378.



ствия такого общественного порядка, когда бы не соблюдался принцип подчинения меньшинства большинству. Но, стремясь к социализму, мы убеждены, что он будет перерастать в коммунизм, а в связи с этим будет исчезать всякая надобность в насилии над людьми вообще, в подчинении одного человека другому, одной части населения другой его части, ибо люди привыкнут к соблюдению элементарных условий общественности без насилия и без подчинения" [1]).

Ленин во многих местах своей книги о „Государстве и революции" подчеркивает значение „элементарных правил и условий общежития". Так, доказывая несовместимость свободы с государством, подчеркивая, что только в коммунистическом обществе, где нет классов, где существует фактическое равенство между членами общества по отношению к средствам производства и потребления, существует настоящая свобода и не имеет места государство, он продолжает: „И только тогда демократия начнет отмирать в силу того простого обстоятельства, что избавленные от капиталистического рабства, от бесчисленных ужасов, дикостей, нелепостей, гнусностей капиталистической эксплоатации, люди постепенно привыкнут к соблюдению элементарных, веками известных, тысячелетиями повторявшихся во всех прописях правил общежития, к соблюдению их без насилия, без принуждения, без подчинения, без особого аппарата для принуждения, который называется государством" [2]).

Коммунистическое общество не есть нечто застывшее, некое законченное общественное состояние. Напротив того, социализм есть реальное движение, а не состояние, говорит Маркс. В современном обществе массы забиты, угнетены и подавлены. Быстрое движение вперед во всех областях личной и общественной жизни начнется только с социализма, ибо в этом движении будет принимать участие сначала большинство населения, а затем и все население, говорит Ленин.

Первая фаза коммунистического общества—социализм—носит на себе еще отпечаток того общества, из недр которого она вышла. Эта социалистическая фаза характеризуется тем, что средства производства перестали быть предметом частной собственности и принадлежат всему обществу. Предметы потребления же на этой стадии общественного развития распределяются по работе.

На этой ступени развития не осуществлены еще равенство и справедливость, ибо равное право означает несправедливость, нарушение равенства, так как право предполагает применение одинакового масштаба к различным людям, которые не одинаковы, не равны. В таком случае социализм делает лишь первый шаг: он уничтожает эксплоатацию человека человеком. „Справедливости и равен-

[1]) Ленин, там же, стр. 364.
[2]) Там же, стр. 370.

ства, следовательно, первая фаза коммунизма дать еще не может различия в богатстве останутся и различия несправедливые, но невозможна будет эксплоатация человека человеком, ибо нельзя захватить средства производства, фабрики, машины, землю и пр. в частную собственность [1]). Развернутый коммунизм предполагает распределение предметов потребления по потребностям. По мере развития экономических основ коммунизма осуществляются для Ленина, как и для всякого марксиста, элементарные правила общежития—равенство, свобода и справедливость. Идеалисты-философы, как и буржуазные идеологи, проповедывали равенство, братство, свободу и справедливость, как „вечные ценности", которые, повидимому, остаются вечными ценностями, идеалами, носящимися как бесплотные духи над грешной эмпирической землей, где продолжают царствовать грабеж, насилие и всякого рода зверства. Но они удовлетворялись тем, что в сверхъэмпирическом потустороннем мире существуют такие прекрасные вещи, как равенство, свобода и справедливость. Марксизм впервые в истории подходит к этим „высоким" моральным идеалам, не с моральной, а с историко-материалистической точки зрения. Вся предшествующая философия и идеология буржуазии стояла на почве формального равенства, формальной свободы и проч., ибо сама философия является лишь абстрактным выражением общественных отношений. Марксизм доказывает, что формальное равенство в современном обществе есть выражение реального неравенства, формальная свобода—выражение реальной несвободы и т. д. Марксистская этика не видит в „идеале" чего-то такого, что чуждо действительности и что противостоит ей, как некое долженствование. Для марксизма не существует разрыва между действительностью и идеалом. Коммунизм,—писал Маркс,—не идеал, с которым должна сообразоваться действительность. Те, кто стоят на точке зрения идеализма, на точке зрения идеала, с которым должна сообразоваться действительность, обычно забывают об этой действительности, оставаясь при отвлеченном идеале. Диалектический материализм тем отличается от идеализма, что определенные „идеалы" он объясняет и выводит из реальных условий действительности. Равенство, не формальное, а фактическое равенство, не представляет собой отвлеченную истину, некую вечную категорию, одинаково истинную для всех времен, а реальное движение определенного класса современного общества, вытекающее из данных конкретных условий жизни этого класса. Маркс,—говорит Ленин,—не занимался утопиями. Маркс ставит вопрос о коммунизме, как естествоиспытатель поставил бы вопрос о развитии новой, скажем, биологической разновидности, раз мы знаем, что она так-то возникла и в таком-то определенном направлении изменяется". Вместе с развитием коммунизма видоизменяются и развиваются человеческие идеи о моральном, прекрасном и истинном.

[1]) Ленин, там же, стр. 373.



Разрыв между действительностью и идеалом, между теорией и практикой составляет одно из самых больших зол и бедствий, которые остались от капиталистического общества, говорит правильно Ленин. В теории, в книжках писали о высоких материях, а в деятельности своей, в жизни руководствовались противоположными принципами. Материализм же есть философия борьбы. Теория и практика осуществляют свое единство, свой синтез в борьбе, в борьбе за коммунизм в практическом изменении действительности.

Что же представляет собой мораль? И существует ли вообще коммунистическая мораль? На эти вопросы Ленин отвечает следующее. Коммунисты отрицают мораль в том смысле, в каком ее проповедывала буржуазия. Буржуазия выводила правила нравственности, мораль или из велений бога, или же из велений отвлеченной нравственности, из идеалистических фраз. Марксизм отрицает, словом, нравственность, взятую из внечеловеческого, внеклассового понятия. Для коммуниста вся нравственность состоит в сознательной массовой борьбе против эксплоататоров. „Нравственность служит для того, чтобы человеческому обществу подняться выше, избавиться от эксплоатации труда" [1]). Нравственность подчинена таким образом интересам классовой борьбы пролетариата. До тех пор, пока продолжается классовая борьба, коммунистическая нравственность должна служить этой борьбе. „Нравственность—это то, что служит разрушению старого эксплоататорского общества и объединению всех трудящихся вокруг пролетариата, создающего новое общество коммунистов".

Итак, развитие капитализма создает реальные материальные условия для осуществления равенства, свободы и справедливости. Пролетариат борется за фактическое равенство и фактическую свободу. Эти лозунги или идеалы имеют огромное значение. Процесс развития современного общества идет от формального равенства и формальной свободы, от демократии через диктатуру пролетариата к социализму и коммунизму. „Фабричная" дисциплина, которую победивший капиталистов, свергнувший эксплоататоров пролетариат распространит на все общество,—говорит Ленин,—никоим образом не является ни идеалом нашим, ни нашей конечной целью, а только ступенькой, необходимой для радикальной чистки общества от гнусности и мерзостей капиталистической эксплоатации и для дальнейшего движения вперед". „Фабричная" дисциплина будет сплачивать и объединять людей, будет их воспитывать в духе общественных интересов. Люди научатся подчинять свои личные интересы общественным. „Необходимость соблюдать несложные основные правила всякого человеческого общежития,—как выражается Ленин,—войдет в привычку. Люди постепенно научатся работать на общество без всяких норм права. И так как государство есть выражение неравенства и угнетения, то с осуществлением равенства и свободы государство должно

[1]) Ленин, Собрание сочинений, т. XVII, стр. 324.

отмереть. Сначала будет осуществлено равенство всех членов общества по отношению к владению средствами производства; дальнейшее же развитие общества неизбежно приведет к фактическому равенству, к осуществлению правила: „каждый по способностям, каждому по потребностям". „Государство сможет отмереть полностью тогда,—говорит Ленин,—когда общество осуществит правило: „каждый по способностям, каждому по потребностям", т.-е. когда люди настолько привыкнут к соблюдению основных правил общежития и когда их труд будет настолько производителен, что они добровольно будут трудиться по способностям" [1]).

Так все стороны общественной жизни связаны в одно конкретное целое. Полное равенство и свобода будут осуществлены в коммунистическом обществе, где интересы индивидуума будут совпадать с интересами общества. В таком обществе нет уже места государству. Все люди будут управлять общественными делами, а там, где все управляют, там нет места для специальной организации, стоящей над обществом. В коммунистическом обществе объектом управления будут не люди, а вещи.

Власть, нравственные идеи и религиозные представления имеют своим источником не сверхчеловеческий мир, а общественные отношения. Общественные же отношения, т.-е. строй общества, изменяются и определяются отношениями человеческого коллектива к природе. С точки зрения идеалистов нравственные идеи, как и познавательная истина, лежат по ту сторону исторического, т.-е. изменчивого, чувственного материального мира. Подобному тому, как в гносеологии они исходят из вечных, неподвижных идей, так и в морали они апеллируют к вечным понятиям. Они при этом утверждают, что реальный мир, конкретная действительность, вследствие своего преходящего характера, не может дать объективной истины. Логизм и рационализм в этике утверждают существование морали в себе, как и истины в себе, т.-е. метафизического морального закона, возвышающегося над изменчивой, исторической действительностью. Но за этими метафизическими вывертами скрывается желание и стремление господствующего класса „заморозить" данную действительность, превратив ее в неизменную историческую категорию, отрицающую историческое развитие. Такова подлинная диалектика общественной эволюции. Кто стремится к уничтожению классов, тот не может занять в современном обществе сверхклассовую или надклассовую позицию, а должен подчинить все классовой борьбе пролетариата, ибо через классовую борьбу история ведет к бесклассовому обществу, к общественной солидарности людей. Через „фабричную" дисциплину, говоря словами Ленина, человечество приходит к такому общественному устройству, когда люди будут смотреть на труд, как на наслаждение, и будут добровольно работать для

[1]) Ленин, Собрание сочинений, т. XIV, стр. 376.



общественного блага. Но путь, ведущий к конечной цели, к идеалу (каждый по способностям, каждому по потребностям), как говорит Ленин, ведет через различные ступени и переходные формы, связанные со строгой дисциплиной, с насильственной организацией. На этом пути, усеянном вовсе не розами, а подчас и шипами,—пути, связанном с большими страданиями для отдельных лиц, общество в целом подвигаются неизбежно и неуклонно в связи с необходимым экономическим развитием вперед по пути прогресса. Только через противоречия общество идет к солидарности, через строгую организацию и подчинение к общественной организации, не знающей насилия, подчинения и принуждения. Для того, чтобы люди привыкли, как говорит Ленин, соблюдать элементарные правила общежития, необходима не проповедь моральных идей, а самовоспитание и изменение человека в связи с необходимыми экономическими преобразованиями общества. Мировая история ведет человечество от неравенства к равенству, от принуждения к свободе, от классового общества к безклассовому и безгосударственному обществу. Всякая нравственная теория до сих пор, говорит Энгельс, являлась в конечном счете результатом данного экономического положения общества. „А так как общество до сих пор развивалось путем классовых противоречий, то нравственность всегда была классовой нравственностью; либо она оправдывала господство и интересы господствующих классов, либо, когда класс угнетенный становился достаточно сильным, она выражала возмущение против этого господства и защищала будущие интересы угнетенных. Что при этом, в общем и целом, в нравственности, как и во всех прочих отраслях человеческого познания, происходил прогресс,—в этом нельзя сомневаться. Но еще и теперь мы не вышли за пределы классовой нравственности. Нравственность, стоящая выше классовых противоречий и всяких воспоминаний о них, станет возможной при такой степени развития общества, когда не только будет устранена противоположность классов, но, вместе с тем, изгладится ее след из практической жизни" [1]). Представления о равенстве и свободе, справедливости и братской солидарности всех людей являются продуктом исторического процесса, результатом определенных материальных условий, от которых они неотделимы. Буржуазное требование равенства имело в виду отмену классовых привилегий и установление равенства в сфере политической, в сфере государственных отношений. То же самое относится и к требованию свободы. Пролетарское же требование равенства сводится к уничтожению классов и к установлению равенства в реальных условиях экономической и общественной жизни, как говорит Энгельс. Абсолютной нравственности не существует, но из всех существующих ныне нравственных теорий про-

[1]) Энгельс, Анти-Дюринг, русск. изд. 1918 г., стр. 84. В целях большей точности мной сделаны в переводе приведенной цитаты некоторые исправления.

детарская мораль будущего „обладает небольшим количеством элементов, обещающих ей продолжительную устойчивость, которая в данную эпоху выражает точку зрения будущего“ (Энгельс).

Пролетарское миропонимание и вытекающая из него практическая борьба за осуществление коммунизма открывает таким образом перед всем человечеством величественные перспективы. Ни одно учение не может итти с ним в сравнение ни в отношении научности, ни в смысле практической его ценности. Буржуазные философы обычно хвастают тем, что „мораль“ составляет их монополию, что марксизм и материализм отрицают всякую нравственность. Из сказанного, однако, ясно, что это ложь. И замечательно, что как только дело доходит до практического осуществления „великих принципов морали“, о которых так пекутся мыслители-идеалисты, они сейчас же бьют тревогу и доказывают несостоятельность и ненаучность ими же проповедуемых на словах принципов морали. Один из критиков марксизма, некий Герлих [1]), издевается над Лениным за то, что он ждет от коммунистического общества рождения нового человека, что он придает такое огромное значение привычке и проч. При этом автор сопоставляет марксизм с его „верой“ в будущий рай на земле, с его „обожествлением“ пролетариата с христианством. Разумеется, этот Герлих понятия не имеет о том предмете, о котором он написал целую книгу [2]). При этом сопоставлении обнаруживаются, конечно, все „преимущества христианства, несмотря на то, что и марксизм, согласно буржуазной традиции, объявляется ими религией. Преимущество христианства состоит, видите ли, в том, что оно требует изменения отдельного индивидуума, между тем как революционный марксизм и в частности Ленин „требует“ изменения всего общественного строя. Христианство учит о царстве божием, а эти ненавистные „утописты“ коммунисты грезят о рае на земле, борются за него и т. д. В доказательство автор ссылается на Маркса и Энгельса, Ленина и Троцкого. Христианство признает „спасителем“ одного индивидуума, а марксизм в качестве „спасителя“ человечества признает целый класс—пролетариат. Христианство учит, что вера спасает, а марксизм проповедует нечто совсем другое. Как же не согласиться с этим великолепным автором, что „немецкая душа“ нуждается в „новом“ мировоззрении, которое базировалось бы на христианстве! Вот какая белиберда противопоставляется марксизму.

Итак, привычка, согласно Ленину, великий воспитатель человека, говорит Герлих. Конечно, в такой общей форме это утверждение односторонне и неверно. Но дело в том, что в таком виде это утверждение принадлежит не Ленину, а Герлиху. Маркс писал еще в сороковых годах прошлого столетия, что материализм составляет основу коммунизма и социализма. Если человек черпает все свои

[1]) См. его книгу: Fritz Gerlich, Der Kommunismus als Lehre vom Tausendjährigen Reich, München 1920.

[2]) О коммунизме, и в частности о Ленине, за границей появился ряд книг.



ощущения, знания и пр. из внешнего мира и из опыта, приобретаемого от этого мира, то надо, стало быть, так устроить, чтобы человек получал из этого мира достойные его впечатления, чтобы он чувствовал себя человеком. Если правильно понятый личный интерес есть основа всякой нравственности, то надо, стало быть, позаботиться о том, чтобы интересы отдельного человека совпадали с интересами человечества. Если человеческий характер создается обстоятельствами, то надо, стало быть, эти обстоятельства сделать достойными человека. Если природа предназначила человека к общественной жизни, то, стало быть, только в обществе обнаруживает он свою истинную природу. Ленин, вслед за Марксом, говоря о привычке, имеет в виду изменение человека под воздействием всей совокупности общественных условий окружающей его среды. Общество является великим и единственным воспитателем человека. Такие азбучные истины приходится вбивать в головы буржуазных идеологов. И если верно, а с материалистической точки зрения это безусловно верно, что человек изменяется вместе с изменением среды, общественной организации, то в коммунистическом обществе человек, т.-е. вся совокупность его представлений и идей, вся его психика, весь его характер и привычки радикально изменится. Поэтому и Маркс, и Энгельс говорят о новом человеке, новом поколении, которое вырастет в новых, свободных, общественных условиях и усвоит, следовательно, новые „привычки“. И так как высшая фаза коммунизма предполагает нового человека, так как в коммунистическом обществе человек, по словам Ленина, будет смотреть на труд, как на первую жизненную потребность, то приспособление человека к новым условиям жизни совершится через предварительную низшую фазу, где будет осуществлен строжайший контроль со стороны общества и со стороны государства над отдельным индивидуумом,—„над мерой труда и мерой потребления“. „Новый человек“ рождается не сразу, а формируется в ходе общественного развития и борьбы коллектива объединенными и организованными силами с внешней природой.

*А. Деборин.*

---

# Трагедия русского материализма XVIII века.

*(К 175-летию со дня рождения А. Н. Радищева).*

## I.

Личность А. Н. Радищева за время, истекшее со дня его самоубийства, далеко не раз привлекала внимание историков и исследователей. Начиная с ныне вовсе устаревшей статьи Пушкина, давшего уже для своего времени неправильную и субъективную оценку Радищева, до наших дней тянется ряд статей, очерков и монографий, посвященных этому крупнейшему русскому мыслителю.

Вполне естественно, что на протяжении первых ста лет со дня его кончины в Радищеве видели исключительно автора „Путешествия из Петербурга в Москву". Вскрыть размах социальной и политической мысли Радищева было задачей гораздо более действенной, нежели заниматься его философскими воззрениями, и гораздо более благодарной, нежели доказывать, что дважды два—четыре, что Радищев, скажем, был весьма посредственным поэтом.

К этому нужно заметить следующее: к середине XIX века, откуда, собственно, начинаются воспоминания о Радищеве и исследования о нем, Россия в отношении политическом была все тем же полицейским государством, каким она была при жизни мыслителя. Он был в числе первых и немногих, кто в одиночку начал борьбу с этим полицейским государством, кто хотел в России, — когда для этой страны не исполнилась еще мера времени,—видеть одновременно с Западом переход от абсолютизма к „народному правлению". Это „народное правление", по существу, буржуазное государство с формальной демократией и во второй половине XIX века продолжало для России оставаться *будущим* и никак не передвигалось в *настоящее*.

Во Франции буржуазия, давно ставшая политически господствующим классом, обретшая нового и последнего противника в лице пролетариата, „объективно и беспристрастно" вспоминала уже Вольтера с благодарностью, Руссо без особой благодарности, — слишком памятны были якобинцы, — и никак не хотела вспоминать своих материалистов. Для нашей же либеральной буржуазии из глубины XVIII века продолжал светить „рабства враг", „самодержавства противник", „фритрэда поборник" Радищев. Его идеи были не в прошлом, а в будущем, в будущем, к которому стремилась русская буржуазия.

Прошло еще полвека, а радищевское „Путешествие" все еще оставалось под запретом,—не считать же суворинского издания в 100 экземпляров, предназначенного для тех, кому оно заведомо не могло причинить помрачения верноподданнических мыслей. Правда, еще с 1807 года было известно значительное произведение Радищева: трактат „О человеке, о его смертности и бессмертии", но оно почти не привлекало внимания писавших о мыслителе. Во-первых, это—произведение философское, а „любомудрием" мы долго не отличались, следуя правилу, что польза от философии не доказана, а вред возможен. Во-вторых же, в своем трактате как никак, а Радищев подозрительно много говорил о материализме и, по справедливому отзыву Пушкина, „хотя и вооружается противу материализма, но в нем все еще виден ученик Гельвеция. Он охотнее излагает, нежели опровергает доводы чистого афеизма". Немудрено поэтому, что наши философы из духовных академий, не в большей мере, впрочем, слуги богословия, чем их коллеги на Западе, долгое время просто игнорировали трактат Радищева. Историки же культуры и цивилизации,



вроде Милюкова и Мякотина, не вникая в лежащий вне их компетенции предмет, мельком указывали на трактат, признавали в нем влияние Гольбаха и Гельвеция и торопились подчеркнуть, что Радищев остался далеким от „крайних" выводов французской эпохи просвещения, навсегда пребыв деистом.

Помощь русским историкам философии пришла, как это бывало не раз, с буржуазного Запада. Каро и Жанэ пытались развенчать материалиста Дидро оригинальным способом: они попросту объявили его идеалистом, хотя и непоследовательным. Более прямолинейный Р. Думик дошел до утверждения, что учитель Дидро стал жертвой ученика Нэжона, который при редактировании текста сочинений Дидро „материализовал" последнего.

Буквально то же самое говорит о Радищеве проф. Е. Бобров. Объявив Радищева прямым лейбницианцем, он бездоказательно заявляет: „текст (трактата) искажен; часто высказывается *противное мысли автора*" [1]). Противное мысли автора очерка о Радищеве, конечно, не всегда должно быть противным мысли самого автора. Но ради того, чтобы сделать из Радищева спиритуалиста, историк подобного философского толка готов, как видим, на многое.

Вопрос о том, насколько можно считать Радищева спиритуалистом, разрешится в дальнейшем. Но уже сейчас мы можем сказать, что в пользу его лейбницианства говорит только следующее: идея непрерывности („ничто не происходит скоком", — говорит Радищев), постепенности („шествие природы тихо, неприметно и постепенно"), далее идея лестницы восходящих существ и, наконец, отрицание *картезианского* дуализма. Но внимательный читатель поймет, что при таком подходе к делу весь восемнадцатый век придется признать лейбницианским, не исключая и французских материалистов. Дело в том, что идея непрерывности, отрицание скачков характерны и для Гольбаха, и для Дидро, точно так же, как лестница восходящих существ фигурирует и у Дидро, и у Робинэ, и у Боннэ; однако причислять всех их на этом основании к школе Лейбница было бы исторически просто не верно.

Указанные элементы лейбницианства, действительно, вошли в плоть и кровь философии XVIII века, но как этими элементами далеко не исчерпывается весь Лейбниц, так ими же не исчерпывается и французский материализм. Чтобы не ходить далеко, — *три* фигуры определили философию XVIII века, и к Лейбницу едва ли не в бо́льшей степени следует присоединить Локка и Спинозу.

Возвращаясь к Радищеву, мы можем положительно удостоверить, что ему вовсе чужда теория познания Лейбница, так же как и монадология последнего, впрочем, это достаточно засвидетельствовано уже историками, писавшими после Е. Боброва.

Один из них, Г. Шпет, готов видеть в Радищеве представителя

[1]) Проф. *Евгений Бобров*, Философия в России, вып. III, Казань 1900.

„эклектизма (немецкой) популярной философии", если бы не всеподавляющее влияние Гердера. Трактат Радищева, по мнению Шпета, — „ученический реферат о четырех-пяти прочтенных книгах" [1]). Действительно, Радищева-философа нельзя поставить в уровень с Локком, Спинозой и т. п. Мы ставим его ниже Гольбаха и других французских материалистов, но нельзя же хотя бы и строгому к другим историку философии оперировать без всякой исторической перспективы. Здесь прежде всего необходимо учитывать ту почву, на которой рос и подвизался Радищев-философ. Эклектиком же он никогда не был.

Когда Радищев приводит доводы в пользу материализма или, наоборот, в пользу бессмертия души, он не самостоятелен, но много ли мы насчитаем абсолютно самостоятельных, от других независимых мыслителей? Решение же Радищевым своей основной задачи: смертен ли человек или бессмертен, как увидим далее, во всяком случае, оригинально и отнюдь не свидетельствует о рабском подражании или некритическом отношении к тому или другому из основных философских направлений. И если Радищеву логически нечего возразить материалисту, а идеалист, как будто, привлекает его только силою „сердечных доводов", то это уже не эклектизм, а нечто другое, что следует назвать, забегая несколько вперед, философской трагедией Радищева.

Над обнаружением источников, из которых черпал Радищев особенно поработал И. Лаппшин. Свою задачу автор выполнил почти исчерпывающе [2]). Но, повторяем, суть дела вовсе не в том, был ли Радищев всецело самобытным философом, или он при изложении pro и contra бессмертия души заимствовал аргументы у других, а в том, какие аргументы он принимал, какие отвергал, т.-е. какой линии придерживался сам. Разнести страницы трактата „О человеке" по книгам Гельвеция и Пристли, или Мендельсона и Гердера—не трудно, но при такой механической и, мы бы сказали, неблагодарной операции также нетрудно, по немецкой поговорке, выплеснуть вместе с водой и ребенка, а совершить это по отношению к Радищеву непозволительно ни в коем случае.

Чтобы не подумали, что мы считаем Радищева русским Гольбахом, мы скажем прямо, что таким материалистом, каким был Гольбах или Дидро, Радищев не был, но он был, говоря его словами, „не скот, не дерево, не раб, но человек". Он был человеком определенной эпохи, и эту эпоху он отразил не только в „Путешествии", но и в философском трактате „О человеке, о его смертности и бессмертии". Он был, далее, человеком определенной страны с определенными классовыми группировками и на определенной исторически обусловленной ступени классовой борьбы; и это в переводе на философский

[1]) Г. Г. Шпет, Очерк развития русской философии, ч. I, Птб. 1922.

[2]) И. И. Лаппшин, Философские взгляды А. Н. Радищева, Птг. 1922. Следовало бы указать еще на Мабли—не как на политического мыслителя, но как на автора „Principe de morale". Теория страстей Радищева целиком укладывается в теорию французского аббата.



язык тоже, как в зеркале, отразилось в его трактате. Он был, наконец, за всем тем, человеком, жизнь которого сложилась трагически; и это последнее не менее запечатлелось на его трактате. Но личная трагедия Радищева, как автора трактата „О человеке", есть трагедия русского материализма XVIII века.

## II.

Материализм XVIII столетия во Франции нарастал параллельно обострению классовых противоречий в стране, при чем нарастал тремя ветвями, чем далее, тем труднее поддающимися разделению: области религии, науки и политики все более окрашивались в цвета учения материалистов. Само собою разумеется, что успехи материализма в первой области знаменовали сокращение области веры; во второй — расширение науки; в третьей — практически-политическую революционность класса, носителя материализма.

Хронологически атака началась с церковных позиций; оказавшись не под силу одному поколению, она продолжалась следующими, более революционными. В начале века мы имеем Бейля, достойного преемника Монтэня и Шаррона. Но на скептицизме атакующие не остановились; это направление быстро сменилось теизмом; если скептицизм сомневался в вере и не очень доверял притязаниям безверия, то теизм определенно порвал с церковной религией, хотя и оставлял вопрос об откровении открытым и допускал личного бога. Но, укрепленный английскими „вольнодумцами", он также довольно быстро, уже к пятидесятым годам, превратился в деизм, мирившийся с богом, лишь как с мировым разумом, первым „законодателем" мира. Имя Вольтера навсегда будет ассоциироваться с понятием деизма.

Деизм, культивируемый на французской почве Вольтером, знаменовал победу светской науки, по существу, материалистической. Не случайно, что Вольтер был наиболее рьяным и лучшим пропагандистом и популяризатором Ньютона. Крупнейшие ученые века: Д'Аламбер, Эйлер были деистами. Но уже в этом факте можно видеть, что жертвы бывали не только со стороны обороняющихся, но и со стороны нападающих. Вольтер, Д'Аламбер и им подобные, рассматриваемые как бойцы революционной армии, несомненно, являются выбывшими из строя, поскольку они не пошли дальше деизма.

Однако ряды пополнялись. Бывало и так, что новые бойцы быстро проделывали эволюцию старших поколений. Один из таких, дошедший до конца, Дидро, в несколько лет прошел путь от католицизма до атеизма. К 1750—1755 году можно считать, что атеизм и материализм во Франции был в общем сформулирован, и началось применение последнего к области „социальной этики", т.-е. политики. Эта задача на-ряду со стальной чеканкой общематериалистических принципов может считаться законченной к 1770 году, году издания „Системы природы".

Если политическая доктрина материалистов была более умеренной, чем у Руссо и Мабли, то, во-первых, она была в исторических условиях более трезвой и актуальной, а, во-вторых, она была доктриной более сильного экономически класса. Политическое же учение мелкой буржуазии (Руссо, Мабли) было для своего времени более утопичным, а в экономическом отношении, несомненно, реакционным в сравнении с учением материалистов.

Бегло намеченная нами интеллектуальная борьба во Франции XVIII века была лишь иной стороной классовой борьбы, временами глухой, временами бурной, взорвавшей, наконец, старый режим в 1789 году. На этом интеллектуальном фронте третьим сословием, неоднородным уже по классовому составу, руководила наиболее мощная экономически буржуазия в лице своей интеллигенции. Если в „литературной республике", этой головке буржуазии, мы встречаем выходцев из разных общественных групп, — помещик Гольбах, бывший откупщик податей Гельвеций, сын ремесленника Дидро, пролетарий-литератор, а затем чиновник Робинэ, наконец, монах Дом-Дешан, — то это было лишь отражением той большой коалиции, которая наметилась в недрах третьего сословия к третьей четверти века.

Как мы говорили, не все указанные группы шли до конца, но следует особо подчеркнуть, что была и *такая* группа, именно группа материалистов, наиболее глубоких, последовательных и смелых врагов старого порядка во всех его проявлениях. Хотя и острая, но затянувшаяся классовая борьба способствовала полному вызреванию этой революционной идеологии еще в рамках дореволюционных. Отсутствие условий для экономического вызревания буржуазии в этих рамках повлекло бы за собой то, что мы не имели бы французского материализма в той отчетливой и завершенной форме, в какой он теперь стоит перед нами. Непримиримость католицизма, корни которого в феодальной экономике, и зрелость буржуазии, корни которой в капиталистической экономике, довели французскую философию до атеизма, подобно тому как упорство дворянства, феодальной знати, только увеличивало у экономически руководящего класса ссылки на „естественное" право и призывы к „естественному" порядку. Овладение процессом производства, на-ряду с успехами физики и механики, заставляло буржуазию отказываться от тайн и мистерий религии откровения и довело ее до материалистической концепции, как революционной философии.

Иначе было на родине Радищева. Конечно, Россия второй половины XVIII века не была страной натурального хозяйства, но основными и решающими классами продолжали оставаться землевладельцы и крестьяне. Не было буржуазии в том ее количестве и в том качестве, как во Франции. Побывавший в гостях у „северной Семирамиды" Дидро, да и не он один, упорно доказывал, что без „третьего чина" России не обойтись, если философ на троне всерьез говорит о „благоденствии" страны. Одно время идея нарочитого создания этого „третьего чина" серьезно обсуждалась. Однако самый факт подобного обсуждения свидетельствовал, что два первых „чина"—дворянство и духовенство—были еще слишком крепки и не так, следовательно, великодушны, чтобы искусственно и ускоренно создавать себе врага. Это целиком относилось и к „первой дворянке", к Екатерине. Радищев хорошо понимал обстановку, когда он писал в 1782 году: „Если имеем примеры, что цари оставляли сан свой, дабы жить в покое, что происходило не от великодушия, но от сытостей своего сана, то нет и до скончания мира примера, может быть, не будет, чтобы царь упустил добровольно что-либо из своей власти, седяй на престоле" [1]).



Крестьянство и казачество времен Екатерины, очевидно, не было вовсе пассивным классом: пугачевское дело достаточно ярко свидетельствует об этом. Но требовать от русского крестьянства второй половины XVIII века определенной и четкой идеологии, конечно, не приходится. Крестьянство Франции говорило устами буржуазии, у нас и этого не могло быть по недостаточной зрелости и умственной отсталости доморощенной буржуазии.

Где же мог биться пульс действительной, а не внешней, лишь слегка прикрытой формой европеизации, где мог биться пульс нашей радикальной, если не революционной общественности? Придворная знать, крупное дворянство породить ее не могло, для этого нужно было добровольно совлечь с себя помещичьего Адама. И если впоследствии эти круги и выдвинули кое-каких радикалов, то застрельщиками быть они не могли.

Источником нашей общественности XVIII века, источником, не обильным водой, могла быть только группа средней руки дворянства, оказавшаяся на гражданской службе, хорошо, если по службе связанная с торговым капиталом, достаточно мощным в то время, наконец, группа, так или иначе связавшаяся с революционной идеологией Запада. *Из такой группы вышел А. Н. Радищев.*

Сын среднего помещика, получивший в Москве кое-какое воспитание и образование, бывший пажем Екатерины, он в 1766 году, семнадцати лет, был отправлен в числе нескольких других дворян учиться в Лейпциг. Пять с небольшим лет, проведенных в Лейпциге за учебой, создали Радищеву теоретический фундамент. Здесь он познакомился не только с официальными немецкими учебниками, но и с просветительной, в частности материалистической, философией Франции. Он сам сообщает, что внимательно читал книгу Гельвеция „Об уме" и „в оной мыслить научался".

Мы не задаемся целью писать биографический очерк Радищева и потому укажем только те моменты его жизни, которые помогут нам понять букву и социальный смысл трактата „О человеке". По возвращении в Россию в 1772 году, он был протоколистом в Сенате, затем служил в штабе генерала Брюса, но эта работа, видимо, не удовле-

[1]) Полное собрание сочинений А. Н. Радищева, М. 1907, том I, стр. 75.

творяла его, и в 1777 году он поступил на службу в коммерц-коллегию. Через десять лет он перешел на работу в петербургскую таможню, где в год издания своего „Путешествия" занимал должность управляющего. Есть целый ряд указаний на то, что он не только честно выполнял службу, но принимал близко к сердцу самую работу, к которой был приставлен, и задумывался вообще над судьбами торговли и промышленности страны. Так, напр., он был горячим поборником свободной торговли. Сын его, П. А. Радищев, пишет, что после смерти отца „английская фактория, признательная за заслуги, оказанные коммерции Радищевым, великим защитником фри-треда, вызвалась заплатить его долги".

Уже будучи в ссылке, в 1792 году Радищев пишет своему бывшему начальнику, управляющему коммерц-коллегией А. Р. Воронцову обширное „письмо о китайском торге". Подробнейшим образом с цифрами в руках Радищев перечисляет основные „статьи товара", как предметов торговли русских с китайцами: кожа, чай, шелковые ткани, посуда и проч. Письмо старается доказать, что прекращение по приказу русского правительства торга с китайцами в Кяхте вредно отражается на торговле, промышленности, транспорте Сибири и России в целом; наоборот, по его мнению, „нетрудно будет определить все выгоды, которые от торга с китайцами произойти могут" [1]). И он рисует перспективы развития всех отраслей народного хозяйства вследствие возобновления беспрепятственного „кяхтинского торга".

По возвращении из ссылки, за несколько месяцев до самоубийства Радищев, слишком легко поверивший александровской весне, пишет проект гражданского уложения, в котором, между прочим, весьма недвусмысленно доказывает необходимость облегчения у нас образования буржуазной земельной собственности. Помещикам должно быть предоставлено право свободно распоряжаться родовыми имениями; имения последних в роде не должны браться в казну и т. д.

Все это, а можно было бы указать и еще несколько подобных черт экономических воззрений Радищева, убеждает нас в том, что он был не просто дворянчиком, побывавшим за границей и кокетничавшим „вольтерьянством", каких было у нас много, но и мыслителем, понявшим для своего времени историко-экономический ход событий. Он стоял не над классами, как это полагает новейший исследователь В. П. Семенников [2]), а во главе только намечающейся русской буржуазии.

Эта классовая оценка Радищева идет вразрез с установившимся на него взглядом историков-идеалистов, как на поборника вообще „народного правления", стоявшего вне классов. Радищев—„рабства враг", горячий поборник освобождения крестьян, говоривший только от их имени, сторонник свободы вообще, демократии вообще и т. д., и т. д.

[1]) Ibid. том II, стр. 66 и сл.

[2]) В. П. Семенников, Радищев. Очерки и исследования, Птг. 1923, стр. 417



В таких взглядах на-лицо недооценка общественной роли буржуазии, как революционного класса конца XVIII столетия. Маркс говорил, что в буржуазных революциях революционная группа, меньшинство, выступает всегда, и притом объективно, как носительница интересов всего общества. Так и французская буржуазия выступала вовсе не как группа, отстаивающая групповые интересы, но интересы общества в целом. Аналогичную роль играл и Радищев. При данной тенденции развития уничтожение крепостного права переставало противоречить интересам буржуазного слоя русского общества, и если ряд русских представителей торгового капитала был, быть может, субъективно против освобождения крестьян, то это только подчеркивает, что Радищев под влиянием Запада осознал раньше других экономический ход событий.

Здесь мы переходим к личным, несомненно, особенностям Радищева, которые и поставили именно его в первые ряды общества. Другие выходцы из той же общественной группы, тоже „гуманисты", тоже „просветители", тоже „патриоты", в понимании этого слова XVIII веком, имевшие связь с Западом, заимствовали оттуда как раз не то, что было характерно для Франции, этой рассадницы „просвещения" века. Мы имеем в виду русских масонов и прежде всего распространенных у нас мартинистов.

В то время как у себя на родине philosophe inconnu, Сен-Мартен, был одиночкой, которого интеллигенция века устами Вольтера называла не иначе, как полупомешанным, наша интеллигенция дала значительные, особенно в Москве, кадры мартинистов. Во Франции XVIII века философ-мистик был белой вороной, у нас столь же исключительным явлением оказался незавершенный, правда, материалист Радищев, революционный идеолог и философ ранней буржуазии [1]).

Но в том-то и беда, в том-то и трагедия, что сама русская буржуазия недостаточно еще созрела в силу объективных причин, чтобы быть достойной и питать такого идеолога, как Радищев.

На французской почве Радищев, быть может, бросил бы службу, быть может, из него вышел бы Гельвеций, но русская почва не давала ему питательных соков. Русская действительность „уязвляла" его душу („я взглянул окрест меня—душа моя страданиями человечества уязвлена стала",—так начинает он свое „Путешествие"), но не давала ему сил для борьбы.

Гольбах, Дидро, Гельвеций терпеливо сносили сожжения своих книг,—но как растения, которые дают тем больше и тем лучшие цветы, чем больше их обстригают,—выбрасывали все новые и новые и более смелые книги. Почва давала им силы, а окружающая действи-

[1]) Мы оставляем в стороне слабые и косвенные указания на причастность Радищева к петербургским иллюминатам. О единственных точках соприкосновения основ их мировоззрения: веры в бога и бессмертия души речь будет ниже. Против мистиков вообще у Радищева имеются неоднократные выпады.

тельность—новые темы. В России действительность не уступала французской, но почва не была удобрена, а садовник сразу безжалостно обкарнал растение.

Это чувствовал Радищев, когда он в 1789 году, уже во время окончания „Путешествия" писал: „О вы, управляющие умами и волею народов властители, колико вы бываете часто кратко-видцы и близоруки, коликократно упускаете вы случай на пользу общую, утушая заквас, воздымающий сердце юности! Единожды смирив его, нередко навеки соделаете калекою" [1]). Если во Франции около 1770 года только грозили, что пока сжигают книги, но скоро начнут сжигать и авторов, то в России без предварительных угроз сразу и „единожды смирили" Радищева: около месяца он ожидал приведения в исполнение смертного приговора. Десятилетняя ссылка в Илимский острог, коей заменили смертный приговор, для человека на сорок первом году жизни, могла стать той же казнью, но лишь медлительной. Радищев так и отнесся к ней.

Социально-политическое выступление Радищева по силе своей и требованиям не уступало выступлениям французских материалистов, но оно было выступлением одиночки, не поддержанного классом, от имени которого он говорил. Это выступление было укрощено, и когда Радищев затронул философские темы, он был уже „навеки соделан калекою", не дойдя до материалистических высот своих французских коллег.

Таким образом пути развития русской теоретической мысли шли несколько иначе, чем во Франции. Вместо прямой линии—католицизм, скептицизм, теизм, деизм и атеизм, у нас получился зигзаг, православие, как отход от него—мистицизм и масонство, иногда слабая степень вольтерьянства и, наконец, незавершенный, изуродованный атеизм Радищева с теоретическим признанием материализма, но практическим исповеданием некоего деистического толка. Во Франции штурм церкви подготовил и укрепил штурм государства, у нас в лице Радищева одиночная вылазка против полицейского государства опередила атаку на религию, и разбитый бунтовщик потерял силу нападать на небо. Союз церкви и государства у нас не уступил союзу во Франции, как это блестяще заметил Радищев.

Власть царска веру сохраняет,
Власть царску вера утверждает,
Союзно общество гнетут:
Один сковать рассудок тщится,
Другая волю стерть стремится;
На пользу общую, рекут [2]).

Но силы нападающих, вернее нападающего, были слишком слабы. Сознание своей слабости, своего одиночества и отсутствия

[1]) Ibid., стр. 116.
[2]) Ода „Вольность", 10-я строфа.



„поборствующих" обстоятельств, единственного залога успешности дела, прекрасно понимал сам Радищев. В интересующем нас трактате „О человеке" он сознается: „Нужны обстоятельства, нужно их поборствие, а без того Иоган Гус издыхает во пламени, Галилей влечется в темницу, друг ваш в Илимск заточается" [1]).

## III.

Трактат „О человеке, о его смерти и бессмертии", являясь переводом на философский язык русской действительности XVIII века, носит на себе следы мучительной работы мысли автора. На протяжении десятков страниц Радищев идет вровень с революционными материалистами Запада,—нужды нет, если он нередко попросту излагает их мысли,—но в других главах, избрав себе в руководители немецких эклектиков, автор, не возражая по существу материалистам, тянет назад в сторону средневековья. Сознавая бессилие логических доводов против материализма, он взывает к сердцу, к вере и призывает к вере других.

Трактат, видимо, не предназначался к печати, это—„разговоры наедине с собой" во время илимской ссылки. Тема существенно актуальная в то время и особенно животрепещущая для автора в его условиях, при его характере и образе мыслей: смертен ли человек, или за гробом его ожидает некая новая жизнь, где он может свидеться со своими близкими, с которыми ему уже не суждено встретиться на земле.

Мы не будем, подобно Е. Боброву, страница за страницей излагать содержание трактата, но, конечно, мы должны познакомиться с общим ходом мыслей Радищева и его аргументацией.

Его теоретико-познавательные принципы разбросаны в кратких замечаниях, однако они имеют существенное значение, ибо, руководствуясь ими, он выявляет себя материалистом. Когда же он пытается стать на точку зрения бессмертия души, он сходит со своих гносеологических позиций.

Воспитанный на английском эмпиризме и французском сенсуализме, Радищев подчеркивает значение опыта и роль чувств, как источника познания. Разум—не начало, диктующее законы миру, не арсенал врожденных идей, не совокупность априорных форм; без чувств разум—ничто. „О гордое насекомое!—обращается Радищев к человеку,—дотронись до себя и познай, что ты и рассуждать можешь для того только [потому], что чувствуешь, что разум твой начало свое имеет в твоих пальцах и в твоей наготе" [2]). Таким образом не разум, а „чувственность" (очевидно, французское sensibilité) есть основной источник нашего знания.

Однако Радищев не сторонник Беркли. Ощущения наши есть

[1]) Ibid., том II, стр. 275.
[2]) Ibid. стр. 81 („Дневник одной недели").

следствия „физических причин". К этому признанию Радищев приходит таким путем: человек знает о вещах, его сила познания существует и тогда, когда он не познает данной вещи, следовательно, и вещь существует тогда, когда человек ее не познает; значит, „бытие вещей независимо от силы познания о них и существует само по себе".

„Сила познания" или, иногда иначе, „сила понятия" не есть для Радищева некая метафизическая сущность, душа, как субстанция; это, собственно, способ или метод познания. Мы познаем: вещи по тем переменам, которые они производят в нас, и союз или связи вещей. Первое познание — о п ы т, второе — р а с с у ж д е н и е. Однако радищевское „рассуждение" не есть локковская рефлексия, как самостоятельный источник познания, не считающийся с вещами, с опытом. Рассуждение—тот же опыт, но о п ы т р а з у м н ы й, как познание отношения вещей между собой, в отличие от о п ы т а ч у в с т в е н н о г о, как познания вещей. Представлениями Радищев называет „сведения о испытанном чувствовании", а мыслями (очевидно, понятиями) „перемены нашего понятия, производимые отношениями вещей между собой". Рассуждение, таким образом, в терминологии нашего автора есть познание бытия вещей без непосредственного испытания от них „перемен в силе понятия нашего". Когда сила познания выступает как рассуждение, мы называем ее умом или рассудком. „Рассуждение,—еще раз разъясняет Радищев,—есть не что иное, как прибавление к опытам, и в бытии вещей иначе нельзя удостовериться, как через опыт".

Сколько способов познавать вещи, столько и путей к заблуждению. Ошибки в опыте проистекают не от вещи и не от действия ее на наши чувства, ибо „внешние вещи всегда действуют на нас соразмерно отношению, в котором они с нами находятся, но от расположения нашей чувственности". Больному желтухой все представляется желтым. Ошибки в рассуждении также проистекают не от отношения вещей между собой, которое „непременно", но от нас самих. Средства избежать этих ошибок Радищев видит в законах формальной логики. Однако он понимает эту их формальность и настаивает на том, что посылки силлогизмов должны быть „предложениями опытов"; заключения из посылок, или рассуждения, должны быть „токмо прибавлением опыта".

Эти положения Радищева целиком укладываются в теоретико-познавательные основы французского материализма. Следует только отметить, что по вопросу о рассуждении он оказывается на стороне Гольбаха и Дидро против Гельвеция, не соглашаясь с тезисом последнего: судить это и есть ощущать.

Как и французы, Радищев основной корень заблуждений видит в воображении и в вымысле, т.-е. в отрыве от природы, от опыта в материалистическом его понимании. „При первом шаге в область неосязательную находим мы суждение произвольное". Так автор „Системы природы", указывая, что человек пренебрег опытом, чтобы питаться догадками, ставил себе целью „вернуть человека к природе". Так и Радищев предостерегает часто сам себя от „нутрозрительного" знания, от догадок, не основанных на опыте. Он вспоминает свои занятия в Лейпциге метафизикой, своего талантливого товарища Ф. В. Ушакова, и говорит о молодом человеке, который, „устремляемый бодростью душевных сил, обращает проницательность свою всегда на вещи, вне зримой округи лежащие, возносится на крилиях воображения за пределы естественности и нередко теряется в не осязаемом, презирая чувственность, столь мощно его вождающую".



Эмпирическое знание отнюдь не исключает возможности обобщать факты и, доходя до общих принципов, устанавливать абстрактные законы природы, говорить об отвлеченных началах. Но чтобы эти отвлеченные начала были истинными, соответствовали действительности, они должны быть абстрагированы от этой самой действительности. Не путем воображения или вымысла, но „водимый светильником опытности" „разыскатель причины вещи" устанавливает факты, сближает однородные и сходные из них, расчленяет их, определяет причины и следствия и, наконец, „поступая от одного следствия к другому, достигнет и вознесется до общего начала, которое, как средоточие истины, озарит все стези, к оной ведущие".

В приведенных методологических положениях виден все тот же ученик французского материализма, усвоивший через посредство последнего бэконовский метод. Эти положения Радищева сильно напоминают некоторые из тезисов „Мыслей об истолковании природы" Дидро, и если бы наш автор придерживался на протяжении всего трактата этих так ясно формулированных им принципов, он не уклонился бы от материалистической линии, но, как он сам говорит в одном месте, „сердце в восторге нередко ввергало разум в заблуждение". Можно только добавить, что и сердце в отчаянии также способно ввергать в заблуждение разум, хотя бы и руководимый опытом.

После своих вводных, главным образом, методологических соображений, кстати сказать нигде не опровергаемых впоследствии, Радищев переходит ко второй части трактата, в которой доказывает с м е р т н о с т ь человека. В этой же части он трактует вообще о материи, „естественности", ее свойствах, неизменно оставаясь на своих принципиальных позициях, бегло намеченных нами. Поскольку эти вопросы впервые были формулированы на русском языке Радищевым, мы должны остановиться на них.

Склонный к некоторой аффектации, Радищев не без пафоса обращается к человеку: „Устремляй мысль свою; воспаряй воображение; ты мыслишь органом телесным, как можешь представить себе что-либо опричь телесности? Обнажи умствование твое от слов и звуков, телесность явится пред тобою всецело; ибо ты—она, все прочее догадка". Но если человек—всецело „телесность", т.-е. существо материальное, то провозгласивший такой тезис должен осмыслить все то многообразие, которое предстоит его глазам. Камень, растение, живот-

ное, человек,—все эти феномены должны быть как-то связаны между собой, должны быть однородны по своей основной консистенции, различаясь, говоря языком XVIII века, степенью организации. Французский материализм много поработал над этой проблемой сведения видимого многообразия к единству и, надо сказать, устами Робине, а еще больше Дидро, блестяще разрешил для своего времени задачу.

Если итти от общего к частному, то Радищеву нужно было наметить основные свойства „вещественности"; он не уклоняется от этой задачи и дает ответы, следуя Пристли, почему не всегда согласуется с французским материалистическим ядром.

Радищев перечисляет несколько формулированных в его время неотъемлемых свойств материи: „Непроницательность, протяженность, образ, разделимость, твердость, бездействие. Прежде чем перейти к их обсуждению, он ставит дополнительный вопрос: может ли вещественность, т.-е. материя, иметь жизнь, чувствовать имыслить,—иначе, может ли она обладать теми свойствами, которые приписываются обычно „духовным существам".

Определив совершенно в духе Гольбаха вещественность, как то, что „есть предмет наших чувств, разумея, есть или быть может предметом наших чувств", он переходит к свойству непроницаемости. В понятии „непроницательности" Радищев видит два смысла; первый заключается в том, что два тела или два атома не могут находиться в одно и то же время в одном месте. В этом смысле непроницательность уже содержится в более общем понятии пространства. Попутно Радищев и излагает свои взгляды на пространство и время. Здесь Радищев—материалист. „Что себе ни вообрази, какое себе существо ни представь, найдешь, что первое, что ему нужно, есть б ы т и е, ибо без того не может существовать о нем и мысль; второе, что ему нужно, есть в р е м я, ибо все вещи в отношении или союзе своем понимаются или единовременны, или в последовании одна за другою; третье, что ему нужно, есть п р о с т р а н с т в о, ибо существенность всех являющихся нам существ состоит в том, что, действуя на нас, возбуждают они понятие о пространстве и непроницательности". Все, что действует на наши чувства, производит в нас представление о протяженности и одновременно о непроницаемости. Общее же непроницательности и протяженности есть пространство. „Итак, всё, что имеет б ы т и е во в р е м е н и и п р о с т р а н с т в е, заключает в себе понятие н е п р о н и ц а т е л ь н о с т и, ибо и познания наши состоят токмо в сведении бытия вещей в пространстве и времени".

Употребляемое в таком смысле понимание непроницаемости, конечно, уже содержится в понятии протяженности и пространства. С другой стороны, такое понимание, весьма отдающее Декартом, вносит некоторую путаницу в установленную терминологию. Если бы Радищев и его в данном случае руководитель Пристли формулировали пространство как ф о р м у с у щ е с т в о в а н и я м а т е р и и, то



они избегли бы картезианского идентифицирования идеи пространства и протяженности.

Нужно сказать, что после такого материалистического понимания всего сущего Радищев неожиданно, вероятно, увлекаемый не совсем последовательным Пристли, заявляет: „Одна первая причина всех вещей изъята из сего (времени и пространства) быть долженствует". Плеханов в маргинальной пометке назвал это „вывихом", и совершенно справедливо. Дело только в том, что этот вывих Радищева объясняется не логикой его, а его сердцем, тем „вывихом", какой учинил над ним господствовавший в России класс. Уже в конце того же абзаца Радищев выпрямляется и, вспомнив свою теорию познания, заключает: „Увы! мы должны ходить ощупью, как скоро вознесемся превыше чувственности".

Второй смысл непроницаемости, по которому „одна вещь через другую проходить не может", Радищев так же следом за хорошим для своего времени химиком Пристли отвергает, отвергая таким образом, в противоположность Дидро, непроницаемость как существенное свойство материи.

Подобно непроницаемости в первом значении п р о т я ж е н н о с т ь и о б р а з, по Радищеву, также уже заключаются в понятии пространства, ибо „сколь скоро какое-либо вещество занимает место в пространстве, то занимать его долженствует определенно; сколь скоро имеет место в пространстве определенное, то имеет уже образ, то-есть протяженно, ибо образ есть определение протяжения". Таким образом Радищев не отрицает протяженности и образа, как свойств материи, но считает, что они даны постольку, поскольку дано пространство. Ясно, что поскольку, как признал сам Радищев, все дано в пространстве, делается как бы бесцельным всякое дальнейшее перечисление свойств вещественности. Но поскольку без них обойтись нельзя, постольку ему следовало вынести пространство как бы за скобку, признав его формой бытия материи, как мы уже говорили раньше. В конечном счете, Радищев не расходится с французами, напр., с Дидро; последний, перечисляя основные свойства материи, говорит о длине, ширине и глубине: на языке Радищева это и есть протяжение и образ.

Переходя к разделимости и твердости, Радищев указывает прежде всего на противоречия: если материя разделима до бесконечности, то „последние" частицы ее, очевидно, не „тверды" в смысле того, что должны поддаваться дальнейшему делению. Если же они „тверды", то тем самым деление материи не бесконечно. Сам он отрицает бесконечное деление („возможно ли так заблуждать и воображение пустое делать бытием?"), и это тем более характерно, что его руководитель Пристли, как известно, не остановился на молекулярной физике и дошел в своих опытах до химического разложения молекулы, этой последней грани бытия, по воззрениям XVIII века.

„Друзья мои!—говорит Радищев о предельной делимости материи,—раздробляя свойства вещественности, да не исчезнет она со-

всем, и да не будем сами тень и мечта". Однако не в твердости дело. „Твердость" есть следствие силы притяжения. Ньютон достаточно вошел в плоть и кровь науки XVIII века, чтобы можно было серьезно говорить о таком основном свойстве материи, как твердость [1]).

В связи с признанием сил притяжения и отталкивания встает следующий вопрос: свойственны ли эти силы материи или прилагаются к ней извне, скажем, духовной субстанцией (выступят ли таковыми монады или непосредственно господь-бог)? Обращаясь к повседневному и ежеминутному опыту, Радищев заканчивает свою несколько аффектированную тираду материалистическим выводом: „Вещественность движется и живет; заключим, что движение ему (миру) сродно, а бездействие есть вещество твоего воспаленного мозга, есть мгла и тень". Движение не отделимо от вещественности, в этом Радищев также согласен со всеми материалистами XVIII века.

Комбинации движущейся материи могут объяснить в общем феномены неорганического мира, но в состоянии ли они объяснить растения, животных и человека? Спинозовский аттрибут мышления устанавливал субстанциональный монизм; „чувствительность" французского материализма, как свойство материи, также давала ответ. По этому последнему пути идет и Радищев. Жизнь везде рассеяна и разновидна, живут не только существа органического мира, но и предметы мира неорганического. Эта жизнь „явственнее там становится, где наиболее разных сил сопряжено воедино". Сил этих там больше, где „превосходнее является организация". Наконец, „там, где лучшая бывает организация, начинается и чувствование, которое, восходя и совершенствуя, постепенно досязает мысленности, разума, рассудка".

Все эти рассуждения принадлежат в равной мере и Пристли, и французским материалистам, из которых они особенно ярко и именно в таком виде изложены у Дидро в „Элементах физиологии". Правда, жизнь встречается без чувственности, а чувственность без мысли, но два последних качества могут быть сведены к элементарной „раздраженности", правильнее, раздражимости, а последняя является носительницей жизни.

Итоги всех рассуждений Радищева выражены им так же кратко, как и у Дидро: „Мысль, чувственность и жизнь суть свойства вещества непроницательного, протяженного, образованного (несомненно, французское organisé), твердого и проч." [2]).

Но этот вывод влечет за собой и следствие в отношении так называемой души. Материалист, которого Радищев заставляет произнести в конце второй части трактата несколько приподнятый монолог, формулирует взгляд на душу так: „То, что называют обыкновенно душой, то-есть жизнь, чувственность и мысль, суть произведение вещества единого, коего начальные и составительные части суть разнородны и качества имеют различные и не все еще испытанные". Материя на известной ступени организации мыслит; души, как субстанции, нет; душой мы называем совокупность наших ощущений и представлений, а такая душа, очевидно, будет разделять участь тела, вещественности. С распадением данной организации место законов тел живых заступают законы тел просто органических и затем, быть может, даже неорганических. Человек смертен...

Как смотрел материализм XVIII века на смерть? Смерть не есть полное уничтожение. Материя исчезнуть не может. Но бессмертен не человек, как личность, бессмертна молекула,—говорил Дидро; человек же, данное сочетание молекул, со смертью уходит и исчезает навсегда вместе со своей „душой", со своими мыслями и представлениями.

Таким образом, признавая бессмертие материи, уже французский материализм отрицал бессмертие личное. Впрочем, у Дидро имеется очень художественная переписка на эту тему со скульптором Фальконэ. Дидро признает бессмертие личности, но лишь в памяти друзей и потомства. К этому взгляду был близок и Радищев, когда над головой его еще не разразилась гроза: „сердце мое не пусто, я живу не одной жизнью, живу в душе друзей моих, живу стократно". В таком смысле Радищев жив и по сей день, но, очевидно, это—жизнь для других, а не для Радищева.

## IV.

Исходя из материалистических предпосылок, Радищев логически стройно развивает на протяжении десяти страниц доводы против бессмертия души. „Памяти престол есть мозг, все ее действия зависят от него, и от него единственно; мозг есть вещественность, тело гниет, разрушается. Где же будет память твоя? Где будет прежний ты, где твоя особенность; где личность?" Но Радищеву-материалисту возражает Радищев-нематериалист: „Жестокосердый! Ты лишаешь даже надежды претертую злосчастием душу, и луч сей единственный, освещавший ей во тьме печалей, ты погашаешь".

Здесь начинается трагедия Радищева-материалиста, а вместе с ним русского материализма XVIII века. Логически возразить нечего. Не возражать? Бесконечно тяжело. Никем не поддержанный, исторически рано и в безнадежных условиях выступивший одиночка, переживший месячную угрозу смертной казни, „помилованный" и отправленный за десяток тысяч верст в ссылку, Радищев, без детей и друзей, хочет иметь надежду когда-либо свидеться с близкими. Эта жизнь безмерно быстрыми шагами приближается к неизбежному концу. А что за ним? Быть может, и даже достоверно, ничего, но хочется утешаться надеждой на будущую жизнь. „Я уловить хочу, пускай не ясность и не очевидность, но хотя правдоподобие или же токмо единую возможность, что некогда и где—не ведаю—облобызаю паки друзей моих и скажу им (каким язы-

[1]) Ibid., том II, стр. 214.

[2]) Глава первая книги Пристли „Disquisitions...", в которой автор особенно подчеркивает значение силы притяжения, имеется в русском переводе в „Книге для чтения по истории философии" А. Деборина, т. I.

ком—теперь не понимаю): люблю вас по-прежнему!" Таково начало трактата, и такова прозрачная красная нить двух последних его частей.

Первые две части трактата, в которых Радищев выступает определенным материалистом, mutatis mutandis, можно было бы назвать критикой чистого разума; вторые две части, в которых он же готов склониться к „мнению, утешение вливающему в душу скорбящую"— критикой практического разума. Но трагизм усугубляется еще тем, что желающий верить в личное бессмертие Радищев не видит для такой шаткой веры никакого основания, кроме не менее шаткой надежды, а Радищев-материалист чувствует, что, как ни сильны его позиции, он сдаст их без боя ради утешения Радищева-деиста.

Неудивительно, говорит материалист во второй части трактата, что те, кто не считается с природой, с опытом, возмечтали о своем бессмертии, но неудивительно так же, что и „бедствием гонимые, преследуемые скорбию, болезнию, мучением ищут прибежища превыше жизни". Именно таким „бедствием гонимым" был исторический Радищев. Материалист в нем понимал сторонника бессмертия души. Но, конечно, понимать—еще не значит оправдывать, и сознание теоретического заблуждения не покидает павшего духом Радищева. Предательски сомневающееся „если" часто встречается на последних страницах трактата.

Стремясь придать хоть тень обоснованности своим новым доводам на сей раз в пользу бессмертия души, он специально на этот случай вносит коррективы в свои теоретико-познавательные принципы. Ведя рассказ от своего имени и не скрывая своей личной заинтересованности (надежда и утешение в скорбной жизни!) в положительном ответе на вопрос, он дает несколько автобиографических данных. Вспомнив о том, что он был близок смерти, он хочет уверить других, что „в касающемся до жизни и смерти чувствование наше может быть безобманчивее разума". Очевидно, что чувствование, sentiment, не то же, что ощущение, sensation, как первичный акт познания. Чувствования, переживания субъективны и не могут быть той надежной опорой для рассуждения, о которой говорил ранее Радищев. Эти чувствования, эти „сердечные побуждения" как раз рассматривались им, как первый источник заблуждений. Эти же чувствования загнанного и затравленного человека приводят Радищева к иным руководителям, нежели Гольбах и Пристли: теперь он пользуется аргументацией Мендельсона и далее Гердера.

„Федон" Моисея Мендельсона привлек внимание Радищева по вполне понятным субъективным причинам. Как известно, в платоновском „Федоне" один из учеников Сократа передает рассказ о последних часах жизни греческого философа. Сократ излагает доказательства бессмертия души. Мендельсон взял эти же рамки, но заставил Сократа привести новые доказательства в духе лейбницианства. Модернизованный Сократ, уже раз доказывавший личное бессмертие, исходя из платоновского учения об идеях, в XVIII веке принужден Мендельсоном доказывать то же самое, исходя из закона непрерывности и закона сохранения силы. Поскольку природа не делает скачков, постольку скачок от жизни к совершенной смерти, невозможен, а поскольку в природе нет полного уничтожения, постольку сохраняется и душа! Такими дешовыми аргументами оперирует Сократ у Мендельсона, такими же аргументами оперирует в третьей части и Радищев.



Характерно то, что Мендельсон исходит из предпосылки субстанциональности души; Радищев же, отрицавший то во второй части трактата, излагая Мендельсона, оставляет свои прежние принципы не опровергнутыми, создавая таким образом вопиющее petitio principii [1]). Характерно далее то, что во втором разговоре Мендельсон доказывает, что „материя рассуждать не может". Радищев этих аргументов не взял, точно так же, как он, несомненно, умышленно не взял раньше у Гольбаха „моральных" аргументов, т.-е. не использовал того принципиального положения французских материалистов, коим они доказывали, что атеизм и отрицание загробной жизни нисколько не отражаются на нравственном поведении человека. Характерно, наконец, что и у Платона, и у Мендельсона вера в бессмертие души имеет совершенно иную подоплеку, чем у Радищева. По их Сократу, тело для истинного философа—обуза; „ничего нет презрительнее, как философ, опасающийся смерти", говорится там. После смерти, душе ничего не остается, кроме мудрости, любви к добродетели и познания истины, а, ведь, это как раз и составляет призвание философа. У Радищева таких мыслей нет, они противоречат всему его жизнерадостному мировоззрению отнюдь не созерцательного характера. Радищев не жаждет смерти, но ввиду ее неизбежности ищет на остаток дней своих утешения в мысли о сношениях за гробом с близкими, расставаться с которыми он, однако, не хотел бы.

Все это заставляет нас признать обращение Радищева за помощью к Мендельсону чисто-внешним и при других обстоятельствах жизни невозможным.

Изложив добросовестно аргументацию Мендельсона, Радищев признается, что „в доводах наших нет очевидности". Он чувствует, что необходимо попытаться обосновать субстанциальность души. Не опровергая вовсе сказанного во второй части, он, по существу, повторяет все то, что было известно и французским материалистам: душа „проста, непротяженна, неразделима, среда всех чувствований и мыслей, словом есть истинно душа, то-есть существо, от вещественности отменное". Эти постулаты предвидел и сам Радищев, когда он устами материалиста спрашивал: как может вещество простое действовать на сложное? непротяженное—на протяженное? как непротяженное заключается в протяженном? В сознании, что вопросы эти оста-

[1]) На это обстоятельство несколько раз обращает внимание и Г. В. Плеханов в своих маргинальных заметках при чтении трактата. Опубликованы в сборнике „Группа Освобождение Труда", М. 1924.

нутся без ответа, материалист заявлял тогда противнику, что, желая сделать душу отличной от тела, он делает ее „веществом совсем мысленным"; „она уже не вещество, — единственно отвлечение, точка математическая, следовательно, воображение, сон, мечта".

Радищев, постулируя все же субстанциальность души, еще раз принужден сознаться, что доводы его метафизичны, умозрительны и для многих покажутся слабыми. „Я сам знаю, чувствую,—признается он,—что для убеждения в истине о бессмертии человека нужно нечто более, нежели доводы умственные, и поистине касающееся до чувствования чувствованием должно быть подкрепляемо" [1]).

Как только он вступает в сферу субъективных „чувствований", как только сходит с пути рассудка и прибегает к „сердечным доводам", так, естественно, он быстро приходит к внутреннему, субъективному убеждению в бессмертии души. Но объективного значения эта его аргументация вовсе не имеет. Здесь у него руководители Гердер и отчасти Боннэ. Радищев пользуется идеей лестницы восходящих существ. Минерал, растение, животное, человек... На этом Дидро кончал, ибо он не отрывался от опыта. Материя на каждой ступени развития обладала у него всеми своими свойствами, на одних ступенях в свернутой форме, на других—в развернутой. Эта идея „лестницы восхождения в веществах", несомненно, была уже намечена Лейбницем, но у материалистов она была согласована с научным опытом, у Гердера же и у непоследовательного материалиста Боннэ—с „опытом" религиозным; именно за этими последними поплелся и Радищев. „Неужели человек есть конец творению? [2]) Ужели сия удивления достойная постепенность, дошед до него, прерывается, остановляется, ничтожествует? Невозможно",—наивнейшим образом отвечает Радищев. Ну, а раз человек есть наполовину телесное существо, а наполовину духовное, то, значит, выше его стоят существа исключительно духовные, ergo человеческие души бессмертны. Нужно сказать, что Радищев не шел так далеко, как Боннэ; последний,—даром что был прекрасный естествоиспытатель,—точнейшим образом определял дальнейшие звенья восходящей лестницы: ангелы, архангелы, херувимы, серафимы и т. д.!

Взяв себе в менторы Гердера, Радищев излагает его взгляды на бессмертие души, которые мы по недостатку места можем без всякого ущерба опустить.

Достойно примечания только одно место, где Радищев упоминает о боге, и где бог выступает не богом деиста, а весьма напоминает бога спинозиста. Радищев протестует против чудес, как противоестественных действий божества. Чудеса, в смысле действий бога, „ежечасно возобновляются, но не исходя за пределы естественности; в ней нам

[1]) Ibid., том II, стр. 247.

[2]) „А почему бы и нет?",—пишет на полях Плеханов.

[3]) Ch. Bonnet, Contemplation de la Nature, IV partie, chap. XII.



ты явен, явен впоследствии (вследствие) непреложенных и непременных ее законов, тобою положенных. Естественность твоя есть чувственность; что ты без нее, как ведать нам?" В этом принципиальном тезисе бог Радищева совпадает с „чувственностью", с „естественностью", т.-е. с природой. К сожалению, Радищев не развивает этого положения, но и отсюда видно, что бог его не трансцендентен, а имманентен миру. Не имеем ли мы здесь дела с несколько устаревшей и для XVIII века терминологией, оставленной уже французскими материалистами?

Но и Гердер мало говорит рассудку Радищева. Он видит, что все его доводы лишь мечтания, правда, приносящие ему некоторое утешение. Уже в самом конце трактата, когда, казалось бы, Радищев должен был удостовериться в истинности своих взглядов и убедить самого себя, он снова впадает в скептицизм, умеряемый лишь в силу надежды, которую сулит ему вера в бессмертие: „Пускай рассуждение наше воображению будет смежно, но поспешим уловить его, потечем ему во след в радовании; мечта ли то будет или истинность, соблизиться с вами (дети и друзья) когда-либо мне есть рай. Лети, душа, жаждущая видети друзей моих, лети во сретение и самому сновидению: в нем блаженство твое, в нем жизнь".

Только при непосредственном чтении последних страниц трактата можно уразуметь ту философскую и личную трагическую борьбу, какую переживал в Илимске над своей рукописью Радищев. Вот-вот „нутрозрительным" путем дошел он уже до того, что душа его не может воплотиться по смерти в низшее животное, не может перейти в другого человека, а должна совершенствоваться, ибо „совершенствование есть мета (цель) жизни", но мыслитель вспоминает, что „путрозрительный" путь ведет к заблуждению, и одной фразой он разрушает все гердеровские построения, заявляя: „О, возлюбленные мои, я чувствую, что несуся в область догадок, и, увы, догадка не есть действительность!". В этом крике слышится исстрадавшийся, издерганный, надломленный человек. И после всего этого находятся исследователи, которые считают себя вправе говорить, что „Радищев бессмертие души отстаивает недвусмысленно" [1]). Между тем, эта так тяжело и болезненно переживаемая двусмысленность чувствуется и в заключительном аккорде трактата: „верь, скажу паки, верь, вечность не есть мечта".

Раздвоенность, выстраданная Радищевым, быть может, не делает чести ему, как философу. Последовательным, законченным материалистом он не был. Но он и не мог быть таковым. Для этого нужна была иная обстановка, иная группировка классов и иная личная судьба. Радищева, пожалуй, больше чем кого другого необходимо брать не только в связи его идей, но и в связи с той почвой, на которой он рос, и которая его питала.

Английский материализм XVII века был по сравнению с фран-

[1]) Г. Шпет, op. cit., стр. 66.

цузским материализмом незавершенным. Таким же должен был быть и русский материализм XVIII столетия. На-лицо был созревший мыслитель, но этому мыслителю нехватало сил, которые ему должны были дать окружающие; окружающие же еще сами не созрели. Вместо того, чтобы итти вперед, Радищев остановился в своем развитии, остановив намечавшееся было развитие русского материализма. Кроме него, в то время этой задачи никто не в силах был выполнить, и она осталась незавершенной.

Но в своих заблуждениях он был прав: он не умер, не исчез бесследно; он живет и долго будет еще жить в этом мире, правда, не так, как думал он сам, а так, как думал другой материалист, Дидро,—в памяти поколений.

*И. Луппол.*

# Г. Лукач и его критика марксизма [1]).

Коммунизм — это практика материализма, материализм — это теория коммунизма.

## I.

Тов. Лукач в своей книге „Geschichte und Klassenbewusstsein“ (1923) выступил в роли философского критика марксизма. Надо отдать справедливость автору. Он чрезвычайно искусно завуалировал свои идеалистические и даже мистические тенденции. Однако спрятать идеалистические уши не так-то легко, несмотря на всю тонкую дипломатию т. Лукача. И всякий мало-мальски образованный марксист при некотором усилии мысли заметит легко эти выступающие из моря кудрявых фраз идеалистические тенденции.

Нельзя назвать удачным или оригинальным прием, к которому прибегает т. Лукач и который состоит в противопоставлении Энгельса Марксу. К этому приему уже неоднократно прибегали всевозможные критики марксизма как из буржуазного лагеря, так и критики из породы ревизионистов. Одни из них доказывали, что Энгельс скатился к материализму, но Маркс никогда в этом грехе якобы повинен не был. Другие доказывали как раз обратное. С другой стороны, все „критики“ считали невозможным совмещение диалектики с материализмом и обвиняли одинаково обоих основоположников марксизма в вопиющей непоследовательности. Диалектика, говорили они, может иметь место лишь в области духа, сознания, оперирующего понятиями. Но о какой диалектике может итти речь в области материального мира? Они одним ухом слышали, что диалектик Гегель был идеалист, что с его точки зрения основой бытия является понятие, дух; стало быть, заключили они, диалектика совместима лишь с идеализмом. Материалистическую же диалектику или диалектический материализм они объявили логической бессмыслицей. Запоздалым критиком этой

[1]) Одновременно настоящая статья передана редакцией Обществу воинствующих материалистов для выпуска отдельной брошюрой к V конгрессу Комм. Интернационала.

последней породы является Вендорф [1]), который повторяет старый вздор о неприложимости диалектики к эмпирической действительности. Не трудно понять, почему буржуазные критики марксизма так пренебрежительно относятся к материализму и так „нетерпимо" к материалистической диалектике. Их „нетерпимость" объясняется тем, что они „терпеть" не могут, как выразился Плеханов, некоей революции и некоей диктатуры.

Взгляды Вендорфа разделяет и Вернер Зомбарт, который в своей последней статье „О понятии закономерности у Маркса" [2]) объявляет приложение гегелевской диалектики к эмпирической действительности „чудовищным" заблуждением. И В. Зомбарт сочувственно цитирует из книги т. Лукача то место, где последний, критикуя Энгельса, вскрывает якобы расхождение его с Марксом по вопросу о приложимости диалектики к природе. „Новый взгляд на сущность диалектического метода Маркса,—пишет Зомбарт,—отстаивает ныне Г. Лукач в своей книге „История и классовое сознание". По его мнению, Энгельс совершенно не понял учения своего друга. В противоположность Энгельсу, применение диалектического метода необходимо ограничить социально-исторической действительностью [3]). Далее Зомбарт приводит даваемое Лукачом определение диалектики.

Итак, Лукач выступает с новым взглядом на сущность диалектики. В одном чрезвычайно важном и существенном пункте существует полное согласие т. Лукача с Вендорфом и Зомбартом: это—в вопросе о неприложимости диалектики к природе. К сожалению, т. Лукач очень скуп на аргументации там, где необходимо развить свои мысли до конца. Он упорно молчит, когда следует говорить. И поэтому от его писаний остается досадное впечатление двусмысленности.

В самом деле, вопрос о приложимости или неприложимости диалектики к природе неразрывно связан с вопросом миросозерцания в целом. Товарищ Лукач становится на почву тех, кто так или иначе признает исторический материализм, но отвергает философский материализм. В полном согласии опять-таки с буржуазными критиками марксизма т. Лукач и его единомышленники говорят с пренебрежением о „натуралистической метафизике" Энгельса и Плеханова. „Натуралистическая метафизика", это — псевдоним материализма. Проникшись предрассудками буржуазных философских писателей, тов. Лукач усвоил как их жаргон, так и их отрицательное отношение к материализму. Правда, т. Лукач воздерживается от обстоятельного изложения своих сомнений по этому вопросу. Мы поэтому пребываем в полной неизвестности насчет тех философских соображений, которые заставляют его отвергнуть философский материализм. Но одно для нас несомненно: т. Лукач отвергает как материализм, так и диалектику в применении к природе. Этот вывод чрезвычайно важен, и мы его пока лишь зафиксируем. Из этого вывода можно было бы заключить, что наш автор дуалист: идеалист, поскольку дело касается природы, но диалектический материалист в отношении к социально-исторической действительности. Однако этот вывод надо признать слишком поспешным, так как из дальнейшего мы увидим, что мы действительно имеем дело с новым пониманием диалектического метода, т.-е. с таким понимаем, которое идет в разрез с марксизмом,—с диалектическим материализмом. Или, иначе говоря, мы убедимся, что т. Лукач стоит всецело на идеалистической точке зрения и в отношении социально-исторической действительности, так как для него собственно категория сознания является в некотором роде субстанцией или истинной действительностью. В этом отношении т. Лукач чрезвычайно напоминает Бруно Бауэра с его „философией самосознания", столь едко осмеянной К. Марксом. В общем взгляды т. Лукача представляют удивительно пеструю смесь из идей ортодоксального гегельянства, сдобренных идеями Ласка, Бергсона, Вебера, Риккерта и... Маркса и Ленина. Уже априорно можно сказать, что если это так, то мы в лице т. Лукача имеем действительно новатора.

[1]) См. статью H. Wendorf, Dialektik und materialistische Geschicht sauffassung (Historische Vierteljahrschrift, XXI Jahrgang, 2 H.).

[2]) Werner Sombart, Der Begriff der gesetzmässigkeit bei Marx, Schmollers Jahrbuch, 47 Jahrgang, 1924.

[3]) Там же, стр. 30.



## II.

Т. Лукач имеет последователей и является в некотором роде главой целого направления, к которому примыкают т.т. Корш[1]), Фогараши, Ревай и др. При таком положении вещей пройти мимо этого явления представляется невозможным. Необходимо подвергнуть критике, по крайней мере, основные принципы „нового течения" в марксизме.

Книга Лукача открывается критикой Энгельса. Уже в предисловии автор заявляет, что он в своей книге намерен защищать ортодоксальный марксизм даже от Энгельса. Далее автор в том же предисловии подчеркивает, что он не имеет намерения ревизовать, улучшать учение Маркса, а дать лишь интерпретацию марксизма в духе Маркса. Задача, как видит читатель, весьма почтенная. Но такая постановка вопроса способна немедленно вызвать сомнение в ее правильности, особенно если вспомнить, что Энгельс работал в тесном дружеском союзе с Марксом на протяжении сорока лет и что основное философское произведение Энгельса написано при непосредственном участии самого Маркса. А между тем это-то произведение Энгельса—речь идет об „Анти-Дюринге"—т. Лукача и его последователей не удовлетворяет. Какой же после этого смысл пря-

[1]) См. его книжку „Philosophie und Marxismus" (имеется русский перевод, под ред. Г. Баммеля).

таться за широкую спину Маркса и оттуда показывать кукиш Энгельсу? Энгельс, можно сказать, не напечатал при жизни Маркса ни одной строчки без его одобрения. В предисловии ко второму изданию „Анти-Дюринга“ Энгельс пишет, между прочим, об этой их совместной работе следующее: „Замечу мимоходом, что излагаемое в настоящей книге мировоззрение в главной своей части обосновано и развито Марксом и только в самой незначительной степени мною, и само собою разумеется, что это мое сочинение не могло появиться без ведома последнего. Я прочел ему всю рукопись перед тем, как отдать ее в печать, а десятая глава второй части („Из критической истории“) написана Марксом, и только по внешним соображениям ее пришлось, к сожалению, несколько укоротить. Таков уж издавна был наш обычай помогать друг другу в специальных областях“. Казалось бы, это свидетельство Энгельса должно было несколько умерить „критический“ пыл реформаторов. Во всяком случае у почтенных „критиков“ нет никакого основания щадить Маркса, который читал в рукописи „Анти-Дюринга“. Мало того, изложеное Энгельсом мировоззрение обосновано и развито Марксом...

Т. Лукач утверждает, что Энгельс отошел от Маркса, извратив взгляды своего друга. Маркс де ограничил применение диалектического метода социально-исторической действительностью, в то время как Энгельс распространил диалектику также и на природу. Но это обвинение, как мы уже видели, решительно ни на чем не основано. Маркс и Энгельс одинаково „повинны“ в распространении прав диалектики на природу. Основоположники марксизма не были эклектиками, подобно Лукачу, а выдающимися мыслителями. Но естественно, что каждый человек считает себя „мерой вещей“ и судит других по себе. Т. Лукачу хочется, чтобы Маркс был с ним, а потому он ему приписывает свои мысли, свои идеи, свое понимание диалектики. Таким образом выходит, что не Энгельс, а Лукач извратил взгляды Маркса.

Лукач расходится с Марксом и Энгельсом не только в вопросе о приложимости диалектики к природе, но и в самом понимании существа диалектики. Оказывается, что Энгельс внес и в этот вопрос большую путаницу, упустив самое существенное и сосредоточив свое внимание на второстепенных и малосущественных моментах диалектики. Лукач утверждает, что и в этом вопросе Маркс на его стороне, и поэтому он считает себя призванным защитить Маркса против Энгельса.

Оба обвинения против Энгельса Лукач формулирует в одном кратком примечании, которое приводим дословно: „Ограничение метода общественно-исторической действительностью очень важно,—говорит наш автор.—Недоразумения, вытекающие из энгельсовского изложения диалектики, покоятся, главным образом, на том, что Энгельс, следуя дурному примеру Гегеля, распространяет диалектический метод и на познание природы. Но, ведь, самые существенные



определения диалектики—взаимодействие субъекта и объекта, единство теории и практики, историческое изменение субстрата категорий, как основание их изменений в мышлении и пр.,—к познанию природы не приложимы“ [1]). И автор тут же спешит оговориться, что он, к сожалению, лишен всякой возможности более подробно остановиться на этом вопросе. Почему он лишен всякой возможности объяснить нам свое расхождение с Энгельсом, мы не понимаем. Казалось бы, он обязан был, предъявив такое серьезное обвинение Энгельсу, привести и кое-какие доводы в пользу своего взгляда. Но на нет, как говорится, и суда нет.

Таким образом мы имеем у Лукача новое понимание диалектики; или, вернее, мы имеем ограничение, сужение диалектики до трех приведенных определений. Но с его пониманием диалектики не согласился бы ни Маркс, ни Гегель, которых автор так усердно цитирует, стремясь доказать свою правоту и свое с ними согласие.

Но послушаем сначала т. Лукача. В первой главе своей книги, озаглавленной „Что такое ортодоксальный марксизм?“, автор доказывает или, точнее, указывает на значение метода марксизма. Метод, несомненно, имеет огромное значение: диалектический метод составляет, по словам Гегеля, душу всякого научного познания. Тем не менее, нельзя согласиться с утверждением Г. Лукача, что от ортодоксального марксиста требуется только признание метода. Мы, разумеется, вполне согласны с т. Лукачем, что в диалектическом материализме найден правильный метод исследования и что этот метод должен быть разработан, углублен и развит далее в духе его основателей. Но не можем согласиться с заявлением нашего автора, что содержание учения имеет второстепенное значение. Можно допустить, говорит он, что новейшие исследования докажут неправильность „всех отдельных“ суждений Маркса. В таком случае всякий серьезный „ортодоксальный“ марксист мог бы, безусловно, признать все новейшие результаты и отвергнуть „все отдельные“ положения Маркса, оставаясь в то же время ортодоксальным марксистом, ибо ортодоксальный марксизм означает не принятие наверу результатов исследования Маркса, не „веру“ в те или другие положения и не то или другое толкование „священной“ книги. Читатель должен будет признать это заявление чрезвычайно двусмысленным. Во-первых, что означают слова: „все отдельные“ (sämmtliche einzelnen) положения? Всякое учение составляется из совокупности отдельных положений. Стало быть, если мы отвергаем все отдельные положения данного учения, то очевидно, что вместе с ними мы отвергаем и учение в целом. Но т. Лукач любит выражаться „дипломатически“ и извилисто.

Маркс в своем „Капитале“ вскрыл внутренний механизм капиталистического общества, пользуясь диалектическим методом. Социа-

---

[1]) Georg Lukàcs, Geschichte und Klassenbewusstsein, S. 17.

лизм, по словам Энгельса, стал наукой, благодаря открытию Марксом материалистического понимания истории и разъяснению тайны капиталистического способа производства при посредстве прибавочной стоимости. Кто станет отрицать, что „Капитал" приходит к определенным „результатам". Оказывается, что, с точки зрения Г. Лукача, эти результаты сами по себе значения не имеют и легко могут быть опрокинуты новейшими исследованиями, отчего марксизм ни в малейшей мере ущерба не потерпит, ибо он останется при методе. Покорно благодарим, т. Лукач, за вашу любезность, но принять такую идеалистическую точку зрения ни один марксист не может. Для нас результаты столь же важны, сколь и метод. Находящийся у т. Лукача на подозрении по части ортодоксальности Ф. Энгельс справедливо придавал „результатам" огромное значение. Энгельс по поводу дюринговской критики „Капитала" замечает, что он прежде был в состоянии „различать метод от добытых им результатов и понять, что последние, в частности, вовсе не опровергаются тем, что первый вообще раскритикован". Энгельс, как мы видим, чрезвычайно дорожил результатами исследования „Капитала". „Ортодоксальный" же марксист Лукач готов пожертвовать „результатами" исследования „Капитала", с чем, конечно, никак нельзя примириться. Но какое значение может иметь метод сам по себе, если правильность его не подтверждается практикой, если „результаты" исследования приходят с ним в противоречие? Очевидно, что метод самодовлеющего значения не имеет, что он не представляет собою чисто-логическую схему, имеющую применение лишь в области чистой мысли. Если же рассматривать метод не с идеалистической, а с материалистической и диалектической точек зрения, то придется признать, что метод неразрывно связан с содержанием, с „результатами", что при правильном методе не может быть противоречия между ним и его содержанием. Для Лукача это обстоятельство значения не имеет, ибо он идеалист с ног до головы. Для него теория, метод приобретает некое абсолютное значение, и если действительность в него не укладывается, то тем „хуже для фактов". Однако такая постановка вопроса вытекает у Лукача из его своеобразного, идеалистического понимания сознания, а стало быть, и теории, которая противостоит действительности, или даже, правильнее, включает ее в себя. Единственно правильное, материалистическое понимание вещей, говорит Энгельс, состоит в том, что „принципы являются не исходным пунктом исследования, но его конечным результатом; они не применяются к природе и истории человечества, но абстрагируются из той и другой; не природа и мир человеческий движутся по принципам, но принципы справедливы лишь постольку, поскольку согласуются с природой и историей". Диалектические категории, составляющие содержание метода, не ведут самостоятельного существования, а даны вместе с объектом и предметом исследования. Спрашивается, как же возможно отказаться от результатов исследования и оставаться при методе. Наоборот, метод тем более



подтверждается, чем более он „соответствует" результатам и содержанию исследуемой действительности. Метод является, прежде всего, средством или орудием для отыскивания новых результатов. Диалектика преследует ту же задачу, но она вместе с тем „содержит в себе зародыш более широкого мировоззрения, так как она прорывает тесный горизонт формальной логики", как выражается Энгельс. Если бы исторический процесс противоречил диалектическому процессу, как это допускает т. Лукач, то тем самым диалектический метод доказал бы свою непригодность. Диалектический процесс не может существовать отдельно от исторического процесса.

## III.

Обращаясь к выяснению сущности диалектики, Г. Лукач подчеркивает, что единство теории и практики составляет предпосылку революционной функции теории. Теория является мысленным выражением самого революционного процесса. Однако этого значения теории не уяснил себе даже Энгельс. В его изложении диалектики нехватает самого существенного момента. Энгельс описывает, говорит он, диалектическую природу понятия в противоположность метафизической; он подчеркивает, что в диалектике неподвижность понятий и соответствующих им предметов не имеет места, что диалектика есть постоянный процесс, непрерывное снятие противоположностей и переход их друг в друга. Но самое существенное, а именно: диалектическое взаимодействие субъекта и объекта в историческом процессе, Энгельсом в его изложении диалектики даже не затрогивается и не упоминается. Между тем как именно это взаимодействие должно было бы занять центральное место, ибо без него диалектический метод, несмотря на „текучесть" понятий, перестает быть революционным методом. Ведь, для диалектического метода центральной проблемой является изменение действительности. Если центральная функция теории остается в пренебрежении, продолжает Лукач, то преимущество диалектического метода, имеющего дело с „текучими" понятиями, становится весьма проблематичным: это преимущество приобретает лишь чисто-„научный" характер. Метод сам по себе, — речь идет, разумеется, о диалектическом методе — может быть, в зависимости от состояния науки, признан или отвергнут, без того, чтобы что-либо изменилось в действительности. „Более того, непроницаемость, фаталистически-неизменный характер действительности, ее „закономерность" в смысле буржуазного, созерцательного материализма и внутренно с ним связанной классической экономии может еще возрасти, как это мы видели у махистов из последователей Маркса". Далее т. Лукач подчеркивает, что и махизм может породить из себя „волюнтаризм", но волюнтаризм буржуазный. Ведь, фатализм и волюнтаризм друг друга, с точки зрения диалектики, не

исключают, а дополняют, являются лишь диалектическими противоположностями, соотносительными понятиями.

Всё это рассуждение в высшей степени туманно и двусмысленно; выходит, что Энгельс, который не поставил в центре своего методологического исследования проблему об отношении субъекта к объекту в историческом процессе, скатился к буржуазному созерцательному материализму, к махизму, к фатализму и проч. И Лукач ставит на вид Энгельсу, что для диалектического метода центральной проблемой является изменение действительности, как будто не Маркс и Энгельс впервые не только выставили это положение, но и во всей своей деятельности строго его придерживались, как будто не они впервые формулировали коммунизм как практический материализм. Если материализм (Маркса и Энгельса) есть теоретический коммунизм, а коммунизм—практический материализм, то очевидно, что в этой формуле единство теории и практики и „революционная функция теории", говоря словами Лукача, диалектически выражены как нельзя лучше. Спрашивается: чего хочет еще Лукач, и к чему стремится этот реформатор? Это мы увидим из последующего. Но, предвосхищая дальнейшее, мы можем теперь уже сказать, что для него теория, а значит, и сознание имеют самостоятельное значение, независимое от „материи", от действительности, что он практику понимает столь же идеалистически, сколь и теорию, и что его понимание диалектики отлично от понимания Маркса и Энгельса.

Чрезвычайно странным надо признать отождествление закономерности с фатализмом и практики с волюнтаризмом, при чем закономерность заключается т. Лукачем в презрительные кавычки и объявляется „буржуазной" категорией. И если т. Лукач относится неодобрительно к махизму, то нам сдается, что причиною такого отношения является то, что махизм, по мнению Лукача, недостаточно идеалистичен, что он якобы является разновидностью буржуазного созерцательного материализма. Кстати, о каком современном буржуазном материализме говорит Лукач? Разве не известно, что буржуазия относится крайне враждебно ко всякому материализму, в том числе и к созерцательному и естественно-научному материализму?

Что же касается махизма, то он насквозь субъективистичен; закономерность физическая им, вообще говоря, отрицается. Ведь, необходимость и закономерность, как говорит Мах и его последователи, относятся не к внешнему миру, а к миру понятий. „Волюнтаризма" же в нем действительно много, слишком много. Но что это за волюнтаризм, который Лукач „дипломатично" сопоставляет с волюнтаризмом марксизма? Этот махистский волюнтаризм упирается, с одной стороны, как это мною было указано в другом месте, в метафизику воли, приближаясь в этом отношении к Шопенгауэру [1]. Но этот волюнтаризм, разумеется, ничего общего с марксизмом не имеет.

[1]) Ср. также Ленин, Материализм и эмпириокритицизм, 1920 г., стр. 158.



С другой стороны, практика как раз у махистов отмежевывается резко от теории. Разве не Мах проповедует, что „тот, кто в теории защищает крайний детерминизм, на практике неизбежно должен оставаться индетерминистом", „правильность позиции детерминизма и индетерминизма,—говорит тот же Мах,—не может быть доказана". Стало-быть, волюнтаризм Маха сводится к признанию сущности мира волей, т.-е. к волюнтаристическому идеализму, к чему питает склонность и Лукач. Волюнтаризм же не в теории, а в практике означает у махистов, как это правильно было указано Лениным, „субъективный метод в социологии". Махизм ничего общего не имеет даже с естественно-научным, буржуазным или созерцательным материализмом, как это думает Лукач.

Читатель видит, как Лукач талантливо запутывает самые простые вещи, и какую смуту он способен внести в умы читателей.

Мы уже видели, что Энгельс, по словам Лукача, сущности диалектического метода не выявил или не понял, и вследствие этого попал в объятия буржуазного материализма. Но вдруг Лукач опомнился и на той же странице своей книги заявляет нечто прямо противоположное, что, впрочем, не помешает ему через несколько строк вернуться к первоначальному обвинению. Так он пишет: „...всякая попытка „критически" углубить диалектический метод ведет к его опошлению. Ибо методологический (у него сказано: методический. *А. Д.*) исходный пункт всякой „критической" позиции состоит в отделении метода от действительности, мышления от бытия... Но необходимо установить, что эта критика вовсе не движется в том направлении, которое составляет внутреннюю сущность диалектического метода. Маркс и Энгельс высказались об этом в вполне определенных выражениях, не допускающих никаких кривотолкований" [1]). Непосредственно за этой фразой Лукач приводит цитату из Энгельса и из Маркса. Цитата из Энгельса гласит: „Диалектика сводилась этим к науке об общих законах движения во внешнем мире и в человеческой мысли: два ряда законов, которые в сущности тождественны, а по форме различны, так как человеческая голова может применять их сознательно, между тем как в природе, а большею частью пока еще и в человеческой истории, они действуют бессознательно, в виде внешней необходимости, посредством бесконечного множества кажущихся случайностей. Таким образом диалектика понятий сама становилась лишь сознательным отражением диалектического движения внешнего мира" [2]). К сожалению, Лукач обрывает эту цитату почти в самом начале, на словах „в сущности тождественны", и не без умысла. Вторая цитата из Маркса в подлиннике гласит так: „Как и при всякой исторической социальной науке, по отношению к экономическим категориям нужно постоянно иметь в виду, что как в дей-

[1]) G. Lucács, там же, стр. 16.

[2]) Энгельс, Людвиг Фейербах, 1906 г., стр. 61—62.

ствительности, так и в голове здесь дан субъект,—в нашем случае современное буржуазное общество, и что поэтому категории выражают формы бытия, условия существования,—часто только отдельные стороны этого определенного общества, этого субъекта...“ [1]). Наш тонкий диалектик, опираясь на эти две цитаты, приходит к следующим выводам. Во-первых, здесь, значит в том числе и у Энгельса, выражена истинная сущность диалектического метода. Во-вторых, Маркс ограничивает приложимость диалектического метода социально-исторической действительностью. В-третьих, из сопоставления обеих цитат следует мнимое расхождение между Марксом и Энгельсом в вопросе о приложимости диалектики к природе. Но Лукач не замечает, в какие он впадает противоречия, когда, соглашаясь с Энгельсом, что диалектика есть наука об общих законах движения во внешнем мире и в человеческой мысли, он отвергает диалектику „в познании природы“. С другой стороны, из приведенной им цитаты Маркса, где говорится специально об экономических категориях, отнюдь не следует, что Маркс отрицал приложимость диалектики к природе. Далее, Лукач подчеркивает, что сущность диалектики состоит в единстве мышления и бытия, метода и действительности. В самом деле, как Энгельс, так и Маркс определенно говорят о категориях, как о формах бытия, условиях существования данного субъекта, существующего как в действительности, так и в голове.

Единомышленник Лукача, т. Реваи, прямо говорит, что Энгельс и Плеханов вопрос о соотношении бытия и мышления разрешали не в духе диалектики, а в смысле натуралистической метафизики. Они извратили Гегеля, который учил о тождестве субъекта и объекта, бытия и мышления. Но они извратили не только Гегеля, но и Маркса, который тоже стоял, якобы, на точке зрения этого тождества. Что касается Плеханова, то он договорился даже до того, пишет Реваи, что считает возможным „основу психологии искать в физиологии нервной системы“. Энгельс, Плеханов и их последователи,—говорит даже тот же Реваи, верный ученик Лукача,—стоят на точке зрения „непонятного прославления“ естественно-научного познания. Что хотят этим сказать наши новаторы, один Аллах знает. Но, во всяком случае, верно то, что Маркс, Энгельс, Плеханов, Ленин и их последователи действительно осмеливаются „связать философски марксизм с натуралистическим материализмом“, как великолепно выражаются наши критики, и что их приводит в ужас. Все эти ортодоксальные марксисты стремились „сделать природу диалектичной“ (этот замечательный оборот мысли принадлежит т. Реваю). В этих словах никакого смысла, разумеется, нет. Никто никогда не стремился сделать природу диалектичной. Так могут выражаться только субъективные идеалисты, с пренебрежением относящиеся к „натуралистическому материализму“. С точки зрения диалектического материализма природа сама по себе

[1]) К. Маркс, Zur Kritik der politischen Oekonomie, XLIII стр.



диалектична. И лишь постольку и наше познание природы диалектично. Но, повидимому, объективного характера диалектического процесса природы и истории наши идеалисты понять не в состоянии. Вы видите, читатель, в какие идеалистические дебри вынуждены забираться марксисты, отрицающие философский материализм.

В своем стремлении „сделать“ природу диалектичной, ортодоксальные марксисты сделали диалектику натуралистической, говорят наши строгие критики. Ибо попытка рассматривать природу диалектически приводит к тому, что историческая диалектика остается в пренебрежении. Стремление включить историю в царство природы влечет за собою извращение диалектической структуры истории. Поэтому, заключают наши новаторы, не случайным является то обстоятельство, что политически-революционные ортодоксы относятся наивно-беззаботно к догматическому „буржуазному“ материализму, в то время как в кантианстве, махизме и пр. они усматривают непосредственную политическую опасность. И не случайным является также и то обстоятельство, что диалектикой, как теоретическим оружием, владели те марксисты, у которых она в своем философском значении была извращена и лишь внешне воспринята, между тем как те марксисты, которые критически преодолели примитивный материализм, отвергли диалектику не только в области философии, но и политической теории. Так поют лукачисты. Они резко отрицательно относятся к „догматическому“ „буржуазному“ материализму, но вежливо-снисходительно к кантианству и махизму, которые критически преодолели „примитивный материализм“. Они никак не могут понять, как это ортодоксальные марксисты „беззаботно“ относятся к „буржуазному“ материализму и в то же время громят махизм и кантианство. А, между тем, понять это очень легко. Ортодоксальные марксисты „громили“ и будут „громить“ (это выражение принадлежит лукачистам, пускающим по этому поводу слезу) махизм и кантианство именно потому, что это—системы идеалистические, а не материалистические. А к материализму они относятся положительно именно потому, что они марксисты, т.-е. материалисты. Даже французский, т.-е. буржуазный, материализм „впадал, по выражению Маркса, прямо в социализм и коммунизм“. Тот же Маркс, которого наши милые лукачисты хотят ныне тщетно превратить в идеалиста, полагал, что „не надо большого ума, чтобы понять необходимую связь, существующую между учениями французского материализма... и коммунизмом“. Он справедливо усматривал в материализме социалистические тенденции, логическую основу коммунизма. Но старый французский материализм отличался метафизическим и механистическим характером. И огромная заслуга Маркса и Энгельса заключается в том, что они его преобразовали в диалектический материализм. Лукачисты в недоумении останавливаются перед непонятным для них фактом. Как это могло случиться, что материалисты-марк-

систы [1]), „извратившие", правда, философскую природу диалектики, воспринявшие ее лишь внешним образом, все же владели диалектикой и стояли в области политики на почве революционного марксизма. Между тем как „критически" преодолевшие наивный материализм махисты и кантианцы выбросили диалектику за борт и оказались самыми вульгарными ревизионистами. Этого факта они объяснить не в состоянии, хотя и считают его „не случайным".

## IV.

Итак, Энгельс и его последователи проблему об отношении мышления и бытия, субъекта и объекта разрешают в смысле „натуралистической метафизики", т.-е. материализма, что очень не по душе нашим реформаторам. Они, истинные „ортодоксы", не в пример какому-нибудь Энгельсу, отвергают „наивный материализм" и утверждают тождество субъекта и объекта, мышления и бытия. При этом, как мы уже видели, они объявляют, что Маркс с ними, что они только восстанавливают истинного Маркса, которого так бесцеремонно извратил или не понял Энгельс. Насколько это справедливо, мы уже отчасти убедились. Ни на чем не обоснованные попытки противопоставления Энгельса Марксу должны вызвать самый резкий отпор. Никогда Маркс не стоял и не мог стоять на точке зрения тождества субъекта и объекта, мышления и бытия. Это чистейший идеализм, который могут проповедывать правоверные гегельянцы, вроде Лукача и его единомышленников, но который был абсолютно чужд Марксу. Ленин совершенно правильно протестовал против такой постановки вопроса А. Богдановым, с которым, кстати, у Лукача имеется вообще много общего. Ленин по вопросу о тождестве бытия и сознания писал следующее: „Общественное бытие и общественное сознание не тождественны—совершенно точно так же, как не тождественно бытие вообще и сознание вообще. Из того, что люди, вступая в общение, вступают в него, как сознательные существа, никоим образом не следует, чтобы общественное сознание было тождественно общественному бытию. Вступая в общение, люди во всех сколько-нибудь сложных общественных формациях—и, особенно, в капиталистической общественной формации—не сознают того, какие общественные отношения при этом складываются, по каким законам они развиваются и т. д... Общественное сознание отражает общественное бытие—вот в чем состоит учение Маркса. Отражение может быть верной, приблизительно, копией отражаемого, но о тождестве тут говорить нелепо. Сознание вообще отражает бытие,—это общее положение всего материализма" [2]). Все ортодоксальные марксисты стоят

[1]) Мы, конечно, не имеем в виду здесь Э. Бернштейна, которого Лукач по какому-то чудовищному недоразумению причисляет к материалистам. Не для того ли, чтобы скомпрометировать материалистов?

[2]) Н. Ленин, Материализм и эмпириокритицизм, 1923 г., стр. 27.



на указанной Лениным точке зрения. Бытие и мышление не тождественны, а различны. Бытие ведь существует независимо от сознания, как некая объективная реальность. Сознание или мышление лишь отражает бытие. Ленин за это отождествление бытия и мышления и обрушился на махистов со всей резкостью. Постановка вопроса о тождестве мышления и бытия, субъекта и объекта у Лукача и его единомышленников принимает еще более идеалистический характер, чем у махистов. Но подробнее остановиться на этой проблеме в данной связи не представляется возможным. Но заметим только во избежание недоразумения, что противоположность бытия и мышления, их различие следует понимать не метафизически, а диалектически. Между бытием и мышлением не существует абсолютной пропасти, но и не существует того идеалистического тождества, о котором говорит Лукач. Основное историко-материалистическое положение, по которому сознание определяется бытием, в свете философии тождества сознания и бытия совершенно извращается. И это особенно отражается на трактовке Лукачем „проблемы" пролетариата. Лукачистов не удовлетворяет данное Марксом, Энгельсом и Плехановым материалистическое решение вопроса об отношении между мышлением и бытием. Посмотрим же, хотя бы на примере Плеханова, как материалисты трактуют эту проблему. „Я есмь я для меня самого и в то же время—„ты" для другого. Я—субъект и в то же время объект. И надо заметить, кроме того, что я—не то отвлеченное существо, с которым оперирует идеалистическая философия. Я—существо действительное; мое тело принадлежит к моей сущности, более того—мое тело, как целое, и есть мое я, моя истинная сущность. Думает не отвлеченное существо, а именно это действительное существо, это тело. Таким образом, обратно тому, что утверждают идеалисты, действительное материальное существо оказывается субъектом, а мышление—предикатом. И в этом и состоит единственное возможное разрешение того противоречия между бытием и мышлением, над которым так тщетно бился идеализм. Тут не устраняется ни один из элементов противоречия, оба они сохраняются, обнаруживая свое истинное единство" [1]). Нам кажется, что это единственно правильное диалектическое разрешение вопроса. Тут подчеркивается не только момент единства, но и момент противоположности. Спрашивается, почему не удовлетворяет Лукача и его последователей эта материалистическая и в то же время диалектическая постановка вопроса? Вразумительного ответа на этот вопрос они не дают. Но нам было бы очень интересно узнать, чем они намерены заменить этот „натуралистический материализм".

Возражая против „перенесения" диалектики в природу, лукачисты выставляют поистине смехотворные соображения. С одной сто-

[1]) Г. Плеханов, Основные вопросы марксизма, изд. под редакцией Д. Рязанова, 1922 г., 19 стр.

роны, природа, рассматриваемая материалистически, непроницаема, утверждают они. Она остается метафизически противостоящим субъекту объектом, который неуловим, так сказать, для субъекта. Но как понимать это утверждение? Разве человек не изменяет своей деятельностью природу? Или природа недоступна человеческому познанию? Но если это так, то, ведь, нелепо гововить о „непроницаемости" природы? Другое глубокомысленное соображение сводится к тому, что „внесением" диалектики в природу мы подвергаем ее „историзации", но такая историзация или диалектизация природы неминуемо ведет к натурализации истории (или диалектики). Что сказать о таком сногсшибательном аргументе? Очевидно, наши ортодоксальные гегельянцы склонны смотреть на природу как на некое застывшее бытие, которое не подчинено законам исторического развития. Но утверждать такую нелепость в наше время совершенно непростительно. Никто другой, как Маркс, на авторитет которого лукачисты так охотно ссылаются, писал, что, в сущности говоря, существует лишь одна наука—наука истории, которая подразделяется на историю природы и историю людей [1]). Разумеется, это нисколько не исключает того обстоятельства, что история природы управляется совершенно отличными от истории людей законами. Что же остается тогда от утверждения Лукача, будто Маркс изгоняет диалектику из природы? Ровно ничего не остается, потому что это утверждение высосано Лукачем из пальца. Мы уже видели, что „Анти-Дюринг", где дается, по словам Лукача, якобы извращенное изложение марксизма, подвергся предварительной редакции самого Маркса. Значит, Маркс сам себя извратил.

Кто знаком с перепиской Маркса и Энгельса, тот знает, что на протяжении сорока лет оба мыслителя обменивались мнениями по всем важнейшим вопросам теории и практики марксизма—и, в частности, по вопросу о диалектике в природе. Эта переписка лишний раз убеждает нас в том, что между Марксом и Энгельсом существовало полное единодушие по всем принципиальным вопросам. Энгельс специально занимался вопросами естествознания, в то время как Маркс посвятил себя всецело изучению и раскрытию законов общественного развития. Но это разделение труда сопровождалось взаимным обменом мыслей, взаимным, так сказать, контролем. Маркс о всех своих работах подробным образом информировал Энгельса. Энгельс же во всем советовался с Марксом. В частности, вопрос о диалектике в природе Энгельс в своих письмах затрагивает неоднократно. В ответных же письмах Маркса мы всегда видим полное его согласие с Энгельсом. Ведь для всякого очевидно, что если бы Маркс не разделял взглядов Энгельса на „диалектику в природе", он как-нибудь одернул бы своего друга, спорил бы с ним, делал бы

[1]) См. „Архив Маркса и Энгельса", изд. под ред. Д. Рязанова, кн. I (Маркс и Энгельс, „О Фейербахе").



ему соответствующее дружеское внушение. Но этого никогда не было, а было нечто прямо противоположное. Так в письме от 16 июня 1867 г. Энгельс пишет о новой молекулярной теории, приписываемой Энгельсом Гофману. „Молекула, как мельчайшая способная к самостоятельному существованию часть материи, есть совершенно рациональная категория, „узел", как говорит Гегель, в бесконечном ряде делений, не замыкающий этого ряда, но устанавливающий качественную разницу". В ответ на это письмо Маркс пишет (письмо от 22 июня 1867 г.): „Относительно Гофмана ты прав. Из заключительных слов моей III главы, где делается намек на превращение ремесленного мастера в капиталиста в результате просто количественных изменений, ты увидишь, что я там в тексте упоминаю об открытом Гегелем законе перехода изменения, которое было только количественным,—в качественное и говорю о том, что оно подтвердилось как в истории, так и в естественных науках" [1]). Маркс, таким образом, определенно говорит о диалектическом законе, подтвердившемся как в истории, так и в природе. Можно было бы привести и ряд других цитат и фактов в доказательство того, что между Марксом и Энгельсом по вопросу о диалектике в природе существовало полное согласие. Но нам кажется, что этого не требуется, что это ясно для всякого марксиста и без особых цитат.

## V.

Нам остается теперь сказать еще несколько слов о диалектике вообще. Тов. Лукач выдвигает свое особое понимание диалектики. Ортодоксальные марксисты-материалисты, с Энгельсом во главе, „извратили" не только Маркса, но и Гегеля. Лукач считает себя призванным восстановить как подлинного Маркса, так и настоящего Гегеля, очищенного от „извращений" ортодоксов. В чем же состоит сущность диалектики? На этот вопрос т. Лукач дает следующий ответ: основу диалектики составляет взаимодействие субъекта и объекта, единство теории и практики и историческое изменение субстрата категорий, как основание их изменений в мышлении. Так ли это? Нет, не так. Обратимся к Гегелю и посмотрим, что он понимает под диалектикой. „Истинная диалектика состоит во внутреннем и поступательном переходе одного определения в другое, в котором обнаруживается, что эти определения рассудка односторонни и ограничены, т.-е. содержат отрицание самих себя. Отличительный характер всего конечного составляет то, что оно снимается само собою" (Энциклопедия, § 87, прим. 1). Далее в приб. I к тому же параграфу Гегель говорит следующее: „Очень важно понять истинное значение диалектики. Она

[1]) „Здесь, как и в естествознании, подтверждается правильность того закона, открытого Гегелем в его „Логике", что чисто количественные изменения на известной ступени переходят в качественные различия" (К. Маркс, Капитал, изд. 1926 г., стр. 285).

составляет начало всякого движения, всякой жизни и деятельности в мире действительности. Точно так же диалектика есть душа всякого подлинного научного познания. Обыкновенно мы переступаем за предел отвлеченных определений рассудка только как бы из чувства справедливости по пословице: живи и давай жить другим, и на этом основании мы допускаем одни определения и также им противоположные. На самом же деле, все конечное не ограничено только извне, но по своей собственной природе снимает себя и переходит в свою противоположность. Например, мы говорим, что человек смертен, и приписываем смерть влиянию внешних условий, т.-е. признаем в человеке два качества: жизнь и смертность. Но жизнь носит в себе самой зерно смерти, и вообще все конечное противоречит себе и потому снимает себя". И дальше в том же „Прибавлении": „Рассудок упорно отвергает диалектику. Но она не составляет исключительной принадлежности философии. Напротив, она налична уже в повседневном сознании о ней и во всеобщем. Все, что нас окружает, может служить примером диалектики. Мы знаем, что все конечное изменяется и уничтожается; его изменение и уничтожение есть не что иное, как его диалектика [1]); оно содержит в себе свое иное и потому выходит за предел своего непосредственного существования и переходит в свою противоположность". Таким образом диалектика, по учению Гегеля (а также и ортодоксального марксизма, разумеется), есть не нечто внешнее по отношению к предмету, не движение нашей субъективной мысли, не механическая борьба движущихся в противоположном направлении сил, как это думал Дюринг, а внутренняя жизнь самих предметов, имманентный предмету процесс изменения и уничтожения. Поэтому Гегель говорит, что изменение и уничтожение предмета есть его диалектика. В этом же смысле Энгельс говорит о противоречии, которое присутствует объективно в самих вещах явлениях" [2]).

В прибавлении II к тому же § 81 Гегель далее указывает на положительный результат диалектики. „Но философия,—говорит он,—не останавливается на отрицательном результате диалектики... Результат диалектики есть отрицание, но это отрицание есть в то же время утверждение, потому что оно содержит в себе, как снятое, то, из чего оно произошло и не существует раздельно от него". Это единство двух противоположных определений составляет высший так называемый положительно-разумный момент, в отличие от двух низших моментов идеи: отвлеченного и собственно-диалектического или отрицательно-разумного [3]).

[1]) Курсив мой.

[2]) См. Энгельс, Анти-Дюринг, изд. Петросовета, 1918 г., стр. 108.

[3]) Ср. также: Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, изд. Лассона 1911 г. „Высшая диалектика понятия понимает определение не только как предел и противоположное, но порождает из себя положительное содержание и положительный результат, благодаря чему одному она есть развитие и имманентное движение вперед. Эта диалектика далее есть



Те же мысли развиваются Гегелем и в Большой Логике (как и в „Феноменологии духа"). В заключительной главе, озаглавленной „Абсолютная идея", Гегель снова развивает ту мысль, что сущность диалектики состоит в полагании и разрушении противоречий, присущих понятиям (как и предметам). Движение вперед совершается через три момента и два отрицания—полагание понятия, противоречие и разрешение противоречия, почему диалектика и называется Гегелем методом абсолютной отрицательности. „Непосредственное по этой отрицательной стороне перешло в другое, но другое есть по существу не пустое отрицательное, не нечто, признаваемое объективным результатом диалектики, а другое первого, отрицательное непосредственного; следовательно, оно определено, как опосредованное, вообще содержит внутри себя определение первого. Тем самым первое сберегается и сохраняется и в другом [1]).

Вполне в духе Гегеля Энгельс объясняет, что диалектика состоит не в чем ином, как в том воззрении, „что на мир следует смотреть не как на комплекс готовых вещей, а как на комплекс процессов; кажущиеся прочными вещи, точно так же, как и их мысленные отражения в нашей голове — понятия, испытывают беспрестанные изменения, беспрестанно возникают и исчезают, и при всей кажущейся случайности, вопреки всем временным обратным течениям, в конце концов, пролагает себе дорогу дальнейшее развитие" [2]). И в полном согласии с тем же Гегелем Энгельс учит, что внутренним стимулом или принципом всякого развития является начало противоречия. Таким образом в этом вопросе нет расхождения между Гегелем, с одной стороны, и Марксом и Энгельсом, с другой стороны.

Все они рассматривают мир—природу и историю—как диалектический процесс развития, в котором все конечное возникает, изменяется и уничтожается благодаря присущим ему внутренним противоречиям. Такова сущность диалектики. Теперь возникает вопрос о связи категорий в системе диалектики, об относительном значении каждой из них в отдельности и в частности—о месте в системе диалектики категорий субъекта и объекта, теории и практики. Эти категории также развиты Гегелем в последней части „Логики". Именно эти категории извлек Лукач из всей системы диалектики, как самые существенные, самые истинные, отбросив как бы все остальные. К сожалению, мы на сей раз уже лишены возмож-

не внешнее деяние субъективного мышления, а собственно душа содержания, органически порождающая свои ветви и плоды. Мышление, как нечто субъективное, лишь наблюдает это развитие идеи, как собственную деятельность ее разума, не привнося ничего со своей стороны. Рассматривать разумно какой-нибудь предмет означает не привнесение разума извне в этот предмет и обработку его таким способом, а это означает, что предмет сам по себе разумен... дело науки состоит лишь в том, чтобы осознать эту самостоятельную работу разума вещи" (§ 31, стр. 44).

[1]) Гегель, Наука логики, 2 ч., стр. 205 (русск. пер. Дебольского).

[2]) Энгельс, Людвиг Фейербах.

ности остановиться на анализе и сравнительной оценке значения различных категорий у Гегеля и в системе марксизма. Но нам хотелось бы только подчеркнуть, что Гегель всегда брал весь процесс развития во всех его моментах, что, взобравшись на вершину абсолютной идеи, он вместе с тем указывал, что истинным содержанием ее служит весь процесс развития. Движение вперед начинается от абстрактных и простых определенностей, или категорий, переходя в следующие, которые становятся все богаче и конкретнее. „На каждой ступени дальнейшего определения воздвигается вся масса его предшествующего содержания и через свой диалектический ход вперед не только ничего не теряет и не оставляет позади себя, но несет с собою все приобретенное и обогащает и сгущает себя в себе" [1]). Такова же в общем и целом и точка зрения Маркса. „Простейшие категории суть выражения условий, в которых может реализоваться неразвившаяся конкретность"; конкретная категория является, по выражению Маркса, идеальным выражением более многосторонней связи. „Развившаяся же конкретность сохраняет простейшую категорию как подчиненное отношение". Нас завело бы слишком далеко, если бы мы занялись подробным анализом выраженных Марксом в приведенных словах мыслей. Необходимо лишь подчеркнуть, что с точки зрения диалектического метода нельзя оторвать результаты от всего процесса развития, выражением которого результат является. Поэтому все „низшие" категории на высших ступениях развития сохраняются, а не отменяются, как это, повидимому, думает Лукач, когда он в общественно-исторической жизни придает решающее значение „взаимодействию субъекта и объекта", единству теории и практики, не говоря уже о том, что эти последние диалектические противоположности им неправильно поняты. По Лукачу выходит, что „практика" преодолевается одной теорией, одним сознанием, а не саморазвитием действительности, частью которой является самосознание. Сознание или теория у Лукача является настоящим демиургом действительности. Что касается „взаимоотношения субъекта и объекта", то оно приобретает значение тождества, в полном соответствии со всей его идеалистической концепцией. Но замечательно то, что даже абсолютный идеалист Гегель, у которого диалектика частенько брала верх над его идеализмом, предостерегал от метафизического понимания единства субъекта и объекта. Так, в одном месте „Энциклопедии" он говорит: „определение: „абсолютное есть единство субъективного и объективного" верно, но неполно, потому что здесь высказано одно единство, и на него положено ударение, тогда как субъективное и объективное не только тождественны, но и различны" (приб. к § 82). Мы уже видели, как материалисты понимают единство субъекта и объекта, мышления и бытия. В приведенных выше цитатах из Энгельса и Маркса, Лукач усмотрел отождествление основоположниками марксизма мышления и бытия. Но как

[1]) Гегель, Наука логики, 2 ч., стр. 210—211 (русск. пер.).



следует понимать это „тождество"? По нашему мнению, его следует понимать в смысле соответствия наших идей действительности нашего субъективного мышления объективному бытию. В письме к Конраду Шмидту от 12 марта 1895 г. Энгельс пишет: „Тождество мышления и бытия (употребляя выражение Гегеля) повсюду соответствует вашему примеру круга и многоугольника. И то, и другое— и идея вещи, и ее действительность — движутся рядом, как две асимптоты, все время приближаясь друг к другу, но никогда не встречаясь. Эта разница их обеих и есть та разница, которая делает то, что идея не является непосредственно, без дальнейшего действительностью, а действительность не есть непосредственно ее собственная идея". Идея не совпадает непосредственно с действительностью, но она выведена из действительности: действительность соответствует результатам мышления, идея соответствует действительности, лишь асимптотически к ней приближаясь, как выражается Энгельс. Ту же точку зрения развивает, как мы видели, и Ленин. Если, таким образом, Лукач сущность диалектики видит в тождестве бытия и мышления, то он глубоко ошибается, и напрасно при этом ссылается на Маркса и Энгельса.

В системе Гегеля знание, как и идея добра составляют объективные ступени в развитии абсолютной идеи. Она имеет себя своим предметом. Единство субъективного и объективного образует собственно идею. Знание есть теоретическая деятельность идеи; потребность осуществления блага—практическая деятельность идеи. Абсолютная идея есть единство теоретической и практической идеи. Лукач, следуя Гегелю, выставляет в качестве высшей категории общественно-исторической жизни „единство субъекта и объекта", т.-е. знание, или идею. Лукач не договаривает своей мысли до конца. Но вовсе не трудно ее разгадать.

Его понимание взаимоотношения теории и практики—или, как выражается Гегель, единства знания и жизни—напоминает гегелевскую абсолютную идею, которая и составляет единство теоретической и практической идеи, ибо Лукач понимает это взаимоотношение не материалистически, а идеалистически, по Гегелю. Таким образом Лукач кладет в основу социально-исторической диалектики знание и идею. После же проделанной им работы над преобразованием марксизма в духе идеализма, он в недоумении разводит руками и спрашивает: как это могло случиться, что Энгельс самого главного в диалектике не заметил, что он не увенчал ее „единством субъекта и объекта". Теперь для нас становится понятным, почему Лукач отвергает диалектику в природе. Раз она сводится к „взаимодействию субъекта и объекта", к познавательному процессу, то ей, конечно, нет места в природе [1]).

[1]) „Природа и история"! точно это две обособленные друг от друга „вещи",—говорит Маркс,—точно человек не есть историческая природа и не имеет перед собой природной, естественной истории". См. Маркс и Энгельс: „О Л. Фейербахе",—„Архив К. Маркса и Ф. Энгельса", под ред. Д. Рязанова, кн. I, стр, 217.

Но нам могут возразить, что Лукач под „взаимодействием субъекта и объекта" понимает не процесс познания, а нечто совершенно другое. На это мы можем ответить, что единственный материалистический смысл этого „взаимодействия" может заключаться лишь в понимании его как процесс труда, процесс производства, как деятельность, как борьбу общества с природой. „Человек не только изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет в то же время и свою сознательную цель, которая, как закон, определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинять свою волю", говорит Маркс. История есть не что иное, как беспрерывное изменение человеческой природы. Воздействуя на внешнюю природу, человек в процессе этого воздействия изменяет свою собственную природу. Производство идей и представлений находится в теснейшей зависимости и связи с материальной деятельностью людей и с их материальными отношениями. Бытие людей—это действительный процесс их жизни. Сознание не может быть ничем иным, как сознанным бытием. Связь индивидуума (субъекта) с природой (объектом), единство его с ней составляет предпосылку теории познания: связь человеческого общества с природой—а эта связь осуществляется через производство материальной жизни—составляет основу и исходный пункт всякого исторического процесса. При таких условиях „взаимодействие субъекта и объекта" сводится к человеческой деятельности, к труду, к процессу производства. Поэтому мы можем определенно сказать, что „категория" производительных сил, производства составляет действительное „единство" субъекта и объекта исторического процесса, ибо в этих „категориях" дана непосредственная связь субъекта (общества) и объекта (природы), дано их действительное материальное единство. Односторонности субъекта и объекта снимаются реальным процессом, чувственно-человеческой деятельностью, практикой. Какова же практика общественного человека? Процесс производства. „Производство,—говорит Маркс,—производит не только предмет для субъекта, но также и субъекта для предмета". Если понимать „взаимодействие субъекта и объекта" в развитом нами смысле, то очевидно, что оно составляет центральную „категорию" всего марксизма, что производство есть конкретное единство всего общественно-исторического процесса. Но если это действительно так, то как можно выступить с категорическим заявлением—как это делает Лукач,—что „взаимодействие субъекта и объекта" в историческом процессе не только не составляет центральной проблемы диалектики Энгельса, но что бедный Энгельс даже нигде не затрогивает этого вопроса, за что Лукач и делает ему строгое внушение. Очевидно, что т. Лукач под этим „взаимодействием" понимает нечто совершенно особенное.

Другой грех Энгельса, если верить Лукачу, сводится к непониманию им „единства теории и практики". И Лукач поучает Энгельса



насчет чрезвычайной важности этого единства. Но что следует понимать под единством теории и практики? Всякому семинаристу известно, что Маркс и Энгельс учили тому, что их материализм не ограничивается объяснением мира, а ставит себе задачей изменение его, что революционная теория теснейшим образом связана или должна быть связана с революционной практикой. В соответствии с таким пониманием единства теории и практики, они объявляли коммунизм практическим материализмом и свою собственную теорию рассматривали как непосредственный результат революционного движения. Действительное единство теории и практики осуществляется в практическом изменении действительности, в революционном движении, опирающемся на теоретически открытые законы развития самой действительности. Очевидно, что обучать Энгельса этой азбуке смешно и нелепо. Но дело-то в том, что когда двое говорят одно и то же, то это далеко не одно и то же. Ведь, Лукач утверждает, что Энгельс этого вопроса даже и не затрогивает. Стало быть, Лукач под „единством теории и практики" понимает опять нечто особенное, нечто сногсшибательное. Единство субъекта и объекта он понимает в смысле поглощения объекта субъектом, в смысле их идеалистического тождества. Единство теории и практики он интерпретирует таким образом, что практика растворяется в теории и ею преодолевается. Вполне понятно, что ни Маркс, ни Энгельс на этой идеалистической точке зрения не стояли.

В изложенных беглых замечаниях мы затронули лишь несколько основных проблем, оставляя за собою право вернуться к содержанию книги т. Лукача в целом в другой раз.

*А. Деборин.*

---

# Логика формальная, естественно-научная и диалектика [1]).

## I.

Вопрос о взаимоотношениях диалектики и формальной логики имеет весьма важное значение, но он до сих пор совершенно недостаточно освещен в марксистской литературе.

Хотя диалектика и противопоставляется формальной логике, однако между той и другой нет взаимно исключающей противоположности, какая существует между материалистической диалектикой и метафизикой. Метафизика безусловно исключается диалектическим материа-

[1]) Редакция считает неполной и недостаточной характеристику диалектического метода, даваемую в статье т. Орлова, что объясняется отсутствием в ней критики недостатков эмпиризма Милля.

лизмом; но в то же время диалектический материализм признает относительное значение формальной логики. В диалектическом рассуждении могут иметь вспомогательное значение и формально-логические моменты.

Но постольку, поскольку формальная логика не довольствуется значением вспомогательного момента в научном рассуждении, поскольку она претендует на абсолютное значение и отвергает всякое не формально-логическое рассуждение, постольку формальная логика сама становится метафизикой. В этом случае она должна быть подвергнута уничтожающей критике.

Но критика формальной логики со стороны диалектики также должна быть диалектической: недостаточно, чтобы мы произносили свой приговор над формальной логикой, смотря на нее извне, на основании соображений, чуждых формальной логике. Должно быть показано, как формальная логика сама себя упраздняет. Вставши всецело на точку зрения формальной логики, мы должны обнаружить в ней основное противоречие и показать, как это противоречие приводит к упразднению формальной логики, как таковой, и в то же время переводит ее на высшую ступень.

Это основное противоречие мы находим в отношении между логическим основанием и следствием.

Авторы сочинений по формальной логике представляют себе дело и излагают таким образом: логическое основание есть условие, а следствие—то, что им обусловлено; истина логического основания определяет собою истину следствия. Поэтому, считают они, раз следствие выведено из посылок, тем самым оно доказано.

Однако легко убедиться, что всякий силлогизм обладает следующим свойством: пусть посылки силлогизма не соответствуют действительности, пусть они будут ложными; вывод может быть истинным даже при ложных посылках. Стало быть, истинность посылок вовсе не является необходимым условием истинности вывода. Обратное же невозможно: если вывод ложен, то обе посылки никоим образом не могут быть истинными: по крайней мере одна из посылок, а то и обе, будут ложью.

Что это значит? Это значит, что посылки могут быть истинными только при том условии, если правилен вывод, из них вытекающий. Иными словами, истинность следствия есть необходимое условие истинности его посылок. Оказывается, что логическое отношение между посылками и выводом в действительности как раз обратное тому, которое принято в традиционной логике, начиная от Аристотеля и до наших дней. Но традиционная логика основана на этой невязке, на этом противоречии, на нем основаны все методы формально-логического доказательства; следовательно, подобные доказательства ничего не доказывают, следовательно, традиционная логика должна быть заменена другой.

Последовательное проведение указанной мысли:—следствие есть



необходимое условие своих посылок—приводит к построению не-аристотелевой логики; эта система логики носит диалектический характер; она представляет собою не что иное, как ту логическую систему, которая фактически уже не одно столетие принята в естествознании. Мы пришли к тому, что правильное отношение между посылками и выводом приводит к естественно-научной логике.

Каким образом применяется в естествознании силлогизм? Ответ на этот вопрос может с первого взгляда показаться парадоксальным: в естествознании силлогизм строится с конца, по данному заключению! Между тем, это так и есть на самом деле. Естествоиспытатель нигде непосредственно не наблюдает общих законов и причин явлений; ему даны только единичные явления, единичные факты. Куды бы ни бросил свой взгляд исследователь, всюду перед ним единичные факты, которые он должен истолковывать. Истолкование состоит в следующем: наблюденные факты естествоиспытатель рассматривает, как следствия, и подбирает к ним возможные посылки, из которых бы наблюденные им факты обратно вытекали. Но это и есть построение силлогизма по данному заключению. Здесь речь, как очевидно, может итти не о доказательстве следствий по данным основаниям, но о доказательстве оснований по фактически данным следствиям. Первая проблема есть мнимая проблема традиционной логики Аристотеля; вторая проблема—проблема естественно-научного метода. Разрешение этой проблемы и представляет собою содержание логики естествознания. При этом формально-логические правила, относящиеся к выводу заключения из посылок, не отвергаются вовсе, но лишь получают совершенно другое значение.

Если вывод следствий из данных посылок называется дедукцией, то обратное движение мысли от данных следствий к искомым посылкам естественнее всего назвать индукцией. Мы увидим далее, что все другие виды индуктивных умозаключений являются только частными случаями указанного.

## II.

Против аристотелевой логики давно уже выставлялось то возражение, что всякий силлогизм содержит в себе petitio principii. С особенной силой выставил это возражение Д.-С. Милль. Защитники силлогизма, критиковавшие аргуметы Милля, пришли к следующему заключению: если рассматривать, как это делал Милль, общие посылки „Все $A$ суть $B$“ просто как коллективные единства, в которых суммируются единичные суждения „$A_1$ есть $B$“, „$A_2$ есть $B$“ и т. д., иными словами, если общие суждения только заменяют в сокращенном выражении перечисление отдельных случаев—тогда аргументация Милля неопровержима. Но эта аргументация совершенно теряет силу, по мнению защитников силлогизма, как только мы признаем, что смысл большей посылки заключается не в простом суммировании

единичных случаев, а в утверждении необходимости связывать с субъектом предикат: „$A$ необходимо есть $B$“ [1]).

Однако это не так. Можно утверждать, что действительная сила аргументации Милля далеко еще не оценена и не прочувствована.

Приведем эти аргументы:

„Надо согласиться, что во всяком силлогизме, если считать его доказательством заключения, содержится petitio principii. Так, когда мы говорим:

„Все люди смертны,

„Сократ—человек,

„след., Сократ—смертен,

„то противники силлогистической теории неопровержимо правы, говоря, что предложение „Сократ смертен“ уже предполагается в более общем утверждении: „все люди смертны“. Они правы, говоря, что мы не можем быть уверены в смертности всех людей, пока мы не убедились в смертности каждого отдельного человека, что если бы было сомнительным, смертен ли Сократ или любой другой человек, то в такой же степени недостоверным было бы утверждение „все люди смертны“. Общее положение не только не может доказывать частного случая, но и само не может быть признано истинным без всяких исключений, пока доказательством aliunde (из другого источника) не рассеяна всякая тень сомнения относительно каждого частного случая данного рода. А если это так, то что же остается доказать силлогизму?“ [2]).

Необходимо согласиться, что мысль Милля выражена в приведенном отрывке не с тою резкостью и определенностью, с которою она должна быть выражена. По моему мнению, Милль стремится указать на то свойство силлогизма, что истинность заключения есть у с л о в и е истинности посылок и, следовательно, не может быть доказана посылками. Если мысль Милля такова, то его аргумент неопровержим.

Традиционное применение силлогизма в качестве доказательства основывается на следующем правиле: если истинны посылки, то истинны и все выводы из них. Правило это несомненно, но применение его на практике весьма ограничено, что можно доказать следующими тремя положениями:

1) В ы в о д ы в с е г д а д о с т о в е р н е е, н е ж е л и, п о к р а й н е й м е р е, о д н а и з п о с ы л о к.

В самом деле, вывод будет, во всяком случае, справедлив, если справедливы посылки: таким образом достоверность вывода не может быть ниже достоверности посылок. Но выводы могут быть справедливы и в том случае, если посылки ошибочны. Например, сумма углов некоторого треугольника может быть равна $2d$ даже и в том случае, если не истинны постулаты Евклида. Это положение о большей достоверности выводов по сравнению с посылками, взятое само по себе, впрочем, ничего еще не говорит против употребления силлогизма, как доказательства.

[1]) Sigwart, Logik, Bd. I, § 55.

[2]) Милль, Система Логики, пер. Ивановского, II изд., 165 стр.



2) Д о с т о в е р н о с т ь в ы в о д н ы х с у ж д е н и й н е з а в и с и т о т д о с т о в е р н о с т и б е з у с л о в н о о б щ и х п о с ы л о к.

Д.-С. Милль, отвергая силлогизм, в качестве доказательства, утверждал, что выводы можно делать прямо от одних наблюденных случаев к другим „от частного к частному“. Последующая критика показала, что Милль в данном случае ошибался. В частных наблюденных фактах не дана никакая связь с ненаблюденными случаями, и поэтому от голых частных случаев к другим частным случаям, без помощи каких-либо общих предпосылок, вывод абсолютно невозможен. Но подобной предпосылкой вовсе не должно быть безусловно общее суждение традиционной логики. Вывод в действительности делается по аналогии из позитивно-достоверных предпосылок. Для вывода частного случая достаточно допустить существование некоторой остающейся неопределенной закономерности, которая обладает некоторою устойчивостью и распространяется на сходные и смежные случаи. Именно в силу своей неопределенности такое допущение будет достовернее всякого определенного, недопускающего исключения общего суждения. Безусловно общее суждение характеризуется тем, что оно исключает возможность отрицательного суждения. Но в этом отрицании отрицания заключается источник недостоверности. Воздерживаясь от него, мы получаем позитивно-достоверную предпосылку. Например, из общего причинного закона мы можем вывести, что и в данном частном случае действие не происходит без причины. Но последний вывод может быть с большей достоверностью сделан по аналогии с прежними наблюденными частными случаями. Вывод к отдельному случаю по аналогии будет позитивно достоверным суждением, тогда как общий причинный закон будет лишь постулатом. В самом деле, если число наблюденных случаев причинного закона равно $n$, то вероятность того, что и в данном единичном случае действие имеет причину, равна $\frac{n+1}{n+2}$, т.-е. дроби, чрезвычайно мало отличной от единицы или полной достоверности, а практически совпадающей с ней при достаточно большом значении $n$. Заключение теории вероятностей основывается на неопределенных, но вполне достоверных позитивных предпосылках, как то, что весьма невероятно, чтобы во всех наблюденных случаях мы имели лишь кажущуюся причинность—простое совпадение, а не закономерную связь; слишком невероятно также, чтобы эта закономерность, какова бы ни была ее природа, не распространялась на случаи, смежные с наблюденными, и т. под.; при этом посылки теории вероятностей вовсе не требуют полного исключения возможности отрицательных суждений. Пусть среди $n$ наблюденных случаев были, например, два несомненные исключения из причинного закона; вероятность того, что при-

чинный закон имеет место в данном единичном случае, будет равна $\frac{n-2}{n+2}$, т.-е. величине, при большом числе $n$ нечувствительно отличающейся от прежней.

Отсюда очевидно, что достоверность единичного вывода на аналогии совершенно не зависит от общего постулата; достаточно знать, что случаи, где причинность не имеет места, весьма редки, чтобы наличность причинности в отдельном случае была выведена с достоверностью.

То же самое справедливо и по отношению к частным суждениям. Допустим, что мы желаем установить некоторое суждение о птицах северной Европейской России и выводим это суждение из суждения о птицах вообще. Если у нас есть материал наблюдений над птицами Северной России, то из этого материала предполагаемое частное суждение можно вывести с большей достоверностью, нежели из общего суждения. Далее, будучи раз выведено, частное суждение не зависит от достоверности общего суждения, так как контрадикторное наблюдение над птицами, скажем, Австралии ничуть его не опровергает. С другой стороны, если у нас нет материала наблюдений над птицами Северной России, то и вообще суждение о птицах является проблематичным до производства указанных наблюдений и не может служить источником достоверности.

В естествознании постоянно прибегают к выводам из общих посылок, и эти выводы считают достоверными. Но не надо обманываться относительно источника указанной достоверности; последняя проистекает не из посылок, а из аналогии, из сравнения с ранее наблюденными сходными случаями. Так в астрономии с точностью предсказывается движение небесных светил. Но в существе дела лежит аналогия, позитивное умозаключение от прежних движений к будущим. Общие же теоретические посылки служат лишь для удобства вывода, а не для сообщения последнему достоверности. Во многих вопросах астрономии удобнее всего брать заведомо ложные посылки Птоломея и делать на основании их точные предсказания. Но брать ли посылки Птоломея или Ньютона, сущность дела заключается в позитивно-достоверных заключениях по аналогии и не зависит от достоверности теоретических посылок. Нет такого, признаваемого достоверным, вывода из безусловно общих посылок, который не мог бы быть получен путем аналогии.

В таком случае возникает вопрос, для чего служат общие суждения?

Выражать наши познания в виде общих формул и общих суждений необходимо, но вовсе не для того, чтобы благодаря общим суждениям сделать достоверными частные случаи. Общие суждения выражают наши познания в краткой, законченной и удобной форме; от общих суждений можно переходить не только к ближайшим, но и к весьма отдаленным следствиям, чего нельзя сделать по аналогии.



Но при этом достоверными признаются только те выводы из общих суждений, которые одновременно можно получить и по аналогии.

Общие формулы приводят иногда к необычным, парадоксальным следствиям, не имеющим ничего аналогичного среди наблюденных данных, которых нельзя предвидеть при помощи каких-либо позитивно-достоверных предпосылок, как, например, некоторые явления диффракции, вытекающие из предпосылок теории Френеля, или световое давление, вытекающее из предпосылок Клерка Максвелла. Но в таких случаях никто и не считает следствий доказанными или достоверными. Подобные парадоксальные следствия из теории заинтересовывают всех, но самую теорию, из которой сделан вывод, ставят под сомнение, и только после экспериментальной проверки теория признается выдержавшей испытание; дальнейшие же результаты снова могут быть выведены по аналогии с наблюденными случаями. Электромагнитную теорию света можно считать окончательно восторжествовавшей с момента экспериментального обнаружения Лебедевым давления света.

3) Всякое безусловно общее суждение есть постулат, в котором допускается истинность всех его следствий.

Общее суждение может быть получено или путем индукции, или априорным путем. Рассмотрим сначала первое. Из ряда наблюдений, из того, что неопределенно-большое число наблюденных $A$ все оказалось $B$, без одного исключения, нельзя вывести, как позитивно-достоверное суждение, что подобные исключения вообще невозможны. Также нельзя вывести на основании теории вероятностей, что неопределенно-большое количество других не наблюденных $A$ все окажутся $B$. Теория вероятностей может утверждать с достоверностью лишь то, что ограниченное число $A$, смежных с наблюденными, число небольшое, по сравнению с числом наблюденных $A$, также окажутся $B$. Таким образом суждение „всякое $A$ есть $B$“ не есть позитивно достоверное утверждение, но только допущение.

Что касается априорных суждений, например, суждений математики, то из них могут быть выведены следствия, относящиеся к эмпирической действительности. Если в действительности явления происходят иначе, нежели предсказывает априорная теория, то последняя не может быть признана истинной. Следовательно, признавая истинной какую-либо систему аксиом, мы допускаем совпадение с действительностью всех ее следствий.

Из трех приведенных положений, несомненно, следует, что допускать основания мы можем только в тех случаях, если не сомневаемся в следствиях. Традиционная логика, как раз наоборот, не обращая внимания на указанные свойства основания и следствия считает невозможным отрицать следствие или сомневаться в нем, если основание почему-либо принимается. Дело в том, что все авторы сочи-

нений по логике, исключая Милля и его направление, молчаливо принимают, как само собою подразумеваемое, следующие постулаты:

„Утверждать что-либо,—значит наперед принимать все следствия утверждаемого, каковы бы они ни были".

„Доказать что-либо,—значит найти требующее доказательства положение в числе следствий принятых".

Из этих постулатов вытекает традиционный взгляд на силлогизм, выраженный известным правилом dictum de omni et nullo. В самом деле, если следствия какого-либо суждения принимаются заранее, то они не могут считаться условиями его истинности. Наоборот, их можно отрицать только при том условии, если мы сперва откажемся от основания. Но это характеризует традиционную логику, как логику схоластическую.

В „Логике" Канта мы находим следующее примечание: „Следовательно, во всяком заключении разума нужно сначала исследовать истинность посылок и лишь потом правильность вывода. При опровержении заключения разума никогда не следует сначала отвергать следствие, но всегда сначала или предпосылки, или способ вывода" [1]).

Но если следствие заключения разума противоречит фактам? Тем хуже для фактов! Такой вывод неизбежно вытекает из правила Канта.

При помощи указанных постулатов и примечания Канта можно, например, оправдать того ученого схоласта, современника Галилея, который отказался смотреть в астрономическую трубу, издеваясь над кривыми стеклами Галилея и над тем, что можно видеть в эти кривые стекла. В самом деле, в его душе отсутствовали сомнения в основаниях философии Аристотеля. Но в таком случае было бы нелогично сомневаться и в следствиях.

Но каким образом должны мы относиться к математическим теоремам? Без сомнения, невозможно отождествить понятия „теорема" и „доказательство". Задача математики заключается в том, чтобы проследить непрерывную цепь оснований и следствий, указывая отдельным положениям определенное место в этой цепи. В математике выводится все, что может быть выведено, а что не может быть выведено, принимается в качестве постулата. Математика стремится не к тому, чтобы вывести все теоремы из положений, наиболее очевидных, но к тому, чтобы вывести всю систему из наименьшего числа положений; при этом признается совершенно случайным, очевидны или не очевидны те или иные теоремы или аксиомы. Поэтому нередко очевидные положения „доказываются" посредством столь же очевидных; можно найти примеры, где более очевидное выводится из менее очевидного. Представить одно очевидное положение в качестве следствия другого, столь же очевидного, понятно, не имеет ничего общего с доказательством в действительном смысле этого слова [2]).

[1]) Кант, Логика, пер. Маркова, стр. 113.

[2]) О математическом методе и математических доказательствах см. И. Орлов: „Чистая геометрия и реальная действительность",—„Под Знаменем Марксизма" № 11—12 за 1923 г.



Итак, дедукция не может быть рассматриваема, как доказательство следствий, во-первых, потому, что достоверность следствий не зависит от достоверности посылок, и, во-вторых, потому что подобное доказательство собственно постулирует то, что требуется доказать. Но это не значит, что силлогизм и вообще дедукция не имеет никакого значения; относительное значение дедукция имеет: она является не полным доказательством, а частью доказательства, и служит не для доказательства следствий, а для доказательства посылок.

## III.

Когда желают рассуждать строго позитивно, то много говорят о том, что необходимо избегать гипотез и выводить общие законы непосредственно из фактов. Но дело в том, что, с точки зрения логики, дедукция из фактов—абсурд; никакие выводы из факта или из совокупности фактов, как из посылок, абсолютно невозможны. Нелепость становится очевидной, когда выводят сначала общие законы из фактов, а потом сейчас же те же самые факты из тех же самых законов.

Прежде всего из фактов нельзя вывести никакого общего положения. Пусть, например, я делаю много опытов с электричеством и каждый раз нахожу, что одноименные заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются. Могу ли я отсюда вывести общее положение? Нет, потому что возможно высказать суждение: „некоторые одноименные заряды, быть может, не отталкиваются. Это суждение противоречит общему положению, но формально не противоречит фактам. Стало быть, общее положение не есть следствие, а факты не являются посылками. Дальнейшая проверка найденного закона также не имеет дедуктивной убедительной силы. Сколько бы ни электризовали тел, сколько бы ни проверяли, притягивают ли они, или отталкивают друг друга,—все равно формальное заключение может быть только одно: некоторые заряженные одноименным электричеством тела взаимно отталкиваются.

Далее из фактов дедуктивно нельзя вывести причины фактов. В самом деле, отрицание причины также формально не противоречит фактам; всегда возможно придумать другую причину, которая хотя и будет ложной, но формально будет приводить к данным фактам, как следствиям. Может быть, поможет делу, если факты взять в качестве меньшей посылки, а в качестве большей—принцип законосообразности в природе? Опять-таки нет, потому что принцип законосообразности может оказать услуги только тогда, когда причина найдена, а мы видели, что причина не может быть формально выведена из фактов.

Совершенно наоборот, когда мы переходим от следствия к причине, то, с логической точки зрения, мы подыскиваем логическое основание. Из суждений о способе действия некоторой причины (большая посылка) и о ее наличности (меньшая посылка) вытекает суждение о наличности следствия причины, как логический вывод.

Таким образом всякое суждение о причине есть логическое основание, хотя и не всякое логическое основание есть суждение о причине. На это могут возразить: так как следствие рассматривается, как условие посылок, то выходит, что действие причины есть необходимое условие своей причины... Но такое возражение было бы несостоятельно. Суждение о причине есть логическое основание, но сама причина не есть логическое основание; предыдущее рассуждение не противоречит тому, что причина, как объект, независимый от суждения, определяет свои реальные следствия. Если же дело идет об основаниях познания, то так и есть в действительности: следствия различных причин нам даны, как факты, и наблюдения следствий являются условием достоверности причинных суждений.

Из всего вышесказанного вытекает необходимость другого: пути для доказательства общих законов. Необходимо исходить из достоверных фактов. Но факты следует рассматривать не как посылки, а как заключения каких-то еще неизвестных силлогизмов, и гипотетически подбирать к ним, как к заключениям, возможные посылки. К данному факту следует подобрать несколько гипотез так, чтобы были исчерпаны все возможные способы объяснения факта. Чтобы возможных оснований было не слишком много, гипотезы должны быть построены в общей, несколько неопределенной форме, а отдельные частные допущения следует соединить в одно родовое. От искусства исследователя зависит, чтобы деление возможных допущений было полным, т.-е. чтобы были исчерпаны все мыслимые возможности и в то же время чтобы все гипотезы были несовместимы друг с другом. В этом состоит первая стадия доказательства. Далее, каждая из конкурирующих гипотез развивается дедуктивным путем посредством, стало быть, обычных силлогизмов, и следствия ее сопоставляются с фактами до тех пор, пока не будут скомпрометированы все возможности, кроме одной, а эта последняя не будет столь же ясно подтверждена полным совпадением с фактами ее следствий. После этого гипотеза может считаться доказанной; она перестает быть простым допущением, только лишь возможным основанием факта, но приобретает значение необходимого допущения, т.-е. такого допущения, которое необходимо для того, чтобы факт получил правильное объяснение.

Если одна из нескольких конкурирующих гипотез подтверждена фактами, то отсюда еще не следует ложность всех остальных гипотез, так как не может быть дано полного доказательства несовместимости гипотез. Если из конкурирующих гипотез оказались все ложны, кроме одной, отсюда еще не вытекает истинность последней, так как нет безусловной гарантии полноты деления, т.-е. того, что исчерпаны все мыслимые возможности. Поэтому для доказательства необходимо обнаружить как полное совпадение с фактами следствий одной гипотезы, так и противоречие с фактами конкурирующих гипотез. Значение разделительного силлогизма, составленного из конкурирующих гипотез, заключается в том, что он направляет исследование согласно определенной схеме. Признавать же за разделительным силлогизмом какую-либо доказательную силу—значит опять вносить в естествознание недопустимую здесь схоластику.



Наконец, весь процесс может быть повторен еще раз, чтобы перейти от гипотезы, высказанной в общей форме, к более конкретной гипотезе.

Это процесс диалектический, чуждый сухости традиционной силлогистики. Само собой разумеется, он не представляет чего-либо нового, неизвестного науке. Искусство находить гипотезы, объясняющие данные факты, искусство составлять из гипотез исчерпывающие альтернативы, искусство дедуктивно развивать гипотезы и сопоставлять их с фактами в эксперименте—это искусство уже несколько столетий знакомо естествоиспытателям. Именно в этом искусстве они достигли величайшей виртуозности и замечательных результатов.

Мы прибегаем к индуктивному методу значительно чаще, нежели об этом думают. Истолкование наличных ощущений, то, что называется в психологии апперцепцией, с точки зрения логики есть не что иное, как заключения от следствий к основаниям. Из наличного материала ощущений никак нельзя вывести существования предметов вне нас; наоборот, из расположения внешних предметов относительно органов чувств можно вывести наличный материал ощущений. Таким образом мы всякий раз прибегаем к индукции, не сознавая этого. С психологической стороны апперцепция есть, конечно, ассоциация наличных впечатлений с образами воспоминаний; но если оценить этот процесс с точки зрения логики, если найти, так сказать, логический эквивалент апперцепции, то таким логическим эквивалентом апперцепции оказывается индуктивное умозаключение. Это значит, что апперцепция бессознательно приводит нас к тем же самым результатам, какие мы могли бы получить при помощи сознательного индуктивного рассуждения. Отсюда можно видеть, что все сведения о внешнем мире получены нами путем индукции, т.-е. путем заключений от следствий к основаниям.

## IV.

Остановимся на первой стадии индуктивного метода, состоящей в том, что, исходя из фактов, делают допущения, которые бы имели значение возможного логического основания фактов.

В сущности, всякое допущение, всякая догадка, опирающаяся на какие-либо данные, обладает свойствами логического основания, так как данные, на которых она построена, являются ее необходимым условием, т.-е. иными словами следствием; если данные, на которых мы строим догадку, не верны, то и сама догадка лишается всякого значения, как такая.

Но научным допущением в строго логическом смысле этого слова можно называть только такие допущения, из которых факты могут быть формально дедуцированы. Только такое допущение может

быть впоследствии доказано, как необходимое. Другое значение имеют догадки, которые относятся к фактам только таким образом, что не противоречат последним, но не приводят к фактам, как к следствиям; догадки этого рода не могут вообще быть доказаны, ни как основания, ни как следствия, почему их и нельзя считать научными допущениями.

Почти все научные теории доказаны не как выводы, но как допущения. Если, например, мы рассмотрим те аргументы, на основании которых мы принимаем шарообразную форму земли: круглая тень на диске луны при лунном затмении; наблюдение звездного неба в различных широтах; различное время полудня для различных долгот; наблюдение кораблей, низ которых скрывается за горизонтом и проч. и проч.—то мы убедимся, что из этих наблюдений невозможно вывести шарообразность земли дедуктивным путем.

В самом деле:

Всякий, живущий на сфере, может наблюдать указанные явления.
Мы наблюдаем указанные явления.
Заключение невозможно,
так как средний термин не распределен ни в одной посылке.

Для вывода необходимо было бы иметь суждение „только живущий на сфере может наблюдать указанные явления", а такое суждение может быть получено только путем построения других возможных допущений и последующего исключения их, т.-е. путем индуктивным. Силлогизм на самом деле надо построить так:

Всякий живущий на сфере может наблюдать указанные явления.
Мы живем на сфере,
следовательно, мы можем наблюдать указанные явления.

Силлогизм этот объясняет явления, о которых идет речь; допущением является меньшая посылка, которая и доказывается затем, как необходимое допущение.

Таким образом, кроме дедуктивной логики или логики выводов должна существовать также логика допущений.

Общую формулу научного допущения можно представить так:

$X$ есть $B$,
$A$ есть $X$;
Следовательно, $A$ есть $B$,

где „$A$ есть $B$"—исходный фактор, а суждения „$X$ есть $B$" и „$A$ есть $X$", оба или которое-либо одно—научные допущения.

Описываемый метод по внешности сходен с так называемым анализом древних или подыскиванием формального доказательства к некоторому утверждению, высказанному сперва предположительно. В обоих случаях исследователь ищет, в сущности, среднего термина, некоторого $X$, посредствующего между $A$ и $B$. Оба метода могут быть изображены одной и той же схемой, но логический смысл анализа и индукции противоположен. В первом случае исходное положение требует доказательства; средний термин есть понятие известное; суждения, выражающие отношение среднего термина к крайним, также известны и приняты за истинные. Все дело в том, чтобы отыскать посылки в числе суждений и так их сопоставить, чтобы из них вытекало исходное положение. В индуктивных же науках дело обстоит иначе: достоверным является исходное положение, а логическое основание допускается. Даже в том случае (наиболее обычном), если средний термин известен и доказан, как истинный, все-таки его отношение к меньшему термину будет гипотетическим, так как меньшая посылка все же будет допущением.



В других случаях допускается большая посылка. Грей исходил из того факта, что шелковые нити, с которыми он делал опыты, не проводили электричества [1]). Его умозаключение можно выразить так:

Шелковые нити не проводят электричества.
Эти нити из шелка.
Следовательно, эти нити не проводят электричества.

Здесь силлогизм построен по данному заключению и меньшей посылке.

В случаях наиболее знаменитых открытий средний термин $X$ изобретается исследователем, и обе посылки допускаются им; силлогизм строится только по данному заключению.

Например, исходя из фактов: одно и другое и третье вещество отклоняет плоскость поляризации светового луча,—Вант-Гофф изобретает средний термин „асимметрический атом углерода" и строит силлогизм:

Асимметрический угол в составе молекулы вращает поляризованный луч.

Все перечисленные вещества имеют в составе молекулы асимметрический угол.

Следовательно, все перечисленные вещества вращают поляризованный луч.

Наконец, $X$ может остаться $X$-ом, исследователь может только подозревать о его существовании и искать его, и только в опыте $X$ может мало-по-малу принимать определенные очертания. Так, для Кеплера этим $X$-ом, этим средним термином, неопределенной гипотезой, в которой он был убежден, было существование числовых и геометрических законов, связывающих движения, пути, времена движений небесных тел, движущихся вокруг центрального солнца. Этому $X$-у Кеплер всю жизнь старался придать конкретные очертания.

Итак, мы видим, что, действительно, индуктивные науки делают из силлогизмов то употребление, о котором было сказано: они строят силлогизмы с конца по данному заключению.

---

[1]) Уэвелль, История индуктивных наук, III том, стр. 10 русск. пер.

## V.

Построенное вышеописанным образом научное допущение нельзя считать доказанным до тех пор, покуда не получены определенные гарантии, что именно данное допущение истинно, а всякое другое допущение, сделанное с целью объяснения тех же фактов, окажется ложным. Ошибка индуктивного мышления, которая чаще всего встречается и которую легче всего сделать, заключается именно в том, что возможное основание рассматривают, как необходимое, без достаточных гарантий.

Подтверждение гипотез фактами, правильные предсказания, которые можно делать, исходя из гипотезы,—все это не всегда дает требуемую гарантию, так как ложная гипотеза может приводить к фактам, не разнящимся от истинных; на основании ложной гипотезы можно делать правильные предсказания—история науки знает слишком много подобных примеров. Опровержения других допущений, конкурирующих с данными, само по себе, как мы видели, также не доказывает данного допущения. Поэтому для доказательства гипотезы остается следующий путь: сделать все возможные научные допущения, составить из них альтернативу и стремиться доказать как полное соответствие с фактами одного члена альтернативы, так и противоречие с фактами остальных членов. При этом надо заботиться о том, чтобы члены альтернативы были несовместимы и чтобы деление было полным.

Гипотезы могут быть общие и специальные. Способы доказательства тех и других гипотез различны.

Рассмотрим сперва доказательство общих гипотез. Допустим, что обнаружен труп человека с огнестрельною раной и что надо раскрыть преступление. Возможных версий убийства можно придумать сколько угодно, круг допущений не ограничен. Но прежде всего надо убедиться в том, что здесь действительно имело место убийство, а не что-либо другое. Прежде чем искать убийцу, надо установить истину в общем виде. А в таком случае, возможностей только две: убийство и самоубийство. Мы имеем таким образом исчерпывающую альтернативу из двух членов, выбор между которыми не труден.

Подобно этому и в научных вопросах необходимо избегать преждевременной конкретизации гипотезы без достаточных мотивов или данных; наоборот, допущения во многих случаях необходимо намеренно высказывать в общих и даже несколько неопределенных чертах, потому что именно таким образом можно достичь того, что небольшое количество допущений исчерпает все возможности. Когда альтернатива сконструирована, необходимо дедуктивно развивать каждый член деления в отдельности и сопоставлять следствия с фактами. Дедукция здесь по форме тождественна с дедукцией традиционной логики, но цель заключается не в доказательстве следствий, а в доказательстве или опровержении посылок. Как уже сказано, необходимо до тех пор развивать допущенные возможности в их следствия и сопоставлять с фактами, пока не выяснится полное совпадение с фактами одной возможности и ложность всех остальных. Гипотезу можно опровергнуть или тогда, когда мы нигде не находим подтверждения для гипотезы, хотя по обстоятельствам дела слишком невероятно, чтобы те деятели, существование которых допускает гипотеза, могли ускользнуть от внимания науки; наконец, тогда, когда с точки зрения гипотезы пришлось бы считать случайным совпадением то, что совершенно невозможно считать случайностью. Не так легко убедиться, что следствия действительно противоречат фактам, т.-е. что противоречие не кажущиеся и не может быть объяснено влиянием непредусмотренной причины. Поэтому нельзя ограничиться одним опытом, но надо получить определенную картину несостоятельности гипотезы.



Общие гипотетические положения дедуктивно развиваются путем применения к ним общих принципов. Такое развитие становится особенно удобным и целесообразным, если общая гипотеза выражена в математической форме.

Что касается специальных гипотез, то здесь нечего и пытаться охватить все частные возможности, так как число их неограниченно. Альтернативу в этом случае возможно строить только из двух членов: гипотеза или истинна, или ложна. Доказать специальную гипотезу возможно только одним способом: надо из гипотезы вывести точные количественные соотношения, которые с полной точностью должны быть подтверждены опытом. Опять-таки здесь нельзя ограничиться одним фактом, а необходимо получить полную и яркую картину совпадения с действительностью разнообразных следствий теории. Подобная форма проверки теории имеет значение одновременно как прямого, так и косвенного доказательства. В самом деле, если признать гипотезу ложной, то систематическое и полное согласие наблюденных результатов с данными, вычисленными на основании гипотезы, пришлось бы считать странным образом длящимся рядом случайных совпадений. Но вероятность такого ряда совпадений довольно скоро становится бесконечно близкой к нулю, а, следовательно, вероятность самой гипотезы к единице, т.-е. к полной достоверности.

Но здесь опять возникает некоторое затруднение. Можно поставить вопрос, вполне ли точно данная гипотеза отвечает действительной причине, и не может ли другая гипотеза соответствовать действительной причине более точно?

Таким образом опять открывается возможность для конкуренции нескольких теорий. Но здесь вопрос ставится уже в другой плоскости. Здесь дело идет не о достоверности или ложности наших познаний, а о степени их приближения к некоторой идеальной границе: достоверно, что мы обладаем не полной истиной, а некоторым приближением к ней.

Таким образом в развитой науке, полно и виртуозно овладевшей явлениями, специальные гипотезы конкурируют не как истина и ложь, а как различные степени приближения к истине.

## VI.

В построенную таким образом схему индуктивного метода вполне укладывается также так называемая индукция per enumerationem simplicem.

Неполная индукция, как известно, заключается в следующем: мы исходим из того, что все известные нам $A$, а именно $A_1$, $A_2$, $A_3$ и т. д. оказались вместе с тем $B$; мы обобщаем эти факты, умозаключая, что всякое $A$ есть $B$. Очевидно, что здесь к единичным суждениям „$A_1$ есть $B$“, „$A_2$ есть $B$“ и т. д. подбирается общая большая посылка: все $A$ суть $B$. От указанного общего суждения можно, далее, умозаключать к новому, еще не исследованному случаю: „$A_n$ есть $B$“. Вопрос заключается в том, может ли неполная индукция служить доказательством.

Слово „все“ мы употребляем в тех случаях, когда желаем исключить возможность отрицательных суждений. Покуда дело идет об известных наблюденных случаях, отрицательное суждение возможно исключить путем полного перечисления, и достигнутое таким образом отрицание отрицания будет вполне достоверным.

Но задача заключается в том, чтобы распространить отрицание отрицания за пределы наблюденного, чтобы доказать полную невозможность отрицательных суждений. Из того, что мы нигде не наблюдали такого $A$, которое не есть $B$, мы должны заключить, что это вообще невозможно; обобщение становится доказанным тогда, когда у нас накопилось достаточно материала для исключения возможности отрицательных суждений.

Если исследованные случаи многочисленны, то, без сомнения, вероятность того, что все известные нам $A$ случайно оказались $B$, бесконечно близка к нулю. Точно также исключается вероятность того, что причина $B$ кроется не среди тех обстоятельств, в которых сходны все известные нам $A$, но среди каких-либо других обстоятельств. Таким образом, если бы все исследованные обстоятельства были сходны единственно в тех признаках, которые входят в содержание понятия $A$ и ни в каких других, то неполная индукция при не слишком малом количестве наблюдений была бы строгим доказательством. Однако не исключена возможность того, что нами упущена из виду некоторая добавочная причина, общая всем наблюденным случаям, но не входящая в понятие $A$. Между тем возможно, во-первых, что эта причина необходима для получения $B$, и, во-вторых, что она не связана необходимо с $A$. Возможно также, что во всех известных случаях отсутствовала некоторая причина, которая могла бы предупредить появление $B$.



Все известные нам вороны черны. Но сходство наблюденных случаев не ограничивается признаками, заключающимися в понятии „ворон“. Имеются также сходства в условиях среды и климата. Таким образом ряд хотя бы и многочисленных, но однородных наблюдений не устраняет возможности отрицательного суждения; поэтому примышляемую посылку „все $A$ суть $B$“ следует рассматривать как возможное, а не как необходимое основание.

Но, с другой стороны, если $A_1$, $A_2$ и т. д. сходны не только в том, что они суть $A$, если именно добавочное сходство является причиною $B$, и если, кроме того, это добавочное сходство отделило от $A$, то рано или поздно мы должны обнаружить $A$, которое не есть $B$. Для обнаружения последнего надо всячески разнообразить наблюдения, наблюдать объекты $A$, находящиеся при самых различных обстоятельствах. Когда же, несмотря на это, $A$, которые не суть $B$, нигде не могли быть обнаружены, и когда по обстоятельствам дела совершенно невероятно, чтобы подобные факты могли ускользнуть от внимания науки, если бы таковые существовали,—то предположение добавочной причины $B$ в свою очередь может считаться опровергнутым. Таким образом неполная индукция тогда лишь приобретает значение доказательства, когда наблюденные случаи не только многочисленны по количеству, но и разнообразны по своим условиям.

Обобщение только тогда достоверно, когда мы пришли к нему через отрицание отрицания. Примером может служить закон сохранения энергии, который доказывается невозможностью perpetuum mobile.

Искусственный эксперимент находится в более счастливом положении по сравнению с наблюдениями, так как единственный правильно поставленный эксперимент уже исключает возможность отрицательного суждения. В то время, как явление, пассивно наблюдаемое, имеет место при самых разнообразных обстоятельствах, при совершении опыта экспериментатор вполне точно может определить те условия, при которых искусственно воспроизводимое явление наступает. Поэтому, как показал Милль, экспериментатор в этом случае может опереться на более широкую индукцию: на общий причинный закон. В самом деле, многочисленными и разнообразными наблюдениями установлено, что при одинаковых обстоятельствах получаются всегда одинаковые и отнюдь не различные последствия. Этим законом может сразу же воспользоваться экспериментатор; но наблюдатель не может его применить ввиду того, что он не знает точно тех условий, при которых обнаруживается наблюдаемое им явление.

Трудность доказательства обобщения сводится, таким образом, к трудности устранить возможность отрицательного суждения. Если же не заботиться о полном исключении отрицательного суждения и заключать только к ближайшим смежным явлениям, то достоверные выводы получить значительно легче; при этом не нужно вовсе точно формулировать сделанного обобщения, не нужно останавливаться на

какой-либо одной определенной гипотезе. В тех случаях, когда общая посылка не выражена точно и остается неопределенной, все дальнейшие частные выводы из подобных неопределенных обобщений называются выводами по аналогии. При прочих равных условиях (т.-е. исходя из тех же самых наблюденных фактов) выводы по аналогии всегда достовернее всяких других выводов, но могут быть сделаны только к сходным смежным случаям. Высшую возможную достоверность обобщения могут дать именно заключения по аналогии.

## VII.

Итак, индуктивный метод заключается в подбирании логических оснований к фактически данному материалу. При этом за абсолютно достоверную точку опоры принимается не очевидность аксиом, но фактическая очевидность переживаемых чувственных состояний сознания, при чем от последних разум восходит к их причинам. Логические основания переживаемых фактов нигде не могут быть даны в опыте; они изобретаются и создаются самим разумом; в этом смысле они априорны; они строятся с таким расчетом, чтобы из них обратно можно было вывести чувственно данные факты. В результате оказывается возможным вывести всю природу из идей и понятий, построенных разумом, а также предсказывать новые факты, будущие ощущения. Но такое положение дела является результатом долгой и трудной работы, в которой разум приспособляется к фактам. Разум изобретает последовательно множество идей; каждую из них он развивает в свои следствия и сопоставляет с фактами. При этом испытании огромное большинство идей погибает, остаются только немногие, приспособленные. Не только история науки показывает, как гибнут тщательно обдуманные и разработанные теории, значительно большее число идей погибает, не выходя из стадии предварительной работы. Всякий выдающийся естествоиспытатель может рассказать, какое количество идей надо перепробовать, прежде чем натолкнешься на идею, сколько-нибудь приспособленную к фактам; об этих предварительно погибших идеях знает только сам исследователь и его ближайшие сотрудники.

Таким образом в царстве идей происходит борьба за существование, гибель огромного большинства и переживание наиболее приспособленных. Посредством указанного процесса разум приспособляется к внешней для него необходимости к независимым от него законам, определяющим возникновение ощущений, т.-е. к тому, что является причиной ощущений. Гипотетическую причину ощущений или ту внешнюю необходимость, которая независима от интеллекта и определяет состояния сознания, мы называем вещами или материей.

Идеи, оправданные опытом, являются, таким образом, приспособленными к объективному строю вещей и, следовательно, содержат в себе познание вещей, в отличие от идей, не приспособленных к



фактам. Иными словами, разум в процессе опыта познает то, что принято в философии называть вещью в себе—вот совершенно неизбежный вывод, к которому приходит логика естествознания.

Попытаемся теперь вскрыть ту предпосылку, которая приводит в философии к выводу непознаваемости вещей в себе. Основные аргументы для доказательства непознаваемости вещей даны Кантом; основные аргументы остаются теми же самыми и у всех последующих авторов, так или иначе, находящихся под влиянием Канта.

Рассмотрев эти аргументы, мы убедимся в том, что предпосылкой, интересующей нас, оказывается не что иное, как традиционная схоластическая логика.

Кант ясно видел, что система законов природы не может быть дедуцирована из опыта. Опыт сам по себе дает лишь суждения восприятия; он научает только тому, что существует, и как оно существует, но не показывает, что это необходимым образом должно быть так, а не иначе. Так как на-лицо все же имеется согласие законов и опыта, и так как невозможно вывести законы из опыта, то, следовательно, дело происходит так, что опыт выводится из законов. Но в то же время Канту была совершенно чужда идея о том, что законы могут быть получены в процессе опыта путем умозаключений, обратных дедуктивным, и что именно факты опыта, как последние следствия, определяют, что̀ истинно и что̀ ложно. Логика Канта вполне схоластична: основания, а не следствия, являются критерием истины. Исходным пунктом системы Канта является указание на то, что существуют синтетические суждения a priori. Под суждениями a priori Кант понимал суждения абсолютно достоверные и необходимые, признание которых не может зависеть ни от какого опыта; очевидность подобных суждений служит полной гарантией их истинности и определяет собою, далее, истинность всех их следствий. Так как весь опыт выводится из подобных априорных суждений, то, следовательно, объективность опыта определяется рассудочными суждениями, как верховным критерием истины. Тот факт, что опыт вытекает из законов рассудка, при наличности метафизической логики, необходимо истолковывается так: „рассудок не почерпает своих законов из природы, а предписывает их ей“. Но, предписывая законы природе, определяя опыт, рассудок не может перейти за свои границы. Творчество рассудка остается его творчеством; рассудок может предписывать законы только явлениям, а вещи остаются „в себе“, т.-е. вне этого творчества, не находят отражения в законах природы, определенных исключительно рассудком. Кант должен был признать поэтому, что вещь в себе непознаваема ни a priori, ни a posteriori. Рассудок может сколько угодно расчленять понятия, но через это он не может приблизиться к познанию того, чем определяется вещь, независимо от понятия. Рассудок может предписывать законы системе своих собственных представлений, но он не может предписывать законов системе вещей. Следовательно, познание вещей в себе a priori невоз-

можно. Но это познание невозможно и a posteriori, потому что a posteriori мы имеем только эмпирические суждения восприятия, из которых в дальнейшем ничего невозможно дедуцировать.

Рассмотрим поближе важнейший довод Канта.

Априорные основоположения рассудка связаны с явлениями логическим отношением основания и следствия. Но, согласно традиционной логике, логическое основание есть условие следствия. Следовательно, основоположения не могут иметь опытного происхождения, так как они сами представляют собою необходимые условия возможности опыта. Этот аргумент мы должны обратить. Мы должны согласиться с тем, что основоположения рассудка относятся к явлениям, как логические основания относятся к следствиям; а именно, основоположения служат большими посылками тех силлогизмов, заключения которых суть явления; но это значит, что явления имеют значение необходимых условий основоположений, с которыми последние должны сообразоваться. Таким образом, обращая отношение между основанием и следствием, мы в корне изменяем выводы из тех же самых посылок.

Все наши суждения, формулы, образы, понятия определяются, как истинные в опыте. Отыскивая понятия и суждения, которые выдерживают опытную проверку, мы приспособляемся к вещам. Вещи таким образом кладут отпечаток, запечатлеваются в истинных суждениях, как образно-практического, так и отвлеченно-научного мышления. Каждой детали нашего представления должен соответствовать причинный эквивалент в вещи, то, что определяет в опыте эту деталь, как истинную. Этот отпечаток вещей в наших суждениях и есть познание вещей. Следовательно, мы имеем познание вещей, мы можем познавать вещи.

Вещи, отпечатываясь в наших суждениях, таким образом являются нам. Ощущения, как такие, то-есть в чистом виде, почти не доходят до нашего сознания. Мы интерпретируем их сперва инстинктивно путем ассоциаций и затем сознательно путем научных понятий. Вместо пестрой смены ощущений мы имеем мир научных образов. Хотя эта интерпретация производится нами, однако все образы, все понятия, все категории, одним словом, все формы, посредством которых мы интерпретируем и упорядочиваем ощущения, определены, как истинные, в конечном счете опытом и, следовательно, вещами. Следовательно, во всех этих формах интерпретации ощущений отпечатываются вещи и именно таким образом вещи являются нам. Одно и то же, рассматриваемое с субъективной стороны, есть познание вещей, а с объективной—явление вещей нам.

## VIII.

В заключение рассмотрим соотношение между естественно-научной логикой и диалектикой. Все выводы естественно-научной логики совпадают с выводами диалектики.



В самом деле, мы видели, что необходимым выводом логики естествознания является познаваемость вещей в себе. Из логики естествознания следует также, что познание вещей есть диалектический процесс. Естественно-научные теории являются приспособлениями к вещам в себе; эти приспособления никогда не могут достичь полного совершенства. Более тонкая экспериментальная проверка неизбежно ведет к противоречию с фактами, а это ведет к дальнейшему усовершенствованию теории и к смене одних теорий другими.

Диалектика не признает никаких вечных и безусловных истин. С точки зрения логики естествознания общие безусловные истины также невозможны. В самом деле, всякие общие истины, например аксиомы математики, имеют следствия; но следствие есть условие своих посылок; следовательно, никакие общие посылки не являются безусловными истинами.

Логика естествознания не может ограничиться непосредственно данными ощущениями и восходит от них к их причинам посредством индуктивных умозаключений. Таким образом построения разума необходимо должны дополнять то, что непосредственно дано в ощущении. Но разум здесь идет ощупью, он только приспособляется, а решающее слово принадлежит опыту, практике. Поэтому рассуждения a priori, независимые от опыта, безусловно не допускаются. Характерная черта метафизики заключается в том, что априорная умозрительная очевидность признается верховным критерием истины. Логика естествознания учит, напротив, что всякие суждения, как очевидные, так и неочевидные, должны быть проверены совпадением их следствий с фактами. Если следствия суждения противоречат фактам, суждение должно быть отвергнуто даже и в том случае, если оно представляется a priori очевидным. Приведем пример: позитивизм отвергает внешнюю реальность не потому, что считает ее существование недостоверным и недостаточно доказанным, но потому, что он считает внешнюю реальность невозможною. Для позитивистов представляется a priori вполне очевидной невозможность самостоятельного существования того, что не есть ощущение или мышление. Логика естествознания отвергает такое воззрение, так как она не признает за априорной очевидностью, взятой самой по себе, никакого значения в качестве доказательства. Здесь мы опять имеем полное совпадение с диалектическим материализмом. Диалектика отвергает во имя опыта, практики даже такие, повидимому, вполне очевидные суждения, как формальный закон противоречия. Логика естествознания, в отличие от традиционной аристотелевой логики, также не признает боязнь противоречия верховным законом и безусловно запрещает только противоречие с фактами.

Однако логика естествознания еще не есть диалектика. Предметом логики естествознания являются методы открытия научных истин и методы их доказательства. Диалектика же, не ограничиваясь подобными методологическими задачами, включает в себя также изло-

жение наиболее общих истин, относящихся к конкретному материалу. Диалектика учит не только о методах исследования явлений, но и о самих явлениях, не только об изучении природы, но и о самой природе. Диалектика в естествознании есть учение о законах движения и развития в природе.

Но путь к этому учению лежит не через аристотелеву логику, а через намеченную здесь логику естествознания.

*И. Орлов.*

---

## Тектология и тактика.

Тектология (Всеобщая организационная наука) представляет собой последнее слово в „научном" мышлении Богданова. Рекомендует она себя, как методологию миростроительства, которой должен руководствоваться пролетариат. Отсюда возникает проблема: какова связь между тектологией и тактикой пролетариата. Чтобы осветить эту проблему, необходимо прежде всего отметить следующее: центр тяжести тектологии далеко не лежит, как может показаться, в научно-объединительной, научно-монистической тенденции, имеющей целью систематизацию всех наук в одно целое. Тенденция тектологии идеологическая и лежит в плоскости мировоззрения. Если рассматривать тектологию в этой плоскости — а именно в этой плоскости ее необходимо рассматривать, — то прежде всего оказывается, что между эмпириомонизмом и тектологией нет большой разницы. Эмпириомонизм психологичен, центральное его положение следующее: „физический мир, как социально-организованный опыт, имеет своей основой те социальные высказывания, в результате которых явился мир, так как коллективный опыт людей, т.-е. физический мир, явился лишь, как результат прогрессивного согласования опыта различных людей при помощи высказываний". Тектология преодолевает философию как в ее материалистическом, так и в идеалистическом аспекте. Она означает организацию мирового опыта, совпадающего с нашим опытом при помощи универсальных тектологических методов. Эти же универсальные методы выдают ее гносеологический облик: психологический, идеалистический, метафизический, так как тектология анти-исторична и безжалостно укладывает в свои биологические схемы мировой опыт, идентичный с социальной практикой, совершенно безотносительно и независимо от той исторической физиономии, которую принимает и может принимать человечество в результате его имманентного развития и присущих ему исторических законов. Универсальными методами тектологии, как мы уже знаем, яв-

[1]) Помещая статью тов. Вайнштейна, редакция считает одной из очередных задач подробную критику с точки зрения диалектического материализма „Тектологии" Богданова. Настоящую статью редакция рассматривает, как первую попытку в этом направлении.



ляются символика речи и мышления, как первично организующие факторы. Можно ли оспаривать тот факт, что провозглашение словесной и мыслительной символики миротворческой и первоопределяющей силой является идеализмом в том смысле, что сознание берется мерилом бытия, при чем оно берется не в историческом, а в тектологическом смысле этого слова. Если же можно было подумать, что техника, играющая известную роль в тектологических процессах мирообразования, приближает ее к материалистическому пониманию вещей, то такая ошибка метко была предупреждена Бухариным, который определяет технику Богданова, как психологический тренаж людей. „Универсальная тенденция труда в техническом процессе заключается в том, что вокруг организации людей, в соответствии с ее потребностями, он создает организацию вещей, организует природу для человека" (Тектология, 187). Техника есть организация природы для человека. Различая познание и технику, Богданов, однако, замечает, что познание, оперирующее идеологическими элементами, „может развивать свою организующую функцию несравненно шире, чем это удается технически труду с реальными вещами" (Тектология, 8). Последнее замечание не оставляет никакого сомнения на счет идеалистического характера тектологии, если понимать под идеализмом отправление от субъекта и его познавательных функций, как творчески-первичных и определяющих. Дело в том, что, согласно тектологии, „познание по существу своему есть всеорганизующая функция" (Тектология, 184). Где же, спрашивается, социальные корни тектологии? Гносеологически тектология выступает, как своеобразный, эклектический идеализм. Тенденции подобных идеологий примирительны и направлены на притупление резко выраженных антагонистических классовых идеологий. Тенденции эти характеризуют те интеллигентские группы, которые, с одной стороны, не срослись с буржуазией и ее классовыми интересами, а, с другой стороны, лишены социальных и идеологических предпосылок, которые направили бы их в ряды пролетариата. Подобная социальная неустойчивость находит свое выражение в различных идеологических и ревизионистских разновидностях, где за пестрыми идеологическими сооружениями красной нитью проходит примиренчество с его ненавистью к отрицаниям, ненавистью к борьбе той исторической решимости, суровая диалектика которой уничтожает это примиренчество как в его социальной, так и его идеологической форме. Диалектический материализм есть философия революционного действия, разлагающая существующее при любой его прочности и устойчивости. Из материалистического понимания истории, как диалектической теории социального процесса, вытекает и революционная тактика. Каковы же практические принципы тектологии? Каково его практическое приложение в сфере революционного опыта и революционной борьбы. Мы видели, что гносеологически тектология приводит к отрицанию политического переворота, провозглашая его тектологиче-

ское безразличие. Куда же идет рабочий класс? Марксизм отвечает, что он идет к обобществлению средств производства, которое положит предел эксплоатации и угнетению. Движение это однако не является прямым, а, напротив, оказывается чрезвычайно сложным, исполненным зигзагов, но, в конечном счете, оно имеет в перспективе указанный предел. Историческая задача пролетариата заключается в революционном акте этого обобществления, т.-е. в установлении общества пролетарской диктатуры, как неизбежного пролога к бесклассовому обществу, к культуре, чуждой социальных антагонизмов. Тактика пролетариата в его историческом движении последовательно реалистична и революционна и эта революционность получила свою классическую формулировку в известных словах Маркса, которыми он заканчивает „Нищету философии": „Кровавая битва, или гибель, бой, или смерть—такова неумолимая постановка исторической проблемы". Пролетариат идет к преодолению классовых перегородок, которое осуществляет преодоление культурной иерархии, превращая знание в общее достояние, для общей и победоносной борьбы с природой. Для Богданова рабочий класс идет прежде всего к преодолению специализации и важнейшей потребностью новой пролетарской культуры, является преодоление специализации в научном познании, т.-е. научный монизм. Тактика, вытекающая из организационной философии Богданова, не есть тактика революции. Тактика, вытекающая из организационных принципов теории Богданова, есть выработка „единства познавательных методов, разрывающего рамки специализации, дающего целостную, гармонически-стройную организацию общественного опыта". Согласно Богданову, пролетариату предстоит разрешение организационных задач бесконечной широты и сложности. Разрешение этих задач, предполагает по Богданову, объединение всего организационного опыта в особую „науку об организации", которая должна оказаться универсальной (Наука будущего). Тактика пролетариата для Богданова неразрывно связана с созданием тектологии, не в действенном, а в познавательном смысле этого слова. Тактика пролетариата заключается для Богданова в выработке „мировой методологии", которая должна охватить человеческую и мировую активность. Сложная обстановка классовых конфликтов и революционный опыт пролетариата в этой обстановке, выдвигающие перед нами настоятельную необходимость действенного революционного лавирования в согласии с перспективой пролетарской революции, абсолютно отсутствует на „путях миростроительства" Богданова. Тактика пролетариата, вытекающая из организационных принципов Богдановской философии, есть не диалектически революционная тактика, направленная на самоосвобождение, а метафизическая тактика, направленная на „организацию в связное и стройное целое некоторой суммы элементов". Словом, это тактика отвлеченных схем, сконструированных в разрезе метафизической всеобщности, характеризующей всякое идеалистическое умозрение. Тектологическое преодоление стихийности, организации враждебных сил вселенной, побеждаемых организующими усилиями человечества, достигающее кульминационной точки в тектологии, выдвигается как величайшая панацея от всех социальных и космических зол. Задача человечества заключается в „познавательной организации способов организации". Возможность же решения этой задачи вызывает у Богданова лишь один вопрос: „Сколько усилий, сколько трудов и энергии понадобится для решения этой задачи? Достаточно ли ее накопило человечество, чтобы с успехом приняться за ее решение?" (Наука будущего). Решение космических и социальных проблем, принципиально одинаковое в тектологии, находится в связи с запасом трудовой энергии в недрах коллективного человечества. Противоречия социального процесса, возникающие на основе развития производительных сил, революционные и тактические задачи,—словом, методология классовой борьбы в определенной конкретно-исторической обстановке, которая всегда составляла важнейшую проблему для Ленина в его гениальном руководстве борьбой пролетариата на различных его этапах, растворяется у Богданова в физиологической проблеме трудовой энергии и размеров ее накопления, фигурирует, как контраст к действенно революционным усилиям пролетариата, направленным к историческому преодолению своего классового бытия в подлинном исторически-революционном смысле этого слова. Когда экономическая структура содрогается от потрясающих ее противоречий, развитие которых определяет ее неизбежное крушение, осуществляемое страдающим от этого противоречия классом, то в данном случае движущим фактором является исторически данное состояние производительных сил и прогрессивный носитель их развития, передовой революционный класс. Задача преодоления этих противоречий и, следовательно, борьбы за коммунистическое строительство объективно ставит революционный класс перед необходимостью решительных революционных битв, положительные предпосылки которых коренятся в социальной роли класса, в процессе развития производительных сил. Дело не в физиологии, а в том историческом действии, которое диктуется данному классу его экономическим положением и вытекающими из него классовыми интересами. Революционная тактика возможна лишь в результате марксистского анализа данных общественных отношений, указывающего объективные и целесообразные пути борьбы и, следовательно, верную исторически необходимую тактику. Для Богданова все решается в конечном счете научным монизмом, первой формой которого является „религиозное мировоззрение", а последней—тектология. „Действительно,—говорит Богданов,—всякая задача практики, или познания с элементарной арифметической до задачи мирового переустройства, сводится к тому, чтобы организовать в связное и стройное целое некоторую сумму элементов" (От религиозного к научному монизму, 19). Приведенные слова Богданова, выражая его новейшие убеждения и взгляды, указывают, что между эмпириомонизмом и тектологией существует принципиальная

теоретическая преемственность, разоблачают несомненный вред этой теории для пролетариата. В свете организационного опыта, который идентичен мировому опыту, затушевываются и бледнеют ограниченные проблемы социальной борьбы, уступающие место более грандиозным задачам организации мира для человека. Организация же мира, понятно, отличается от ограниченных революционных стремлений класса, преследующего своей целью захват власти, как переходную ступень к действительному социалистическому творчеству, что осуществляется в сравнительно ограниченной социальной сфере по сравнению с беспредельным универсумом,—как предметом тектологического творчества. Когда же этот организационный опыт начинает свое перемещение на поле практической борьбы, то быстро выступает его оппортунистическая и реакционная окраска. Последняя особенно выступает в тактике тех оппортунистических группировок („Рабочая Правда"), которые, выступая под знаменем тектологии против революционной тактики Р.К.П., сводят задачу пролетариата к „выработке орудий самоорганизации", „форм пролетарского сознания" и к „организации социальной жизни посредством пролетарской культуры", которая и создаст коммунистический строй. Организация, выступающая в костюме пролетарской идеологии, пролетарской культуры, оказывается ни чем иным, как тектологическим бегством от подлинной революционной борьбы. Диалектически революционная тактика, историческим образцом которой является Ленин, есть действенная тактика революционных сил в их борьбе с реакционным врагом и такая тактика всегда была диалектична и опиралась на диалектическое понимание вещей. Ленин с гениальной меткостью отмечал этот диалектический характер революционной тактики. „Борьба (большевиков с меньшевиками) проходила разные стадии; каждая из этих стадий характеризуется существенно отличной конъюнктурой борьбы и непосредственной целью атаки, каждая стадия представляет из себя таким образом отдельное сражение в одном общем военном походе. Нельзя ничего понять в нашей борьбе, если не изучить конкретной обстановки каждого сражения. Изучив же это, мы ясно увидим, что развитие идет действительно диалектическим путем, путем противоречий: меньшинство становится большинством, большинство меньшинством; каждая сторона переходит от обороны к нападению и от нападения к обороне; исходный пункт борьбы (§ 1) отрицается, уступая место все заполняющей дрязге, но затем начинается—„отрицание отрицания", и, „ужившись кое-как, с грехом пополам, в различных центрах, мы возвращаемся к исходному пункту, чисто идейной борьбы, но уже этот тезис обогащен всеми результатами антитезиса и превратился в высший синтез, когда изолированная случайная ошибка (§ 1) выросла в систему оппортунистических взглядов, по организационному вопросу, когда связь этого явления с основным делением нашей партии на революционное и оппортунистическое крыло выступает перед всеми более и более наглядно. Одним словом, не только овес растет по Гегелю,



но и русские социал-демократы воюют по Гегелю. Но великую Гегелевскую диалектику, которую перенял, поставив на ноги, марксизм, никогда не следует смешивать с вульгарным приемом оправдания зигзагов политических деятелей, переметывающихся с революционного на оппортунистическое крыло партий и вульгарной манерой смешивать в кучу отдельные явления, отдельные моменты развития разных стадий единого процесса. Истинная диалектика не оправдывает личные ошибки, а изучает неизбежные повороты, показывая неизбежность, на основании детальнейшего изучения, развития во всей его конкретности. Основное положение диалектики: абстрактной истины нет, истина всегда конкретна" (Ленин, Шаг вперед,—два назад). Рассуждая о тактике, Ленин указывает на необходимость изучения конкретной обстановки, каждого сражения, которое делает понятным диалектический характер партийной борьбы. Диалектика для Ленина не есть „произвольное комбинирование моментов", не вульгарный прием оправдания всевозможных зигзагов в политике, а непреодолимо испытанный способ познания и овладевания различными стадиями процесса и понимания неизбежности поворотов, выступающей в ее исторической наглядности, „на основании детальнейшего изучения развития во всей его конкретности". Гениальный тактик революции, Ленин в его тактическом руководстве революционной борьбой пролетариата руководствовался не безжизненными, хотя бы и универсальными формулами, а революционным опытом пролетариата, который служил ему почвой тактических лозунгов, ибо осознанный революционный опыт должен был стать для него орудием верной революционной тактики. Верность тактических лозунгов, опирающаяся на диалектическое понимание вещей, и реальная боевая сила рабочих масс, способная воплотить эти лозунги в реальную действительность, служили для Ленина надежным показателем революционной перспективы в указанном выше смысле, т.-е. пролетарского характера революции „Несомненно, — говорил Ленин,— что революция научит нас и научает народные массы. Но вопрос для борющейся политической партии состоит теперь в том, сумеем ли мы научить чему-нибудь революцию? Сумеем ли мы воспользоваться правильностью нашего социал-демократического учения, связью нашей с единственным до конца революционным классом, пролетариатом, для того, чтобы наложить на революцию пролетарский отпечаток, чтобы довести революцию до настоящей решительной победы на деле, а не насловах, чтобы парализовать неустойчивость, половинчатость и предательство демократической буржуазии" (Две тактики). Вопрос для Ленина заключается в умении использовать революционный опыт и революционный марксизм, как орудие борьбы против буржуазии, в умении сообщить революции пролетарский массовый отпечаток. А как рассуждает о тактике Богданов? Говоря „об

условиях жизни и работе нынешних политических партий", он указывает на „принцип относительных сопротивлений", „как важнейшее тектологическое оружие" (Текг., 202, 2-е изд.). Изучающего революцию Ленина интересует: что являлось реальной силой революционного переворота, революционное или оппортунистическое крыло, революционные или оппортунистические принципы воодушевляли борцов, „чтобы определить, вперед или назад двигала „мир", нашу партию, та или иная конкретная революция" (Нечто о диалектике). Для Богданова партия в ее политическом маневрировании должна руководствоваться принципом относительных сопротивлений, при чем нарушение „элементарного тектологического принципа" объясняется тем, что организация „развивает свою работу по линии наименьших сопротивлений в настоящем, подчиняясь указанному закону, но не по линии наибольших воздействий в предвидимом будущем, что она должна была бы делать, пользуясь этим законом, как орудием для своих интересов". Богданов указывает, что „стихийно идущая практика обыкновенно подавляет и сознание руководителя, и если раздаются предостережения со стороны тех, чей опыт шире и зрение яснее, то они бессильны перед инерцией целого" (Тектология, 203, 2-е издание).Когда Ленин ставил вопрос о возможности научить чему-нибудь революцию, он имел в виду линию наибольшего воздействия в предвиденном будущем. Но в то время, когда для Богданова „стихийно идущая практика", т.-е. революционная практика, подавляет сознание руководителей, способствуя нарушению элементарного тектологического принципа", т.-е. в то время, когда Богданов становится на точку зрения героев и толпы, Ленин говорит следующее: „душевные превосходные качества бывают у небольшого числа людей, решают же исторический исход гигантские массы, которые, если небольшое число людей не подходит к ним, неосторожно иногда, с этим небольшим числом людей не слишком вежливо обращаются" (Из речи на XI съезде партии). Что же удивительного, что материалист- диалектик Ленин на всем протяжении его политической деятельности является признанным вождем мирового пролетариата и гениальным тактиком пролетарской революции, а тектолог Богданов, преподносящий пролетарскую культуру, находится по ту сторону пролетарского движения и его революционного опыта. Что же удивительного после этого, если диалектическая революционная тактика Ленина имеет своей действенной ареной революционный пролетариат, а тектология Богданова становится тектологическим знаменем для такого политического выкидыша, как „Рабочая Правда".

*И. Вайнштейн.*

---

# К вопросу о диалектике в истории естествознания.

*(Окончание [1]).*

Переходя к вопросу о взаимоотношении естествознания и прочих общественных факторов, необходимо остановиться на главнейшем; на влиянии развития производительных сил общества и идеологий.

Прежде всего о влиянии развития производительных сил на развитие средств исследования.

## Зависимость развития средств исследования от развития производительных сил вообще и промышленной техники в особенности.

В предыдущем было отмечено, что на ранних стадиях развития человечества мы не находим особых средств исследования. Средство производства суть и средство исследования; предмет труда есть и предмет исследования. Поэтому и процесс труда в то же время является и процессом познания. Но и с обособлением средств исследования от средств труда, первые остаются в зависимости от вторых. В течение долгого времени средства исследования готовятся теми способами и из тех материалов, которые употребляет и дает техника и ремесло и которые соответствуют данному развитию производительных сил. Средства исследования являются элементом производным и зависимым от развития промышленной техники. Отсюда— самая непосредственная зависимость развития естествознания от развития производительных сил общества.

Это делается еще яснее, если обратиться к конкретным данным. Научные приборы древности (напр., астрономические обсерватории) и средних веков ничем особенно не отличаются от прочих промышленных изделий и строений: камень, металл, дерево,—вот материалы, из которых готовятся средства исследования. Ремесленник,—вот выполнитель средств научного исследования. Более того,—в истории

[1]) См. № 4—5 нашего журнала.

естествознания замечается зачастую определенным образом отставание в использовании тех возможностей, которые дает для построения средств исследования техника, ремесло.

Так, применение стеклянных линз для построения научных приборов (если не касаться употребления линзы, как таковой,— отдельно) началось лишь с конца XVI столетия. Стеклоделие же до этого момента проделало длинную, по крайней мере двухтысячелетнюю историю.

Действительно, начало стеклоделия [1]) столь древне, что не может быть даже сколько-нибудь точно указано. Уже за 1000 лет до Р. Х. стеклоделие уже существовало как определенная отрасль промышленности в странах, расположенных вокруг Средиземного моря. В ту древнюю эпоху, напр., город Сидон славился своими стеклодельными заводами. Особенно высоко стеклоделие стояло в Египте, где оно возникло очень рано. С завоеванием Египта римлянами, искусство стеклоделия возникло и в Риме. Любопытно, что император Аврелиан брал с египтян контрибуцию стеклянными изделиями.

Уже в древности умели делать свинцовое стекло, в конце XVIII века сыгравшее решающую роль в развитии оптических приборов.

Изделиями из стекла в древности главным образом были: украшения (в том числе и искусственные драгоценные камни), сосуды, урны и т. д.

В III веке по Р. Х. началось применение стекла для зданий в окнах. Оконные стекла в ту пору были цветные и небольшого размера.

Расцвет стекольных фабрик начинается в Венеции около конца XIII века.

С изобретением белого оконного стекла (в XIV столетии во Франции), применение его стало быстро возрастать. В XV столетии возникает уже особая профессия стекольщика, режущего и вставляющего оконные стекла.

Значительно медленнее шло применение стекла для оптических целей. В древности знали лишь зажигательные стекла (употреблялись сегменты шара), да и в этой области лучшие результаты давали вогнутые металлические зеркала (известен рассказ о том, что якобы Архимед во время осады Сиракуз Марцеллом сжег флот противника именно посредством зеркал). Вообще самыми ранними зеркалами были металлические.

Свойство стекла (выпуклого) увеличивать в древности какого-либо применения не получило. С этой целью стеклянные линзы стали

[1]) При изложении этого отдела автор пользовался следующими источниками:

J. Poppe, Geschichte der Technologie seit der Wiederherstellung der Wissenschaften, 1810 (3 т.).

K. Karmarsch, Geschichte der Technologie seit der Mitte des 18-ten Jahrh. 1872 г.

Ост, Учебник химической технологии, русск. пер. 1911 г.



употребляться лишь с XII столетия (арабами). Большим толчком в изучении оптических свойств стекла явилось изобретение очков (в конце XIII столетия). Роджер Бекон был одним из первых, кто научил употреблять стеклянные линзы для очков. Большую роль как в развитии очкового дела, так и вообще в изготовлении оптических линз сыграло изобретение шлифовальной машины или „шлифовальной мельницы", как тогда называли. До изобретения такой машины шлифование производилось рукой, при чем шлифуемое стекло приводилось в движение рукой по отношению к неподвижной шлифующей форме. С изобретением шлифовальной машины, посредством ручного или ножного привода и колеса вращаться заставляли уже форму, а стекло оставалось неподвижным. Совершенствование шлифовального станка обусловливало дальнейшее развитие оптического дела.

Неудивительно, что первыми изобретателям сложного микроскопа и телескопа являются очковые мастера (напр., Захарий Янсен в Миддельбурге в конце XVI ст.).

Однако явления сферической и, особенно, хроматической аберрации быстро положили предел развитию телескопов с линзами в объективе. Для устранения указанных недостатков уже в начале XVII века изобрели и стали применять рефлекторы, телескопы, где вместо линзы объектива служило вогнутое зеркало.

Открытие Ньютоном разложения белого света в спектр и изучение преломления света различных цветов сначала не дало решения приготовления ахроматических линз, так как сам Ньютон полагал, что в линзах нельзя устранить хроматическую аберрацию. Ньютон сам занимался изготовлением и исследованием рефлекторов.

Уже в 1734 году был построен рефлектор, дававший увеличение в 1200 раз.

Но наивысшим торжеством рефлекторов были работы Гершеля. Музыкант по профессии, любитель шлифования стекла, он последовательно изготовил ряд рефлекторов, пока, наконец, не устроил рефлектора с зеркалом в 48 дюймов и с длиной трубы в 40 футов. Этот рефлектор давал увеличение до 3.000 раз.

Лишь с XIX столетия преобладающее значение рефлекторов переходит к рефракторам. Причиной этого является изобретение ахроматических линз, составленных из двух сортов стекла (не свинцового—кронгласа и свинцового—флинтгласа).

Флинтглас получил свое происхождение от свинцового хрустального стекла. Последнее было изобретено в Англии во второй половине XVII века. Одним из первых изобретателей ахроматической линзы является Джон Доллонд. Начиная с 1757 года он все более совершенствует получение ахроматических линз и, наконец, достигает блестящих результатов. Однако получавшиеся линзы были невелики. Линзы более 8 см. были исключительной редкостью, так как не удавалось получить отливок стекла во всех частях равномерных большей величины.

В конце XVIII столетия первенство в изготовлении оптических приборов от Англии переходит к другим странам, особенно к Германии. Любопытно, что, кроме причин технического свойства, в Англии стеклоделию препятствовали подавляющие налоги на стекольную промышленность, взимавшиеся английским правительством [1]).

Для дальнейшего развития изготовления оптических инструментов играло решающую роль преоборение стеклодельной техникой препятствий к отливке больших линз. Большую роль в этом развитии сыграл швейцарский рабочий Пьер Гинан, один из первых изготовивший удовлетворительные для оптических целей диски сначала до 15 см., а затем и до 45 см. диаметром.

Гинан был инструктором знаменитого оптика Фраунгофера. В результате совершенствования стеклодельной техники возник ряд заводов, которые давали совершенное оптическое стекло.

К числу таких заводов относятся завод в Мюнхене (возник в 1804 г.; в нем и работал Фраунгофер), в Париже (Мантуа), в Бирмингаме (Ченс и К°), в Иене (Шотта; возник в 1884 г.).

На последнем заводе для получения равномерного оптического стекла, для получения больших линз, применяется медленное охлаждение в течение целого месяца, иногда с повторным переплавлением.

Вообще изготовление больших линз—операция сложная и дорогостоющая. Так, изготовление 91-сантиметрового объектива для Ликской обсерватории потребовало на Парижском заводе 4-х лет и удалось лишь после 20-ти переплавлений.

Из приведенного примера видно, сколь тесна зависимость развития средств исследования от средств производства. Вообще нужно сказать, что именно в этом пункте мы находим самое тесное соприкосновение, а отчасти и слияние естествознания и техники. Нет возможности провести резкую границу между техникой и средствами исследования, в особенности, если принять во внимание то, что, напр., оптические инструменты служат необходимыми элементами в ряде производств [2]).

Выше была указана зависимость развития лишь оптической части астрономических инструментов от развития техники. То же и по отношению ко всему прочему оборудованию оптических инструментов. Такой же сложный и долгий процесс обнаруживается в изготовлении разделенных на части кругов, служащих для измерения углов в изготовлении нониусов и верньеров, микрометрических винтов и вообще механической монтировки астрономических инструментов. Так, уже несколько раз цитированная Агнеса Кларк, автор „Истории астрономии в XIX столетии“, говорит, например, по вопросу о монтировке астрономических труб следующее: „Для целей практической астрономии удачная установка инструмента играет не меньшую роль, чем оптические его свойства. Самая дивная работа оптика может быть испорчена, может оказаться бесполезной, если различные, чисто механические, приспособления инструмента неудобны или плохо устроены. Таким образом астрономы, в конце концов, находятся в полной зависимости от умения механика, но нужно сказать, что все нужды, все запросы астрономов так блестяще были удовлетворены механиками, что история развития остроумнейших механизмов, давших возможность производить астрономические открытия, составляет предмет не менее обширный и не менее интересный для изучения, как и сама история открытий“ (стр. 188).

[1]) См. Агн. Кларк, Общедоступная история астрономии в XIX столетии, „Матезис“, 1913, стр. 177.

[2]) Так, напр., при бессемеровском способе изготовления стали и железа стадии выгорания углерода определяются спектроскопом; оптические инструменты употребляются для определения температуры и т. д.



То, что мы обнаруживаем по отношению к развитию средств исследования в астрономии, то же наблюдается и в других дисциплинах естествознания.

Так, напр., современная химия немыслима без получения химически чистых реактивов, изготовляемых особыми фабриками (напр., знамениты до войны были немецкие фабрики Мерка в Дармштадте и Кальбаума). Для изготовления физических приборов также существуют особые фабрики, оборудованные соответственно современному развитию техники.

Для надобностей биологов существуют обширнейшие сады, заповедники и т. д., соответственно оборудованные.

Еще двести лет тому назад зачастую ученый сам целиком готовил свои приборы и обладал всеми необходимыми ремесленными навыками. В данное время этого, как правило, уже нет. Не только телескоп — астроном или микроскоп — биолог, но и ни физик, ни химик не могут изготовить сами своих средств исследования. Они их получают уже с соответствующих фабрик. Для надобностей же повседневного конструирования и выполнения приборов у физиков существуют в их лабораториях специальные механические мастерские с квалифицированными рабочими механиками, у химиков—стеклодувы, у биологов и т. д.—препараторы и пр. Нередко среди современных ученых встретить полное техническое невежество в области технического выполнения их приборов и как правило в большинстве случаев определенную техническую малограмотность.

Если же принять во внимание, что развитие естествознания замирает, если не совершенствуются средства исследования, если их развитие останавливается, то для нас во всей наглядности предстанет вопрос о совершенной необходимости связи между „чистым“ естествознанием и техникой. Живая вода, оживляющая естествознание, притекает хотя и извилистым путем от промышленной техники.

И практической задачей реформы высшей школы и естествознания должно быть облегчение этого притока и выпрямление пути, по которому он совершается.

При этом необходимо отметить еще следующее: современное развитие естествознания и техники ставит перед первым такие задачи, которые зачастую неосуществимы и в тех высокооборудованных лабораториях (снабженных газом, переменным и постоянным электрическим током, водопроводом и многими другими специальными оборудованиями,—которые тоже ставят естествознание в тесную зависимость от развития производительных сил), которые имеет современное естествознание. Напр., получение радиоактивных веществ требует особых заводов и делается монополией государства. Многие задачи „чистого" естествознания легко могут быть выполнены при условии использования лишь технических установок, зачастую неизмеримо более мощных, чем оборудования собственно естественно-научных лабораторий.

С другой стороны, развитие современной техники выдвинуло особый тип лабораторий, находящихся при самом производстве. Напр., в Германии при химических заводах существовали до войны огромнейшие лаборатории с сотнями химиков, занятых не только узкопрактическими задачами. Мы не ошибемся, если скажем, что здесь мы обнаруживаем указующий на будущее перст: развитие естественно-научных лабораторий ведет к сближению их с производством.

По мере того, как техника делается все более научной, наука должна все более сливаться с техникой.

В будущем же коммунистическом обществе процесс производства и процесс познания должны будут слиться окончательно.

## Зависимость от развития производительных сил общества успехов гипотез и теорий, а также и естествознания вообще.

Выше указана была зависимость развития средств исследования от развития производительных сил общества. Такую же зависимость мы обнаруживаем и по отношению к успехам теорий и гипотез и вообще естествознания. Рост производительных сил общества вызывает рост успехов естествознания и, наоборот, упадок первых вызывает упадок вторых.

Действительно, история дает нам полное подтверждение этой точки зрения. Расцвет древне-греческой торговли и промышленности сопровождается ростом технических знаний и естественно-научных абстракций — различных гипотез и теорий. С разложением греческого общества гибнет и греческая наука.

С развитием производительных сил в торговых городах государств, расположенных около Средиземного моря, в конце средних веков и в начале нового времени снова возрождается и расцветает естествознание. Взгляды древне-греческих естествоиспытателей, забытые в течение целого ряда веков, возрождаются. Так, выше было уже отмечено, что древние греки не только утверждали, что земля



имеет шарообразную форму, но и определили по возможности ее размеры. Среди греческих философов были и такие, которые утверждали что земля не является центром вселенной. В дальнейшем, как сказано, эти взгляды были забыты и, напр., в VI в. по Р. Х. распространен был взгляд, что земля представляет плоский круг или гору, плавающие на воде. Совершенно немыслимым казалось допущение антиподов, т. е. людей, живущих на противоположных сторонах земли.

Однако развитие торговли и мореплавания привели к замене этих взглядов другими, более правильными. Открытие Колумбом Америки, Ваской-де-Гамой пути вокруг Африки в Индию, наконец, первое кругосветное путешествие (1519—1522) дали для торжества учения о круглоте земли, а затем и для торжества гелиоцентрической точки зрения более, чем все книжные знания и древних, и средневековых писателей, взятых вместе.

Работы Коперника (1473—1543), Галилея и др. стоят в самой непосредственной связи и зависимости от указанного развития производительных сил.

То же самое замечаем и относительно других гипотез и теорий. Атомистическая гипотеза возникла в древности. Многие десятки авторов ее в различных вариантах излагали в течение средних веков и нового времени. Однако лишь эпоха промышленного капитализма, выросшая на основе колоссального развития производительных сил и всестороннего овладения силами природы дала лишь материал для действительно научного обоснования атомистики (в начале XIX века).

Многие из прежних гипотез, зачастую являвшихся лишь догадкой, основанной на ничтожном фактическом знании и переплетенной с множеством умозрительных спекуляций, средствами развитой техники были фактически обоснованы и получили значение, которого они ранее не имели.

Но именно то, что на основании и малого числа фактов, иногда весьма несовершенно изученных, могут быть сделаны правильные взгляды, угадывающие тенденцию развития естествознания, но не имеющие еще достаточно корней в развитии производительных сил окружающего общества, именно это объясняет нам задержку в признании таких правильных взглядов.

Так, напр., Ломоносов, учившийся за границей и впитавший в себя влияния общества, основанного на более развитом состоянии производительных сил, вернувшись в Россию, высказывал многие весьма правильные взгляды и был до некоторой степени предшественником Лавуазье. Однако взгляды Ломоносова, как естествоиспытателя, были забыты, благодаря отсталому состоянию производительных сил русского общества. Именно среди русских ученых мы встречаем много примеров указанного характера. Такова же, напр., была судьба Лобачевского, ученика немецких профессоров и творца не-Евклидовой геометрии: он не только не был понят современными ему русскими уче-

ными, но в некоторой степени подвергался даже осмеянию за свою „мнимую“ геометрию.

Таким образом влияние состояния производительных сил общества сказывается не только непосредственно, благодаря зависимости развития средств исследования от развития промышленной техники, но и косвенно в развитии образованности данного общества вообще. Естествоиспытатель не действует в пустом пространстве: его взгляды, успех его работы зависит от состояния развития классов общества.

## Механизм воздействия развития производительных сил на развитие естествознания.

Выше было показано, что существует зависимость развития естествознания от развития производительных сил общества. Возникает вопрос: как осуществляется механизм взаимодействия между этими элементами?

Очевидно, что мы этот механизм воздействия должны искать в процессе производства, в влиянии последнего на представителей естественно-научного знания. Именно потребности производства и развитие производительных сил общества дают основной положительный толчек естествознанию, являются основной движущей силой, исходящей не из самого естествознания.

Действительно развитие производительных сил, в первую очередь техники, ставит пред господствующими прежде всего классами задачи, требующие своего разрешения посредством естествознания. Так потребности точного регулирования разлива Нила дали в древнем Египте толчек к развитию астрономии, определяющей моменты времени, и геометрии, измеряющей площади земли.

О том, что существовало сознательное понимание этих задач производства в древности, говорят рассказы древне-греческих историков.

Но и непосредственные источники прямо указывают на влияние потребностей производства на развитие естествознания. Потребности мореплавания в средние века и в новое время давали один из могучих толчков для развития астрономии. И астрономы ясно сознавали эту потребность: составлялись таблицы для вычислений, необходимые при мореплавании и т. д.

Усвоению гипотезы Коперника много способствовало то, что его работа дала основания для таблиц при вычислениях, необходимых для торгового мореплавания. Галилей так же пытался для этих же целей использовать свое открытие спутников Юпитера и т. д.

Такого же рода примеры можно привести и из истории развития естествознания в позднейшее время. Так, Карно, один из подготовителей и создателей современной термодинамики и его краеугольного камня—так наз. „второго закона“,—ясно ставил себе в задачу своей знаменитой работы „Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу“ [1]) экономию топлива в тепловых машинах.



Так, в начале своей книги он писал: „Природа, повсюду предоставляя горючий материал, дала нам возможность всегда и везде получать теплоту и сопровождающую ее движущую силу. Развивать эту силу и приспособлять ее для наших нужд—такова цель тепловых машин. Изучение этих машин чрезвычайно интересно, так как их значение весьма велико и их распространение растет с каждым днем. Повидимому, им суждено сделать большой переворот в цивилизованном мире. Тепловая машина уже обслуживает наши шахты, двигает наши корабли, углубляет гавани и реки, кует железо, обрабатывает дерево, мелет зерно, ткет и прядет наши ткани, переносит самые тяжелые грузы и т. д.“.

В конце своей книге он писал: „На употребление водяных паров и атмосферного воздуха следует направить дальнейшие попытки улучшить тепловые машины: все усилия должны быть направлены к использованию с помощью этих агентов наибольшего падения теплорода“.

И, наконец, заключает свою книгу Карно следующими соображениями: „Нельзя надеяться хотя бы когда-либо практически использовать всю движущую силу топлива. Попытки, сделанные для приближения к этому результату, будут скорее вредными, чем полезными, если они заставят забыть другие важные обстоятельства. Экономия топлива это лишь одно из условий, которое должны выполнять тепловые машины, при многих обстоятельствах оно второстепенно,—оно часто должно уступать первенство надежности, прочности и долговечности машины, малому занимаемому месту, дешевизне ее установки и т. д.

„В каждом случае суметь использовать должным образом удобство и экономность, отделить наиболее важные условия от второстепенных, подходящим образом их сбалансировать, чтобы с наиболее простыми средствами достигнуть наилучших результатов, — таковы должны быть основные способности человека, призванного управлять и приводить в согласие между собой работы себе подобных, чтобы заставить их действовать на какое-либо полезное дело“.

Итак, Карно, один из создателей и основоположников одной из самых абстрактных частей физики—термодинамики, в работе, в основном содержании касающейся общих законов тепловых процессов, не только руководствовался потребностями производства, но и выступает как рачительный хозяин и активный строитель основ могущества буржуазии.

Еще один пример: Пастёр в основном был „чистым“ ученым;

[1]) Вышла в Париже в 1824 году. Русский перевод см. издание Госиздата 1923 г.

[2]) С целью содействия мореплаванию во второй половине XV в. португальским королем Иоанном I создан был особый союз („хунта“) математиков, которые должны были разработать научные основы мореплавания.

он основатель современной бактериологии. Один из его биографов так повествует о причине, заставившей Пастёра заняться вопросами брожения: „Он колебался... Чисто внешнее обстоятельство пришпорило его решимость. В 1853 г. он был назначен деканом Лиллъского университета. Лилль славится производствами, основанными на брожении: фабрикацией спирта и уксуса. Пастёр подумал, что исследование процесса брожения может привести и к практическим приложениям, которые поднимут престиж университета в глазах лиллъских тузов. Это соображение прекратило его колебания. Он решил посвятить часть своего времени новой теме“ [1])...

Особенно наглядно влияние потребностей производства на мотивы работ естествоиспытателей сказывается во время войн. Правда, к непосредственным мотивам содействия производству здесь всегда примешиваются моменты идеологического характера: защита „отечества“, национальная вражда и т. п.

В истекшую империалистическую войну значительная часть „чистых“ физиков и химиков, как в России, так и за границей, обслуживали бурно росшее военное производство, ставившее безотлагательно целый ряд задач. Так, напр., даже в таком провинциальном университетском городе, как Казань, велись „чистыми“ химиками работы по получению из дерева сахара, по изготовлению колларгола [2]), по получению салициловых препаратов, сахарина, по обслуживанию производства удушливых газов, по получению искусственного каучука и т. д.

Даже в древности легко прослеживается связь научного развития с потребностями военной техники. История войны за Сицилию, за Сиракузы и история открытий Архимеда—один из примеров такого рода.

Таким образом влияние развития производительных сил на развитие естествознания происходит не механически, не автоматически, а в процессе борьбы за развитие, за эксплоатацию этих производительных сил. И чем ближе каста ученых к этому процессу, тем непосредственнее она руководится в своих действиях потребностями производства.

Но, если это влияние очень наглядно в периоды бурного роста производительных сил (что имеем, напр., в примере с Карно) или их кризиса во время войн, то в периоды замедленного развития производительных сил или перестройки, ломки экономических общественных отношений мы видим рассматриваемый механизм влияния потребностей производства на развитие естествознания затуманенным, осуществляющим свое влияние косвенно, или даже извращенным.

Если происходит бурный рост производительных сил, то эксплоатирующий этот рост господствующий класс в лице своих ученых

[1]) См. Энгельгардт, Пастер, издание Павленкова 1897 г., стр. 15.

[2]) Коллоидального серебра, употребляемого как дезинфицирующее средство.



смело ставит и решает проблемы техники. Естествознание в такие моменты проникается обычно материалистической философией. В случае же застойного или регрессивного развития производительных сил каста ученых, сложившихся в период расцвета производительных сил, отрывается все более от последних, сознание общественных отношений принимает сугубо идеологический оттенок. В такие периоды расцветает оправдание „чистой науки“, „науки для науки“, мотивы деятельности ученых объясняются „стремлением к истине“, „служением знанию“ и т. п.

Особенно острую форму отрыв ученых от производительных сил получает тогда, когда развитие производительных сил не останавливается, а продолжает расти и приводит к уничтожению консервативных экономических отношений, когда в качестве руководящего класса выдвигается новый, а каста ученых является осколком упадочного, ранее господствовавшего класса.

В различных конкретных выражениях мы находим эти отношения во все периоды истории классового общества.

Так, в период роста греческой торговли, в период расцвета малоазийских колоний, греческие философы-естествоиспытатели не только не чуждаются участия в торговле, но и активно в ней участвуют. Так древне-греческий философ Фалес не только был философом-материалистом (гилозоистом), но много путешествовал, торговал и, по рассказам Аристотеля, удачно спекулировал скупкой прессов для выжимания масла [1]). Такое же деятельное и положительное отношение к практической деятельности мы находим у других философов периода расцвета греческого общества (если, конечно, они не принадлежали, как, напр., Гераклит, к числу членов свергнутой династии).

Совсем иное отношение философов-естествоиспытателей мы обнаруживаем в период упадка греческого общества.

Аристотель, ученик Платона, идеолог рабовладельческого общества, презиравший физический труд, был, как известно, крупным естествоиспытателем. Он держался уже в общем идеалистической позиции, приспособленной, впрочем, к потребностям естествознания, и по этому в области вопросов, выходящих за пределы его „первой философии“ (метафизики), носящей уже дуалистический характер. Аристотель вот как писал в 1-ой книге своей „Метафизики“ о цели наук: „А из наук та скорее есть мудрость, которая избрана ради себя самой и благодаря самой возможности знать, чем та, которая выбрана ради своих результатов. И притом основное и господствующее знание скорее, нежели знание служебное, мы назовем мудростью, ибо мудрому должно не получать предписания, но предписывать, и надлежит не ему слушаться другого, но его—менее мудрому“ [2]). Или еще: „Таким образом,

[1]) См. П. Таннери, Первые шаги древне-греческой науки, русск. пер. 1902 г., стр. 60.

[2]) Цитирую по переводу „Метафизики“ Аристотеля, сделанному Первовым и Розановым и помещенному в „Журнале Министр. Народн. Просв.“ за 1890—1895 г.г.

если философствовать начали, избегая незнания, то ясно, что стали преследовать знание из жажды разумения, а не ради какой-нибудь нужды. Об этом свидетельствуют и самые факты, ибо когда все почти было на-лицо, что необходимо и служит для облегчения жизни, тогда только подобного рода разумение стало предметом искания. Ибо ясно, что мы ищем его не по какой посторонней нужде, но подобно тому, как мы говорим: „Это свободный человек" про того, кто живет ради самого себя, а не ради другого,—так и между знаниями это только одно свободно, потому что оно одно существует ради себя самого".

Какой же мотив Аристотель признает в качестве двигателя знания? Вот какой: „Вследствие удивления люди и теперь, и прежде начинали философствовать".

Надо отметить, что и теперешние ученые, проповедующие защиту принципа „чистой науки", в сущности, черпают свое оружие из арсенала Аристотеля. К тому же классическое образование, существовавшее в России до 1917 г., непосредственно служило передатчиком и пропагандистом рабовладельческих взглядов.

Наиболее извращаются отношения, когда каста ученых, вышедшая из рядов свергнутого класса, должна служить новому классу. В таком случае связь с производством теряется в корне, наука в лице своих приверженцев стремится замкнуться, и лозунг чистой науки, самодовлеющего знания получает особенно сочувственное отношение. В России это можно было в процессе последней революции особенно наглядно наблюдать: те, кто в период империалистической войны охотно шли на службу империализму, после Октября кричали, а отчасти и теперь кричат, в защиту „чистой" науки.

Итак, если в областях, наиболее близких к технике, механизм воздействия на естествоиспытателей и естествознание наиболее прост и ясен, то в областях наиболее удаленных,—в периоды застойного или регрессивного общественного развития,—этот механизм проявляется в идеологических влияниях, иногда весьма сложных, хотя и носящих определенный классовый характер.

Здесь мы естественно подошли к вопросу о влиянии идеологий на развитие естествознания.

Но, прежде чем перейти к этому вопросу, остановимся еще несколько на вопросе обратного влияния развития естествознания на развитие производительных сил общества.

## Влияние естествознания на развитие производительных сил общества.

Первичным, основным в развитии общества является развитие производительных сил. Вторичным, производным является в этом развитии естествознание. Но, раз возникнув, естествознание имеет не только свое собственное развитие, но, в свою очередь, оказывает существенное обратное влияние на развитие производительных сил общества.



Это влияние прежде всего сказывается на развитии техники. При этом естествознание не только решает те задачи, которые перед ним ставит техника. Более того, естествознание в некотором отношении является передовым разведочным отрядом по исследованию еще неисследованных областей и процессов природы. В результате этой разведки получается не мало таких сведений, которые оказывают существенное влияние на развитие техники. Так, первые опыты применения пара для производства движения были произведены еще Героном в II веке до Р. Х. В дальнейшем эти опыты снова и снова возрождались, пока, наконец, развитие мануфактуры не выдвинуло надобности в двигателе. Тогда научное открытие действия пара приобрело то значение, которое перевернуло, можно сказать, весь мир. То же самое еще на наших глазах повторяется с электричеством. Кое-какие сведения об электричестве и магнетизме знали еще древние. К XIX веку уже значительно увеличился запас сведений об электричестве, найден был ряд законов. Открытия Фарадея двинули значительно далее учение об электричестве и дали возможность применения в технике.

В данное время электричество уже конкурирует с паром и „век паровой машины", очевидно, заменится „веком электричества".

Такого же, но значительно большего переворота можно ожидать еще от открытий в области строения атома. Эти открытия пока еще почти не имеют сколько-нибудь значительной роли в технике. Однако все говорит за то, что колоссальные запасы внутриатомной энергии явятся на смену тем видам энергии, которые употребляются в технике в данное время.

Итак, естествознание играет огромную роль в развитии производительных сил. Более того, поскольку оно овеществилось в машинах, приборах, употребляемых в технике, в навыках рабочих производства, оно является составной частью этих самых производительных сил.

Однако, подчеркивая все значение естествознания, мы не стоим на точке зрения буржуазных идеалистически настроенных ученых, полагающих, что именно наука движет общество.

Именно то обстоятельство, что самые лучшие открытия в естествознании должны ждать того момента, когда развитие производительных сил создаст условия их применения, именно это говорит, что первенство принадлежит не естествознанию.

Всякому ясно, что в период феодального общества нет места применению электрической машины или даже паровой машины. Развитие производительных сил создает условия применимости успехов естествознания к технике. Более того, лишь по мере развития производительных сил естествознание получает возможность осуществлять и расширять далее свои исследования. Современная лаборатория с ее оборудованиями—электрическим током (переменным и постоянным) почти любой мощности, с проводкой газа, водопровода, с насосами, машинами (напр., для сгущения воздуха), со своими тонко и искусно выполненными приборами—не мыслима вне современного развития

техники и производительных сил вообще. Современное естествознание не может существовать вне современной техники. Именно развитие техники создает необходимые условия для развития естествознания: учение о теплоте далеко двинулось вперед лишь после того как мощно развернулась тепловая техника; об электричестве мы основательные познания получили после того, как стала развертываться электротехника.

Подытоживая, скажем: первичным и основным в развитии естествознания и техники является именно развитие техники и производительных сил вообще. На основе этого развития возникает и развивается естествознание. Но, раз возникнув, последнее в свою очередь оказывает влияние на развитие производительных сил общества.

## Идеологическое влияние на теории и гипотезы в смысле их содержания.

Самым непосредственным, наиболее глубоко затрогивающим самую суть естествознания, идеологическим влиянием является влияние на содержание гипотез и теорий. При этом происходит дело так, что гипотезы или теории помимо части, являющейся отражением действительных отношений, содержат еще часть, взятую не из наблюдаемого явления, а из окружающих общественных отношений. Эта последняя часть представляет всегда отражение определенных классовых отношений и является ярко выраженным идеологическим моментом в естественно-научной объяснении природы.

Действительно, когда, напр., темная крестьянка по поводу грома говорит, что гром производится Ильей пророком, едущим на телеге по небу, то мы здесь в этом объяснении соответствующим действительности находим только самый факт констатирования грома, все же остальное взято из общественных отношений определенного класса.

То же с объяснением творения мира по библии и другими естественно-научными библейскими объяснениями.

Еще более нагляден классовый элемент в естественно-научных объяснениях, напр., Платона, представителя реакционной части господствующих классов рабовладельческого общества древней Греции. Яркие противоположности и противоречия социальных отношений того времени нашли отчетливое выражение в творениях этого философа.

У Платона все построено иерархически, при чем низшие существа всегда являются зависимыми от высших.

Так мир следующим образом был создан по Платону [1]):

Всемогущее существо—бог—по своей благодати и по своему подобию создал вселенную. Для этого в строго закономерной пропорции

[1]) См. Платон. Диалог: „Тимей (или о природе вещей)", перевод Малеванского, Киев 1883 г.



(по методам математики) он взял и смешал элементы совершенного, разумного и вечного, и не совершенного и не разумного. В элементы телесные он вложил душу, в душу—разум. Благодаря этому вселенная явилась существом телесным, одушевленным и разумным. Такая вселенная едина по числу, так как она объемлет все.

Затем, по Платону, главным богом-творцом была создана иерархия божественных существ низшего типа, в свою очередь создавших менее совершенные существа. Наиболее совершенные из божественных существ созданы были из наиболее совершенных и вечных элементов, и находятся в самом совершенном движении (звезды). Человек был создан уже не главным божеством, а производными, при этом главным богом были созданы лишь бессмертные души, а смертные тела с изменчивым их составом были созданы из менее совершенной материи этими самыми производными богами.

Вот как объясняется Платоном происхождение женщины: „Поелику же человеческая природа двойственна, то должен явиться к существованию пока только лучший род ее,—тот род, который впоследствии будет называться мужчиной. Когда же они (души человеческие) в силу неизбежной судьбы будут внедрены в тела, и вслед затем одни элементы станут входить в их тела, другие выходить вон, тогда необходимо станут возникать в них прежде всего одинаково всем свойственное ощущение от сильных впечатлений, потом—любовь, смешанная с удовольствием и огорчением, и вдобавок к этому—страх и гнев, да и другие ощущения, которые или согласуются и соединяются с этими, или бывают противоположны им и несоединимы с ними. Тогда, если сумеют они держать власть над всеми этими состояниями, то будут вести жизнь праведную, а если сами очутятся во власти их, то—неправедную. И кто назначенное ему время проживет праведно, тот возвратится в обитель предназначенной ему звезды и здесь будет вести блаженную жизнь сообразно с своим нравом; а кому это не удастся, тот в следующем рождении переменит прежнюю природу на природу женщины. Если же и тут он не отстанет от своей порочности, то, смотря по тому, какому роду порока предается, он всякий раз будет перерождаться в животное, по своей природе аналогичное с теми нравами, которые он себе нажил, и перестанет перерождаться и терпеть муки не прежде, чем когда, решившись следовать водительству присущего ему тождественного и себе равного начала и посредством разума одержав победу над тяжелою, необузданною и лишенною разума массою,—которая, состоя из огня и воды, воздуха и земли, позднее присоединена к его природе,—примет снова образ лучшего состояния" [1]).

В конце диалога „Тимей" Платон поясняет, из каких людей какие животные возникают: род птиц возникает из людей не дурных, но легкомысленных, любивших много заниматься созерцанием чув-

[1]) Указанный перевод „Тимея", стр. 110—111.

ственными очами небесных тел и явлений; животные „пешеходящие“ и звери возникли из людей, чуждых „любомудрию“ и исследованию природы,—они не использовали должным образом своих голов и поэтому их головы имеют продолговатую форму и наклонены к земле; ввиду их оглупения им дано большее число ног; самые тупоумные люди превращаются в пресмыкающихся и им боги не дали даже ног. „Наконец, четвертый род, обитающий в воде, произошел из людей самых невежественнейших и бестолковейших. Этому роду боги не дали даже дышать чистым воздухом по той причине, что и сама душа их стала нечистою от всякого рода содеянных скверн. Вот почему вместо тонкого и чистого воздуха, боги определили им вдыхать мутную жидкость, поселивши их в воде. Так произошла порода рыб, устриц и всех других живых существ, населяющих воду, которые в наказание за крайнее невежество получили самые последние жилища. На этих самых основаниях и ныне точно так же, как в то первое время, все роды живых существ перерождаются один в другой, смотря по тому, теряют ли они во время земной жизни или приумножают—одни—свой разум, другие—свое неразумие“ [1]).

Что во всей этой иерархии в естественно научных взглядах Платона отражаются резкие противоположности и иерархичность тогдашнего греческого общества—легко понять из анализа социально-экономических отношений того времени. В данном же случае по отношению к Платону дело упрощается тем, что он сам в целом ряде своих произведений является апологетом такого иерархически построенного классового общества. Каждому классу он отводит свое определенное место и предписывает господствующему классу „стражей государства“ жестоко подавлять все попытки угнетенных классов выйти из их положения.

Так, в том же диалоге „Тимей“ устами Сократа Платон говорит: „...И между тем как мы каждому классу отдельно, сообразуясь с тем, что свойственно его природе, определили особое одно единственное занятие, каждому одно особое ремесло,—относительно тех, которым должно за всех сражаться, сказали, что они должны быть исключительно только стражами государства, на случай, если кто-нибудь из соседей или кто-либо из его же членов внутри выступит с намерением нанести вред ему, являясь кроткими на суде над своими подчиненными, которые единственно суть в отношении к ним друзья, но становясь беспощадными в битвах с теми, которые выступают против них как враги“ [2]).

Непосредственным результатом такой ярко выраженной классовой позиции является телеологичность, целесообразность объяснений явлений природы. Явления происходят так потому, что осуществляют ранее предначертанный высшим существом план. Вот в качестве

[1]) Там же, стр. 237—236.

[2]) Там же, стр. 42.



иллюстрации последний приводимый нами отрывок [1]) из диалога „Тимей“, из этой естественно научной энциклопедии. Вот как Платон объясняет анатомическое устройство тела человека:

„Создатели нашего рода наперед хорошо знали нашу будущую неумеренность в пище и питье, а также то, что мы то и другое, по причине своей жадности, можем принимать в себя сверх меры и надобности. Предвидя же это и опасаясь, что может вследствие болезней воспоследовать быстрая смертность и что таким образом род смертных может преждевременно цокончить свое существование, не будучи еще совершенным,—они, для оказывающегося в теле излишка пищи и питья, устроили в качестве хранилища так называемую нижнюю (брюшную) полость, в которой положили кишки многими изгибами для того, чтобы пища не проходила сквозь них слишком быстро и от этого не возбуждалась тут же в теле потребность нового питания, чтобы не появилась вследствие этого ненасытная прожорливость и чтобы род человеческий не сделался чуждым любомудрия и муз, став непослушным тому, что есть наиболее божественного в нас“ и т. д. и т. п.

Таким образом мы на примере натурфилософии Платона с отчетливой наглядностью можем видеть, как идеологическое отображение классовых отношений пробивает себе путь в естествознание. Иерархия отношений и причинных зависимостей, телеология, идеализм—конкретные формы выражения такого классового воздействия. Как известно, идеологическая надстройка, особенно в своих высших частях, консервативна и далеко переживает те общественные отношения, при которых она сложилась. Идеологические представления отживших уже отношений обычно усваиваются новыми эксплоататорскими классами и приспособляются к новым отношениям. И, действительно, влияние, например, древне-греческой философии на современные идеологические представления помещичье-феодального или буржуазного класса чрезвычайно велико. Буквально нет почти ни одной буржуазной книги по естествознанию, касающейся вопросов истории и философии естествознания, где бы это влияние не сказывалось.

Идеализм Платона и по сию пору является боевым кличем буржуазной профессуры; телеология Аристотеля, по существу очень близкая к платоновской, хотя и отличная от нее по форме, и нынче еще находит своих проповедников (у нас, напр., академик Берг) [2]).

Правда, при усвоении древне-греческой философии современные ученые перерабатывают взгляды Платона, Аристотеля, Пифагора, одевают их в оболочку современной научности, однако эксплоататорский, классовый корень остается общий.

Когда мы читаем у современных естествоиспытателей их рассуждения о творчестве человеческой мысли независимо от опыта (аксио-

[1]) Там же, стр. 192.

[2]) См. его „Номогенез или эволюция на основе закономерности“.

матика и априоризм), или о живой силе организмов и вечности жизни (витализм) или о целесообразности строения живых существ (напр., телеология Берга в его „Номогенезе или эволюции на основе закономерности"), то мы в этих взглядах видим чистейший продукт влияния современных эксплоататорских классов.

Такое влияние проникает гораздо далее, чем это обычно полагают лица, недостаточно знакомые с естествознанием.

Вот, например, еще образец такого влияния в области, казалось бы, далекой от перипетий классовой борьбы. Как известно, Канту и Лапласу удалось построить и математически обосновать гипотезу о происхождении нашей солнечной системы. Дальнейший анализ этой гипотезы показал ее недостаточность для объяснения некоторых явлений нашей планетной системы (обратные вращения внешних планет и обратные вращения спутников). В результате гипотеза Канта-Лапласа претерпела изменения. Некоторые же ученые, как, напр., Фай (1814—1902), построили свое объяснение совсем на иных принципах, чем у Канта-Лапласа. Именно, Фай предложил вихревую гипотезу образования солнечной системы и разработал ее должным образом.

Любопытным моментом в его гипотезе является образование земли ранее солнца (тогда как по Канто-Лапласовской гипотезе дело должно обстоять наоборот). И вот оказывается, что одним из мотивов к принятию такой точки зрения Фаем был его правоверный католицизм. Проф. В. А. Костицин, под редакцией которого Госиздатом выпущен сборник отрывков из „Классических космогонических гипотез", в вступительной статье отмечает по этому поводу следующее [1]): „Желание исправить космогонию Лапласа было подсказано Фаю и религиозными соображениями. Фай как ученый прекрасно понимал, что неизвестный нам автор библейской космогонии мог выражать только взгляды своего времени, но как усердный католик Фай признавал божественное откровение"... И далее: „Грубо первобытный характер библейской космогонии Фай прекрасно понимает, но вместе с тем старается самое существенное в ней—образование земли раньше солнца—поддержать аргументами механического характера".

Таким образом на протяжении всей истории человечества, когда имелось на-лицо классовое общество, мы находим в естественно-научных объяснениях элемент идеологический, представляющий отражение не явлений природы, а общественных отношений.

Однако соотношение между фактическим содержанием, взятым из наблюдаемых природных явлений, и идеологическим, взятым из общественных отношений, в естественно-научных объяснениях в различные периоды развития классового общества различно. Более того,

[1]) Кант—Лаплас—Фай—Дарвин—Пуанкаре, „Классические космогонические гипотезы" под редакцией В. А. Костицина, Госиздат 1923, стр. 19.
Книга Фая появилась впервые в семидесятых годах прошлого столетия.



совершенно наглядным является тот факт, что, напр., при современном высокоразвитом состоянии производительных сил, техники и, соответственно, естествознания фактический элемент в естественно-научных познаниях возрос до колоссальных размеров, тогда как элемент идеологический не только относительно, а, пожалуй, и абсолютно уменьшился.

Поэтому мы считаем совершенно неправильной точку зрения А. А. Богданова, что естественно-научные теории и гипотезы суть лишь формы организации опыта по типу социальных отношений [1]). В противоположность Богданову мы полагаем, что в бесклассовом обществе вообще идеологический элемент в естественно-научных взглядах (как и в прочих) должен отмереть.

## Связь между развитием естествознания и классовой борьбой вообще.

Рассмотренным выше путем происходит сращивание между классовой идеологией господствующих классов и естествознанием, и оно делается орудием идеологической борьбы.

Господствующий класс делает все, чтобы сохранить в своих руках это орудие, но это орудие обладает собственным своим движением, проникнуто диалектикой, которая снова и снова грозит превратить естествознание из орудия угнетения в орудие освобождения угнетенных.

Причина этого лежит в теснейшей, как показано выше, связи развития естествознания с развитием производительных сил общества. Производительные силы в процессе своего развития перерастают рамки экономических отношений, на которых зиждется классовая структура данного общества. Создается элемент противоречия, на который опираются угнетенные классы в своей борьбе.

Естествознание, тесно связанное с ростом производительных сил, в свою очередь дает все новый и новый материал для познания природы. Старые формы, в которые укладывались ранее накопленные факты знаний о природе, делаются тесными. Возникают новые гипотезы, теории; вскрывается идеологическое влияние господствующего класса на естествознание.

Революционный момент в развитии естествознания вступает в борьбу с консервативным, тесно спаявшимся с идеологией господствующего класса.

Вокруг успехов естествознания развертывается во всей своей наглядности классовая борьба.

Но господствующие классы делают все, чтобы не упустить из-под своего влияния и руководства естествознание и интеллигенцию. Для нас имеет практическое значение изучение такого влияния в

[1]) См. его „Философия живого опыта", изд. 1920 г., стр. 226 и сл.

современном буржуазном обществе. И нужно сказать, что аппарат по обработке естествознания под буржуазный лад весьма развит. Существует большое количество богословских и философских журналов, выпускается множество книг, работают большое число авторов, которые значительную долю своего внимания уделяют обработке и приспособлению успехов современного естествознания для нужд буржуазии.

И в России до последней революции эта работа велась довольно-таки широко. Не только в духовных академиях и семинариях, но и в университетах существовали кафедры богословия, которые выполняли, между прочим, и задачу идеологической обработки естествознания. Экзамены по богословию в университетах до последней революции были обязательны. Издавалось значительное число книг, посвященных богословской обработке успехов естествознания.

В этих книгах определенно ставилась задача обработки интеллигенции в духе идеологии господствующего класса.

Вот один пример. В 1911 году была издана переводная книга: „Идея о боге по современному состоянию естественных наук". Русский переводчик, доктор медицины по образованию, б. председатель братства Христа Спасителя в Казани, писал в предисловии к ней: „Интеллигенцию можно приблизить к вере и к себе только тогда, когда мы сами приблизимся к ее понятиям, станем сначала на ее точку зрения и будем говорить с нею ее же языком;"... „...расширение умственного кругозора в наше время весьма необходимо, как у специалистов вообще, так и у богословов в частности;"... „...вследствие извращения умов, является теперь крепкое желание во что бы то ни стало разрушить ту мешающую общему течению перегородку, которая поставлена между новейшею наукою и большинством умов" [1]).

И в общем эту „перегородку" путем работы богословов, философов и ученых удавалось в значительной мере устранять, и естествознание и интеллигенцию ставить на службу господствующему классу.

Но эта работа приносит свои плоды только до той поры, пока социальные противоречия не достигают известного предела. За этими пределами одного идеологического влияния и давления оказывается недостаточно. Тогда то, чего не удается сделать „крестом", доделывается, по пословице, „пестом". На сцену выступает главная идеологическая сила—государство, со всем аппаратом классового насилия и угнетения.

И история естествознания дает нам множество примеров, когда борьба за естествознание от идеологического влияния и давления переходила к прямому насилию.

[1]) Д-ра Л. и П. Мюрат, „Идея о боге по современному состоянию естественных наук". Твердь небесная. Атом. Растительный мир. Новое описание чудес природы. Новейшие открытия в астрономии, физике, химии, в молекулярных физике и химии, в ботанике. Промыслительный разум. Великие свидетельства о существовании божества. Перев. д-ра мед. В. Колодезникова. С.-Пбург 1911 г.



В древности, по имеющимся сведениям, напр., преследовалось учение Демокрита. Сочинения последнего сжигались.

Начало нового времени дает нам ряд ярких примеров жестокой борьбы с крамольными естествоиспытателями.

Так Сервет, один из первых открывший малое или легочное кровообращение и излагавший его в своей книге „Восстановление христианства" и уклонявшийся в то же время в рационализм и отрицавший догмат троичности бога, был сожжен вместе с своей книгой на костре в 1553 году.

Джордано Бруно, приверженец коперниканской гипотезы, за свои выступления против аристотелевской философии и за нарушение дисциплины своего монашеского ордена тоже был сожжен на костре в 1600 году.

В 1616 году книга Коперника была окончательно осуждена и запрещена в ее подлинном виде. О самом учении Коперника римской церковью было постановлено: „Ложное пифагорейское учение о движении земли и неподвижности солнца, как философски нелепое и вполне еретическое, объявляется противным св. писанию".

Галилей, который снова попытался в более или менее замаскированной форме защищать учение Коперника, был тоже осужден, принужден публично и в унизительной форме отречься от своих утверждений и до конца жизни находился под домашним арестом, почти лишенный сношений с внешним миром.

В обвинительном акте против Галилея значились между прочим два пункта, направленные против Коперниканского учения:

„1. Считать солнце центром вселенной и стоящим неподвижно есть мнение нелепое, философски ложное и крайне еретическое, ибо оно явно противоречит св. писанию".

„2. Считать землю не центром вселенной и не неподвижною, есть мнение нелепое, философски ложное и с богословской точки зрения также противное духу веры" [1]).

Борьба католической церкви против коперникова учения продолжалась до 1819 года, когда в списке запрещенных книг все еще значились книги Коперника, Галилея и Кеплера (сокращенное изложение коперниковой астрономии).

Но и после этого идеи и имена противников католической церкви встречались ненавистью. В 1889 г. в Риме Джордано Бруно был поставлен памятник. Однако, прежде чем это удалось сделать, нужна была десятилетняя борьба с клерикальным большинством муниципального совета, противившегося открытию памятника на месте казни знаменитого естествоиспытателя. Протесты студенчества, возмущение буржуазного общественного мнения, наконец, побороли сопротивление клерикалов и дали при новых выборах в муниципалитет большинство „свободомыслящим". Так окончательно была закончена трехвековая борьба вокруг одной астрономической гипотезы.

[1]) См. биографию Галилея акад. Стеклова.

Не менее поучительна также борьба за реформу календаря, которая продолжалась, если считать с введения юлианского счисления, почти две тысячи лет, а если же считать с введения грегорианского счисления, то более трехсот лет.

Любопытным примером является также борьба за оспопрививание. И здесь дело доходило до большого озлобления, и здесь приложила свою руку римская клика. Так, в 20-х годах прошлого столетия папа Лев XII объявил в особой булле, что оспопрививательные учреждения суть учреждения еретические и революционные [1]) и т. д. и т. п.

Приведенных примеров достаточно, чтобы показать, что естествознание не есть нечто стоящее вне или над обществом, а что оно есть орудие и предмет борьбы. Ни внутреннее развитие естествознания, ни внешние общественные условия этого развития отнюдь не являются „тишью да гладью, да божьей благодатью", как нередко хотят видеть и те, которые в других областях признают борьбу.

Выше было указано на борьбу за идеологический элемент теорий и гипотез в смысле их содержания. Но классовое влияние на естествознание гораздо шире и не ограничивается указанной областью. В изложении истории естествознания ярко бросается в глаза националистический элемент. Обычное явление, когда преуменьшают или даже замалчивают роль открытий ученых другой национальности. При этом не обходится дело без обвинения в плагиате и прочее.

С другой стороны, националистический элемент сказывается в названиях единиц мер и т. д. (напр., меридианов) и пр.

Нельзя не отметить пережитки давно отживших или почти отживших отношений и в научной номенклатуре, и по сию пору еще, напр., в химии существуют такие названия, как „благородные" металлы, „царская" водка и пр.

Вообще нужно сказать, что если не по содержанию, то по форме изложения в естествознании очень много и теперь элементов, являющихся продуктом классовых влияний. И пролетариат заинтересован в очистке естествознания от всех этих пережитков, во всей своей совокупности значительным образом тормозящих усвоение успехов его.

Тот факт, что естествознание тесно связано с развитием производительных сил [2]), т.-е. с революционизирующим фактором общественного развития, и само является также элементом борьбы и, в конце концов, делается орудием освобождающихся от угнетения

[1]) См. биографию Эд. Дженнера, написанную С в я т л о в с к и м, изд. Павленкова 1891 г.

[2]) Могущественным орудием воздействия в руках господствующего класса является экономический фактор. Располагая накопленными обществом богатствами, они лишь могут поддерживать научную работу, строить научные учреждения и т. д. В современную нам эпоху экономическое господство буржуазии сказывается в научной области на каждом шагу. В России до войны значительное число высших учебных заведений и научных учреждений было построено и поддерживалось крупными капиталистами. То же и за границей. Напр., в Америке подавляющее число астрономических обсерваторий построено богачами и т. д.



классов, не должен пониматься слишком схематично и примитивно. Если бы мы сказали, что господствующие классы поддерживают status quo в развитии естествознания, а угнетенные и выходящие на арену политического господства защищают раскрепощение и дальнейшие успехи естествознания, то мы впали бы в крайнее упрощенство. В действительности дело обычно обстоит сложнее. Ни господствующий класс, ни угнетенные не представляют обычно чего-то однородного. В том и другом есть прослойки, которые в процессе диалектики общественной борьбы могут занимать позиции, отнюдь таки не предугадываемые упрощенными схемами.

Так, например, в эпоху Великой Французской революции мы находим любопытный пример из истории развития химии. Именно: Лавуазье, как откупщик, хотя по своему положению и являвшийся представителем буржуазии, был тесно связан в своей судьбе с феодальным режимом. У Марата же, известного революционного деятеля, мы не находим таких обстоятельств. И, тем не менее, Марат, жестоко выступавший против Лавуазье в области общественной борьбы, в области химии защищал взгляды отжившие, а Лавуазье был основоположником новой химии, хотя как откупщик и был гильотинирован в 1794 году.

Другой пример. Работы Пастёра о брожении, сыгравшие в дальнейшем колоссальную роль в определении носителей болезней, в развитии хирургии, гигиены и санитарии показали, что при брожении нет самозарождения микроорганизмов. Его же противник, ученый Пуше, доказывал противное. Ввиду того, что Пастёр „принимал религию, как учили его в детстве, со всеми последствиями, с целованием туфли его святейшества" и ...„проявлял в вопросах религиозных полное отсутствие критики и слепую веру бретонского мужика или даже „бретонской бабы", по его собственному выражению, конечно, преувеличенному" [1]), и ввиду того, что Пастёр примкнул к борьбе, открытой на основе его исследований против материалистов и атеистов, то последние в лице противников клерикалов и консерваторов нападали и на самые открытия Пастёра, оказавшиеся в дальнейшем правильными. Эта борьба в свое время отразилась и в России и Писарев (известный публицист того времени) в резкой форме защищал противников Пастёра.

На этих кратких примерах уже видно, что диалектика общественной борьбы приводит к таким соотношениям, которые отнюдь не могут быть предугаданы по упрощенным схемам.

В основном естествознание, являясь революционным оружием за освобождение угнетенных классов от идеологических оков, делается таковым оружием лишь в процессе длительной борьбы, во время которой нередко роль отдельных классов и слоев в них по отношению к естествознанию изменяется самым причудливым образом.

К сожалению, история естествознания мало еще разработана

[1]) См. уже цитированную биографию Пастера.

или почти не разработана в этом отношении. И прежде чем добиться удовлетворительной и полной во всех отношениях с точки зрения марксистской методологии картины нужна будет еще многолетняя работа десятков лиц.

В заключение статьи коснусь еще последнего вопроса:

## О роли личности ученого и роли открытий и изобретений.

Все предыдущее изложение дает достаточно материала, чтобы сказать, что не отдельная личность и отдельное изобретение или открытие являются причиной развития естествознания.

Когда в соответствующей общественной обстановке развитие естествознания приводит со всей неизбежностью к новым открытиям, то рано или поздно найдется личность, в лице которой и осуществится процесс дальнейшего развития. Более того, обычно бывает, что таких личностей оказывается несколько, и совершенно бесплодны поэтому споры о приоритете.

Так исчисление бесконечно-малых было открыто Ньютоном и Лейбницем, если не считать большого числа их предшественников, ряд которых может быть продолжен чуть не до Архимеда.

Закон сохранения материи, высказывавшийся уже древними философами, помимо и до Лавуазье открыт был Ломоносовым.

Закон сохранения энергии приписывают, по крайней мере, двум ученым: Роб. Мейеру и Гельмгольцу.

Второй закон термодинамики был намечен уже Карно и окончательно сформулирован Клаузиусом и В. Томсоном.

Периодический закон элементов приписывают Л. Мейеру и Менделееву, хотя у них был по крайней мере десяток предшественников и, вероятно, уже несколько десятков последователей, которые внесли существенные изменения в изложение закона Менделеева.

Не приводя дальнейших примеров, мы можем сказать, что цепь развития естествознания не зависит от индивидуальных способностей отдельных личностей.

Если бы не существовал тот или иной великий ученый, то развитие естествознания выдвинуло бы другого.

Точно так же и отдельное изобретение или открытие не является чем-то случайным. Они являются необходимым результатом всего предыдущего развития и той обстановки, при которой они появились.

Так, например, изобретение паровой машины приписывают Уатту в 1765 г. Однако еще за 100 лет до Р. Х. Героном Александрийским был построен прибор, не имевший, правда, практического применения и получивший такое применение лишь в современных паровых турбинах, в котором вращение шара производилось паром.

Портой в книге, опубликованной в 1553 году, описывалось приспособление для поднятия воды посредством пара.



Папин (1647—1712) показал, как устроить поршень, приводящийся в движение паром и атмосферным воздухом.

Непосредственным предшественником Уатта был Ньюкомен, который (1712 г.) построил паровую машину для постоянного откачивания воды из каменноугольных шахт.

Если же принять во внимание, что и после Уатта десятки и сотни инженеров-механиков и исследователей занимались усовершенствованием и применением паровой машины, то мы должны будем признать, что роль отдельного открытия и изобретения столь же мала, как и отдельной личности.

Естествознание является частью общественного процесса и движущие его силы не зависят от воли отдельных лиц и являются силами общественными. Точно так же открытия и изобретения не являются чем-то случайным, плодом гения или случайной находкой, а продуктом долгого и неизбежного развития.

Но, отрицая роль отдельной личности в смысле решающего значения на развитие естествознания и такую же роль отдельного открытия или изобретения, мы в то же время отнюдь не проповедуем фатализма. Наоборот, мы говорим, что человек, в сущности, и есть единственная самодвижущаяся материя общественного процесса, что деятельность человека создает общество во всех его мельчайших проявлениях, однако все общественные явления не суть результаты открытий или гениальных изобретений отдельных личностей, а имеют свой корень в деятельности всего общественного коллектива.

После этих немногих соображений на рассматриваемую тему, можно перейти к заключительным замечаниям всей статьи.

---

Как общий вывод из статьи, можно высказать положение, что естествознание есть сложное общественное явление, находящееся в постоянном изменении. Его нужно рассматривать во взаимодействии со всеми общественными факторами.

Но именно сложность вопросов и является большим затруднением при установлении методологии истории естествознания. Первоисточники для значительного большинства моментов истории естествознания не достаточно разработаны и мало доступны. Да и изучение их совершенно не под силу отдельному человеку. Поэтому трудно на первых парах избежать в фактическом изложении не только мелких, но, пожалуй, и крупных ошибок.

В предыдущем изложении еще нет картины диалектики истории естествознания, как ее нужно было бы требовать. Мне думается, что я показал лишь отдельные главнейшие составные части, из которых складывается механизм диалектики. Для того, чтобы представить весь механизм во всей его сложности в движении, в процессе диалектического развития, необходимо было бы разобрать конкретные моменты из истории естествознания, учитывая все особенности данной истори-

ческой эпохи. Это должно быть предметом дальнейшей работы, для которой изложенное выше является лишь методологическим введением.

Полагаю, что изучение истории естествознания и истории техники имеет большое значение для практического решения таких вопросов, как реформа школы (в том числе и высшей), реформа преподавания, упрощение и популяризация изложения добытых знаний, пропаганда естествознания в широких массах и т. д.

Наконец, отмечу, что в статье методологически удобнее было итти от простого к сложному, но необходимо помнить, что в действительности отношения обратные: простое есть часть сложного, сложное целое предшествует многим его частям и части не могут быть поняты вне целого и сложного.

*А. Максимов.*

---

# Метод доказательства закона взаимодействия тяжелых и электрических масс Ньютона-Кавендиша-Максвелла сравнительно с методом исследования К. Маркса и Фр. Энгельса [1]) [2]).

Очень часто указывается на тождество метода Маркса-Энгельса с методом точных наук. Но это указание доказывается, обычно, в форме общих мест.

В этой статье мы даем опыт более строгого доказательства этого тождества. С этой целью напомним прежде всего существенные пункты диалектического метода. Эти пункты будут детально разобраны в дальнейшем, пока же ограничимся простой формулировкой.

1. Диалектика начинает с анализа конкретного (диалектический анализ), как синтеза противоречий. Этот анализ не является „чистым описанием" действительности, а скачком в область абстрактного (теории).

2. Диалектический анализ конкретного приводит к абстрактной синтетической гипотезе.

---

[1]) При изложении этой статьи мы пользовались: 1) Началами Ньютона, 2) первым томом трактата Максвелла „Электричество и магнетизм" (изд. французское 1885 г., § 74), 3) „Капиталом" Маркса и его „Введением в критику политической экономии", 4) сборником „Основные проблемы политической экономии", ред. Двойайкого и Рубина, 5) программой по марксизму Адоратского, 6) книгой Н. Бухарина: „Политическая экономия рантье", 7) книгой В. Арнольда: „Политико-экономические этюды" и др. сочинениями, указанными в тексте.

Статья представляет собою сокращенное изложение главы работы: „Диалектика Ньютоновой физики и Принцип Относительности".

[2]) Не разделяя ряда положений в статье т. Цейтлина, редакция помещает ее в дискуссионном порядке. В следующем номере будет помещен ответ т. Тимирязева по физическим проблемам, затрагиваемым в статьях т. Цейтлина.



3. Из гипотезы получается логический ряд дедукций (гипотетическая теория конкретного).

4. Гипотетическая теория проверяется на конкретной сложности, обогащаясь в самом процессе исследования и все более и более, но бесконечно приближаясь к действительности.

К этим пунктам необходимо прибавить общий принцип простоты, ясности и отчетливости идей, формулированный Декартом. Наука — по существу это ясное, отчетливое и возможно простое постижение действительности. Всякая неопределенность, неясность и неотчетливость и часто отсутствие простоты научных идей—лучший и верный признак их антинаучности. Сила атомной и эфирной теории, а также теории Маркса-Энгельса в их простоте, ясности и отчетливости. Значение принципа простоты очень ясно выступает при сравнении теории Маркса с теорией предельной полезности. Путаница, неопределенность и неясность последней—доказательство ее антинаучности.

Покажем, что по этому пути одинаково шли Ньютон, Кавендиш, Максвелл и Маркс-Энгельс.

Начнем с Ньютона.

Основная сложность, которая послужила исходным пунктом анализа Ньютона,—это сложность обычного падения тел. Эта сложность обнаруживает противоречие, которое было известно и древним. Так, с „естественной точки зрения" „неплотное и легкое" тело должно падать скорее „плотного и тяжелого".

В самом деле, непосредственный опыт человека, который обычно является исходной точкой зрения, учит, что легче двигать неплотные и легкие тела, нежели плотные и тяжелые. И обычное мышление рассуждает так: земля тянет тела подобно тому, как рука тянет предмет, следовательно и т. д.

Но неплотные и легкие тела обычно падают медленнее, нежели плотные и тяжелые. Это противоречие мучило мыслителей и его приписывали влиянию воздуха. Но вот Галилей предпринимает опыт падения тел в пустоте. Что могло ожидать обычное, метафизическое мышление от этого опыта? Устранение мучившего противоречия. Но в результате получилось еще более парадоксальное, совершенно необъяснимое на первый взгляд, противоречие: все тела, независимо от их величины, формы, состава, одинаково падают в пустоте. Школьная метафизическая логика никак не может примириться с этим утверждением логики природы.

Эта школьная логика любит тривиальности, вроде: „разнородное по отношению к однородному—разнородно". Или „две величины порознь неравные третьей—не равны". И вдруг—величины порознь неравные третьей—равны между собою. Разнородные тела однородны, по отношению к третьему (земле)!

Ньютон извлек из этого противоречия понятие материи, как совокупность однородных атомов.

Установив в первой и второй гипотезах „Системы мира“ (Начала, изд. 1687 г.) принцип простоты и всеобщей закономерности, он в 3-ей гипотезе формулировал атомизм. Понятие атома—это абстрактная гипотеза; абстрактная потому уже, что атом противополагается пространству, т.-е. эфиру. В 1-ом определении „Начал“ Ньютон указывает: „Однако при этом (при определении количества материи) я не принимаю в расчет той среды, если таковая существует, которая свободно проникает в промежутки между частицами“. Основание такой абстракции—сам опыт одинакового падения тел в пустоте, опыт, тщательно проверенный Ньютоном, Бесселем, Этвешом, Зееманом и др.

Получив это простое и всеобщее гипотетическое понятие, Ньютон приступил к конструированию путем дедукции абстрактной, механической теории. Для этого ему необходимо было еще извлечь из опыта правильное понятие движения. Не вдаваясь в подробности [1]), укажем, что Декарт определил движение, как модальность (mode) и реальность (entité). Движение понимается нами на основании опыта прежде всего, как прохождение пространства (модальность—относительность); там, где нет этого прохождения—нет и движения. С другой стороны, непосредственно ощущение движущегося человека учит, что движение находится в этом теле, а не в том, по отношению к которому происходит движение, т.-е. движение есть реальность (качество).

Отсюда ясны основные определения Ньютона:

**Определение 1-ое**: количество материи (масса) есть мера таковой, устанавливаемая пропорционально плотности и объему.

Академик Крылов говорит, что „ни одно определение не вызвало столько критических замечаний, как это первое“. Но это произошло потому, что метод Ньютона исказился и искажается метафизиками, которые упорно отвергают атомизм. С точки же зрения атомизма Ньютона—определение совершенно ясно: количество материи пропорционально объему и числу атомов в единице объема, т.-е. плотности. И так как исходный пункт атомизма—это опыт падения тел, то Ньютон и говорит: „Определяется масса тела по весу тела, ибо она пропорциональна весу, что мною найдено опытами над маятниками, произведенными точнейшим образом“.

Заметим, что с точки зрения философии чистого описания, которая отвергает атомизм, опыт падения тел в пустоте — абсолютно необъясним: его необходимо воспринять, как некий мистический факт. Отсюда ясно, почему Мах подверг определение массы Ньютона резкой критике—философия чистого описания жаждет на место рационального объяснения поставить мистическую физику без гипотез.

[1]) Подробности эти читатель может найти в нашей статье: „Теория относительности А. Эйнштейна и диалектический материализм“ („Под Знаменем Марксизма“, № 3 за 1924 г.).



Общая теория относительности дала дополнительное объяснение, по существу верное, так как оно вытекает из принципа модальности движения, но остающееся мистическим, если отвергнуть однородность материи [1]).

**Определение второе гласит**: количество движения есть мера такового, устанавливаемая пропорционально скорости и массе, т.-е. $m.v = \frac{m.s}{t}$, точнее $m.\frac{ds}{dt}$. В этом определении фигурирует модальность (относительность) движения, как прохождение пространства: скорость—это пространство, пройденное в единицу времени.

**Определение III**: врожденная сила материи есть присущая ей способность сопротивления, по которой всякое отдельно взятое тело, поскольку оно предоставлено самому себе, удерживает свое состояние покоя или равномерного прямолинейного движения.

**Определение IV**: приложенная сила есть действие, производимое над телом, чтобы изменить его состояние покоя или равномерного прямолинейного движения.

Эти определения выражают движение, как реальность (силу).

Реальность эта сохраняется поскольку тело, в котором она находится, „взято отдельно“, „предоставлено самому себе“. Если тело увеличивает или уменьшает свое количество движения, то к ней приложена сила, т.-е. реальность движения прибывает или убывает.

Чтобы согласовать реальность движения с модальностью, Ньютон прибавляет к 4-му определению слова: сила проявляется единственно только в действии и, по прекращении действия, в теле не остается.

Эти определения служат основанием трех знаменитых законов движения Ньютона:

**Закон I**: Всякое тело удерживается в своем состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменять это состояние.

**Закон II**: Изменение количества движения пропорционально приложенной движущей силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует, т.-е.

$$F\ (\text{сила}) = \frac{d\ (m \cdot v)}{dt} = m.\frac{dv}{dt} = m.\ \ g,$$

где $g$—ускорение.

**Закон III**: Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе взаимодействие двух тел друг на друга между собою равно и направлено в противоположные стороны.

Здесь, понятию сила дается более узкое, математическое определение: приращение или убыль количества движения в единицу вре-

[1]) См. упомянутую выше статью.

мени, ибо такое приращение или убыль играют прежде всего роль в явлениях движения.

Эти ясные законы сделались основой мистификации. Проф. Хвольсон говорит, например [1]), что первый закон абсолютно невозможно понять, ибо по какой же это прямой движется тело по инерции. Хвольсон требует „систему координат", к которой относится эта прямая.

Но с таким же точно правом он мог бы требовать указания точки, в которой покоится тело.

Несмотря на эти недоумения, проф. Хвольсон и др. преспокойно применяют закон инерции, „абсолютно непостижимый".

Это доказывает, что обычные умы, как прекрасно говорит Гегель в известной главе (о софистах) своей „Истории философии", на деле поступают лучше, чем думают [2]).

В самом деле, что собственно означают слова „покой" и прямолинейно-равномерное движение в первом законе Ньютона? Это синонимы понятий „неизменности", „сохранения состояния", т.-е. количества движения. Поэтому Г. Герц заменил в своей механике этот закон более общим: „Всякое тело стремится сохранить свое состояние покоя или движения по кратчайшему направлению". Если бы это было не так, то с какой стати Ньютон в первом законе повторил бы то, что он уже говорил в III определении.

Слово „закон" показывает, что Ньютон констатирует просто опытный факт. Г. Герц подчеркивает, что его закон—это закон, наблюдаемый в природе. Возьмем, например, движение тела по земной поверхности. Чем меньше трения испытывает тело, тем более равномерно и прямолинейно оно движется. В учебниках физики говорят, что оно движется по прямой, и эта прямая понимается обычно в абсолютном смысле.

Но где же эта абсолютная прямая? Земная поверхность криволинейна, да и сама земля движется вокруг оси и около солнца, которое, в свою очередь, движется к созвездию Геркулеса, и т. д.

Ясно, что только метафизики, которые не понимают значения абсолютного в мышлении, могут искать эту „абсолютную прямую". Обычные же умы, если даже они философски и не сознают проблемы, понимают прекрасно, что речь идет об относительной прямой, т.-е. неизменном и кратчайшем направлении в данной системе координат. Но абсолютная прямая существует, какова бы ни была структура нашего пространства. Но это—идеальная, т.-е. бесконечная, следовательно недостижимая, цель нашего познания. Найти движение по абсолютной прямой все равно, что объять необъятное [3]), даже, если

[1]) См. Курс физики, т. I.

[2]) Der gemeine Verstand ist in seinem Handeln also besser, als er denkt (Hegel, Geschichte der Philosophie, B. II).

[3]) См. по этому поводу прекрасные замечания К. Максвелла в „Материи и движении", а также упомянутую выше статью.



наше пространство Евклидово, т.-е. тогда даже, когда мы можем мысленно вообразить себе абсолютную прямую.

Но все это не лишает закона Ньютона его значения, а, наоборот, возвышает его до силы методического правила исследования. Это правило великолепно применяется всеми инженерами и, в качестве закона природы, беспрерывно подтверждается практикой. Что касается абсолютов, то они обитают только в головах метафизиков и служат для мистификации неопытных умов.

Философы чистого описания из того факта, что человеческий ум не может „поймать" абсолютного, выводят заключение, что абсолютного нет. Но из того факта, что они не в состоянии прыгнуть выше собственной головы или укусить себя за собственное ухо—они почему-то не выводят заключений о своей безголовости или о том, что только у ослов имеются уши.

Всякий диалектик прекрасно понимает, что абсолютное — это реальность природы, как предел, к которому приближается познание, и что наше познание относительно только исторически, а не логически.

Сверх всего этого, можно заметить, что так как абсолютно изолированное тело—это абстракция, то и закон Ньютона—абстракция: нет ни одного тела, которое сохраняло бы вечно свое состояние,—все движется, все течет.

Третий закон Ньютона также понимается обычно не так, как следует.

Он выражает, собственно говоря, закон реальности и относительности движения.

Рассмотрим два случая взаимодействия тел: первый: лошадь тянет повозку. Что значит, с точки зрения Ньютона, действие лошади на повозку? Это значит,—что известное количество движения в секунду (сила) передается от лошади к повозке, так как сила—величина, как говорят, векториальная, т.-е. имеет определенное направление, и, сверх того, движение относительно, следовательно действие лошади на повозку заключается в собственном движении и сообщении повозке некоторого ускорения по определенному направлению. Но если лошадь сообщает повозке движение одного направления, то, с точки зрения понятия движения,—это равносильно потере его движения обратного направления, т.-е. к лошади прилагается сила противоположного направления, повозка, так сказать, забирает движение у лошади. Когда ученик V класса впервые слышит, что, согласно законам механики, не только лошадь тянет повозку, но и повозка лошадь, то им овладевает мистический трепет. Один ученый [1]) откровенно признался, что он долго, почти до седых волос, не понимал этого закона и что многие инженеры, великолепно пользующиеся законом, сходят в могилу, не уяснив себе его смысла.

[1]) Перельман, Занимательная физика.

Это не удивительно, если вспомнить, что все усилия схоластики направлены к мистификации самых простых основ науки.

Второй пример еще лучше уясняет смысл закона Ньютона: Отдаленнейшая звезда испускает световую волну, которая со скоростью 100,000 километров в секунду распространяется в пространстве и через огромное количество лет прибывает на нашу землю, „действуя" на глаз наблюдателя.

Допустим, что глаз наблюдателя испускает некоторую противодействующую волну, которая мчится в обратном направлении с тою же огромной скоростью.

Несмотря на большую величину скорости, все же требуется время и очень большое, чтобы пройти колоссальное расстояние, отделяющее нас от так называемых „неподвижных звезд". И когда волна противодействия прибывает, наконец, к месту назначения, она находит его „пустым": звезда давно столкнулась с другой и, обратившись в звездную пыль, рассеялась по мировому пространству. Закон противодействия нарушен.

Так теперь и говорят в физике, где воцарилась конечная скорость распространения различных действий (теория Лоренца). Но на самом деле никакого нарушения закона нет. Это ясно всякому, кто присутствовал при выстреле из пушки или понимает механизм полета ракеты. При стрельбе наблюдается отдача; полет ракеты основан на той же отдаче, вследствие истечения газов из хвоста. Такая же отдача, теоретически выведенная знаменитым Максвеллом (а также Бартольди) для света, была блестяще подтверждена на опыте известным русским ученым П. Н. Лебедевым (давление Максвелла-Бартольди).

В момент испускания световой волны, звезда испытала необходимое противодействие.

Что значит звезда испускает волну? Это значит, она сообщает окружающей материи определенное движение. Но как можно сообщать материи движение? Для этого необходимо самому двигаться (закон относительности движения) и быть связанным с телом, которому движение сообщается тем, что оно забирает часть наличного движения движущегося тела. При выстреле или движении ракеты, движение взрывчатой смеси поглощается ядром, пушкой или ракетой.

Таким образом III закон—следствие понятия движения, как реальности и модальности.

Он позволяет судить о распределении движения. Земля притягивает камень, камень тянет землю. Каково распределение движения? Если сила взаимодействия $F$, масса земли $M$, камня $m$, то

$$g_1 \text{ (ускорение земли)} = \frac{F}{M}$$

$$_2 \text{ (ускорение камня)} = \frac{F}{m}.$$



Из своих законов Ньютон вывел, как следствие, закон параллелограмма сил. Академик Крылов говорит, что формулировка этого следствия представляется при теперешнем изложении необычной и доказательство как бы ей несоответствующим. Действительно, это покажется так, если метод Ньютона заменить, скажем, методом чистого описания.

Формулировка Ньютона такова:

„При силах совокупных тело описывает диагональ параллелограмма в то же самое время, как его стороны при раздельных".

Доказательство основано на замене сил расстояниями, проходимыми телом. Но если масса—величина постоянная, как это принял Ньютон на основании гипотезы атомизма, если, сверх того, движение—относительно, то это доказательство вполне правильно, что не трудно сообразить.

Дальнейший процесс дедукции заключается в следующем: когда Ньютон собирался опубликовать „Начала", известный физик Гук выступил с претензией на открытие закона тяготения. Ньютон в письме к астроному Галлею указал, что закон тяготения совершенно не получается тем путем, который указывается Гуком (из законов Кеплера). Ньютон говорит, что он извлек этот закон 20 лет тому назад (в 1666 году) из законов Кеплера, но не считал это доказательством закона всемирного тяготения. Закон тяготения, полученный из законов Кеплера,—это только „догадка" (guess) по выражению Ньютона, ибо формы орбит, полученные Кеплером путем „чистого описания", являются „догадками". Ни один „истинный мыслитель" (judicious philosopher), говорит Ньютон, не поверит в истинность закона тяготения, извлеченного из теорем Кеплера. Вот слова Ньютона: „Ибо когда Гюйгенс показал, как находить силу во всех случаях кругового движения, он указал, как следует поступать во всех таких и других случаях, и таким образом честь выполнения принадлежит Гюйгенсу" (из письма к Галлею). Прежде всего, если притягивающий центр находится не в фокусе эллипса, а в его центре, сила притяжения прямо пропорциональна первой степени расстояния. А эксцентриситет планетных, например, орбит столь мал, что эти орбиты очень трудно отличить от окружностей и, следовательно, установить, где находится центр притяжения. Кроме того, где гарантия того, что данная кривая эллипс?

Для наглядного уяснения этого пункта, возьмем следующий пример:

Ур-ние эллипса, как известно, имеет форму $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=0$.

Напишем другое ур-ние: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2 \pm \alpha}{b^2}-1=0$. Если $\alpha=0$, ур-ние дает эллипс. Если $\alpha \neq 0$, кривая будет, вообще говоря, отличаться от эллипса. Пусть $\alpha = h = m.n.$ универсальной постоянной Планка $= 6{,}55 \cdot 10^{-27}$. Получим кривую $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2 \pm 6{,}5 \cdot 10^{-27}}{b^2}-1=0$. Спрашивается, какое

„чистое описание" может гарантировать, что кривая не эллипс? Но ведь $\alpha$ может как угодно близко подходить к нулю и, следовательно, кривая как угодно мало может отличаться от эллипса. Более того, как великолепно доказывает Дюгем (La theorie physik, p. 292, изд. 1914): „помимо того, что принцип всемирного тяготения не может быть извлечен путем обобщающей индукции из эмпирических законов, формулированных Кеплером, он формально противоречит этим законам. Если верна теория Ньютона, то законы Кеплера необходимо ложны". Закон Ньютона приводит не к простым, а „возмущенным" орбитам. Далее, как показывает строгий анализ, Кеплеровы движения (т.-е. движения по эллипсам) имеют место только в случае бесконечно-малых тел постоянной массы. А планеты и солнце—это огромные, сложные тела и, следовательно, их движения необходимо являются, как результирующие взаимодействующие отдельных атомов планет и солнца (Проблема притяжения тел конечных размеров).

Не имея возможности говорить здесь об этом любопытном вопросе, отсылаем читателя к книге Дюгема. Заметим лишь, что Дюгем—этот тончайший из схоластов—великолепно понимает ложность обычного истолкования соотношения между законами Кеплера и законами Ньютона. Но это истолкование принадлежит Бентли-Котсу (редакторам 2-го издания Начал), и, следовательно, критика Дюгема направлена не против „метода Ньютона", а против „метода Бентли-Котса". Дюгем хотя и является единомышленником этих почтенных джентльменов, но он вынужден приспособляться к действительно физической теории. Отсюда все те непоследовательности и противоречия, которыми наполнено сочинение Дюгема о „физической теории", но истинного метода Ньютона он все же не показывает читателю. Таким образом строгим, т.-е. научным, доказательством законов Кеплера является не „чистое описание" планетных движений, а вся совокупность физико-химического опыта, доказывающая атомизм материи.

Теория строения атомов Бора-Зоммерфельда прибавила замечательную главу в этом направлении. Эта теория опять-таки показывает, что не из законов Кеплера выводится закон тяготения, а закон тяготения объясняет законы Кеплера и все „возмущения" планетных и электронных орбит.

Действительно, Гюйгенс вывел известную формулу центростремительного ускорения при круговом движении $\left(g = \frac{V^2}{R}\right)$, т.-е. величину центростремительной силы

$$F = m.\frac{V^2}{R}$$

Весь вывод имеет, конечно, смысл только при предположении постоянства массы и закона относительного движения (сложения скоростей), а эти предпосылки служат основанием механики Ньютона. Следуя Гюйгенсу, Ньютон определил величины сил не только для круговых форм движения, но и для других, в частности эллиптических, параболических и гиперболических [1]).



В предложении IV отдела II (о нахождении центростремительных сил) Ньютон формулирует теорему Гюйгенса и в 6-м следствии выводит закон квадратов. В „Поучении" к предложению он указывает: „случай, отмеченный в следствии 6-ом, имеет место для небесных тел (как то независимо друг от друга отметили Врен, Гук и Галлей)".

Ньютон упоминает далее Гюйгенса, который впервые сравнил центростремительную силу с силой тяжести. „Такого рода предложениями Гюйгенс в превосходном своем сочинении „De Horlogio oscillatorio" и сопоставил силу тяжести с центробежными силами вращающихся тел".

В предложении XI отдела III Ньютон решает задачу: „Тело обращается по эллипсу, требуется определить закон центростремительной силы, направленной к фокусу эллипса".

В современной форме полученный результат изображается равенством:

$$F\ (\text{сила}) = \frac{m\,.\,c^2}{p\,.\,R^2},$$

где $m$ — масса тела, $c$ — так назыв. постоянная площадей, $p$ — полупараметр эллипса, $R$ — радиус вектор.

Из этого равенства легко вывести знаменитый закон тяготения

$$F = k^2\frac{M.\,m}{R^2}.$$

В отделах VII—XIV Ньютон разбирает формы орбит, получаемые при предположении центростремительных сил, действующих по различным законам, и решает общие задачи притяжения тел (сферических и несферических).

Вторая книга „Начал" рассматривает движения тел при наличии сил сопротивления, движение тел в средах, движение жидкостей и распространения движения в средах. В этой части дан подробный анализ вихревой гипотезы Декарта; этот анализ показывает, что Ньютон в первой стадии пытался получить законы Кеплера из вихревого механизма. Второй книгой заканчивается теоретическая дедукция Ньютона.

Мы видим, что эта дедукция построена на определенных гипотезах, полученных на основании опыта падения тел в пустоте и анализа процесса движения. В третьей книге „Начал"—„Система мира" Ньютон приступает к всесторонней проверке своей гипотетической теории.

Наблюдения Кеплера привели к законам обращения планет. Но как мы указали уже, ни одно, самое тщательное наблюдение не может

[1]) О движении тел, книга I, отделы II, III и IV.

в точности установить действительную форму орбит, особенно в случае планет, для которых орбитный эксцентрицитет очень мал.

Вот почему Ньютон поместил законы Кеплера в число „гипотез“ [1]), подтверждение этих „частных“ гипотез может быть получено только путем сопоставления их со всеобъемлющей гипотезой мировых процессов, а таковой гипотезой уже издревле была гипотеза атомизма.

В 28 вопросе „Оптики“ Ньютон ссылается на „авторитет тех старейших и знаменитых греческих и финикийских философов, которые принимали абсолютное пространство и атомы, а также тяжесть атомов за первые основания своей философии“ [2]).

Удивительный опыт Галилея только еще решительнее убедил Ньютона в правоте гипотезы атомизма. Построив на основании этой гипотезы свою механику, Ньютон в „Системе мира“ нашел окончательное блестящее ее подтверждение. Из выведенного теоретически закона притяжения Ньютон с полной необходимостью получает законы Кеплера, превращая их из „догадки“ в строго научную истину („Система мира“, предложения I—XX). Далее (предложения XX—XLII) он решает такие вопросы, которые, по словам Галлея, до тех пор не поддавались усилиям ни одного астронома: теория лунных движений и аномалий, теория приливов и отливов, вопрос о предварении равноденствий, теория комет и др. Грандиозная „Небесная механика“ Лапласа была гениальным завершением здания Ньютоновой „Системы мира“. Читателю, незнакомому с подробностями астрономической науки, трудно даже вообразить себе, до какой степени точности дошла эта наука, благодаря гению Ньютона. Один яркий пример наглядно выяснит всю глубину ньютонова анализа и, следовательно, диалектического метода. В 1845 г. французский астроном-теоретик Леверрье (Le Verries), по совету Араго, приступил к теоретическому изучению неправильностей (неравенств) движения планеты Уран. Это изучение привело Леверрье к теоретическому выводу, что неравенства Урана вызываются неким возмущающим влиянием неизвестного небесного тела [3]). Одновременно с Леверрье к тому же выводу пришел молодой английский студент Адамс. Леверрье в точности определил то место неба, в котором должно было находиться предполагаемое тело. Так как сам Леверрье никогда не заглядывал в астрономическую трубу и произвел все вычисления у себя в кабинете с помощью карандаша и бумаги, то он обратился к берлинскому астроному Галле с просьбой „взглянуть на небо“. 28 сентября 1846 г. Галле, согласно указаниям Леверрье, направил свою трубу на определенную точку небесного свода.

[1]) 1-е издание „Начал“ (1687 г.), III книга („Система мира“).

[2]) Отсюда мы видим, что не Дальтон был основоположником научного атомизма, а Исаак Ньютон.

[3]) Результаты исследования Леверрье напечатаны в „Recherches sur le mouvement de la planète Uranus“.



Легко представить себе душевное состояние астронома, когда в поле зрения трубы оказалась планета, названная впоследствии Нептуном. Научный метод праздновал свое величайшее торжество, ибо если знать—это предвидеть, то высшей степени предвидения нельзя себе и вообразить [1]).

Дальнейшая судьба гипотезы Ньютона такова: объяснив громадное число явлений, предсказав тончайшие особенности этих явлений, она в конце концов наткнулась на противоречие, которое и привело к современной теории относительности. Атом Ньютона оказался относительным, и мы знаем теперь, что атомы этой системы удивительно тождественны с солнечной. Но все это не лишает, конечно, Ньютонова учения его силы. Всякое противоречие только углубляет столь строгие теории, как теория Ньютона. В частности, закон Ньютона не мог овладеть некоторыми движениями планетных орбит, самое известное из которых это движение перигелия Меркурия. Силы взаимодействия Ньютона—это так назыв. консервативные силы, то-есть такие, которые зависят только от расстояний, но не от скоростей и ускорений, что ясно из формулы закона притяжения. В науке такие силы называют силами, имеющими простой потенциал. Консервативность сил — это, конечно, также гипотеза. И вот наука принуждена была в области электрических явлений допустить неконсервативные силы (Гаусс, Вебер, Риман), т.-е. силы, являющиеся функциями не одних только расстояний, но также скоростей и ускорений. Знаменитые ученые Гельмгольц и Нейман положили основание теории кинетического потенциала, т.-е. потенциала, данного не статически, как определенное распределение энергии в пространстве, а потенциала, непрерывно перемещающегося и этим вызывающего переменные распределения энергии. Иными словами, эти ученые построили метод трактовки сил, зависящих от скоростей и ускорений. Молодой ученый Гербер применил эту теорию к движению перигелия Меркурия (1898 г.). Закон Ньютона осложнился добавочными членами, но зато получился замечательный результат, объясняющий наблюдаемые явления.

Так как теория Гербера делала вполне определенный шаг в решении пресловутой загадки всемирного тяготения, то ее замолчали.

20 лет спустя, А. Эйнштейн получил формулу Гербера, и так как он исходил из предпосылок, легко поддающихся схоластико-идеалистическому истолкованию, то его настолько же громко хвалят, насколько упорно замалчивали и клеветали на Гербера, умершего в 1909 году. Все это в порядке вещей. Итак, после длительного развития, закон Ньютона обогатился новыми членами, углубляющими его. Это, конечно, не последнее слово науки. Новые факты приведут к новым противоречиям и, следовательно, к новому углублению и

[1]) Периодическая система Менделеева, открытие чисто теоретическим путем (Гамильтоном) конической рефракции, открытие Герцом электромагнитных волн, предсказанных теоретически за 25 лет Максвеллом—аналогичные случаи, доказывающие мощь научного метода. Я надеюсь показать, что эти предвидения основаны на одном и том же методе.

развитию. Тайна природы развертывается перед умом человека постепенно и диалектически, и в этом движении весь смысл жизни и творчества.

Труд, т.-е. борьба—самоцель.

---

Покажем теперь на другом замечательном историческом примере единство научного метода [1]).

Пример касается известного закона взаимодействия электрических масс—закона Кулона

$$F\ (\text{сила}) = k^2 \frac{m_1\ m_2}{r^2},$$

где $k$—постоянная, $m_1$ и $m_2$—электрические массы (заряды), $r$—расстояние между ними.

Подобно тому, как в отношении закона тяготения говорят, что он выведен из законов Кеплера, точно также по отношению к закону Кулона утверждают, что он результат опыта с крутильными весами.

Послушаем, однако, что говорит об этом такой авторитет в науке, как Максвелл.

В § 74 тома I трактата „Электричество и магнетизм“ („О доказательстве закона обратных квадратов расстояний“) Максвелл пишет: „Можно предположить, что непосредственные опыты, произведенные посредством крутильных весов Кулоном, установили, что сила взаимодействия между наэлектризованными телами обратно пропорциональна квадратам расстояний. Необходимо, однако, рассматривать результаты, выводимые из подобного рода опытов, как подверженные ошибке, которая зависит от вероятной ошибки всякого подобного опыта. А вероятная ошибка опыта, произведенного с помощью крутильных весов, если только ловкость экспериментатора не очень велика—весьма значительна“.

Ссылка на искусство экспериментатора не имеет гносеологического значения.

Глубокий философский анализ, из которого исходил именно Ньютон, показывает, что самое искусное непосредственное экспериментирование (чистое описание) не в состоянии установить точного закона явлений. Необходима вся совокупность косвенных опытов, всеобъемлющая гипотеза мировых явлений для того, чтобы „догадка“, извлекаемая из единичного наблюдения, превратилась в научную истину. Как мы видим, опыт падения тел в пустоте натолкнул Ньютона на такую всеобъемлющую гипотезу, но этот опыт только один из многих, который толкает ум человека на путь атомизма. Основания атомистической гипотезы, быть может, гораздо глубже, чем это обычно полагают. Ведь в формировании человеческого мозга принимала участие громадная эпоха: от хаотической туманности до выделения человека из звериного царства. Этой эпохой обычно пренебрегают и вместе с Локком полагают, что человек этот tabula rasa. Но не прав ли Декарт, который утверждал, что наши основные идеи (пространства, материи, движения, времени)—идеи „врожденные“ в том смысле, что они ведут свое начало от громадной эпохи исторического развития человека. Согласно основному материалистическому постулату: мышление—адэкватное отражение действительности. И если эта действительность одновременно атомистична и непрерывна, то мышление, возникающее из прерывно-непрерывной материи, должно мыслить эту материю таковой. Не развивая здесь этой темы, заметим, что Декарт не только формулирует теорию врожденных идей, но показывает необходимость наших понятий пространства, движения и времени с точки зрения теперешней нашей логики или, выражаясь языком специальных терминов, обосновывает свое учение не только генетически, но и гносеологически.

Обратимся, однако, к доказательству Кавендиша-Максвелла. Кто такой Кавендиш? Это, прежде всего, знаменитый химик (1731—1810), которого несколько преувеличенно называли „Ньютоном химии“, но которому, по справедливому замечанию историка Геллера, мы, наряду с Лавуазье, обязаны современной формой химии.

Из его химических открытий достаточно указать на открытие водорода и состава воды.

Но у Кавендиша были замечательные работы по электричеству, которые долго оставались неизвестными до тех пор, пока их не опубликовал в 1879 г. Д. К. Максвелл [1]). Оказалось, что за 12 лет до Кулона (1773 г.) Кавендиш опытно нашел закон взаимодействия электрических масс [2]). Но этот опыт не есть „чистое описание“ Кулона, т.-е. „догадка истины“, а опыт, построенный на всеобъемлющей гипотезе. Какова эта гипотеза? Это гипотеза Франклина-Эпинуса о строении материального мира. Согласно Франклину-Эпинусу [3]) пространство, которое эти мыслители отделяли от материи, как абсолютную и особую сущность, наполнено двумя основными видами единой материи: обычной (т.-н. весомой) материей и электрической жидкостью (эфиром), которая свободно проникает и наполняет все обычные тела. Частицы электрического флюида, как и частицы весомой материи, взаимно отталкиваются, но между электричеством и обычной материей имеется взаимодействие притяжения. Что касается взаимного, согласно Ньютону, тяготения частей весомой материи, то оно,

---

[1]) Этот пример будет вполне доступен только лицам, обладающим специальными познаниями»; неподготовленный читатель может его пропустить и обратиться к характеристике метода Маркса-Энгельса.

[1]) The Electrical researches of the honourable Henry Cavendish, F. R. S.

[2]) Еще в 1771 году в статье „An attempt to explain some of the principal phenomena of electricity by means of an elastic fluid“ (Phil. Transact. 1771)—Кавендиш формулировал этот закон чисто теоретически.

[3]) См. специальный трактат E. T. Whittaker'a „A history of the theories of Aether and Electricity“ (1910).

согласно Эпинусу, является результирующим остатком взаимодействий основных видов материи.

Замечательно то, что эти мыслители эпохи Декарта-Ньютона (взгляды которых воспринял Кавендиш) не отделяли, подобно позднейшим метафизикам, электричество от обычной материи, как особую метафизическую сущность. Строение электричества и материи предполагалось атомистическим. Каков закон взаимодействия между атомами? В упомянутом в примечании мемуаре 1771 г. Кавендиш предполагает, что сила должна быть „обратно пропорциональной некоторой степени, меньшей куба". Лаплас впервые [1]) рассматривал силу, как некоторую функцию расстояния и доказал, что эта функция обратно квадратная, при условии, чтобы равномерный сферический слой не оказывал никакого действия на внутреннюю, по отношению к слою, точку.

Непосредственный опыт показывает, что это имеет место для электрического слоя. Кавендиш произвел этот опыт в следующей форме: на изолированной подставке он помещал металлический шар, который окружал двумя полушариями также изолированными. Полушария соединялись с шаром при помощи металлической палочки, а затем заряжались лейденской банкой. Убрав палочку, а затем полушария, Кавендиш исследовал электрическое состояние шара при помощи точнейшего в то время (1773) электрометра. Электрометр не давал никакого отклонения. Сообщив шару известную дробь заряда, первоначально сообщенного полушариям, Кавендиш нашел, что заряд шара должен быть менее $\frac{1}{60}$ полного заряда аппарата. Если бы он был больше,—электрометр дал бы отклонение. Отсюда Кавендиш теоретически выводил, что искомая функция равна:

$$F\ (r) = \frac{C}{r^{2 \pm q}},$$

где $q < \frac{1}{50}$.

Опыт Кавендиша был повторен в несколько иной форме Максвеллом в Кавендишевской лаборатории в Кэмбридже.

Мы изложим этот опыт и теорию его, согласно Максвеллу.

Последний указывает: „Мы можем заметить, что гипотеза Кавендиша, предполагающая, что сила изменяется, как некоторая степень расстояния, может показаться менее общей, нежели гипотеза Лапласа, который предполагает, что сила—функция только расстояния; но эта гипотеза (Кавендиша) является единственно совместимой с тем фактом, что подобные фигуры могут быть наэлектризованы так, что дают подобные электрические свойства". Максвелл далее указывает, что этот факт, согласно самому Кавендишу, приводит к гипотезе пропорциональности зарядов—объемам. Иначе говоря, в основе доказательства Кавендиша-Максвелла лежит та же гипотеза, что и у Ньютона: именно гипотеза однородно-атомистической структуры электричества.

[1]) Mecanique Celeste, t. I, p. 2.



Кавендиш, таким образом, предтеча, в строго научном смысле, современных творцов электронной теории.

Разберем теперь опыт Максвелла.

Не входя в подробности, которые читатель найдет в книге Максвелла, укажем следующее:

1) Внутренний шар и полушария были сделаны неподвижными.

2) Сверх этого аппарата имелся маленький металлический шарик, помещенный на значительном расстоянии от аппарата.

3) Употреблялся точнейший квадратный электрометр Томсона.

Операции велись в следующем порядке:

1) Полушария заряжались (положительно) помощью лейденской банки.

2) Маленький шарик соединялся с землей, получая, вследствие индукции, от аппарата отрицательный заряд.

3) Соединительная палочка убиралась при помощи шелковой нити.

4) Полушария разряжались путем соединения с землей и оставались в таком соединении.

5) Один из электродов электрометра, соединенный первоначально, как и другой, с землей, приводился в соединение с внутренним шаром. Электрометр не давал никакого показания.

Чтобы определить математические соотношения, как следствие опыта:—6) полушария изолировались от земли, а маленький шарик разряжался сквозь электрометр. Получалось отклонение $D > 300\,d$, где $\pm d$ наибольшее отклонение электрометра, которое может ускользнуть от наблюдения. В опыте Максвелла отрицательный индуктивный заряд маленького шарика равнялся $\frac{1}{54}$ первоначального заряда сферической оболочки. При соединении оболочки с землей (6) этот заряд индуктировал в оболочке положительный заряд, равный $\frac{1}{9}$ своей величины, т.-е. $\frac{1}{486}$ первоначального заряда оболочки.

Следовательно, первоначальный потенциал оболочки был в 486 раз больше потенциала маленького шарика. Как будет доказано ниже, при предположении силы взаимодействия, как функции $r^{-2-q}$, потенциал внутреннего шара оказывается равным 0,1478 $q$ потенциала оболочки, т.-е. в $0{,}1478\,q \times 486 =$ приблизительно $72\,q$ ($71{,}8\,q$) раза больше потенциала маленького шара. Следовательно, если $\frac{d}{D}$ отношение минимально доступного наблюдению отклонения к наблюденному при разряде шарика, то $q$ не может быть больше

$$\pm \frac{1}{72} \frac{d}{D}.$$

Действительно, если измерять потенциалы через отклонение электрометра $D$ и $d$, то потенциал внутреннего шара будет $72\,q.D$. При $q > \frac{1}{72}\frac{d}{D}$ потенциал этот будет $> d$, т.-е. должен быть обнаружен наблюдением.

А при „грубых даже опытах“ (Максвелл) $D$ оказывалось больше $300\,d$, следовательно:

$$q < \pm\frac{1}{21600} = \pm 0{,}000045$$

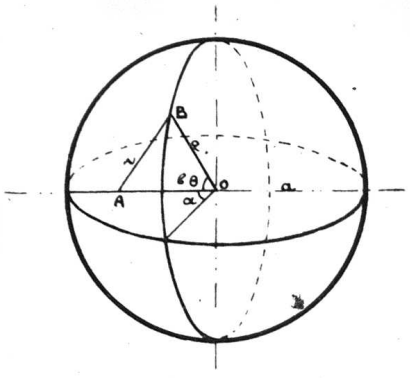
и значит

$$F(r) = \frac{C}{r^{2\pm 0{,}000045}}.$$

Теория этого опыта, согласно, Максвеллу такова [1]). Общая задача формулируется так: найти в некоторой точке потенциал, образованный однородным сферическим слоем, предполагая, что отталкивание двух материальных единиц (атомов) определенная функция расстояния.

Обозначим через $F(r)$ — искомую функцию взаимодействия, а через $\varphi(r)$ функцию, определяемую ур-нием:

(1) ..... $\frac{1}{r}\frac{d\varphi(r)}{dr} = \frac{1}{r}\varphi'(r) = \int_r^\infty F(r)\,dr = V$ — потенциалу силы $[F(r)]$ в данной точке. Введем сферические координаты $\theta$ и $\alpha$, при чем координатный полюс находится в центре $O$ сферической оболочки, а координатная ось проходит через данную точку $A$ (см. рисунок); пусть:




$a$—радиус сферической оболочки,

$b$—расстояние данной точки от центра $O$,

$\sigma$—поверхностная плотность материи, т.-е. все количество (масса) материи слоя равно

(2) $m = 4\pi a^2\sigma$;

из треугольника $ABO$ имеем:

(3) $r^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\theta$.

В геометрии доказывается, что сферическая элементарная площадка, образованная изменением координат на $d\theta$ и $d\alpha$, равна $a^2\sin\theta d\theta d\alpha$, следовательно, масса этой площадки будет:

(4) $\sigma a^2\sin\theta d\theta d\alpha$.

[1]) При изложении мы заменили обозначения Максвелла более удобными и ввели чертеж, а также дополнительные разъяснения и вычисления.

Потенциал массы в данной точке, как известно, равен $\int_r^\infty F(r)dr$, а по нашему обозначению $\frac{1}{r}\varphi'(r)$.

Следовательно, потенциал элементарной массы будет:

(5) $$\sigma a^2\frac{\varphi'(r)}{r}\sin\theta d\theta d\alpha$$

выражение, которое необходимо подвергнуть двукратному интегрированию от $O$ до $2\pi(\alpha)$ и от $O$ до $\pi(\theta)$.

Первая интеграция дает:

(6) $$2\pi\sigma a^2\frac{\varphi'(r)}{r}\sin\theta d\theta.$$

Дифференцируя (3), находим:

(7) $$rdr = ab\sin\theta.$$

Подставляя в ур-ние (6) получаем:

(8) $$2\pi\sigma\frac{a}{b}\varphi'(r)dr.$$

Интеграл этого выражения будет:

(9) $$V = 2\pi\sigma\frac{a}{b}\Big[\varphi(r_1) - \varphi(r_2)\Big],$$

где $r_1$ наибольшее, а $r_2$ — наименьшее значение $r$, т.-е. $a+b$ и $a-b$ (для внутренней точки) или $b-a$ (для внешней).

Если $m$ полный заряд оболочки, то, пользуясь ур-нием (2), находим для внешней точки:

(10) $$V = \frac{m}{2ab}\Big[\varphi(a+b) - \varphi(b-a)\Big];$$

для точки, расположенной на самой оболочке:

(11) $$V = \frac{m}{2a^2}\varphi(2a),$$

наконец, для внешней точки:

(12) $$V = \frac{m}{2ab}\Big[\varphi(a+b) - \varphi(a-b)\Big].$$

Если у нас два сферических концентрических слоя радиусов $a$ и $b$, как в опыте Кавендиш-Максвелла, с зарядами $m_1$ и $m_2$, то, обозначая через $V_1$ и $V_2$ потенциалы внешнего и внутреннего слоев, имеем:

(13) $$V_1 = \frac{m_1}{2a^2}\varphi(2a) + \frac{m_2}{2ab}\Big[\varphi(a+b) - \varphi(a-b)\Big],$$

(14) $$V_2 = \frac{m_2}{2b^2}\varphi(2b) + \frac{m_1}{2ab}\Big[\varphi(a+b) - \varphi(a-b)\Big].$$

В опыте Кавендиша-Максвелла внешний и внутренние слои соединялись, т.-е. приводились к одинаковому потенциалу, следовательно

$$V_1 = V_2 = V.$$

Решая при этом предположении ур-ния (13) и (14) относительно $m_2$, находим:

$$(15) \qquad m_2 = 2Vb\,\frac{b\,\varphi(2a) - a\,[\varphi(a+b) - \varphi(a-b)]}{\varphi(2a).\,\varphi(2b) - [\varphi(a+b) - \varphi(a-b)]^2}.$$

В опыте Максвелла полушария соединялись с землей, т.-е. приводились к потенциалу, равному нулю ($V_1 = 0$). Решая при таком условии ур-ния (13), (14), (15)—находим для потенциала внутреннего шара

$$(16) \qquad V_{2\,\text{мак.}} = V\left[1 - \frac{a}{b}\,\frac{\varphi(a+b) - \varphi(a-b)}{\varphi(2a)}\right].$$

В опыте Кавендиша полушария удалялись на значительное („бесконечное") расстояние и разряжались, т.-е. $m_1$ делалось равным нулю. Отсюда легко получить:

$$(17) \qquad V_{2\,\text{Кав.}} = \frac{m_2}{2b^2}\,\varphi(2b), \quad \text{где } m_2 \text{ определяется ур-нием (15).}$$

Таково общее решение задачи.

Для получения определенного результата, который можно было бы проверить посредством опытных данных, необходимо сделать гипотезу относительно формы $F(r)$. Исходя из указанного выше факта возможности получения электрически подобных тел, путем заряжения геометрически подобных, т.-е. исходя из гипотезы пропорциональности зарядов объемом (Ньютоново определение массы!), Кавендиш предположил, что функция $F(r)$ при прочих равных условиях [1]) вида

$$(18) \qquad r^{q-2}$$

Тогда

$$\varphi'(r) = \int_r^\infty r \cdot F(r)\,dr = \int_r^\infty r^{q-1}dr = \frac{1}{q-1}\,r^q.$$

Откуда

$$(19) \qquad \varphi(r) = \int \frac{1}{q-1}\,r^q = \frac{1}{1-q^2}\,r^{q+1}.$$

Предположив $q$ малым, разлагаем эту функцию в ряд

$$(20) \qquad \varphi(r) = \frac{1}{1-q^2}\,r\left[1 + q\,\log r + \frac{1}{1.2}(q\,\log r)^2 + \ldots\right].$$

Пренебрегая членами, содержащими $q^2$, получаем для уравнений (16) и (17)

$$(21) \qquad V_{2\,\text{м.}} = \frac{1}{2}\,\frac{a}{a-b}\,V_q\left(\log\frac{4a^2}{a^2-b^2} - \frac{a}{b}\log\frac{a+b}{a-b}\right)$$

$$(22) \qquad V_{2\,\text{к}} = \frac{1}{2}\,V_q\left(\log\frac{4a^2}{a^2-b^2} - \frac{a}{b}\log\frac{a+b}{a-b}\right).$$

[1]) Т.-е. приравнивая числитель $C$ единице в формуле $F(r) = Cr^{q-2}$.



Из ур-ния (21) на основании данных опыта и получено равенство

$$V_{2\,\text{м.}} = 0{,}1478q\,V.$$

Ур-ние (22) дает значение $V_{2k}$; совокупность ур-ний позволяет определить величину $q$.

Анализ этого замечательного доказательства доказывает, насколько поверхностна философия чистого описания, полагающая, что научный закон может быть доказан помощью чистого описания явлений. Мы видим, что великие ученые вынуждены для научного доказательства прибегать ко всеобъемлющим гипотезам. Ни один закон не может быть строго, т.-е. научно, доказан без охвата всей действительности.

Иначе говоря, всякое научное доказательство — доказательство диалектическое, ибо основной постулат диалектики гласит: так как природа единое целое, то не существует изолированных вещей, и, следовательно, вещи необходимо рассматривать с точки зрения целого природы. Вот почему Ньютон приписывал себе великую заслугу истинно научного доказательства закона тяготения. Точно также действительно доказал закон Кулона не Кулон помощью крутильных весов, а Анри Кавендиш помощью диалектического анализа природы.

---

Перейдем теперь к методу Маркса-Энгельса. Точную формулировку марксистского метода дал Маркс в „Введении к критике политической экономии". Здесь с полной отчетливостью выступает тождество марксистского метода с картезианским методом естествознания. Этот метод — полная противоположность методу чистого описания.

Для последнего основное—это точное описание явлений [1]), для первого—проникновение в их „сущность".

„Научные истины,—говорит Маркс в реферате „Заработная плата, цена и прибыль",—всегда кажутся парадоксами, если их критиковать на основании повседневного опыта, который схватывает только о б м а н ч и в ы й в н е ш н и й в и д в е щ е й". Для построения научного опыта необходим поэтому строгий анализ этого „обманчивого внешнего вида вещей". Этот анализ — анализ диалектический, так как внешняя действительность полна противоречий. Задача диалектического анализа—это не устранение противоречий, а их преодоление путем диалектического синтеза, т.-е. путем построения синтетической гипотезы, из которой дедуктивным путем конструируется конкретность, т.-е. дается научное объяснение этой конкретности, объяснение, преодолевающее видимые противоречия.

---

[1]) Для того, чтобы приспособиться к действительной науке, философы чистого описания прибавляют слово „экономическое". Но весь вопрос именно в том, что̀ такое „экономическое" описание явлений. Почему то или иное описание экономично? Философия чистого о п ы т а не считает необходимым углубляться в последнюю проблему, а в ней именно корень вопроса.

„Конкретное,—говорит Маркс [1]),—потому конкретно, что оно является сведенным к единству множеством определений, т.-е. единством в многообразии. В мышлении оно выступает поэтому, как процесс объединения, как результат, а не как исходный пункт, хотя оно является исходным пунктом в действительности и, следовательно, также исходным пунктом созерцания и представления".

Действительно, „повидимому наиболее правильно начинать с реального и конкретного, с действительных предпосылок, следовательно, например, в политической экономии с населения, которое служит основой и субъектом всего общественного производства. Но при ближайшем рассмотрении это оказывается ошибочным".

Почему? А потому, что „население" является абстракцией, если, например, я упускаю из виду классы, из которых оно состоит.

Эти классы опять-таки пустой звук, если я не знаю элементов, на которых они покоятся, например, наемный труд, капитал и т. д.

Капитал, например, ничто без наемного труда, без ценности, денег, цены и т. д.

„Начни я, таким образом, с населения, я дал бы хаотическое представление о целом и только путем более близких определений аналитически подходил бы к более простым понятиям, от конкретного данного в представлении ко все более мощным абстракциям, пока не достиг бы простейших определений. И тогда я должен был бы пуститься в обратный путь, пока снова не подошел бы к населению, но на этот раз уже не как к хаотическому представлению о целом, а как к богатой целостности с многочисленными определениями и отношениями".

Старые экономисты шли первым путем, но их научная работа не была бесплодной, ибо они подготовили те простейшие понятия, из которых изошел Маркс. Метод восхождения от простейшего к сложному „очевидно является правильным в научном отношении".

Полное тождество этой характеристики с характеристикой метода Декарта Ньютона бросается в глаза. Подобно экономистам XVII столетия физики XVII и XVIII столетий (Коперник, Кеплер, Галилей, Декарт, Гюйгенс) подготовили почву для анализа Ньютона. Последний и извлек из „конкретного"—„простейшее определение": понятие атома и, идя обратным путем, пришел к конкретности, но не хаотической, а объясненной (рациональной).

Конечно, при анализе конкретного и получении диалектического синтеза (гипотезы) необходимо всегда иметь в виду исходный пункт—конкретное. „При теоретическом методе политической экономии,—отмечает Маркс,—субъект, т.-е. общество, должно постоянно витать в нашем представлении как предпосылка".

Маркс идет, однако, еще дальше. Он дает указание, которое мы считаем показателем громаднейшей гносеологической проницательности этого мыслителя.

[1]) Метод политической экономии.



Он спрашивает: „Однако, эти простые категории (гипотетические категории) не имеют ли независимого исторического или естественного существования до более конкретных? Возьмем, например, физическую категорию атома. Всякая конкретность—это система атомов, организованная определенным образом. Но конкретное—результат развития. Спрашивается, не имел ли элемент этой конкретности атом (или электрон и т. д.) „допотопного существования"? Теория мировой эволюции отвечает на этот вопрос положительно. Если исходить, например, из известной гипотезы Канта-Лапласа, то первобытная, хаотическая туманность—это „неразвившаяся конкретность", в которой господствует „абстрактная (простая) категория", как выражение условий, „в которых может реализоваться неразвившаяся конкретность". Туманность Канта-Лапласа всецело определяется как совокупность атомов, находящихся в элементарном взаимодействии (связи), и это определение имеет значение „до установления более многостороннего отношения или более многосторонней связи, идеальным выражением которых служит конкретная категория, в то время, как развившаяся конкретность удерживает ту же простую категорию, как подчиненное отношение" (Маркс).

Действительно, атом (электрон) той конкретности, которая получилась в процессе эволюции туманности, являясь по существу тем же атомом, все же не тот, который находился в первобытной туманности. Пример из политической экономии, к которой относятся рассуждения Маркса, великолепно выясняет этот пункт. Маркс берет простейшее политико-экономическое понятие труда. „Труд совсем простая категория" (атом).

„Столь же древним является и представление о нем в этой всеобщности, как труда вообще". Поэтому „может показаться, что этим самым найдено выражение для простейшего и древнейшего отношения, в котором человек, при каких бы то ни было общественных формах, выступает, как производитель. Это с одной стороны верно, а с другой—нет". Верно это в том отношении, что как в первобытной туманности, так и в первобытном обществе атом-труд хотя и были всеобщими категориями, но с другой стороны обуславливали те или иные индивидуальные скопления. В истории развития звездных систем различают следующие, например, стадии [1]):

1) Неправильные туманности—беспорядочное скопление различных элементов, главным образом водорода и гелия.

2) Вольф-Райтовы звезды. В них сгущаются водород и гелий в особые системы.

3) Гелиевые звезды, в которых господствуют скопления гелия.

4) Водородные звезды белые — преобладание переходит к водороду.

5) Желтые звезды (солнце, например)—в спектре которых вы-

[1]) См. Сванте Аррениус, Жизненный путь планет. Москва 1923.

ступают многочисленные металлические линии, более равномерно распределенные, чем в предыдущих системах.

6) Красные звезды. „Распределение красных звезд, обладающих спектром с полосами поглощения, позволяющим установить наличность химических соединений и, следовательно, еще более подвинувшееся охлаждение—еще равномернее“ (Аррениус).

Итак, в красных звездах атом действительно превращается во „всеобщую равномерно распределенную категорию“.

В соответствии с этим имеем в политической экономии:

1) Первобытное коммунистическое общество, безразличное к определенному виду труда.

2) Разложение родового коммунизма, появление коммунизма семьи и рабского труда. Труд индивидуализируется.

4) Рабский и крепостной строй. Процесс дальнейшей индивидуализации труда: классы воинов, жрецов, рабов и крепостных.

4) Возникновение и развитие торгового капитала. Купцы, свободные ремесленники и крестьяне. Мануфактура. Было „большим прогрессом, когда мануфактурная или коммерческая система перенесла источник богатства из предмета (деньги) в субъективную деятельность, в коммерческий и мануфактурный труд“. Начало процесса усложнения и вместе с тем „равномерного распределения“ категории труда. „Физиократическая система представляет дальнейший прогресс“ в этом направлении; она полагает в качестве создающей богатство определенную форму труда—труд земледельческий, а самый объект она видит уже не в денежной оболочке, но как продукт вообще, как общий результат труда“.

5) Промышленно-капиталистический строй. Сильное развитие „безразличия к определенному виду труда“. Это безразличие „предполагает весьма развитую и цельную совокупность действительных видов труда, из которых ни один не является господствующим. Так, самые общие абстракции вообще возникают только при богатом конкретном развитии, где одно и то же является общим им всем элементом“.

„Безразличное отношение к определенному труду соответствует общественной форме, при которой индивиды с легкостью переходят от одного вида труда к другому и при которой определенный вид труда является для них случайным и потому безразличным. Труд здесь не только в категории, но и в действительности стал средством создания богатства вообще и утратил свою связь с определенным индивидуумом.

Такая общественная форма достигла наибольшего развития в современнейшей из форм бытия буржуазного общества, в Соединенных Штатах. Маркс заключает: „Простейшая абстракция, которую современная политическая экономия ставит во главу угла и которая выражает древнейшее, для всех общественных форм действующее отношение, становится в этой абстракции практически истинным только, как категория современнейшего общества. Ф. Энгельс в „Анти-Дюринге“ указывает, что в коммунистическом обществе безразличие к определенному виду труда достигнет максимума.



В соответствии с этим можно указать на научную деятельность человека в его борьбе с природой, которая дает возможность получать атомы в любых сочетаниях. Число полученных до сих пор новых химических составов громадно. Без сомнения власть человека над силами природы достигнет такой степени, что атом подобно труду сделается „безразличным“, т.-е. сможет быть получен в любом сочетании для любых целей.

---

Остановимся теперь на деталях марксистского метода. Покажем на примере приложение метода диалектического анализа, получение простой гипотезы, конструирование путем дедукции абстрактных законов и их приложение к дальнейшему анализу и синтезу.

Маркс начинает „Критику политической экономии“ и „Капитал“ с анализа товара и денег. „Каждый товар можно рассматривать с двух точек зрения: как потребительную стоимость и меновую“. Эти две точки зрения выражают противоречие понятия товара. Потребительная стоимость насквозь индивидуальна по своему качеству, количеству и отношению к производителю и потребителю.

Меновая стоимость—безразлична к качествам, количествам и отношениям производства-потребления: „Меновая стоимость дворца может быть выражена в определенном числе коробок ваксы. Наоборот, лондонские фабриканты выразили стоимость множество коробок ваксы в своих дворцах“.

Таким образом товары, совершенно независимо от своих природных форм и от специфической природы потребностей, по отношению к которым они служат потребительными стоимостями, в предельных количествах равны друг другу, взаимно замещают друг друга при обмене, выступают как эквиваленты и, несмотря на свое кажущееся разнообразие, представляют одну и ту же сущность“. Выражаясь языком физики, можно сказать: *в обмене все товары падают одинаково.*

Мы видели, что противоречие между разнородностью тел и их одинаковым падением Ньютон разрешил гипотезой атома.

Маркс разрешил противоречие между потребительной и меновой стоимостью понятием *экономического атома—абстрактным всеобщим трудом.* „В то время, как труд, создающий меновую стоимость, является трудом абстрактным, всеобщим (общественно-необходимым) и одинаковым, труд, создающий потребительную стоимость, представляется конкретным и особенным, который соответственно требованиям формы и материи, разбивается на бесконечно различные роды труда“. На вопрос: как возможно, чтобы все тела, несмотря на свое разнообразие, падали одинаково, Ньютон дал ответ: так как они все состоят из однородных атомов.

На вопрос: как возможно, чтобы потребительная стоимость

превратилась в меновую („одинаково падала" в процессе обмена), Маркс дал ответ: так как все потребительные стоимости „представляют определенные количества застывшего рабочего времени". „Рабочее время, овеществленное в потребительных стоимостях, с одной стороны, составляет субстанцию [1]), делающую их меновыми стоимостями, и поэтому товарами, а с другой измеряет—определенные величины меновых стоимостей".

Для того, чтобы установить определение меновой стоимости рабочего времени, Маркс уточняет понятие труда: труд, кристаллизированный в меновой стоимости—это всеобщий, абстрактный, одинаковый (простой) общественно-необходимый труд".

Такова основная *гипотеза* Маркса.

В письме к Энгельсу по поводу „Капитала" (24 авг. 1867) Маркс указывает: „самое лучшее в моей книге: в первой же главе подчеркнутая особенность двойственного характера труда, смотря по тому, выражается-ли он в потребительной или меновой стоимости (на этой теории о двойственном характере труда покоится все понимание фактов) [2]).

Установив гипотезу, Маркс обращает прежде всего внимание на замечательное доказательство своего учения. Всеобщий, абстрактный, общественно необходимый и простой труд—не только идеальное понятие, но имеет свое материальное воплощение, подобно физическому атому.

Физический атом политической экономии—это деньги (золото). „Первая функция золота [3]) состоит в том, чтобы доставить товарному миру материал для выражения его стоимости, т.-е. для того, чтобы выразить стоимость товаров, как одноименные величины, качественно одинаковые и количественно сравнимые".

„Не деньги делают товары соизмеримыми. Наоборот. Именно потому, что товары, как стоимость, представляют объективированный человеческий труд и, следовательно, сами по себе соизмеримы, именно поэтому они могут измерять свои стоимости одним и тем же специфическим товаром, превращая таким образом этот последний в общую меру своих стоимостей, т.-е. в деньги. Деньги, как мера стоимости, лишь необходимая форма проявления имманентной товарам меры стоимости, рабочего времени".

Это открытие действительного смысла денег справедливо ставит Маркса рядом с Демокритом. Но Маркс пошел дальше Демокрита: он, подобно Ньютону, дал математическую теорию экономического атомизма.

---

[1]) Это выражение Маркса показывает, что правильнее было бы сравнить это учение с картезианской теорией эфира. Но так как мы взяли для сравнения Ньютона, то приходится говорить об „атомизме". С точки зрения метода это, однако, не существенно.

[2]) Адоратский, стр. 7.

[3]) Капитал, т. I, гл. III.



Мы говорим математическую теорию, потому что труд Маркса насквозь математичен по внутреннему своему содержанию. В истории науки мы встречаем аналогичный пример математического гения без знания четырех арифметических правил: это знаменитый Фарадей. Максвелл в своем главном трактате, а также Джозеф Томсон в книге „Электричество и материя" отмечают, что Фарадей, по внутренней логике своих трудов, был первоклассным математическим гением — без внешней математической формы. Вот почему Максвелл говорит, что он только скромный интерпрет своего учителя Фарадея. Математический характер теории Маркса ясно виден из основной его гипотезы: она столь же поддается объективному измерению и подсчету, как и силовая линия в теории Фарадея: подобно тому, как число силовых линий в учении Фарадея дают материальное выражение и измерение силе поля, точно также число золотых единиц стоимости материально выражают количество всеобщего, общественно-необходимого труда. Далее гипотеза Маркса, как и всякая истинно-научная гипотеза, открывает путь строгой дедукции. Некоторые утверждают, что дедуктивный метод „Капитала" Маркса—это метод изложения, что за этим изложением скрывается анализ громадного фактического материала. Что конкретность последнего „витала в представлении" Маркса, как предпосылка, несомненно, но так же несомненно, что дедуктивный метод—это не метод изложения, а органическая необходимость, звено всей научной цепи. Отрицать это — значит не понимать метода Маркса и уничтожать тождество этого метода с методом естествознания.

Изложим некоторые из простейших, общеизвестных дедукций Маркса в математической именно форме, дабы показать, насколько легко теория Маркса поддается математической трактовке.

Атомизм Ньютона, как мы видим, дал ему возможность определить массу, как произведение объема тела на его плотность, т.-е. на число атомных единиц в единице объема.

Точно также гипотеза Маркса дает возможность строго определить массу капитала, как произведение объема капитала, т. - е. общего денежного выражения капитала на его плотность, т.-е. число единиц всеобщего абстрактного труда в данной денежной единице объема капитала. Так как всякий капитал—функция двух аргументов так называемого постоянного капитала (машины, сырье) и переменного (стоимость рабочей силы), то, обозначив через $K$ — стоимость всего капитала, через „$c$" и „$v$" — денежное выражение (объем) обеих частей капитала, а через $p$ — плотность, т.-е. число трудовых единиц, выражающих стоимость, денежной единицы, получим:

$K_{\text{статич.}} = (c+v).p$ единиц всеобщего, абстрактного общественно-необходимого труда.

Обозначив, далее, $c.p$ через $C$; $v.p$ — через $V$, получим окончательно $K_{\text{статич.}} = C+V$ . . . . . (1).

Эта формула выражает статику капитала, т.-е. капитал, идеально расчлененный капиталистом на две части, но еще не пущенный в оборот. Движение (круговое) капитала обусловлено силами аналогичными[1]) центробежно-центростремительным. Подобно тому, как при всяком круговом движении, согласно теореме Гюйгенса, необходимо наличие известной центростремительно-центробежной силы, точно так же оборот капитала в капиталистическом обществе возможен только при наличии „прибыли“. Но где источник этой прибыли? Согласно Гюйгенсу — Ньютону источник центростремительных сил в центральном теле, вокруг которого вращается тело.

Согласно гипотезе Маркса, таким центральным телом в процессе круговращения капитала — является рабочая сила. Капитал обращается вокруг рабочей силы которая, подобно солнцу излучает „капиталистическое притяжение“. Это притяжение Маркс обозначил термином „прибавочная стоимость“.

Рабочая сила в отличие от всех других, приобретаемых капиталистом для производства, товаров обладает свойством создавать прибавочную стоимость—это и есть тот центр, к которому „тяготеет капитал“.

Там, где такого центра нет—капитал, с точки зрения капиталистической экономики, не может круговращаться.

Обозначим „норму прибавочной стоимости“, т.-е. ее отношение к заработной плате через $t^0/_0$.

Получим общую формулу капиталистического кругооборота:

$$K_{\text{дин.}} = C + V + \frac{t}{100} V = C + V\left(1 + \frac{t}{100}\right).$$

Иначе говоря, капитал после одного оборота увеличивается на величину „прибавочной стоимости“—прибыли, равной $\frac{Vt}{100}$. Норма прибыли, по Марксу, равна этой прибыли, деленной на $K_{\text{стат.}}$, то-есть

$$\frac{Vt}{100\,(C+V)}.$$

Определим в целях упрощения величину $t = 100$, тогда

$$K_{\text{дин.}} = C + 2.V.$$

$$T \text{ (норма прибыли)} = \frac{V}{C+V}.$$

В целях дальнейшего анализа введем понятие „идеальной капиталистической массы“ (средний капиталист). Как показала современная физика, масса тел приблизительно постоянна только при малых скоростях. Следовательно, абсолютно неизменная масса Ньютона—масса идеальная. Так как изменение величины массы со скоростью обусловлено связью массы со средой, то из первого определения Ньютона явствует, как мы уже указали это, что сам Ньютон полагал

[1]) Мы подчеркиваем слово аналогичный, дабы читатель не подумал, что речь идет об отожествлении экономических категорий с физическими: работа наша имеет ввиду только тожество методов, а не тожество категорий.



массу своей механики—идеальной массой, т.-е. отвлеченной от усложняющих обстоятельств (эфира). Этот прием—самый обычный в точных науках.

В учении о жидкостях мы находим идеальную, т.-е. без трения, жидкость, в учении о газах—идеальный газ, т.-е. газ, в точности подчиняющийся закону Бойль-Мариотта-Гей-Люссака.

Реальные жидкости и газы только приближаются к этим идеальным по своим основным свойствам. Точно также Маркс ввел в политическую экономию понятие „идеальной капиталистической массы“, с целью понимания реальной. Дело в том, что согласно трудовой гипотезе цена производства и рыночная цена должны совпадать со стоимостью продукта. Между тем опыт учит, что эти цены отклоняются в ту или иную сторону от этой стоимости, в зависимости от органического состава капитала $\left(\frac{c}{v}\right)$ и сложных условий (конъюнктуры) рынка.

Но эта стоимость, согласно Марксу, все же является тем центром, вокруг которого колеблются цены.

„Товары в среднем продаются по их действительной стоимости и прибыль получается именно от того, что товары продаются по их стоимости, т.-е. соответственно овеществленному в них количеству труда“ [1]).

„Это кажется парадоксом,—говорит Маркс,—и противоречит ежедневным наблюдениям.

„Но ведь и то, что земля движется вокруг солнца и что вода состоит из двух воспламеняющихся газов, тоже парадокс. Научные истины всегда кажутся парадоксами, если их критиковать на основании повседневного опыта, который схватывает только обманчивый внешний вид вещей“.

Можно к примерам Маркса добавить примеры из области естествознания.

Знаменитый оптик Френель, путем математического анализа (1814—1815 г.), пришел к заключению, что при известных условиях соединение света со светом (интерференция) дает тьму! Почтенные академики, которые впервые услышали о таком заключении, противоречащем всей „естественной“ логике, сочли его „бредом болезненного мозга“ [2]). В 1816 году Френель поставил знаменитый интерференционный опыт с „зеркалами Френеля“. Патентованные мудрецы скептически и с сожалением смотрели на этот бредовой опыт болезненного мозга. К их великому остолбенению, два световых луча породили тьму!

Возможно, что некоторые из академиков впали в тихое умопомешательство от подобного нарушения логики Аристотеля.

Второй любопытный пример заимствуем из теории переменных электрических токов.

[1]) „Заработная плата и т. д.“, стр. 29.

[2]) Араго, Биографии, т. II: Френель.

С точки зрения „естественной логики" никак невозможно допустить, чтобы в конце сети (приемнике) напряжение было больше, чем в начале (станции): не может же вода течь с долины в гору!

Чисто теоретическим путем было, однако, получено (для переменных токов) заключение о необходимости при известных условиях такого эффекта [1]) (Эффект Ферранти).

Он был подтвержден наблюдением в сети Лондонской станции Deptford.

Вернемся к теории Маркса. Введя понятие „идеальной капиталистической массы", мы будем считать, что цена производства и рыночная цена совпадают со стоимостью.

И так как труд—источник всякой стоимости, то эта стоимость пропорциональна „производительности труда", т.-е. числу единиц труда, затрачиваемых в единицу времени при данных условиях (средних, общественно-необходимых) на изготовление единицы продукта.

Иначе говоря, если через $M$ и $P$ обозначить соответственно число единиц продукта изготовленных в единицу времени и стоимость единицы продукта при данных условиях производства [2]), а через $M_1$ и $P_1$ — при изменившихся, то

$$M \times P = M_1 \times P_1.$$

Обозначим теперь удельную стоимость постоянного капитала (т.-е. стоимость, рассчитанную на единицу продукта) через $c$, а через $\alpha$ и $\omega$ соответственно оплату единицы времени рабочей силы и число единиц времени, затраченных на изготовление единицы продукта.

Тогда удельный переменный капитал будет:

$$v = \alpha\omega.$$

Прибавочная стоимость при $t = 100$:

$$v_1 = v = \alpha\omega.$$

Стоимость единицы продукта:

$$p = c + 2v = c + 2\alpha\omega.$$

Прибыль:

$$p - (c + \alpha\omega) = \alpha\omega.$$

[1]) Специалист найдет этот анализ в книге Janet: „Leçons d'Electrotechnique générale", t. II, § 65.

[2]) Под условиями производства или производительными силами мы понимаем не только „технику" в буквальном смысле слова, но все исторически сложившееся отношения общества-субъекта к природе-объекту.

Сюда, следовательно, входит и „накопленный капитал", т.-е. овеществленные производительные силы прежних эпох, которые данное общество получает готовыми. Поэтому изменение затрат капитала даже при той же „технике" производства будет изменением условий производства.



Норма прибыли:

$$\frac{v}{c+v} = \frac{p-(c+\alpha\omega)}{c+\alpha\omega}.$$

Обозначим, далее, отношение

$$\frac{p}{c+\alpha\omega} = Q\ ^{1}).$$

Тогда норма прибыли будет равна:

$$\frac{p_1-(c+\alpha\omega)}{c+\alpha\omega} = \frac{p}{c+\alpha\omega} - 1 = Q - 1.$$

Следовательно, вместо того, чтобы анализировать самую норму прибыли, мы можем рассматривать величину $Q$, от которой эта норма зависит.

Рассмотрим при помощи полученных результатов одну из основных тенденций капиталистического развития: „понижение нормы прибыли". Эта тенденция является опытным фактом и подлежит теоретическому объяснению, подобно эллиптическим орбитам планет и законам Кеплера.

Предположим, что условия производства данного общества выражаются формулой:

$$Q = \frac{p}{c+\alpha\omega},$$

в которой величины $p$, $c$, $\alpha$ и $\omega$, а значит $Q$ — одинаковы для всех капиталистов.

Пусть один или несколько капиталистов, путем введения машин и улучшения техники производства, изменили значение $\omega$, т.-е. число единиц труда, необходимых для изготовления единицы продукта.

Если предположить, что извлечь капитал из производства трудно [2]), то получится производство при том же капитале (полном). Если сначала первая группа капиталистов (не введшая затем усовершенствования) производила $M$ единиц продукта, а вторая $N$, то, при введении усовершенствований, $M$ осталось неизменным, а $N$ увеличилось до $N_1$.

При той же затрате капитала:

$$N \times (c + \alpha\omega) = N_1\,(c + \alpha\omega_1),$$

откуда

$$\frac{c+\alpha\omega}{c+\alpha\omega_1} = \frac{N_1}{N} = n, \quad \text{где} \quad n > 1.$$

[1]) Это разложение и математические преобразования мы заимствуем из книги В. Арнольда.

Трактовка предмета всецело принадлежит нам, так как Арнольд исходит из совершенно иных предпосылок.

[2]) А это обычно имеет место в действительности.

Если рассматривать все капиталистическое общество, как одно целое, т.-е. как „идеальную капиталистическую массу", то согласно трудовой гипотезе:

$$(M+N)\,p=(M+N_1)\,p_1=(M+nN)\,p_1,$$

откуда

$$\frac{p_1}{p}=\frac{M+N}{M+nN} \quad \text{и} \quad p_1=p\cdot\frac{M+N}{M+nN}.$$

Следовательно, норма прибыли капиталистов-новаторов определится формулой:

$$Q=\frac{p_1}{c+a\omega_1}=\frac{p\cdot\dfrac{M+N}{M+nN}}{c+a\omega_1}$$

так как

$$c+a\omega_1=\frac{c+a\omega}{n},$$

то

$$Q_1=\frac{p}{c+a\omega}\cdot\frac{Mn+nN}{M+nN}=Q\cdot\frac{Mn+Nn}{M+Nn}.$$

Обозначив $\frac{N}{M}$ через $d$, тогда

$$Q_1=Q\cdot\frac{dn+n}{dn+1}.$$

Чем меньше $d$, т.-е. чем меньше товаров сравнительно с их общей массой производилось у капиталистов-новаторов, тем отношение

$$\frac{dn+n}{dn+1} \quad \text{приближается к } n.$$

При $d=0$ $\qquad Q_1=Q\cdot n,$

т.-е. капиталист, первый вводящий усовершенствования, получает максимум прибыли, определяемой числом $n$, т.-е. отношением нового количества товаров, произведенных им к старому. Когда все капиталисты, вследствие течения капитала к более высокой норме прибыли перейдут к усовершенствованиям, $d$ сделается $=\infty$;

тогда

$$Q_1=Q\cdot\frac{\infty}{\infty}.$$

Для исключения неопределенности разделим члены дроби $\frac{dn+n}{dn+1}$ на $d$

$$Q_1=Q\cdot\frac{n+\frac{n}{d}}{n+\frac{1}{d}}; \quad \text{при } d=\infty$$

$$Q_1=Q\cdot\frac{n+0}{n+0}=Q\frac{n}{n}=Q,$$



то-есть норма прибыли капиталистов должна остаться прежней. Но она понижается, как показывает опыт, следовательно, мы при анализе упустили нечто весьма существенное.

Это существенное заключается в самом характере исторического развития производительных сил.

Если бы каждый капиталист-новатор стал ждать, пока другие капиталисты введут усовершенствования, оставаясь „неподвижным", то теоретический вывод был бы безупречен. Но на самом деле анархия производства, конкуренция, стремление, наконец, извлечь максимум прибыли из капитала, приводит к тому, что каждый данный капиталист стремится обогнать и побить своих противников. Мы видели, что введение машин повышает норму прибыли капиталиста-новатора. Поэтому каждый капиталист стремится всегда быть новатором. Но мы предположили, что капиталист-новатор не расширяет производства.

В действительности же расширение производства является обычно результатом введения усовершенствований. Прежде всего к этому толкает капиталиста сама машина.

Общеизвестны следующие примеры, которые наглядно рисуют действие этого фактора.

Булавочная мануфактура эпохи А. Смита выделывала в день 4.800 булавок на 1 рабочего, а на современной же фабрике один рабочий изготовляет $1^1/_2$ миллиона булавок.

Ручная швея делает 50 стежков в минуту, а паровая швейная машина до 1500 [1]).

Легко вообразить себе положение капиталиста, который, введя новые способы производства, пожелал бы сохранить производство в прежнем размере. Но главное в том, что прибыль капиталиста зависит от числа рабочих. При сохранении размеров производства, введение усовершенствований, увеличивая производительность труда, уменьшает число необходимых рабочих, а следовательно, и величину прибавочной стоимости.

Поэтому каждый капиталист-новатор стремится расширить производство, тем более, что он, продавая продукт несколько ниже рыночной цены, имеет все шансы побить своих конкурентов.

Могущественным толчком к расширению производства является необходимость капитализации части громадной прибыли, получаемой капиталистом-новатором.

Все это объясняет тот поразительный, с первого взгляда, факт, что введение машин, которое как будто должно было сберегать и облегчать труд человека, привело к удлинению рабочего дня, интенсификации труда и эксплоатации женского и детского труда [2]).

[1]) Детальный разбор значения машины у Маркса: Капитал, I т., 13 глава.

[2]) В начале периода мануфактур, рабочий день равнялся 9—10 часам, а в эпоху расцвета машинного производства в Англии дети работали на фабриках до 14 ч. в сутки. Подробный анализ явления—см. у Маркса (Капитал, I т., гл. 13).

Принимая во внимание все эти соображения, мы в дальнейшем анализе будем исходить из следующей гипотезы: при увеличении производительности труда в $K$ раз, количество вырабатываемых продуктов так же увеличивается в $K$ раз [1]). Мы покажем, что необходимым следствием такой гипотезы является наблюдаемое в действительности понижение нормы прибыли,—следовательно, гипотеза эта подтверждается опытной проверкой.

Заметим в заключение, что понижение нормы прибыли явление очень сложное. Подробный анализ этого явления читатель найдет у Маркса (Капитал, т. III, часть первая, книга III, третий отдел).

Приняв во внимание все вышеуказанное, будет иметь при:

$$\frac{\omega}{\omega_1} = k \quad \text{или} \quad \frac{\omega_1}{\omega} = m,$$

$$Q = \frac{p}{c + a\omega} \quad \text{и} \quad Q_1 = \frac{p_1}{c + m \cdot a \cdot \omega}.$$

Далее:

$$\frac{N_1}{N} = k = \frac{1}{m}$$

$$(M + N)\, p = (M + N_1)\, p_1 = \left(M + \frac{N}{m}\right) p_1,$$

откуда

$$p_1 = \frac{M + N}{M + \frac{N}{m}}\, p.$$

Следовательно:

$$Q_1 = \frac{p}{c + ma\omega} \cdot \frac{M + N}{M + \frac{N}{m}} \quad \text{и}$$

$$\frac{Q_1}{Q} = \frac{c + a\omega}{c + ma\omega} \cdot \frac{M + N}{M + \frac{N}{m}} = \frac{c + a\omega}{c + ma\omega} \cdot \frac{Mm + Nm}{Mm + N}.$$

При $m < 1$, дроби

$$\frac{c + a\omega}{c + ma\omega} > 1, \quad \text{а} \quad \frac{Mm + Nm}{Mm + N} < 1.$$

Следовательно:

$$\frac{Q_1}{Q} \gtrless 1.$$

Рассмотрим все три случая. Для первого—капиталиста-новатора

$$\frac{N}{M} = 0 \quad \text{или} \quad N = 0.$$

[1]) Ясно, что такое математическое соотношение вводится с целью упрощения анализа. Вообще же отношение между производительностью труда и расширением производства гораздо сложнее; но в общем это—положительная функция одного из членов.



Следовательно, при любом $m$,

$$\frac{Q_1}{Q} = \frac{c + a\omega}{c + ma\omega},$$

т.-е. величина прибыли изменится в том же отношении, в каком уменьшится $m$ (издержки производства).

Чем больше капиталистов будут вводить усовершенствования, тем $\frac{N}{M}$ будет увеличиваться, приближаясь к бесконечности или, математически, $M$ будет стремится к 0, следовательно:

$$\frac{Q_1}{Q} = \frac{c + a\omega}{c + ma\omega} \cdot \frac{Nm}{N} = \frac{cm + ma\omega}{c + ma\omega}.$$

Так как $m < 1$, то

норма прибыли на капитал обязательно должна упасть.

При данной величине $m$ это падение зависит от органического состава капитала, т.-е. от отношения

$$\frac{c}{a\omega} = 5\, s.$$

Действительно:

$$\frac{Q_1}{Q} = \frac{cm + ma\omega}{c + ma\omega} = \frac{msa\omega + ma\omega}{sa\omega + ma\omega} = \frac{ms + m}{s + m} = \frac{m + \frac{m}{s}}{1 + \frac{m}{s}}.$$

При $s = 0$ [1])

$$\frac{Q_1}{Q} = 1.$$

При возрастании $s$ дробь $\frac{m}{s}$ стремится к нулю и отношение $\frac{Q_1}{Q}$ стремится к $\frac{m}{1} = m$.

При $s = \infty$ — случае, недостижимым в действительности,

$$\frac{Q_1}{Q} = m,$$

т.-е. норма прибыли упадет пропорционально увеличению производительности труда.

Таков математический закон движения капиталистического общества, который формулировал Маркс и который подтверждается опытом.

---

Итак, понижение нормы прибыли является математическим результатом общей теории Маркса. Этот результат получен при помощи того же метода, которым получено объяснение формы планетных

[1]) Случай, невозможный в действительности.

орбит. Маркс в следующих словах оценивает значение полученного закона [1]):

„Как ни прост кажется этот закон после всего нами изложенного, но всей прошлой политической экономии не удавалось открыть его, как мы это увидим в одном из последующих отделов. Она видела явление и мучилась в противоречивых попытках дать ему объяснение.

Но при той огромной важности, какую имеет этот закон для капиталистического производства, можно сказать, что он составляет тайну, над разрешением которой бьется вся политическая экономия со времени Адама Смита и что различие между разными школами после А. Смита состоит в различных попытках ее разрешения".

Эти слова удивительным образом совпадают с тем, что говорил Ньютон о своих предшественниках в попытке доказать законы Кеплера.

Поэтому не будет преувеличением и лицемерным восхвалением, если мы дело Маркса и Энгельса в области политической экономии отождествим с делом Ньютона в области физики.

Предыдущий анализ методов мыслителей подтверждает такое заключение [2]).

Ко всему сказанному остается прибавить несколько слов об отношении К. Маркса и Ф. Энгельса к великому картезианскому принципу простоты, ясности и отчетливости идей.

Декарт был первым подлинным демократом науки. Проектируя универсальный логико-математический язык, он говорил: благодаря такому языку, каждый крестьянин сумеет понять истину лучше любого философа.

В посмертном сочинении „Изыскание истины посредством естественного света разума", Декарт приводит разговор между философом, ученым и крестьянином и старается наглядно показать, что картезианская философия—доступна самому простому уму. Нет необходимости долго доказывать, что марксистская философия такова же: слишком очевидно, что она построена на простых, ясных и отчетливых идеях.

В этом ее непобедимая сила.

Объясняя сложнейшие явления, она в главных основах своих понятна даже самому отсталому крестьянину и рабочему. Вот почему она победно шествует, завоевывая весь мир. Никогда до сих пор подлинное знание так широко и глубоко не охватывало миллионные массы человечества.

*З. Цейтлин.*

---

[1]) Капитал, III том, стр. 188, изд. 1907 г.

[2]) Мы могли бы остановиться здесь на „историчности" метода Маркса, но эта особенность настолько „общеизвестна", что мы ее опускаем. Прибавим, что в этом пункте метод Маркса превосходит обычный метод естествознания, который до сих пор (несмотря на Дарвина и Лайеля) не стал историческим. В физике и химии это объясняется громадными промежутками времени, которые играют роль в „жизни материи". Последние годы в связи с изучением „жизни радия" и распада атомов, внесли некоторый элемент историзма даже в эти области. Надеемся, однако, что это замечание не послужит основанием для абсолютного отождествления областей природы и общества. Основной принцип диалектики: истина всегда конкретна!—о нем не следует забывать.

# Империализм и накопление капитала.

(*Продолжение*).

## ГЛАВА III.

### Теория рынка в целом и кризисы.

Прежде чем перейти к анализу противоречий капитализма, нам необходимо, хотя бы вкратце, остановиться на итогах нашего разбора позиции т. Р. Л. с точки зрения теории рынка. В общем и целом, рассматривая ход расширенного воспроизводства и процесс реализации прибавочной ценности как один из необходимых моментов этого воспроизводства, мы пришли к формулировке, которую Маркс выразил с классической ясностью в следующих словах: „...Границы потребления раздвигаются напряжением самого процесса воспроизводства; с одной стороны, оно увеличивает потребление доходов рабочими и капиталистами, с другой стороны, напряжение процесса воспроизводства тождественно с напряжением производительного потребления" [1]).

Нужно отчетливо понять все различие между постановкой вопроса у Маркса, с одной стороны, у Розы Люксембург—с другой. У Маркса—накопление возможно, реализация возможна, расширенное воспроизводство возможно. Но эти процессы идут не гладко, а развиваются в противоречиях, при чем одни противоречия обнаруживаются в постоянных колебаниях капиталистической системы, другие—в бурных ее потрясениях; наконец, самый процесс капиталистического воспроизводства представляет из себя расширенное воспроизводство капиталистических противоречий. Не то у Розы Люксембург. У нее ни реализация прибавочной ценности, ни накопление, ни расширенное воспроизводство невозможны, так сказать, с самого начала, a priori невозможны, поскольку у нас имеется чистое капиталистическое общество. То, что у Маркса характеризуется, как „скачок", как спазмы капиталистической системы, как взрыв противоречий (кри-

---

[1]) К. Маркс, Капитал, т. III, ч. 2, стр. 21. Обращаем внимание читателей, что цитата взята из третьего тома „Капитала", где, по мнению Р. Люксембург, Туган-Барановского и многих других, содержится нечто противоположное схемам второго тома.

зисы перепроизводства), то у Розы, по существу дела, есть постоянное явление в любом хронологическом пункте промышленного цикла.

Эта точка зрения была опровергнута Марксом давным-давно. „Необходимо здесь,—писал Маркс,—различие. Когда Смит объясняет падение нормы прибыли излишком капитала, накоплением капитала, то речь идет о некоем постоянном действии, и это последнее неверно. Наоборот, временный (transitorische) излишек капитала—перепроизводство, кризис есть нечто другое. Перманентных кризисов не бывает (Permanente Krisen gibt es nicht)“ [1]).

Любопытно отметить то обстоятельство, что тов. Ленин задолго до появления „Теорий прибавочной ценности“ Маркса отстаивал совершенно такую же точку зрения. „Я нигде не говорил,—писал тов. Ленин,—что это противоречие (т.-е. противоречие между производством и потреблением. *И. Б.*) должно систематически (курс. автора. *И. Б.*) давать избыточный продукт“. И в сноске к этому он пояснял свою мысль: „Подчеркиваю систематически, ибо несистематическое производство избыточного продукта (кризисы) неизбежно в капиталистическом обществе вследствие нарушения пропорциональности между разными отраслями промышленности. А известное состояние потребления есть один из элементов пропорциональности“ [2]).

Из этого вытекает, что методологически вполне допустимо рассматривать проблему, абстрагируя от кризисов, чтобы затем обязательно рассмотреть и эти последние.

Итак, мы видели, что „границы потребления“ раздвигаются самим производством, которое: 1) увеличивает доход капиталистов, 2) увеличивает доход рабочего класса (добавочные рабочие), 3) увеличивает постоянный капитал общества (функционирующие как капитал, средства производства). Но, как мы имели уже случай убедиться, такое решение вопроса т. Роза Люксембург считает туган-барановщиной. Правда, сам по себе этот аргумент не может быть назван убедительным: недаром Маркс говорит о буржуазных экономистах, что иногда „даже слепая свинья (blinde Sau) может найти жолудь“. Но так как мнение Розы Люксембург в этом пункте разделяется довольно многими, а, с другой стороны, отчетливой критики теории рынка Тугана-Барановского дано не было, то мы считаем нелишним остановиться на теории этого автора. „Размежеваться“ с ним тем более необходимо, что при этом размежевании еще более ярко выступят и ошибки товарища Розы Люксембург, а главное, станет яснее и наша собственная позиция.

Маркс внес ясность в вопрос о воспроизводстве общественного капитала прежде всего потому, что он по косточкам разобрал и уничтожил догмат, господствовавший со времен Адама Смита, о разложении ценности продукта на доход и только на доход. Анализ

[1]) Marx, Theorien über den Mehrwert, II, 2, S. 269, Fussnote; последний курсив наш.

[2]) И. Ленин, Собр. сочинений, т. II, Ответ г. П. Неждanову, стр. 498.



Маркса показал, что этот „догмат“ упускает элемент постоянного капитала. Восстановление постоянного капитала и производство добавочного постоянного капитала есть важнейшая часть процесса расширенного воспроизводства. Вместе с тем этот пункт имеет и ближайшее отношение к теории рынка, ибо на-ряду с потребительским рынком выступает в возрастающей степени рынок средств производства, который соответствует не личному, а производительному потреблению. Точно так же этот пункт имеет решающее значение и для теории накопления капитала, так как накопление капитала предполагает увеличение постоянного капитала, и притом в возрастающей относительно переменного капитала пропорции.

И так далее, и тому подобное. Вот почему Маркс не раз возвращается—отнюдь не зря, чего никак не может понять тов. Р. Л.—к этой теме.

Г-н Мих. Туган-Барановский берет за исходный пункт это совершенно справедливое положение и начинает его „углублять“.

> Из схематического рассмотрения капиталистического хозяйства в его общественном целом,—пишет он,—неизбежно вытекает вывод, что размер рынка в капиталистическом хозяйстве отнюдь не определяется размером общественного потребления. Общественный продукт состоит не только из предметов потребления, но и из средств производства. Если машина замещает рабочего, то общественный спрос на предметы потребления, конечно, сокращается; но зато возрастает спрос на средства производства. Точно так же, при превращении дохода капиталиста из фонда его личного потребления в капитал, спрос на предметы потребления сокращается, но зато возрастает спрос на средства производства. В общем, при пропорциональном распределении общественного производства никакое сокращение потребительного спроса не в силах вызвать превышения общего предложения продуктов на рынке сравнительно со спросом на последние [1]).

Уже в этой цитате содержатся implicite все логические противоречия „теории“ Тугана-Барановского, „оригинальность“, „парадоксальность“, суть которой состоит в утверждении, что между потребительским рынком и общественным производством нет никакой необходимой связи.

[1]) М. И. Туган-Барановский. Периодические промышленные кризисы, 4 изд., Изд. Книжного Кооперат. Т-ва при Смолгубкоме, Смоленск 1923 г. стр. 205. Курсив автора. Кстати. Цитируемое издание снабжено универсально безграмотным предисловием т-ща В. Смушкова, по которому марксисты отрицают положение, что капиталистическое производство „само себе создает рынок“, по которому, далее, Маркс „не дал легального (?!) и детального (?!) разработанного учения о кризисах“ и т. д. Очевидно, у нас развелось много тоже-теоретиков, которые руководствуются лишь пословицей, что, „смелость города берет“.

В приведенной цитате есть „маленькое“ упущение, на первый взгляд незначительное, которое, однако, решает дело. Г-н Туган-Барановский выставляет следующий ряд утверждений: машина заменяет рабочего, потребление со стороны машины заменяет потребление человеческое—и дело в шляпе: одно компенсирует другое, баланс подведен, и вместо эмансипации четвертого сословия произошла эмансипация производства средств производства, которое раз и навсегда оторвалось от производства предметов потребления. Однако, как это ни прискорбно для памяти покойного апологета буржуазии, г. Туган-Барановский уже здесь попросту сжульничал. Ибо он обошел самый существенный вопрос. А именно, когда вводится машина, то тем самым происходит расширение производства продуктов, производимых при помощи этой машины. Куда деваются эти продукты? В каком отношении стоит ценность введенной машины к ценности этих продуктов? Другими словами, с точки зрения рынка: в каком отношении стоит рынок средств производства к потребительному рынку? На первые два вопроса г-н Туган не отвечает. Он прячет основной вопрос, и немудрено, что у него получается „парадоксальный вывод“, которым он так же гордится, как негр кольцом в ноздре: производство независимо от потребительского рынка, ибо существует рынок средств производства.

Постараемся заглянуть „в корень“ вопроса. Можно рассматривать структуру рынка с двух совершенно различных точек зрения.

Первое. Перед нами общественный капитал в его товарной форме, „товарная куча“ товарища Розы Люксембург. Вещественно эта товарная куча делится на два крупные подразделения: на средства производства—с одной стороны, на средства потребления—с другой.

Здесь, следовательно, перед нами одновременное сосуществование различных товаров и соответствующих им производственных отраслей. В этом разрезе скрыта, невидна, затемнена необходимая технико-экономическая связь между различными производственными отраслями. Понятно почему. Ведь, средства производства здесь—это не те средства производства, при помощи которых произведены сосуществующие с ними средства потребления. Наши средства производства будут служить для производства средств потребления лишь в следующем обороте капитала. Точно так же обстоит дело и со средствами потребления, ибо соответствующие им средства производства были потреблены раньше, на рынке их нет, их ценность (целиком или частью—в данной связи это неважно) вошла в плоть и кровь средств потребления и погасла в них. Таким образом наша товарная куча и рынок, рассматриваемый с этой стороны, не только не раскрывают, но затемняют вопрос о необходимой связи между различными отраслями производства.

Второе. Другая точка зрения состоит именно в рассмотрении взаимной связи между различными производственными отраслями. С этой точки зрения мы имеем такого рода соотношения, когда перед нами—ряд взаимносвязанных друг с другом, „родственных по производству“ („produktionsverwandt“) отраслей; каждая отрасль представляет сырой материал для другой, пока через ряд ступеней мы не дойдем до готового продукта непосредственного потребления.



Здесь—в полном соответствии с действительностью—весь производственный аппарат общества в его целом является, в сущности, не чем иным, как аппаратом для производства средств человеческого потребления; отрасли, изготовляющие средства производства, представляются предварительными стадиями производства средств потребления, как бы велики сами по себе они ни были.

Развитое производство—и капиталистическое производство в том числе—скрывает этот факт потому, что, как совершенно отчетливо выяснил это и Маркс, расположение разных отраслей во времени (как ступенек единого по существу процесса производства средств потребления) заменяется расположением их в пространстве. Продукт находится сразу на различных стадиях своего изготовления. Дело происходит не с самого начала, не ab ovo, как выражается Маркс. Оно не происходит так, что сперва добывается только одна руда, уголь, хлопок, потом делаются только машины, потом только пряжа, потом только ткань и т. д. Все эти отрасли „работают“ одновременно. Но этот последний факт ни в малой степени не устраняет совершенно определенной зависимости между ними, то-есть зависимости между различными отраслями, изготовляющими средства производства, и отраслями, изготовляющими предметы потребления.

Отсюда следует, что невозможно, недопустимо, ограничиваться только первой точкой зрения на рынок, т.-е. рассматривать его вне связи различных производственных отраслей друг с другом. Между тем, г. Туган-Барановский, несмотря на все его „схемы“, по сути дела, стоит именно на точке зрения первого варианта постановки вопроса. Постараемся это показать подробнее, хотя у г. Туган-Барановского нагорожено столько путаницы, что для ее систематического опровержения понадобилось бы писать целое самостоятельное исследование.

Присмотримся к проблеме ближе. На рынке каждый раз фигурируют массы средств производства и массы средств потребления. Ценностно доля средств производства относительно возрастает, доля средств потребления относительно уменьшается. Это не подлежит никакому сомнению. Равным образом, не подлежит никакому сомнению, что из совокупного общественного труда все большая доля этого труда идет на производство средств производства. Поскольку г. Туган-Барановский с важным видом размазывает эти истины, он лишь обкрадывает Маркса. Другое дело „углубление“ Маркса, которое и составляет „оригинальную“ черту воззрений Тугана-Барановского.

Итак, доля средств производства ценностно относительно растет. Что это значит? Это значит, с другой стороны, что в про-

дуктах происходит громадное увеличение средств потребления. Чем выше органический состав капитала, чем выше производительность общественного труда, тем большая масса продуктов потребления выбрасывается на рынок, при чем ценность единицы продукта падает. Если взять приведенную выше цитату Тугана (пример с введением машины), то дело не только в том, что выскочил рабочий, потребляющий мясо, и появилась машина, „потребляющая" уголь, но и в том (и это отнюдь не менее, а более важно), что начали выбрасываться на рынок большие товарные массы тех продуктов, которые изготовляются при помощи новой машины. Но это выводит нас уже за пределы первой постановки вопроса. Этого не понимает Туган. Он пишет:

> Но никакого избыточного продукта при этом не возникает, так как спрос на средства производства вполне замещает в этом случае спрос на предметы потребления; ведь, машина требует для своей работы известных хозяйственных затрат, как и рабочий. Если, напр., в производстве известного продукта машина заместила рабочего, то общественный спрос на предметы потребления рабочего класса сокращается, но зато соответственно возрастает спрос на самые машины и все необходимое для того, чтобы машина могла работать — топливо, смазочные масла и т. п. В общем итоге рынок для товаров нисколько не сокращается, и только изменяется род товаров, спрашиваемых рынком. Таким образом становится возможным увеличение общественного богатства (выражающегося в количестве продуктов, которым располагает общество) при одновременном падении общественного дохода [1]).

Выше мы отметили, что неизбежным следствием введения машины в производстве „известного продукта" будет возрастание массы этого „известного продукта", чего не хочет знать г. Туган-Барановский. Но теперь нам нужно отметить и другое. „Критик" Маркса признает, что возрастает спрос на топливо, смазочное масло и т. д. Однако, мы спросим г. Туган-Барановского: откуда же берется это возросшее количество „топлива, смазочного масла и т. д."? Не сваливается же вся эта благодать с неба? А если нет, то, очевидно, она предполагает расширение производства в этих (а за ними и в других) отраслях, т.-е. добавочных рабочих, т.-е. добавочный спрос на предметы потребления, в том числе и на „известный продукт", если под этим „известным продуктом" скрывалось нечто, входящее в предметы потребления рабочего класса.

Что же у нас получилось? Совсем не то, что у г. Тугана-Барановского. При более внимательном анализе оказалось: 1) что рост средств производства вызывает увеличение массы предметов потребления; что он одновременно создает новый спрос на эти предметы потребления; 3) что, следовательно, определенному состоянию производства средств производства соответствует совершенно определенное состояние производства средств потребления; другими словами, что рынок средств производства связан с рынком предметов потребления, т.-е., в конце концов, мы имеем обратное тому, что с такой помпой возвещает г. Туган, как самое удивительное открытие „новейшей" политической экономии.

[1]) Туган, l. c., 205. Курс. автора.



С точки зрения первого аспекта при рассмотрении рынка, конечно, неважно, что будет при следующих оборотах капитала в различных отраслях промышленности; в лучшем случае рассматриваются, да и то однобоко, только непосредственно примыкающие к данному обороты капитала. Тем самым делается непонятным и „объективный смысл" производственного процесса.

В самом деле. Если мы рассматриваем дело так и только так, тогда может получиться картина à la Туган-Барановский. Предположим, что у нас сооружается грандиозная машинная система в железоделательной промышленности. Возрастает в громадной степени потребление угля и железа. Но разве этим дело ограничивается? Нисколько. Пока мы движемся в анализе лишь этой предварительной стадии дела, у нас может, действительно, создаться иллюзия, что машиностроительная индустрия потребляет уголь и железо, а горная—машины, и так вся „работа" вращается в автаркическом, самодовлеющем кругу. Но, на самом деле, все будет выглядеть иначе, лишь только мы вспомним о производственной связи между различными отраслями. Машиностроительная индустрия выбрасывает возрастающее количество машин. Что это значит? Это значит, что, скажем, в ткацкой индустрии будет приводиться в движение даже меньшим количеством рабочих во много раз большее количество хлопка и прочего сырья, а, следовательно, будет производиться чрезвычайно возросшая масса готового продукта, ткани, которая является предметом непосредственного потребления. Это громадное возрастание массы товаров сопровождается (правда, отнюдь не пропорциональным) возрастанием ценности их, так как ценность готовых предметов потребления образует не только труд, затрачиваемый в отраслях, производящих эти предметы потребления, но и ценность сырья, машин и т. д., которая переносится на них автоматически.

Поэтому совершенно нелепо представление г-на Тугана-Барановского, что в производство средств производства можно бухать, как в бездонную бочку, сколько-угодно труда и средств, и что все будет итти гладко, ибо при капиталистическом режиме нет зависимости между потребительским рынком и процессом общественного производства („никакое сокращение потребительского спроса не в силах вызвать превышения общего предложения...").

Это нелепое представление достигает у Тугана наибольшего напряжения в его сумасшедшей утопии, которую он, ни мало не стыдясь, а даже бравируя ею, преподносит почтеннейшей публике. Вот это чудесное место:

Не вызовет ли, однако, это относительное замещение человеческого потребления производительным потреблением средств производства образования избыточного продукта, не находящего себе помещения на рынке? Конечно, нет. Ничего не стоит построить новую схему... и наглядно показать, что самое широкое замещение рабочих машинами не в силах само по себе сделать какую-либо машину излишней и бесполезной. Пусть все рабочие вплоть до одного будут замещены машинами; в таком случае, этот единственный рабочий будет приводить в движение всю колоссальную массу машин и с их помощью производить новые машины и предметы потребления капиталистического класса. Рабочий класс исчезнет, но это нисколько не затруднит реализации продуктов капиталистической промышленности. Капиталисты будут получать в свое распоряжение большую массу предметов потребления, и весь общественный продукт одного года будет поглощаться производством и потреблением капиталистов следующего года. Если же капиталисты, в своей страсти к накоплению, пожелают сократить и свое собственное потребление, то и это вполне осуществимо; в этом случае сократится производство предметов потребления капиталистов и еще бо́льшая часть общественного продукта будет состоять из средств производства, предназначенных для дальнейшего расширения производства. Будет производиться, напр., уголь и железо, которые будут итти на дальнейшее расширение производства угля и железа. Расширенное производство угля и железа за каждый последующий год будет поглощать уголь и железо, произведенные в предыдущем году, и так до бесконечности, пока не будут исчерпаны естественные запасы соответствующих минералов [1]).

После этой милой картинки г. Туган-Барановский изрекает с видом мудреца и сверхчеловека: „Все это может звучать очень странно—может даже показаться величайшей нелепостью. Быть может—истина не всегда легко доступна пониманию; все же она остается истиной“ [2]).

Рассмотрим ближе эту „истину“ г-на Тугана-Барановского, с его паралогическими рассуждениями.

В примере Тугана мы имеем чудовищно-высокий органический состав капитала, реально не мыслимый. Но примем вместе с Туганом эту предпосылку. Что она означает? Она означает еще более чудовищное производство средств потребления (в продуктах), настолько чудовищное, что, конечно, никакие „капиталисты“ не в состоянии потребить этих вавилонских башен предметов потребления.

Туган этого, в своей наивности, не видит, потому что он не видит технико-экономической логики совокупного производственного процесса. Средства производства составляют у него замкнутую величину, производство средств производства является автаркической, суверенной и независимой сферой, от которой не перекинуто

[1]) Туган-Барановский, l. c., 212.
[2]) Ibidem.



никакого мостика к производству предметов потребления. В самом деле, что-либо одно из двух:

или уголь и железо производятся только для производства угля и железа;

или уголь и железо производятся также и для выделки машин, для отопления железных дорог, текстильных фабрик, пивоваренных заводов, электрических станций и т. д. и т. п.

В первом случае перед нами часть общественного производства, которая, по сути дела, никакого отношения к общественному производству не имеет. Нет абсолютно никакой разницы между этим примером и, скажем, таким случаем, когда сошедший с ума после чтения Булгаковской книжки „Философия хозяйства“ („Мир, как хозяйство“) Симеон Столпник вообразил себя капиталистом, владеющим миром, который есть его хозяйство. Космический „обмен веществ“ являлся бы производством, идиот Симеон „воздерживался бы“ в целях мирового автоматического „накопления“, и весь процесс имел бы такое же отношение к человеческому потреблению, как и „процесс производства“ угля и железа в примере Тугана-Барановского. Что эту чепуху у Тугана проделывает все же „единственный рабочий“, ни капли не меняет сути дела, так как, если этому „единственному рабочему“ его умные хозяева вменили в обязанность производить уголь и железо для угля и железа, то это имеет такое же хозяйственное значение, как если бы „единственный рабочий“ был вынужден плевать целыми днями в потолок или же как если бы ни его, ни производимых им продуктов вовсе не было.

Другое мы имеем, если уголь и железо производятся не только для того, чтобы расширять производство угля и железа, но и для того, чтобы поставлять сырой матерьял и топливо для машиностроительной индустрии, для отраслей, производящих полуфабрикаты и и готовые изделия, идущие на потребительский рынок. Тогда чудовищное расширение средств производства, рано или поздно, вызовет неизбежно чудовищный рост выбрасываемых на рынок предметов потребления. И если на эти предметы потребления спроса нет, то последует неминуемый опустошительный крах, в котором скажется со стихийной силой та самая связь между производством и потреблением, которую отрицает наш „парадоксальный“ Туган.

Около этой основной путаницы г. Туган имеет целую систему пристроечек и подпорочек, которые развивают эту путаницу дальше.

Возьмем, напр., одно из существенных его положений: „при пропорциональном распределении общественного производства никакое сокращение потребительного спроса не в силах вызвать превышения общего предложения продуктов на рынке сравнительно со спросом на последние“. Вдумаемся в это предложение. Что значит „пропорциональное распределение общественного производства“? Вклю-

чает оно или не включает соотношение между производством средств производства и производством предметов потребления?

Если требуемая пропорциональность есть также пропорциональность между производством средств производства и производством предметов потребления, если, следовательно, эта пропорция включается, то это и означает связь с потребительным рынком. Но тогда нелепо утверждать, что „никакое сокращение потребительного спроса“ не сможет вызвать перепроизводства и образования избыточного продукта, ибо сокращение потребительского спроса, уменьшение его по сравнению с предложением предметов потребления и означает нарушение пропорциональности. (Вспомним Ленина: „известное состояние потребления есть один из элементов пропорциональности“).

Если эта пропорциональность не включается, тогда становится совершенно непонятным весь ход общественного воспроизводства в его целом. Ибо производство средств производства, которое при капитализме, в силу рыночной анархической производственной структуры, обособляется относительно, все же по существу связано и не может не быть связано целым рядом промежуточных производственных звеньев с производством предметов потребления.

„Пропорциональное распределение общественного производства“ означает поэтому вовсе не то, что имеется у Тугана-Барановского. У него уголь и железо производятся для дальнейшего производства угля и железа. А чем живут машиностроительные заводы? Откуда они берут уголь и железо. Ясно, что они получают уголь и железо из производственного источника этого угля и этого железа. Следовательно, на-лицо связь между производством угля и железа и производством машин. Но точно такая же связь существует и между производством машин и ткацким производством, химическим и прот Ибо производятся не абстрактные машины, не машины „вообще“, не платоновские „идеи“ машины, а совершенно конкретные машины, пригодные для совершенно конкретных производственных целей; другими словами, ценностные отношения здесь связаны с „определенностью формы“, Formbestimmtheit, как называет это Маркс. Иначе пропорциональность общественного производства есть такое соотношение между частями капиталистического производства, где одна отрасль поставляет соответствующее количество для другой по всему фронту совокупного производственного процесса. С этой точки зрения ясно, что нарушение соответствия может итти и из производства сырья, и из производства машин, и из производства полуфабрикатов, и из производства предметов потребления.

Туган-Барановский пишет:

> При пропорциональном распределении общественного производства никакое сокращение общественного потребления не может повести к образованию избыточного продукта. Основной же тенденцией капиталистического развития я считаю по-



> стоянное сокращение доли народного потребления в общественном продукте, что, вопреки Марксу, не создает никаких новых трудностей для процесса реализации продуктов капиталистического производства [1]).

В этой тираде, как нетрудно понять, смешаны две совершенно различные вещи, а именно: рост доли (в ценностях) средств производства и диспропорциональность между производством и потреблением.

Мы сейчас перейдем к разбору этого совершенно ребяческого смешения. Предварительно процитируем, однако, одно место из Тугана, которое проливает неожиданный свет на всю его теоретическую концепцию:

> При капиталистическом хозяйстве, — заявляет премудрый Туган, знаток товарного хозяйства, — „природа которого Марксу была не вполне ясна“ (213) — капиталистический класс превращает в средства производства значительно большую (наш курсив. — *И. Б.*) долю общественного продукта, чем это было бы возможно при гармоническом хозяйстве. В ассоциации производителей целью производства было бы возможно полное удовлетворение общественных потребностей, почему совершенно исключалось бы такое положение дела, при котором расширение производства не сопровождалось бы расширением общественного потребления. В капиталистическом же хозяйстве технический прогресс имеет тенденцию замещать человеческое потребление (потреблением?) средств производства в ущерб общественному потреблению [2]).

Все это — сущий вздор. Неправда, что доля средств производства в капитализме растет быстрее, чем в „ассоциации производителей“. Правдой является совершенно обратное положение. Капитализм объективно ставит границы росту этой „доли“, ибо при дешевой рабочей силе у капиталистов нет достаточного стимула вводить новые машины. Это — азбука экономической науки. По сравнению со всеми предыдущими общественными структурами, капитализм, конечно, является несравненным погоняльщиком технического прогресса и роста доли средств производства. По сравнению с „ассоциацией производителей“ капитализм есть экономически реакционная система именно потому, что он ставит границы развитию производительных сил.

Рост „доли“ (в ценностях) есть не что иное, как выражение роста производительности общественного труда. Поэтому вышеозначенная „доля“ будет (в счете на труд) расти еще быстрее при социализме и тем самым обеспечивать гигантский рост и разнообразие потребительных ценностей.

Если бы накопление шло медленнее, то не могло бы развиваться и потребление. „Упрек“ капитализму состоит вовсе не в том, что

---

[1]) Туган-Барановский, Пром. криз., 213.
[2]) Ibid., 212.

он развивает слишком быстро производительные силы и заменяет человеческий труд машинным, а в следующем (мы, разумеется, касаемся здесь лишь вопросов, которые имеют ближайшее отношение к теме):

1. Капитализм недостаточно развивает производ. силы и, следовательно, недостаточно увеличивает долю средств производства.

2. Капитализм „неправильно" распределяет эти производительные силы (непроизводительное потребление).

3. Капитализм имеет двухбюджетную систему потребления (производство роскоши, мотовство капиталистов и т. д., и т. п.).

Таким образом вздором является и фраза Тугана, что „грех" капитализма заключается в том, что человеческое потребление заменяется машинным. Не в этом вовсе суть дела.

Вернемся теперь к основной линии рассуждений Тугана-Барановского.

Нетрудно, после сделанных нами замечаний, увидеть наивную путаницу г. Тугана. Падение доли общественного потребления по сравнению с долей средств производства есть факт. Но вовсе не в этом факте (который будет еще более „характерен" для социализма) заключается „трудность" для капитализма. Она заключается в том, что анархическая структура капитализма, где производство неурегулировано, т.-е. где нет совокупной общественной пропорциональности, и где стимулы накопления гонят ко все большему размеру производства, неизбежно приводит к таким моментам, когда выведенное за границы надлежащей пропорции производство приходит в конфликт с общественным потреблением. Сокращение же этого потребления ниже определенной величины есть именно нарушение общественно-производственной пропорциональности, и говорить поэтому о существовании пропорциональности при любом сокращении общественного потребления вдвойне нелепо.

Здесь мы вплотную подошли к теории кризисов. Но прежде чем перейти к этому вопросу, мы постараемся подытожить сказанное о Тугане, сделав это в форме его теоретической характеристики. Это тем более необходимо, что г. Туган имеет еще известный кредит, тогда как по существу дела трудно указать писателя, который был бы,—если можно так выразиться,—в такой же мере теоретически бесчестен, как сей муж, начавший свою карьеру с заигрываниями с пролетариатом и кончивший ее у генеральского сапога.

„Maximes générales" теоретической деятельности г. Тугана состоят в грубейшей апологии капиталистического режима и в борьбе с революционным марксизмом. Этому подчинено решительно все. И отсюда тот поистине нестерпимый эклектизм, которым проникнуты все „писания" почтенного профессора.

В самом деле.

Когда ему нужно вести борьбу против теории трудовой ценности Маркса, он становится на точку зрения „примирения" ее с теорией предельной полезности г. Бем-Баверка.

> Великая заслуга новой теории заключается в том, что она обещает навсегда покончить споры о ценности, дав полное и исчерпывающее объяснение всем явлениям процесса оценки, исходя из одного основного принципа [1]).

Всем известно, что, согласно учению австрийской школы, ценность средств производства определяется ценностью продуктов потребления, определяемой в свою очередь их предельной полезностью. Это знает и Туган. В своих „Основах" он пишет:

> Ценность средства производства определяется предельной полезностью того предмета из числа всех изготовляемых при помощи данного средства производства, предельная полезность которого является наименьшей [2]).

Но вот перед г. Туганом стоит другое апологетическое „задание": доказать, что никакого противоречия между производством и потреблением нет, и что никакое сокращение потребления не дезорганизует капиталистического производства. „Уголь и железо производятся для угля и железа".

Но позвольте! Как же быть в таком случае с теорией ценности? Ведь вся теория ценности построена на полезности предметов потребления! Ведь, по Бем-Баверку уголь и железо есть, так сказать, недоварившая ткань, сапоги, хлеб! Ведь это основа той теории, которая „обещает навсегда покончить споры о ценности"! Попробуйте-ка теперь объяснить ценность угля и железа, из которых не „вызревает" никакого предмета потребления!

Младенцу ясно, что Туган развивает две прямо противоположные „системы" взглядов. Если здесь есть какая-нибудь логика, то исключительно лишь логика теоретического жульничества, которое не брезгует ничем, если нужно оправдать Его Величество Капитал.

Далее.

Когда г. Тугану нужно „обеспечить" ход общественного воспроизводства при капитализме, то он не только соглашается признать тезис Маркса о понижении доли общественного потребления, но „углубляет" Маркса и извращает его, выставляя тезис о независимости производства средств производства от общественного потребления. При этом он пишет:

> И только потому, что экономисты никогда не пользуются методом рассмотрения целого капиталистического хозяйства, в науке мог утвердиться взгляд, что размер рынка в капиталистическом хозяйстве определяется размером общественного потребления [3]).

[1]) Туг.-Бар., Основы полит экон., 2 изд., СПБ. 1911, стр. 40.

[2]) Ibidem, стр. 45.

[3]) Пром. кризисы, 205. „Основной тенденцией капит. развития я считаю постоянное сокращение доли народного потребления" (213).

Но вот перед г. Туганом опять другое „задание". Ему нужно доказать, что с точки зрения классовой борьбы дело обстоит вовсе не так печально, как то утверждают зловредные „марксиды". И у г. Тугана „в два счета" готова противоположная теория. А именно:

> Рост производительности общественного труда приводит к тому, что общая сумма общественного продукта (речь идет о трудов. стоимостях. *Н. Б.*) возрастает. Этот избыточный продукт соответственно увеличивает общую сумму общественного дохода, и, благодаря этому, все общественные доходы могут одновременно возрасти насчет сокращения доли средств производства [1]).

Итак, здесь доля средств производства падает, а доля доходов возрастает. Этой истины, видите ли, не понимают потому, что

> для современной полит. экономии, которая не пошла в этом отношении дальше Рикардо, одновременное повышение долей в обществ. продукте капиталистов и рабочих (и притом не на счет понижения долей, в общественном продукте каких-либо других общественных классов) должно казаться совершенной невозможностью. Но эта кажущаяся невозможность возникает лишь вследствие того, что современная наука рассматривает весь продукт, как состоящий из одних предметов потребления [2]).

В действительности же, по Тугану, доходы (в трудовых единицах) могут распрекрасно расти в силу производительности труда (!!) за счет доли средств производства!

Вот вам и готовое объяснение. Чего хочешь, того просишь. В одном месте доля средств производства растет, потому что это есть выражение производительности труда. В другом та же „доля" в силу той же причины падает...

Этот грубый апологетический танец Тугана, конечно, чрезвычайно мало напоминает марксизм. И совершенно напрасно товарищ Роза Люксембург смешивает позицию ортодоксального марксизма, позицию самого Маркса (и II, и III том „Капитала", и „Теория приб. ценности") с апологетической позицией г-на Тугана-Барановского. Но из того, что г. Туган-Барановский неправ в своей критике (и своем чудовищном извращении) правильных мыслей Маркса, отнюдь не следует, что безгрешна позиция самой Розы Люксембург. Не в том ошибка Тугана, что он считает возможной реализацию, а в том, что он разрывает необходимую связь производства с потреблением. И не в том ошибка товарища Розы Люксембург, что она настаивает на этой связи, а в том, что она считает невозможной реализацию в пределах капиталистического общества.

Теперь мы должны перейти к общей постановке вопроса о кризисах.

*Н. Бухарин.*

(*Продолжение следует*).

---

[1]) Основ., стр. 441. Что здесь речь идет о трудстоимостях, видно из контекста и графич. иллюстраций. Подробно об этом см. нашу статью о теории распределения в сб. „Атака".

[2]) Основы, 440—441.



# Этюды по теории кредита.

> Монетная система в основе своей—католический, кредитная система—протестантский институт.
> („Шотландец ненавидит золото"). В бумажных деньгах денежное бытие товаров является лишь общественным бытием. Это та вера, которая необходима и достаточна для спасения души,—вера в денежную стоимость, как имманентный дух товаров; вера в данный способ производства и его предустановленный порядок, вера, в отдельных агентов производства, как простое олицетворение самовозрастающего по своей стоимости капитала. Но, как протестантизм не эмансипировался от основ католицизма, так и кредитная система не эмансипировалась от базиса монетарной системы.
>
> Капитал, т. III, кн. II, изд. 1923 г., стр. 133.

## I.

## Определение кредита.

Буржуазными экономистами было сделано много попыток дать определение кредита. Попытки эти были безуспешны вследствие того, что в их основе лежало:

1) полное непонимание или недостаточное понимание сущности и противоречивости обмена товара, стоимости, денег и капитала,

2) непонимание хозяйственного процесса, как процесса воспроизводства,

3) желание с самого начала дать апологию процента.

Возьмем на выборку 2—3 таких определения.

Туган-Барановский в своих „Основах" говорит: „Кредитом называется такая возмездная передача хозяйственных предметов, при которой уплата эквивалента за полученный хозяйственный предмет отсрочивается на некоторое время, или, говоря иначе, такая сделка, при которой момент получения какой-либо ценности отделен от момента возвращения ее эквивалента некоторым промежутком времени" (Туган-Барановский, „Основы", стр. 422).

Кредит, таким образом, создает связь товаров во времени. Кредитный акт—тот же меновой акт, но одна его половина отрывается во времени от другой.

Это определение, адэкватное только внекапиталистическому кредиту, сразу набрасывает вуаль на кредит, как на орудие эксплоатации, как на способ присвоения и дележа прибавочной стоимости.

Оно не охватывает случаев кредитования деньгами. Оно не охватывает случаев аренды и отдачи в наем, когда возвращается не эквивалент, а самый кредитованный объект, предоставленный для временного пользования.

Поскольку речь идет о капиталистическом хозяйстве, мы имеем в лучшем случае лишь определение коммерческого кредита (см. ниже).

Тугановское определение кредита совпадает с определением Лексиса. Для последнего в кредите „существенно лишь то, что одно лицо передает другому некоторый объект под условием возмещения в будущем" (Лексис, „Кредит и банки", Москва 1918 г., стр. 11).

Лексис ставит точку над i.

„Отданная в кредит вещь должна перейти в собственность получателя. Поэтому сдача в наем, в аренду и на прокат не относится к

кредитным сделкам, ибо право собственности дающего в наем или аренду остается неприкосновенным, и он, по окончании договорных отношений с другой стороной, получает обратно свою вещь или свой земельный участок в идентичном виде. Только недолимки наемной или арендной платы могут при известных обстоятельствах сделаться предметом кредитования" (Там же, стр. 12).

Такой взгляд на аренду, разделяемый целым рядом буржуазных авторов, в корне неверен.

Бездеятельный капиталист может быть владельцем не только денег, но и домов, фабрик и заводов. Что он с ними делает? Он отдает их в аренду. Арендная плата содержит в себе: 1) элементы ренты, которую владелец передает землевладельцу или оставляет себе, если он сам по совместительству является землевладельцем, и 2) возмещения снашивания. А дальше? Для Лексиса, повидимому, опять рента. Не все ли равно. И здания, и фабрики, и земля—одинаково недвижимое имущество... А машины? А если все предприятие, отданное в аренду, портативно? Остается говорить о дележе прибыли между собственностью и функцией, то-есть о расщеплении прибыли на % и предпринимательский доход, следовательно, самую же сдачу в аренду приходится рассматривать, как кредитование плюс продажа снашивания.

„Wird es in der Form von Maschinerie, Baulichkeiten usw. ausgeliehen, kurz, in einer stofflichen Form, worin es im Produktionsprozess als fixes Kapital funktionieren muss so kehrt es in der Form des fixen Kapitals zurück, zum Beispiel als jährliche Zahlung, die gleich ist dem Ersatz für die Abnützung, gleich dem Wertteil des Kapitals, der in Zirkulation getreten ist, plus dem Teile des Mehrwerts, der als Profit (hier Teil des Profits), Zins, auf das fixe Kapital berechnet ist (nicht soweit es fixes Kapital, sondern soweit es Kapital von bestimmter Grösse überhaupt ist)" (Marx, Theorien über dem Merwerth, B. III, S. 529).

Лексис совершенно не стесняется дать объяснение, почему он напирает на то, что объектом кредитования могут быть только „хозяйственные предметы".

Он говорит ясно: „Речь идет о передаче вещей, а не об услугах или исполнении какой-либо работы. Если служащий получает жалование только в конце месяца, то никто не говорит, что он оказал работодателю кредит. Это было бы и неверно, ибо для него обязательна работа в течение полного месяца и лишь по окончании этого срока наступает момент платежа" (Там же, стр. 11).

Этим сразу отвергается факт кредитования покупателя рабочей силы продавцом. Обще-рыночные отношения, где товар оплачивается до потребления (чтобы приступить к потреблению кредитами, потребитель раньше должен стать собственником), подмениваются специфически ресторанными отношениями, где потребление предшествует оплате, хотя ресторан не представляет потребителю своего товара в течение недель до оплаты, как это делает рабочий.

Современную противоположность вещному взгляду на кредит, который мы видим у Смита и который мы затем находим у Лексиса и Тугана, составляет взгляд на кредит Маклеода, Коморжинского, Селигмена. Маклеод дает два определения кредита, соответствующие двум определениям капитала. „Первочачальное понятие о капитале" разумеет накопление и сбережение предметов потребления. Соответственно этому, в этой первобытной форме, кредит заключается в передаче уже существующего капитала из рук одного лица в руки другого, которое с большим удобством может употребить его производительным образом (Маклеод, „Осн. пол. экономии", перевод Весе-



ловского, СПБ. 1865). Но „капитал, в его обширнейшем и общем смысле, который, собственно, и подлежит обсуждению политической экономии,—есть нечто такое, чем человек может производить обороты, что он может затратить в видах извлечения прибыли, или что дает ему средства к получению дохода. Всякое имущество или качество, которым он владеет и которое дает ему средства к увеличению его богатства, всякое орудие, хотя бы незначительное, всякое, хотя бы самое простое, соображение, сокращающее труд и увеличивающее производство, по справедливости может быть признано капиталом" (Там же, стр. 74).

Из этого понятия капитала выводится понятие кредита.

„Торговый инстинкт придумал еще обращающуюся силу (курсив мой. *Ф. М.*), которая составляет символ будущей сметливости, дальновидности и предприимчивости, и эта обращающая сила есть кредит. Купец, вместо того, чтобы покупать товары на имеющиеся у него деньги в действительности, может покупать их с „обещанием заплатить", заплатить деньги со временем, в известный срок. Платя чистыми деньгами, он отдает результат своей прежней предприимчивости; покупая на обязательство или „обещание заплатить" деньги, он закладывает результат своей будущей предприимчивости. Чистые деньги, необходимые для платежа, имеют быть получены его будущим трудом, сметливостью или предприимчивостью, через выгодную их продажу. Деньги, труд и кредит представляют предприимчивость прошедшую, настоящую и будущую (Money labor and credit represent simply industry past, present and future)" (Там же, стр. 74—75).

Итак, кредит по Маклеоду есть обращающаяся сила будущей сметливости, дальновидности и предприимчивости. Маклеодовское определение кредита не может быть более ценно, чем лежащее в его основе определение капитала. Мы так долго останавливаемся на Маклеоде потому, что учение Маклеода о кредите было воскрешено из мертвых Hahn'ом (A. Hahn Volkswirtschaftliche Theorie des Bankkredits, Tübingen 1920), о котором нам придется подробно говорить в одним из следующих очерков.

Коморжинский в своем капитальном труде о кредите (Die Nationalökonomische Lehre vom Kredit, Innsbruck 1903) дает подробный обзор и критику определений кредита, данных до него различными экономистами. Он легко опровергает определение кредита, как доверия (Сэй, Гиторж, Мак-Келок, Родбертус), как отрыва одной половины менового акта от другого во времени (Бастиа, Рошер), как уступки конкретных благ (Книгс, Филиппович, Бем-Баверк), как средства обращения (Маклеод) и как ссужения денег (Ihering).

Коморжинский понимает противоречие обмена. Под теми страницами, где он говорит об этом противоречии, мог бы, пожалуй, подписаться и марксист. Но противоречивость обмена для Коморжинского еще не есть противоречивость капитализма, основанного на обмене. Коррективом служит кредит. Для определения кредита Коморжинский конструирует понятие достояние (Vermögen), как возможности получения дохода. Ему приходится прибегать к чрезвычайным натяжкам, зато объем понятия получается очень широкий. Eigenthum—понятие юридическое. Vermögen—экономическое. Eigenthum—право распоряжения. Vermögen—возможность получения дохода. Объект Eigenthum и Vermögen—один и тот же.

„Diese mögen Sachgüter sein oder einzelne nutzbare Kräfte derselben, zumal Zeitreihen solcher wie sie dem Mieter und Pächter Zugehören, oder sie mögen durch Dienstmiete angeworbene fremde Arbeits ver-

richtungen oder endlich eigene Arbeitsbefähigungen oder deren Leistungen sein".

Земельный участок—достояние, потому что он может приносить доход-ренту. Кусок хлеба—тоже достояние, ибо сегодня кусок хлеба, завтра кусок хлеба, вот и элементы постоянного дохода. Достояние вовсе не должно быть обязательно источником дохода. Оно может быть одним из элементов дохода... Сконструировав таким манером понятие достояния, Коморжинский получает основу для такого определения кредита, которое годится для всех времен и хозяйственных формаций. Кредит,—это уступка временного пользования достоянием (Überlassung temporärer Vermögungsnutzung), иначе говоря, уступка пользования доходом. Это двухсторонний акт, но не в том смысле, что взятие в кредит должно быть возвращено, а в том смысле, что пользование доходом должно быть оплачено процентами. Тут вскрывается истинная подоплека всей проделанной Коморжинским акробатики.

Необходимо было такое определение кредита, которое с самого начала включало бы в себе апологию процента, что делает для буржуазных экономистов задачу определения кредита неразрешенной, a priori, это намерение дать такое определение кредита, которое годилось бы для всех хозяйственных формаций и фаз. Между тем ни одна из категорий менового хозяйства не отличается такой пластичностью и изменчивостью, как кредит. Меняется не только форма акта кредитования. Меняется самое его экономическое содержание в связи с изменением его кондиций, объема и т. д.

Начнем с кондиций. А передает В известный объект с условием... 1) возврата того же объекта, или 2) возврата эквивалента натурального (обезличенная натуральная ссуда), 3) или возврата эквивалента стоимостного, 4) то же, что и в пункте 1, 2 или 3, но с прибавлением некоторого „приращения" (не смешивать с возмещением снашивания), 5) или периодических выдач приращения без возврата первоначально взятого объекта (вечная рента, дивиденд с акций). Тут мы видим такой ряд: возврат без приращения, возврат с приращением, возврат одного приращения... Вместе с этим изменяется содержание кредитования, как менового акта. В случае первом (возврат без приращения) обменивается кредитованный предмет на возвращаемый эквивалент (случай идентичного возврата мы разберем ниже). В случае третьем (выплачивание приращения без возврата кредитованного объекта или его эквивалента) в акте обмена противостоят друг другу капитал и „цена" его—процент. Это меновой акт как бы второго порядка. В случае втором (возврат и объекта или его эквивалента, и приращения) содержание менового акта сложное. Тут налицо меновой акт и первого и второго порядка. Далее, по вопросу об объекте кредитования. Таковым может быть 1) вещь, услуга, 2) рабочая сила, 3) стоимость в ее наиболее адэкватной, денежной форме, 4) средство обращения и платежа, лишенное стоимостного содержания (бумажные деньги и т. д.). Наконец, объектом кредитования может быть самый кредит (гарантийный и акцептный кредит и т. д.).

Так и по отношению к получателю кредита. Он может быть физическим или юридическим лицом, существовавшим независимо от кредитора. Он может быть креатурой кредита (акционерное общество). Он может быть, наконец, плотью от плоти того юридического лица, которое является кредитором и которое противопоставляется ему только в интересах учета (кредитование государственного треста государством).



Говорить поэтому о едином определении кредита не приходится. Между отдельными формами кредита в различных этапах его развития есть лишь преемственная связь, а не связь по внутреннему содержанию. Внутреннее содержание кредита приходится выяснять для каждой хозяйственной фазы в отдельности, в зависимости от характера данной фазы, взятой в целом.

Необходимо поэтому раньше всего выяснить содержание кредита, с точки зрения обмена, как такового, затем с точки зрения „классических" капиталистических отношений. После этого надо перейти к кредиту в условиях „финансового" капитализма, наконец, к кредиту в условиях переходного периода, вообще, и нэп'а [1], в частности.

## II.

## Зародышевая форма кредита.

### (Кредит в условиях обмена типа Т—Т).

Кредит есть прежде всего категория денежного хозяйства. Все же мы начинаем свой анализ с более общей формы обмена, а именно обмена товара на товар, ибо уже эта форма допускает возможность кредита в эмбриональном виде.

В настоящей главе мы делаем попытку дать как бы эмбриологию кредита.

С точки зрения обмена типа Т—Т кредит означает разрыв во времени между двумя частями единого менового акта. Формула Т—Т делится на две части: Т—0 (нуль) и 0 (нуль) —Т (Юридически: Т.—Обязательство, Обязательство—Т.).

Основной принцип обмена—замена всякой двинувшейся с места клеточки стоимости другой клеточкой, количественно равной [2])—этот принцип при кредитовании отменяется. Отчуждается не только потребительная стоимость, но и стоимость. Образовавшаяся вследствие ухода первого Т пустота зияет до осуществления второй половины операции: 0—Т.

Характерный для менового общества двухтактный акт обмена веществ (даяние и возмездие) обрывается на первом такте (даянии). Второй такт (возмездие) отсрочивается. Стоимость наличная заменяется стоимостью в перспективе.

Меновое отношение превращается в кредитное. Сторона, давшая Т, становится кредитором. Контрагент этой стороны — должником.

С точки зрения общественного обмена веществ, отсрочка возмездия имеет большое значение. Благодаря этой отсрочке, меновая связь может возникнуть между продуктами различных производственных периодов, равно как и между продуктами производственных процессов, продолжительность которых различна по техническим причинам. „Один род товаров требует для своего производства большего промежутка времени, другой—меньшего; производство различных товаров связано с различными временами года. Один товар родится на месте своего рынка, другой должен путешествовать на отдаленный рынок. Один товаровладелец может поэтому выступить как продавец, раньше

[1]) Переходного периода в условиях социалистического союза крестьянских стран, не пополненного еще странами индустриальными.

[2]) „Раз только вообще происходят процессы обмена, объект действительно отдается. Право собственности на продаваемый предмет каждый раз уступается. Но стоимость при этом не уступается" („Капитал", т. III, кн. I, стр. 330).

чем другой, как покупатель" (К. Маркс, „Капитал", т. I, перевод Струве, стр. 75).

Отсрочка второго такта может быть выгодна не только для должника, но и для кредитора, консервируя стоимость от гибели, грозящей ей на случай исчезновения потреб. стоимости (порчи товара), и обеспечивая для кредитора непрерывность потребления, а потому и производства в будущем. Акт кредитования может быть для него как бы соединением менового акта с тезаврированием [1]).

В случаях кредитования заменимым товаром с условием ликвидации кредитного отношения товаром того же вида (А дает В четверть ржи в этом году с тем, чтобы получить обратно другую четверть ржи в будущем году). Отношение кредитной сделки к обмену может на первый взгляд показаться сомнительным. Ведь А и В ничего не обменивают. Каждый из них и получил, и отдает одно и то же количество ржи.

Но такое заключение ошибочно.

Имеет ли данный случай отношение к общественному обмену веществ или нет? Несомненно, имеет. Потребительская стоимость переносится из такого пункта, где она не нужна, в такой пункт, где она нужна.

Соблюдается ли тут меновой принцип двухсторонности акта обмена веществ? Да, хотя и с характерной для кредитной сделки отсрочкой второго такта.

А и тут отдает стоимость, потребительная форма которой ему не нужна, чтобы получить обратно стоимость такой же величины в нужной форме. Правда, потребительская стоимость возвращаемой ржи становится нужной А только вследствие отсрочки. Но то же явление возможно и при обмене ржи на рыбу. Рыба может быть совершенно не нужной владельцу ржи в данный момент, и он отдает рожь, чтобы получить рыбу впоследствии.

Кредит в данном случае создает возможность такого менового акта Т—Т, где оба Т стремятся к равенству не только, как стоимости, но и как потребительные стоимости. Первая часть такого менового акта называется выдачей ссуды или ссужением.

Настоящее свое развитие ссуда в частности, как и кредит вообще, получает в денежном хозяйстве (денежная ссуда).

На особом месте стоит случай одалживания вещи с условием идентичного возврата.

Кредит — категория менового общества. Где нет обмена, нет кредита.

Когда А одалживает В телегу с тем, чтобы ее получить обратно, возможны следующие случаи:

1) Телега дается просто, по-соседски. Тут случай дарения изнашиваемой части телеги. Дарение—акт внеменовой.

2) Случай уплаты проката. В, скажем, дает А за пользование телегой пяток дынь. Поскольку речь идет об условиях простого, бесприбыльного обмена, перед нами обмен изнашиваемой части телеги на дыни. Если прокат уплачивается по окончании пользования, то это значит, что изнашивание кредитуется.

Но если мы оставим в стороне вопрос об изнашиваемой части одолженной вещи, то самый переход вещи от А к В с условием ее идентичного возврата еще не есть акт кредитования, так как это вообще не меновой, хотя и межхозяйственный акт. Перед нами случай дарения, ограниченного известным сроком.

[1]) В капиталистических условиях тезаврирование, как правило, превращается в кредитную операцию.



Другое дело, когда вещь ссужается, как капитал, как самовозрастающая стоимость. Сдача в аренду фабрики, завода, дома, автомобиля есть, как мы уже говорили выше, несомненно, частный случай капиталистического кредита. Тут меновой акт 2-го порядка. С одной стороны—капитал. С другой стороны—цена его—процент. Поэтому в капиталистическую аренду, кроме ренты и возмещения снашивания, входит процент на капитал.

Само собой разумеется, что беспроцентный кредит противостоит ростовщическому не исторически, а только логически (См. К. Маркс, „Капитал", т. III, гл. 36).

### Противоречие кредита.

Противоречие кредита так глубоко, что оно проявляется в его эмбриональной форме.

Коморжинский видит в кредите разрешение противоречия обмена. В действительности кредит, делая обмен более эластичным, не только не уничтожает его противоречий, но, наоборот, еще более их усиливает. Противоречие обмена состоит в том, что один полюс товара, потребительная стоимость, обобществляется, отчуждаясь от владельца товара, между тем, как второй полюс—полюс стоимости, прикреплен к владельцу, составляя его частную собственность. Простое движение соков в общественном организме поэтому невозможно. Движение одной питательной частицы возможно только в том случае, если в обмен и навстречу ей может двинуться вторая частица.

Кредит, отсрочивая встречное движение, делает его проблематичным, не уничтожая его обязательности. Объект для возврата может в свое время, и быть, и не быть. Возврат же необходим. Далее, к анархии обмена кредит предъявляет требование календарности. Противоречие проблематики и апокдетики, анархии и календарного плана находит свое выражение в банкротстве, которое в ранние эпохи кончалось тем, что для должника меновая связь с обществом заменялась другой формой связи—рабством.

Стенки частной собственности, разрезывающие единое общественное хозяйство на отдельные частно-хозяйственные клетки, не только не уничтожаются кредитом, но, наоборот, они, благодаря кредиту, приобретают новую способность, способность действовать как бы на расстоянии.

Развитие противоречия обмена дает покупку и продажу рабочей силы. Развитие противоречия кредита дает, как мы увидим ниже, покупку и продажу „рабочей силы" капитала, т.-е. продажу способности капитала присваивать прибавочную стоимость. Возврат взятого переходит в возврат взятого плюс невзятое.

## III.

## Кредит при обмене типа Т—Д—Т.

Только в денежном хозяйстве, где обмен принимает специфическую форму продажи-купли, кредит проявляет в достаточной мере свои основные свойства. Прежде всего здесь выступает функция денег, как мерила стоимости. Так как эту свою функцию деньги исполняют не в реальном, а идеальном виде, то с точки зрения этой функции совершенно нет разницы между случаями продажи в кредит и на наличные деньги. Стоимость товара находит выражение в его цене. Но та цена, которую пишет на товаре действительно или мысленно прода-

вец, есть только проект цены. Этот проект должен еще получить санкцию покупателя, чтобы стать действительной ценой. И вот это санкционирование цены покупателем имеет одинаково место, как в случае продажи на наличные, так и в случае продажи в кредит. Получены ли деньги или нет, но товар продан. Достигнуты сразу две вещи. Во-первых, точно установлены размеры денежной массы, форму которой должна принять стоимость товара (страхование цены). Во-вторых, точно определены то время и та клетка хаотического общественного хозяйства, когда и где переодевание стоимости из товарной формы в денежную должно произойти.

Товар, стоящий в очереди, в ожидании превращения в деньги, освобождается от этой стоянки, оставив вместо себя в очереди обязательство. Товар еще не достиг превращения в денежную форму, но он уже вышел из товарной очереди. Занявшее его место обязательство тоже ждет, но уже по другому. Товар ждет денег, не зная их количества, ни времени, ни места их прибытия. Обязательство же знает и то, и другое. Деньги являются тут не для того, что бы толкнуть товар в путь. Это дело сделано перспективой их получения. Они являются только для того, чтобы эту перспективу оправдать. Поскольку средством обращения становятся перспективные деньги, постольку деньги становятся средством платежа. Продажа в кредит есть замена товара перспективными деньгами, платеж есть замена перспективных денег настоящими деньгами. Единый процесс переодевания стоимости в денежную форму расщепляется на две части, как женитьба расщепляется на помолвку и свадьбу. Метаморфоз Т—Д расщепляется на части товар—перспективные деньги перспективные деньги—деньги.

Формально продавцу нет дела до судьбы кредитованной стоимости в течение срока кредитования. На самом же деле она не может не интересовать его, ибо от того, что случится со стоимостью в период ее отлучки, часто зависит вопрос, возвратится ли она к своему исходному пункту.

Поскольку речь идет о денежном хозяйстве, тот факт, что стоимость сохранилась у должника (случай производительного кредита) еще сам по себе не обеспечивает объективной возможности ликвидации кредитного отношения. Должнику предстоит еще задача переодеть принадлежащую ему стоимость в денежную форму. Между тем, эта операция, которая может или совсем не удаться, или удаться с большим изъяном для стоимости. Самое бережное отношение должника к кредитованной ему стоимости не избавляет выражения последней, т.-е. цены, от колебаний конъюнктуры, а самой стоимости от перемен в производительности труда. Вопрос о возможности ликвидации обязательства уже зависит не от того, что происходит в пределах хозяйства должника, а от факторов общего характера. Падение цен сжимает платежные рессурсы, не уменьшая соответствующего обязательства. Денежная форма обязательства увеличивает степень общественной обусловленности его ликвидации.

Экономия наличных денег, благодаря взаимным расчетам, возможна и при бескредитных покупках ($A$ дает $B$ железа на 100 р., $B$ дает $C$ угля на 100 р., $C$ дает $A$ на 100 р. муки). Но настоящее свое развитие взаимные расчеты могут получить лишь при кредите, ибо как тут фактическая встреча людей и товаров заменяется встречей обязательств. Чем больше развиваются взаимные расчеты, тем больше уплата долга превращается в уплату разницы (ср. clearing). Функция



свою, как средства платежа, деньги поэтому чем дальше, тем чаще исполняют в идеальной форме. Продажа в кредит, может быть, плохая продажа, но она все же продажа. Превратив свой товар в перспективные деньги, продавец может эти самые перспективные деньги снова превратить в товар, т.-е. самому где-нибудь кредитоваться в расчете на эти деньги. При этом, поскольку предстоит взаимное погашение платежей, кредитор фактически получает эквивалент своего товара в тот момент, когда он на такую же сумму становится должником.

Кредит, который есть жажда денег, тут вступает в противоречие с своей собственной тенденцией максимального устранения денег, как женолюбие монаха вступает в противоречие с его аскетическими устремлениями.

„Функция денег, как платежного средства, заключает в себе резкое, ничем не смягченное противоречие. Поскольку платежи уравновешиваются, деньги функционируют лишь идеально, как счетные деньги или мера ценности. Для действительного же совершения платежей деньги являются не как средство обращения, не как переходящая лишь и посредствующая форма обмена веществ, но как индивидуальное воплощение общественного труда, как самостоятельное бытие меновой ценности, как абсолютный товар. Противоречие это обнаруживается в тот момент промышленных и торговых кризисов, который называется денежным кризисом“ (Карл Маркс, „Капитал“, том I, стр. 77—78).

## Ссуда.

Предметом кредитования могут быть самые деньги. В этом случае мы имеем дело с денежной ссудой.

Если в случае покупки товаров в кредит деньги в перспективе непосредственно служат средством обращения, то в случае денежной ссуды процедура получения должником нужного ему товара становится более сложной. Двучленная формула Дп (деньги в перспективе)—товар, заменяется трехчленной: Дп—Д—Т. С точки зрения кредитора, мы здесь имеем Д—Дп, обмен наличных денег на деньги в перспективе. Стоимость уже кредитуется не в частной форме того или иного товара, а в всеобщей форме, в форме денег.

Трансформация товара в деньги, перемена частной товарной формы стоимости на всеобщую денежную форму является величайшим шагом товара после производства. Для товара продажа—2-ое рождение. Стоимость всех товаров должна пройти через форму одного товара—денег. Уже одно то, что сумма денег, имеющихся на рынке, обычно, гораздо меньше суммы стоимости других товаров, должно создать давку у дверей денежной купели, тем более, что счастливцы, успевшие ее занять, вовсе не торопятся освободить место для других, стоящих в очереди (сокровище). Дать денежную ссуду—значит кредитовать стоимостью, достигшей кульминационной точки, стоимостью в обезличенной денежной форме.

Выгоды, вытекающие из кредита как такового, для кредитора уже тут отпадают. Тут не может быть речи о страховании цены, ибо деньги сами—цена. Если при кредитовании товара дело возведения стоимости в степень денег падает на должника, то тут ничко ему подается облупленным. Денежный товар в развитом меновом хозяйстве не боится ни моли, ни ржавчины. Поэтому, если и смотреть на ссуду, как на способ консервации стоимости, то разве только в смысле обеспечения от воров, но и эта выгода в значительной степени нейтрализуется тем, что вором может оказаться либо сам должник, либо

фиск, переполняющий обращение порченной монетой или бумагой, при чем инфляция разоряет прежде всего кредиторов.

Вот почему денежная ссуда по самой своей природе является возмездной. В формуле Д—Дп второй член становится больше первого. Кредит становится провозвестником капиталистической эксплоатации. Капитал рождается в форме ростовщического капитала.

## IV.

## Кредит в капиталистическом хозяйстве.

Если кредит, рассматриваемый с точки зрения простого менового общества, есть известная форма отношений между владельцами стоимости, то капиталистический кредит есть отношение между присваивателями прибавочной стоимости. В простом меновом обществе стоимость берется в кредит ради связанной с ней потребительной стоимости. В капиталистическом обществе стоимость берется в кредит ради ее способности присваивать прибавочную стоимость, возрастать. Иначе говоря, стоимость здесь уже кредитуется как капитал, как орудие, способное в известных условиях (присосавшись непосредственно или посредственно к источнику стоимости, живому труду) быть насосом для выкачивания прибавочной стоимости.

Предметом кредитования тут может быть либо капитал,—все равно в форме товара или денег,—либо только специфически денежная форма капитала. В первом случае мы имеем дело с капитальным кредитом. Во втором случае—с кредитом денежным.

„Если банк соглашается дать своему торговому клиенту заем просто под личный его кредит, без представления с его стороны обеспечения, то дело ясно. Клиенту безусловно авансируется определенного размера стоимость, как дополнение к его капиталу, которым он до сих пор располагал. Он получает аванс в денежной форме, т.-е. получает не только деньги, но и денежный капитал.

Если же он получает ссуду, выданную под залог ценных бумаг и т. п., то это аванс в том смысле, что ему даются деньги под условием их обратной уплаты. Но это не авансирование капитала. Потому что ценные бумаги тоже представляют капитал и притом на бо́льшую сумму, чем ссуда. Следовательно, получатель берет меньшую стоимость капитала, чем отдает в залог; такая операция отнюдь не представляет для него приобретения добавочного капитала. Он совершает сделку не потому, что ему нужен капитал,—он уже имеет его в своих ценных бумагах,—а потому, что ему нужны деньги. Здесь, следовательно, перед нами ссуда денег, а некапитал“ („Капитал“, т. III, изд. 1923 г., стр. 414).

Капиталист-кредитор может выступать либо как рантье, либо как активный капиталист. Как рантье он выступает тогда, когда предметом кредитования служит праздный капитал. При этом возможны два случая: 1) праздность денег обусловливается праздностью их владельца; 2) праздность денег обусловливается несовершенствами кругооборота капитала [1]).

В первом случае перед нами особая разновидность класса капиталистов—подкласс рантье. В последнем случае активный капиталист является рантье по совместительству, как рантье может являться по совместительству активным капиталистом, купив, например, на часть своих капиталов доходный дом. Так или иначе, капиталы, освобождение которых обусловливается праздностью их владельца, мы будем называть рентными. Праздные части капитала, высвобождаемые круговоротом активного капитала, мы будем называть резервными. Кредит тут является определенным отношением между рантье и активным капиталистом.

[1]) 1) Случай, если период обращения не кратен периоду производства; 2) постепенное накопление стоимости изнашиваемого основного капитала; 3) сезонные производства; 4) накопление капитала, нужного для расширения производства до достижения им известного минимума; 5) повышение цены продукта без соответствующего повышения цены средств производства и рабочей силы.



Но кредитный акт может вызываться потребностями самого кругооборота капитала. Путь товара от сферы производства до сферы потребления извилист и тернист. Где для его продвижения по этому пути не хватает золотых колес, он принужден двигаться на колесах кредита. Производитель сырья, например, кредитует фабриканта, последний—оптовика, а тот—розничного торговца.

Кредит тут выступает, как отношение между активными капиталистами, предприятия которых лежат по пути движения одного и того же товара как в сфере производства, так и в сфере обращения. Поскольку речь идет о сфере обращения, эта форма кредита, кредитование товара, приближается к отдаче товара на комиссию. Разница, конечно, та, что таинство продажи в данном случае уже совершается при передаче товара, чего нет в случае отдачи его в комиссию. Комиссия не гарантирует срока превращения товара в деньги, между тем как должник указывает определенный срок уплаты. Но фактически исполнение должником своих обязательств зависит в значительной степени от реализации товара. Когда нереализация принимает массовый характер, такой же характер принимает банкротство различных торговцев, явное или замаскированное пролонгацией.

В действительности перед нами в этой форме кредита специфически сугубо противоречивый способ пребывания капитала в сфере обращения. Представим себе кусок сукна, который не лежал на складе фабриканта $A$ в ожидании покупателя с 1-го по 31 января. 1-го февраля он был продан в кредит торговцу $B$ под трехмесячный вексель. 1 мая вексель был оплачен. Часть капитала $A$, которая заключалась в куске сукна, была в сфере обращения 4 месяца. Но между первым месяцем ее пребывания в сфере обращения (лежание на складе) и последними тремя существует разница. В первый месяц она была свободна. Она могла быть превращена в наличные деньги каждую минуту, но могла остаться на складе на веки вечные. 1-го февраля этой свободе наступил конец. Время и место ее превращения в деньги были точно означены (другой вопрос, осуществится ли назначенное), но самое это превращение отсрочено на 3 месяца. Если подойти к вопросу с точки зрения „распределения“ прибыли, стремящейся к средней норме, перед нами окажется загадка. Кому она „причитается“ за время с 1 февраля по 1 мая. С одной стороны, все это время в сфере обращения дежурил капитал одного $A$. Правда, $B$, по всей вероятности, купил некоторую часть товара у $A$ и за наличные деньги, что большею частью необходимо для того, чтобы получить товар в кредит, но эта часть покупки выразилась в особых товарных долях, о которых мы здесь не говорим. Тут могла бы еще быть речь о капитале, потраченном $B$ на содержание магазинов, наем приказчиков и т. п., но и это отпадает, если мы себе представим торговлю в чистом виде путем передачи складочных свидетельств. Следовательно, вся прибыль „причитается“ $A$. Но, с другой стороны, если $B$ получит прибыль только от той части сукна, которую он купил за наличный расчет, то ради чьих прекрасных глаз он берет дополнительно товар в кредит? Ясно, что волей неволей $A$ должен уделить часть своей предпри-

нимательской прибыли [1]) $B$ в виде уступки с цены товара. Если $B$ оптовик и если он в свою очередь продаст указанный выше кусок сукна розничному торговцу $C$, он должен часть полученной скидки переуступить последнему. Далее мы увидим, что предпринимательская прибыль присваивается капиталистом в силу того, что он активизирует эту стоимость, превратил ее в капитал, притом превратил ее не как служащий, а как капиталист, обладающий действительным или мнимым фондом уже капитализированной прибыли, которая должна пойти в пищу капиталу (т.-е. на уплату %%), на случай неудачи возрастания капитала путем уловления новой прибавочной стоимости. В силу этого чью бы собственность капитал ни составлял, он функционально является капиталом предпринимателя. Это бросает свет и на отношения $A$ с его контрагентом. Последние 1) выступают его сотрудниками по активизации капитала, 2) делают это, как капиталисты, имеющие действительный или мнимый капитальный фонд для капитала на случай его неудачи в присвоении прибыли. Это дает им возможность участвовать в дележе функциональной прибыли.

Если стоимость куска сукна оставалась в сфере обращения с 1 февраля по 31 апреля, то уже не исключительно как капитал $A$, а (функционально) как общий капитал той группы капиталистов, предприятия которых расположены по дороге движения товара.

Этот кредит есть форма взаимоотношений активных капиталистов, как таковых. Отличительным его признаком является то, что часть прибыли тут уделяется кредитующим кредитуемому. Предметом кредитования тут является стоимость уже функционирующая, как капитал. Это есть особая форма движения капитала внутри сферы обращения. Эту форму кредита мы, придерживаясь терминологии Маркса, будем называть коммерческим кредитом.

Из самой сущности коммерческого кредита вытекает, что он предоставляется в товарной форме, в форме товара, совершающей свой путь к трансформации в деньги.

В силу того, что кредитуемый получает часть предпринимательской прибыли, созданной дежурством в сфере обращения капитала кредитора, коммерческий кредит должен был бы нарушить для первого и последнего звена кредитной цепи тенденцию уравнения прибыли. Первое звено недополучает части нормальной прибыли, последнее получает сверхприбыль. Мы говорим о первом и последнем звене потому, что для посредствующих звеньев уделенная им сверхприбыль уравновешивается дальнейшим уделением ими прибыли по нисходящей линии. Но на самом деле движение коммерческого кредита не прямолинейное, а круговое. Первого члена цепи нет, поскольку нет ни одного капиталиста, который только продавал бы, а не покупал. В виде касательной к кругу остается розница, но и она кредитует потребителя. Если последний—рабочий, кредитующий капиталиста рабочей силой, то и розница включается в круг. В тех же отраслях розницы, которые не знают кредитования потребителя, конкуренция розничных торговцев должна понижать общую массу подчаемой ими прибыли до уровня, соответствующего их капиталам.

Вернемся к тому случаю, когда кредитор выступает как рантье, когда предметом кредитования становится праздный капитал, капитал в потенции, принявший временно форму сокровища. Целью кредитования тут является превращение потенциального капитала в действительный. Когда кредит переводит стоимость из сферы сокровищ, в сферу функционирующего капитала, т.-е. в сферу производства или обращения (когда он ссужается торговцу). Эту форму кредита мы будем называть ссудным кредитом, а предмет кредитования ссудным капиталом. Поскольку типичной формой сокровища являются деньги, постольку типичной формой ссудного кредита является ссуда денег, хотя в случае сдачи предприятия в аренду, как мы видели выше, форму ссудного капитала принимают здания, машины и т. д. Если торговый кредит есть часть метаморфоза Т—Д, то ссудный кредит есть по преимуществу часть метаморфоза Д—Т.

Ссудный кредит превращает потенциальный капитал в действительный. Деньги, отданные в ссуду, присваивают прибавочную стоимость, превращенную в прибыль. Доля прибавочной стоимости, уделяемая собственнику капитала его активизатором, называется процентом.

Рантье нужно, во-первых, чтобы присвоение прибыли не было сопряжено ни с какими хлопотами, во-вторых, чтобы прибыль поступала по карточке заранее определенными порциями. Среди стихии общей борьбы за прибыль, рантье стремится создать для своих доходов математическую определенность и календарную регулярность.

Но именно эта анархия капиталистической экономики, эта гадательность действительного присвоения данным капиталом какой бы то ни было прибыли (возможна гибель и самого капитала) и служит причиной того, что активизация капитала доверяется только капиталисту, т. е. обладателю такого фонда, который на случай неудачи в деле присвоения новой прибавочной стоимости мог бы питать полученный капитал старой, прежде присвоенной прибавочной стоимостью.

Уверенность капитала в получении бесхлопотного и регулярного питания тем больше, чем солиднее ссудополучатель, т.-е. чем толще у него слой уже накопленного жира („Пока жирный похудеет—худой подохнет“—говорит польская пословица).

Кредитополучатели поэтому отличаются друг от друга по степени кредитоспособности, но последняя в сущности есть больше объективное свойство той части общественного хозяйства, которая зажата в кулак кредитополучателя, чем субъективное свойство последнего. Кредитуется в сущности не предприниматель, а предприятие. Кредитоспособность зависит: 1) от прибыльности кредитуемого предприятия, 2) от нормы накопления, 3) от ликвидационной стоимости предприятия. (Мы не говорим отдельно о стоимости на ходу, ибо эта стоимость, как мы увидим ниже, есть функция прибыльности). Вот почему при всяком данном состоянии денежного рынка высота процента различна для разных ссудополучателей. Абсолютно кредитоспособного ссудополучателя быть не может, но идеально он подразумевается. Можно поэтому говорить об основном ядре процента (процент, который платил бы этот идеальный абсолютно кредитоспособный кредитор), которое мы называли бы абсолютным процентом и о добавочной страховой части. Последняя вполне оправдывает свое название для каждого рантье лишь в том случае, когда у него большая клиентура и когда банкротство одних клиентов возмещается высокими процентами, которые уплачивают другие. Но с точки зрения всего подкласса рантье, добавочная часть процента всегда является страховой.

Высота процента меняется в зависимости от срока ссуды. Абсолютность кредитного акта подразумевает два обстоятельства: 1) абсолютное доверие кредитора к должнику, 2) абсолютную ненужность

[1]) Из процентов он ничего не может уступить, так как возможно, что они уже сполна им уплачены кому следует.

капитала самому кредитору. Абсолютный % поэтому есть % рентный (биржевой). При краткосрочных операциях при прочих равных условиях процентная ставка должна быть несколько меньше. Из абсолютного процента делается как бы вычет за краткосрочность.

Более подробно о норме % мы будем говорить в последующем, в особой главе.

Заменяя для кредитора прибыль процентом, дебитор этим самым увеличивает норму прибыли для своего капитала. Кроме непосредственной способности присваивать прибыль, капитал в руках предпринимателя приобретает способность привлекать ссудный капитал, доставляющий чисто предпринимательскую прибыль. К собственному капиталу предпринимателя присоединяется капитал привлеченный.

Эта способность активного капитала очень важна ввиду тенденции нормы прибыли к падению. Одна часть капитала [1]) всего класса капиталистов добровольно переходит на вегетарианский стол, чтобы обеспечить другой активной части обильное питание.

Притягательная сила всякого магнита имеет определенные границы. Магнитом в дюйм величиной нельзя притянуть 10-ти пудовой болванки. Между величиной собственного капитала предпринимателя и капитала привлеченного несомненно существует известная зависимость. При прочих равных условиях больший капитал привлекает больше капитала.

Уставы банков прямо нормируют соотношение привлеченного капитала к собственному. Однако необходимость привлекающего капитала отпадает совершенно тогда, когда самое предприятие является креатурой кредита, т.-е. при акционировании.

Капитал интересуется количеством своей пищи, но не ее происхождением. Поэтому капитал переходит на квартиру и стол не только к присваивателям прибыли, но ко всякому получателю не трудового дохода. Капитал не брезгует процентами, которые являются не частью прибыли, а частью ренты или налогов. Кредит, это—зеркало, готовое отразить всякие перспективные стоимости в виде стоимостей наличных.

Однако между теми случаями, когда дебитором выступает получатель прибыли и когда таковым выступает получатель другого нетрудового дохода, существует глубокая разница.

Уже в первом случае возможно маскирование исчезновения капитала, путем исправной выплаты процентов и погашения одного обязательства деньгами, полученными по другому обязательству, и т. д. Но такое маскирование не может иметь длительного характера. Капитал уничтожается выплатой процентов за счет его.

Другое дело, если источником процента должен служить какой-либо другой доход, кроме прибыли. Тут исчезновение капитала само по себе еще не означает исчезновения источника дохода, за счет которого уплачиваются проценты. Капитал может исчезнуть, а проценты все же будут исправно уплачиваться за счет ренты или налогов.

Отсюда особенность государственного кредита, как кредита, при котором ссуженный капитал, как правило, осужден на смерть, после которой для него начинается новая уже чисто иллюзорная жизнь в виде фиктивного капитала.

---

[1]) Но не капиталистов. Ибо для капиталиста, как личности, низкая норма может компенсироваться большими размерами капитала. Концентрация собственности вполне обеспечивает эту компенсацию.



Поскольку расщепляется класс капиталистов, постольку расщепляется и прибыль на процент и предпринимательский доход. Поэтому в общественном масштабе можно говорить о дележе прибыли между процентом и предпринимательским доходом.

Другое дело, когда мы подходим к вопросу с точки зрения каждой пары капиталистов (собственник и активизатор), договаривающихся о кредите. Тут уже перед нами не дележ. Дележ в какой бы то ни было пропорции всегда предполагает получение каждой стороной большей или меньшей положительной части делимого. В данном случае этого нет. Если в общественном масштабе процент не может проглотить всей прибыли, вследствие чего можно действительно говорить о дележе прибыли между подклассом собственников и подклассом предпринимателей, то в масштабе нашей пары мы имеем дело не с дележом, а с вычитанием. Деление положительного числа на положительное всегда дает число положительное. Вычитание положительного числа из положительного может дать и отрицательное. У отдельного капиталиста процент может поглотить не только всю прибыль, но и собственный капитал. Недаром Лютер в своей проповеди против ростовщичества так горячо рекомендует дележ прибыли между должником и кредитором в фиксированной пропорции вместо взимания фиксированного процента с капитала.

Вот почему отношения между должником и кредитором, рассматриваемые, как таковые, принимают характер своеобразной купли и продажи. Товаром являются „деньги“, но не в простом, а в специфическом смысле.

„Благодаря этому своему свойству возможного капитала, средства для производства прибыли, деньги становятся товаром, но товаром sui generis. Или, что сводится к тому же, капитал, как таковой, становится товаром“ („Капитал“, т. III, кн. I, изд. 1922 г., стр. 323).

Самые деньги не продаются, так как через известный срок они должны быть возвращены. Продается пользование деньгами, продаются „плоды“, которые деньги в „нормальных“ капиталистических условиях способны приобресть. Принесут ли они в самом деле плоды или, наоборот, толкотня в сфере производства или обращения их так помнет, что еще понадобятся изыскания сумм со стороны для их пополнения,—кредитору формально нет дела. Он продал известный товар. До того, что покупатель не сумел или, что ему не посчастливилось использовать потребительную стоимость этого товара, продавцу так же мало дела, как мало дела хозяину ресторана до того, что посетитель не умеет есть затребованных им устриц. „Ценой нашего своеобразного товара является процент. Процент, рассматриваемый с точки зрения отношений покупателя и продавца, есть цена «денег»“. Как цена всякого товара, процент поэтому должен, как правило, уплачиваться до потребления, или, проще, вычитывается из ссужаемой суммы.

### Фиктивная стоимость и фиктивный капитал.

Совершив акт кредитования, расставшись с наличной стоимостью, кредитор остается при перспективе на деньги, которую мы для простоты будем называть перспективными деньгами. Юридической формой последних является обязательство. Перспективные деньги обладают передаваемостью. Передача перспективных денег принимает юридическую форму цессии, уступки обязательства. Передаваемость перспективных денег технически облегчается, когда они воплощаются в форму документа. Второй шаг в сторону технического облегчения

передаваемости перспективных денег—возникновение векселя—этого, если можно так выразиться, обязательственного документа на роликах. Тут передаваемость переходит в циркуляторность.

Деньги в перспективе, перспективные деньги являются одним из видов фиктивной стоимости, а именно фиктивными деньгами.

С фиктивной стоимостью мы встречаемся всякий раз, когда товарную передаваемость приобретает предмет, который сам по себе лишен трудовой стоимости, но за то является ключом, обладание которым обеспечивает получение стоимости. В таких случаях цена тех стоимостей, которые стоят за ключом, превращается в цену самого ключа. Такой фиктивной стоимостью будет, например, складочное свидетельство на товар.

Частным случаем фиктивной стоимости являются фиктивные деньги. Фиктивная стоимость является фиктивными деньгами тогда, когда реальная стоимость, стоящая за нею, имеет денежную форму.

Фиктивные деньги могут иметь циркуляторную способность, которая есть отражение такой же способности реальных денег.

Как только устраняются технические препятствия, мешающие фиктивным деньгам переходить из рук в руки, они становятся средством обращения.

Если отбросить всякие логически возможные, но фактически редко встречающиеся казусы, фиктивные деньги, являющиеся ключом к реальным деньгам, всегда, за указанным далее исключением, кредитного происхождения. Их прототип—вексель (исключение составляют казначейские бумажные деньги. Они тоже обладают фиктивной стоимостью, но последняя не перспективного, а ретроспективного характера. Бумажные деньги отражают стоимость не реальных денег, которые можно взамен их получить, а тех, которые вытеснены ими из обращения. Определенная часть имеющихся в обращении реальных денег никогда из обращения не выходит, следовательно никогда не может реализовать свою потребительную стоимость [1]), подобно обреченным на стояние в витрине бутылкам вина. Функционирует в обращении только стоимость реальных денег. Поскольку величина стоимости воспринимается механизмом рынка в виде степени трудности получения того или иного нужного обществу объекта,—искусственно созданная трудность получения (ограничение эмиссии) дает бумажным деньгам возможность заменить в обращении реальные деньги, подобно тому, как вино в витрине может быть заменено и заменяется подкрашенной водой, а сыры и ветчина—деревянными моделями).

В капиталистическом обществе мы, кроме фиктивной стоимости и фиктивных денег, встречаемся с фиктивным капиталом. Последний есть нетрудовой доход в перспективе, проекция дохода, иначе говоря, фиктивный капитал есть цена нетрудового дохода, поскольку последний становится предметом купли-продажи. Все виды нетрудового дохода могут капитализироваться, т.-е. дать в проекции фиктивный капитал. Капитализированная рента называется ценою земли, капитализированная акционерная прибыль принимает форму цены акций [2]). Но наиболее типичной формой фиктивного капитала является капитализированный процент на капитал.

[1]) Мы говорим о товарной потребительной стоимости. Деньги, как таковые, обладают специфической общественной потребительной стоимостью, так сказать, потребительной стоимостью второй степени.

[2]) В неакционерных предприятиях фиктивный капитал, обычно, образуется сверхприбылью. Тут фиктивный капитал принимает вид цены „фирмы", патентов, секретов и т. д.



Вследствие того: 1) что процент, как нетрудовой доход, обусловливается обладанием действительным капиталом, и 2) что понятие „нормальный %" более реально, чем понятие „нормальная прибыль" или „нормальная рента" [1]).

Капитализированный процент „стихийно выдвинут" из среды всех форм фиктивного капитала, как мера последнего.

Всякий источник дохода капитализируется путем деления годовой квоты на норму % [2]).

Процесс превращения в фиктивный капитал проделывают по одному и тому же способу и рента, и %. Но все же между обоими случаями имеется существенное различие. Фиктивная стоимость дохода с капитала может быть меньше, равна и больше самого капитала. Отсюда возможность особой дифференции, разности между фиктивным капиталом и действительным. В учредительной прибыли дифференция превращается в особую экономическую категорию.

По отношению же к ренте ни о какой дифференции речи быть не может.

Разница между фиктивной стоимостью и деньгами, с одной стороны, и фиктивным капиталом—с другой, такова. Ценность фиктивной стоимости или денег есть учтенное [3]) отражение тех стоимостей, которые можно получить взамен их. Ценность фиктивных капиталов есть учтенное отражение тех стоимостей, которые можно получить по ним, не расставаясь с ними.

Возьмем источник ежегодного дохода в $a$ руб. Будь это участок земли или облигация—дело от этого не меняется. Механизм превращения дохода в фиктивный капитал таков. Через год я получу $a$ руб.; $a$ рублей, имеющих быть полученными через год, при норме дисконта в $r$, стоят теперь $\frac{a}{1+r}$, а сроком на 2 года стоят теперь $\frac{a}{(1+r)^2}$, а сроком на 3 года стоят теперь $\frac{a}{(1+r)^3}$ и т. д. Получается бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, знаменатель которой равен $\frac{1}{1+r}$; сумма такой прогрессии равна первому числу, деленному на единицу минус знаменатель, в данном случае $\frac{a}{r}$.

Поскольку и действительная стоимость в свою очередь есть только отражение, а именно отражение общественных отношений членов менового общества, постольку фиктивная стоимость (и деньги и капитал) является уже отражением отражения, фикцией, так сказать, второй степени.

Марксова теория фиктивного капитала кладет конец всей путанице, существующей в буржуазной экономической литературе по вопросу об отношении между капиталом в смысле частно-хозяйственном и народно-хозяйственном. Поскольку капиталом наравне с зданиями, машинами и сырьем считаются и акции, облигации, векселя и т. д.,—не может быть речи о равенстве между суммой частно-хозяйственных капиталов и суммой общественного капитала. Этим самым затемняется субстанциональная идентичность частно-хозяй-

[1]) „Die allgemeine Profitrate ungleich weniger als ein handgreifliches festes Factum erscheint, wie die Zinsrate oder der Zinsfuss" (K. Marx, Theorien, III B., S. 534).

[2]) Капитализацию можно рассматривать, как учет всех квот дохода на бесконечное число периодов.

[3]) Т.-е. с вычетом процентов, если стоимость не может быть получена сейчас.

ственного и народно-хозяйственного капитала. Только отбросив от суммы частно-хозяйственных капиталов капиталы фиктивные, мы получим указанное выше равенство.

Теория учредительской прибыли, дающая ключ к пониманию финансового капитала, базируется всецело на теории фиктивного капитала.

### Кредит, как замена стоимости фиктивною стоимостью.

В результате кредитного акта возникает обязательство. Последнее представляет собою стоимость в перспективе и передаваемо. Следовательно, оно обладает всеми признаками фиктивной стоимости. Поэтому кредитование можно рассматривать, как замену стоимости фиктивной стоимостью. Отверстие, зияющее в хозяйстве кредитора, затыкается фиктивной стоимостью.

Наиболее типичная форма фиктивной стоимости, затыкающей отверстие, образованное уходом товара—вексель.

„При продаже отдается товар, а не его стоимость, которая возвращается в форме денег или в форме векселя, долговой расписки, обязательства уплатить, что является здесь лишь иной формой денег. При купле отдаются деньги, а не их стоимость, которая возмещается в форме товара. В продолжение всего процесса производства промышленный капиталист сохраняет в своих руках одну и ту же стоимость (оставляя в стороне прибавочную стоимость) только в различных формах“ („Капитал“, т. III, кн. I, стр. 330).

О циркуляторных свойствах векселя мы говорили выше. Так как всякий переход товара из рук в руки может породить вексель и так как товар может переходить из рук в руки неограниченное число раз, то одна и та же единица товара может создать неограниченное число векселей. Более того, товар может описать круг и вернуться к своему первоначальному владельцу, созданные же этим движением векселя продолжают существовать до срока платежа.

Логическая возможность порождения бесконечно большого количества векселей одной и той же товарной единицей в действительности находит свое ограничение в факторах, о которых мы будем говорить ниже (см. учет векселей).

## V.

## Банки.

### Мобилизационная деятельность банков.

Банк, прежде всего, есть мобилизатор ссудных капиталов. Это резервуар, куда, с одной стороны, стекаются как резервные (временно праздные), так и рентные капиталы, и куда, с другой стороны, обращаются все нуждающиеся в ссудном кредите.

В дополнение к этому банки, по выражению Маклеода, являются фабриками кредита (банкнотная эмиссия, акцептный кредит и т. д.). Однако фабрикация кредита является надстройкой по отношению к основной деятельности банков—мобилизации ссудных капиталов. Мы поэтому подвергаем в первую очередь анализу базис—мобилизационную деятельность банков (Nahn) считает базис надстройкой и надстройку базисом. Разбор его теории мы дадим позже).



### Вклады.

Банк пользуется капитальным кредитом в виде вкладов (или, что то же самое, взносов на текущий счет). Последний вид вкладов отличается только тем: 1) что типичным материалом для него служит временно праздный капитал; 2) что, возлагая на банк ведение кассы клиента, эта операция дает банку повод уменьшить процентную ставку, т.-е. вычитывать в свою пользу денежно-торговую прибыль.

Хранитель сокровищ, это—человек который для сохранения своего выгодного положения обладателя стоимости в денежной форме, вырывает из обращения известную сумму наличных денег, тезаврирует их. Хозяйственный организм менового общества приспосабливается к этим утечкам циркуляционных средств двояко: 1) безденежным переходом товаров из рук в руки (коммерческий кредитор), т.-е. превращением денег из средства обращения в средство платежа с возможностью взаимного погашения платежей; 2) ссудным кредитом. Тут сокровище для своего обладания из материального превращается в перспективное. В руках обладателя сокровища остается только фиктивная оболочка последнего в виде депозитного свидетельства или другого кредитного документа, обладающего большей или меньшей степенью передаваемости. Действительное тело денег ускользнуло из его рук и снова кинулось в оборот непосредственно или пройдя через банковый резервуар. В первом случае (непосредственного перехода денег в оборот) обладатель сокровища превращается в ростовщика, во втором случае—во вкладчика. Развитие банковой системы есть расщепление ростовщичества (всей совокупности ростовщиков) на вкладчиков и банкиров (физических или юридических). Такое „разделение труда“ дает возможность приобщиться к ростовщичеству всяким случайным элементам, до рабочих включительно. Вклады рабочих тоже процентируются, угощая глотком прибавочной стоимости тех самых людей, из которых она выжимается.

### Вкладообразовательная способность единицы денег.

„Одна и та же сумма может служить в качестве орудия для произвольного числа вкладов“ („Капитал“, т. III, кн. II, 1923 г., стр. 11).

„Одна и та же сумма денежного капитала может быть отдана взаймы посредством самого различного количества средств обращения“ („Капитал“, т. III, кн. I, 1922 г., стр. 407).

Чтобы данный свободный ссудный капитал мог вторично быть в той же роли, необходим по меньшей мере один покупательный или платежный акт [1]). *A* получил ссуду в 1000 рублей и купил на них товар у *B*. *B* отдает деньги в ссуду *C*; *C* платит по векселю *Д*. *Д* дает ссуду *E*. и т. д. Когда кредитование происходит через посредство банков, одна и та же 1000 рублей может создать вкладов на *n* тысяч и задолженность одного и того же лица на такую же сумму.

Наличие в стране к определенному моменту больших капиталов в денежной форме, принадлежащих рантье, не может еще само по себе быть причиной цветущего состояния вкладной операции в стране. Ибо это обстоятельство может только дать один пласт вкладов, мощность которого должна быть гораздо меньше суммы денег,

[1]) Отвлекаясь от тех случаев, когда получатель ссуды временно депонирует часть ее. Необходимость таких случаев упраздняется, когда ссуда заменяется открытием специального текущего счета.

имеющихся в стране. Другое дело, если мы примем во внимание быстроту повторного возвращения одной и той же суммы в виде вклада в банк.

Мы здесь имеем дело с последовательно откладывающимися пластами. Общая сумма вкладов будет тем выше, чем чаще денежная единица проделывает путь: вкладчик—банк, или банк—клиент—вкладчик—банк и, чем реже проделывает путь: банк—вкладчик.

Коэффициент вкладообразовательной способности каждой денежной единицы в стране будет равен $\frac{a-b}{s}$, где $a$ = числу единиц, совершивших первый путь, $b$ = числу единиц, совершивших второй путь, а $s$ = числу денежных единиц, имеющихся в стране.

Мы видим, что одна и та же тысяча рублей и один и тот же вкладчик могут создать сумму вкладов в $n$ тысяч. Для того, чтобы одна и та же тысяча могла совершить кругооборот вкладчик—банк—клиент—(продавец, должник) вкладчик—банк, на-лицо должен быть какой-нибудь действительный или мнимый товар или же обязательство, для покупки или погашения которых клиент употребляет полученную из банка 1000 рублей.

Может ли один и тот же товар ценою в тысячу при одной и той же тысяче денег своим движением выделить вклады в несколько тысяч?

Ответить приходится отрицательно. С первого взгляда, правда, создается иллюзия, что повторное выделение вклада одним и тем же товаром возможно. Представьте себе цепь какой-угодно длины из людей, выступающих то покупателями, то продавцами. Пусть по этой цепи движется один и тот же товар, ценою в тысячу рублей. Допустим, что в этой цепи $n$ человек. Для простоты допустим, что товар переходит из рук в руки без прибыли. Если они не будут обращаться к помощи кредита, каждый из них, кроме 1-го, должен иметь 1.000 рублей, которую он уплачивает своему Vormann'у и которую он потом получает у своего Nachmann'а. Допустим теперь, что у 3, 5, 7 и следующих нечетных членов денег не было. Первый член цепи, продав товар, внес свою 1.000 рублей в банк вкладом, 3-ий член, клиент банка, получил эту тысячу в виде ссуды и отдал ее 2-ому в уплату за товар. 2-ой внес ее вкладом в банк, который ссудил ее 5-ому, и т. д. Получается впечатление, что одна и та же тысяча при одном и том же товаре, двигаясь по цепи из $n$ членов, может выделить $\frac{n-1}{2}$ вклада (из $n$ мы вычитаем единицу, поскольку первому звену денег не нужно; $n-1$ мы делим на два потому, что из каждых двух членов цепи покупателей и продавцов вкладчиком при одной и той же тысяче может выступить только один).

На самом деле это не так. Вкладчиками в нашем примере выступили 2-ой, 4-ый и следующие четные звенья цепи, но они в сущности депонировали свои собственные деньги, которые у них были и до того, как до них дошел товар.

В способности одной денежной единицы наплодить неограниченное количество вкладов сказывается вся противоречивость кредита [1]). Требования, оставленные в наследство ссудными капиталами различных периодов высвобождения, могут быть предъявлены к оплате

[1]) „В том факте, что даже накопление долгов может являться как бы накоплением капитала, со всей полнотой обнаруживается то извращение реальных отношений, которое совершается в системе кредита“ („Капитал“, т. III, кн. II, 1922 г., стр. 15).



все вместе. В создании всей суммы вкладов участвуют не просто деньги, а деньги, взятые в своей способности быстро шнырять с пункта на пункт, всякий раз передвигая товары или ликвидируя обязательства на всю свою величину.

Актуальная сила денег = $ab$, где $a$—количество денег и $b$—быстрота обращения. Для ликвидации всей суммы вкладов в лучшем случае обеспечено $a$, но отнюдь не $b$. Денежная иголка, протащившая кредитную нитку через ряд стежков, вовсе не обязана терпеливо проделать обратный путь. Это сказывается не только в период кризисов, но и в так называемые тяжелые сроки, когда $a$ должно быть увеличено, потому что $b$ необходимо уменьшается вследствие тесноты срока.

„В каждой стране устанавливаются определенные всеобщие платежные сроки... Для всех периодических платежей, каков бы ни был их источник, необходимая масса платежных средств обратно-пропорциональна продолжительности платежных периодов“ („Капитал“, т. I, стр. 80—81).

Оставив даже в стороне фиктивные вклады, мы можем сказать, что сумма вкладов того или иного банка, или же сумма вкладов всех банков, взятых вместе, есть как бы проекция на одной плоскости линий, находящихся на различных плоскостях. При кризисах или при тяжелых сроках к этой проекции предъявляется требование, как к реальности. Обладатель сокровища, выпустивший последнее из рук в виде вклада, как бы полагает, что деньги все время будут по существу оставаться его деньгами, совершенно так же, как соломорезка, например, пущенная крестьянином гулять по соседям, все время остается его соломорезкой, которую он и только он может всякое время истребовать на правах собственности. Деньги тоже могли бы все время оставаться собственностью одного хозяина, переходя из рук в руки, если бы они переходили, как предметы частного пользования, как мониста, например, или как игрушки. Обезличенность, фунгибельность денег этому не мешала бы. Если бы хозяин денег не был уверен в получении именно тех экземпляров, которые он выпустил из рук, он был бы уверен в получении других равноценных экземпляров. Полная потеря выпущенных из рук денег могла бы быть следствием либо чьей-либо недобросовестности, либо несчастного случая.

Но деньги переходят из рук в руки, как общественное орудие, обладающее специфической общественной потребительной стоимостью. Если только деньги не положены в сейф, если они кредитованы, то-есть если они пущены на общественную работу, они, переходя из рук в руки, могут приобрести себе сколько угодно хозяев, вкладчиков, из которых каждый будет себя считать их единственным хозяином. Если все они предъявляют свои суверенные права одновременно, разочарование так же неизбежно, как оно неизбежно при встрече в одном алькове 10 любовников, из которых каждый считал себя единственным. Секрет в том, что отдать деньги, хотя бы путем кредитования, значит сделать хозяйственно шаг назад. Мы видим выше, что превращение денег из средства обращения в средство платежа расщепляет метаморфоз Т—Д на две части: Т—О (обязательство) и О—Д. Таким образом обладатели стоимости бывают трех родов: обладатели стоимости в виде Т, в виде О и в виде Д. Т,О,Д (нереализованная стоимость, полуреализованная и реализованная)—это ступени все суживающейся лестницы. Особенно узка верхняя ступенька, ступенька денег, масса которых всегда во много раз меньше массы товаров, которые поэтому должны становиться перед денежной ступенькой в очередь. На ступеньке О та же длинная очередь,

только тут в очереди стоят уже не товары, у них не хватало терпения, и они бросились в обращение, минуя денежную ступень и оставив вместо себя в очереди обязательства.

Вкладчик может воображать, что и после внесения вклада он остается на той же денежной ступеньке, на которой он был, но в самом деле это не так. Он опустился ступенькой ниже. Из обладателя денег он добровольно превратился в обладателя обязательства.

Что такое свободный ссудный капитал с точки зрения чисто мобилизационной деятельности банков?

С этой точки зрения понятие свободного ссудного капитала для всякой данной точки времени отличается большою ясностью. Это совокупность потенциальных капиталов, все равно резервных или рентных, ждущих превращения в действительный капитал. Если мы оставим в стороне внебанковый кредит, то с точки зрения всех банков, взятых вместе, свободный, ссудный капитал во всякий данный момент будет представлять кассовая наличность минус минимум, необходимый для текущих платежей вкладчикам не банкирам [1]).

Само собой разумеется, что сумма этих денег для всякого данного момента есть только часть денег, имеющихся в распоряжении общества.

Гораздо более сложно понятие свободного ссудного капитала, если вопрос взять по отношению не к точке времени—моменту, а к определенному промежутку времени.

Но, все же, покамест мы имеем в виду лишь чисто мобилизационную деятельность банков, число факторов, с которыми приходится считаться, при рассмотрении этого вопроса, ограничено. Ибо тут еще отсутствует массовое порождение средств обращения и платежа нуждою в них. Если мы оставляем в стороне банкнотную эмиссию и всякие другие виды средств обращения и платежа, составляющие эманацию товарного обращения, если к тому же оставить в стороне и бумажные деньги, поглощаемость которых увеличивается и уменьшается с расширением и с сужением товарной массы, если для простоты допустить, что всякое сокровище немедленно после своего выделения превращается во вклад и если, наконец, говорить о всех банках, как о едином банке, то факторами увеличения количества свободных ссудных капиталов будут: 1) выделение новых рентных капиталов, 2) выделение новых резервных капиталов, 3) уменьшение задолженности клиентуры, т.-е. поступление платежей, которые не дублируются тут же новыми активными операциями, 4) уменьшение необходимого минимума кассового остатка.

Все эти факторы, за исключением 4-го, содержат в себе не только элемент субстанциональный, но и функциональный. Каждый из этих факторов есть в свою очередь функция не только величины той денежной массы, которая фактически движется по кругу вкладчик—банк—клиент—вкладчик—банк, но и быстроты этого движения.

Но тут быстроту следует понимать не только в смысле краткосрочности ссуд, благодаря которой ссуженные деньги быстро возвращаются в банк. Эта краткосрочность, взятая сама по себе, содействует только изменчивости состава клиентуры, но не дает еще возможности возрастания общей ее задолженности. Эта быстрота должна еще дополняться быстротой возврата денег в банк другим путем, путем вкладов. Действительное расширение возможности кредитования дает быстрый возврат денег, выданных отделом ссуд в отдел вкладов и текущих счетов. Если деньги быстро и исправно продолжают этот путь, то банк, оперируя тысячей, может получить вкладов и выдать ссуд на много тысяч. Таким образом, если возрастание количества свободных ссудных капиталов есть показатель отношения между предложением ссудных капиталов и спросом на них, то самое предложение есть функция как величины денежной массы, которой оперирует банк, так и быстроты, с которой эта масса тезаврируется и депонируется, чтобы затем опять броситься в кругооборот.

[1]) Правда, каждый банк в отдельности рассматривает, как свободный—ссудный капитал, еще свои текущие счета в других банках, но этот дополнительный источник отпадает, поскольку речь идет о всех банках, взятых вместе.



Вопроса о хозяйственных факторах, стоящих позади как этой быстроты тезаврирования, так и изменения спроса на ссудный капитал, мы покамест не затрагиваем. Отметим лишь то, что деятельность банка противопоставляет коллективного кредитора, т.-е. совокупность всех вкладчиков, плюс сам банк, коллективному же дебитору, то-есть совокупность всех клиентов. Если мы оставим в стороне без'эквивалентное получение денег [1]) и потребительский кредит, то коллективный кредитор—это бывший владелец товаров, эквивалент которых ему не был нужен, а коллективный дебитор—это настоящий владелец товаров, полученных без эквивалента [2]). Но кредитор депонировал не товар; последний он продал, то-есть облек его стоимость в денежную форму, и депонировал деньги, т.-е. выменял деньги на обязательство вместо того, чтобы тезаврировать их и таким образом оторвать их от их общественной функции. Мы выяснили выше, что один и тот же товар может послужить основой для возникновения вклада только один раз. Но это не значит еще, что вклад порождается товаром, как таковым. Вклад может быть не просто товаром, а товаром, стоимость которого проникла через денежную форму. Обилие вкладов есть следствие не только обилия товаров, но и легкости реализации. Таким образом даже в пределах чисто металлического обращения и чисто мобилизационной деятельности банков высокая конъюнктура, создающая недостаток свободных ссудных капиталов (повышение спроса на капитал, переход колеблющихся капиталов от праздности к деятельности), дает известное противодие в виде облегчения реализации, являющейся необходимой предпосылкой депонирования.

## Активные операции банков.

Пользуясь капитальным кредитом, банки оказывают, как правило (если не считать межбанковых отношений), денежный кредит. Как правило, активные операции обеспечиваются либо учитываемыми обязательствами, либо ломбардированием фиктивных или реальных ценностей. Активные операции банка, как правило, являются условной реализацией стоимости. Условная реализация бывает двоякая: антиципационная, предвосхищающая настоящую реализацию, и временная. Антиципационная реализация имеет место, когда объект, служащий обеспечением, предназначен для реализации (подтоварный, подвексельный кредит). Временная реализация имеет месте в обратном случае (кредит под фонды и ценности, не назначенные для продажи) [3]).

[1]) Грабеж, получение ренты, взяток, налогов, наследства и т. д.

[2]) И помимо коммерческого кредита.

[3]) Наличие обеспечения не уничтожает элемента риска и страхования. Векселя могут быть протестованы, фонды и реальные ценности—понизиться в цене, особенно в момент массового их давления на рынок.

## Учет векселей.

Из активных операций банков большой теоретический интерес представляет учет векселей (торговых). Это—смычка коммерческого кредита с ссудным.

Капиталист, оказавший другому капиталисту кредит и получивший вексель, переваливает этот кредит на плечи банка, учтя вексель. Но банк, как таковой, может оказать только ссудный кредит. Следовательно, учет векселей есть претворение кредита коммерческого в ссудный денежный кредит. Вексель превращается в учетный материал. Продавец действительно кредитует покупателя лишь тогда, когда сумма оказанного им кредита превышает сумму учетного кредита, которым он, продавец, пользуется в банке и когда, благодаря этому, вексель остается в портфеле продавца, не превращаясь в учетный материал. Поскольку учетный кредит у продавца не заполнен, для него продать на вексель, значит продать за наличные деньги за вычетом дисконта. Таким образом учет векселей сокращает время оборота капитала, увеличивая норму прибыли продавца, между тем как для покупателя все равно платить ли по векселю продавцу или банку.

В общем и целом учет векселей унифицирует кредит, превращая его в ссудный par excelence.

Случай „кооперации" банка и векселеполучателя представляет собой подвексельная ссуда или подвексельный on call, когда векселеполучатель перелагает на банк не весь оказанный им векселедателю кредит, а только часть его.

Впрочем, подвексельный кредит формально относится уже не к учету векселей, а к ломбардному кредиту.

Учет векселей, будучи по существу, как мы уже говорили, претворением коммерческого кредита в ссудный денежный, является по форме актом купли-продажи.

Платеж, на который рассчитывает учет векселя (платеж по векселю), должен состояться не в силу учетной операции, а в силу сделки, имевшей место ранее. Векселедатель должен платить по векселю независимо от того, учтен ли вексель или нет. Векселедатель продает свое право на этот платеж банку. Вексель по форме выступает таким же товаром, конечно, фиктивным, каким на фондовой бирже является облигация. Но только по форме. Индоссамент не есть только цессия, он может быть обращен острием против продавца. Между тем, как облигация просто передается из рук в руки. Если же она именная, то передаточная подпись на ней имеет только характер цессии. При учете векселей в первую очередь рассматривается кредитоспособность векселепредъявителя, а затем уже векселедателя. При покупке облигаций—только кредитоспособность должника. „Продажа" векселей ограничена размерами учетного кредита векселепредъявителя. Продажа облигаций ничем не ограничена.

Правда, возможна точка зрения на учет векселей, как на акт купли-продажи и по существу. Индоссамент можно рассматривать просто как гарантию известного качества продаваемого товара. Такая гарантия потребительной стоимости товара имеет иногда место и при продаже других товаров. Вы можете купить в магазине резиновую шину, с условием возврата денег, если она будет пропускать воздух. В данном случае покупатель обеспечивает себе известную потребительную стоимость товара, цену которого он уплачивает. Совершенно так же индоссамент гарантирует (постольку-поскольку) банк от неполучения платежа, от банкротства векселедателя.



Но в наше время, когда учет векселей является главной формой кредитования коммерческими банками промышленности и торговли, рассматривание учета векселей вне рамок кредита должно считаться во всяком случае устаревшим и потерявшим свою актуальность.

Выше мы видели, что один и тот же товар может породить неограниченное число векселей. Поэтому неверно представление, будто каждому „доброкачественному" векселю обязательно соответствовала определенная товарная стоимость и что каждый такой вексель имеет как бы 100% товарное покрытие. „Доброкачественность" векселя гарантирует лишь то: 1) что % „товарного покрытия" близок к среднему проценту покрытия векселей. Этот процент получится от деления стоимости подвексельной товарной массы на сумму векселей, порожденных этой массой. Единица товара, ставшая предметом спекуляции, может наплодить очень много векселей, каждый из последних тогда имеет процент „товарного покрытия" ниже среднего, 2) что платеж, имеющий получиться в конце того канала, который как бы создан движением товара из рук в руки, действительно поднимется вверх по каналу, погашая попутно все созданные на протяжении этого канала векселя.

## Ломбардные операции.

В отличие от учета векселей ломбардная операция является кредитной, не только по существу, но и по форме. Платеж, на который она рассчитывает, возникает вследствие этой самой операции. За исключением того случая, когда ломбардируется обязательство, платеж обеспечивается возможностью реализации переходящих фактически или юридически в распоряжение банка действительного или мнимого товара. При этом товар, как мы уже указали выше, может быть нужен закладчику, как стоимость и потому действительно предназначен для реализации (подтоварный кредит), или же закладчику он нужен, как потребительная стоимость (бриллианты, ценные бумаги, потребительская стоимость которых заключается в доходности).

Из двух видов обеспечения ссуды—путем учета или залога векселей и путем залога товара—вексельное обеспечение, как правило, более верно, чем товарное. Причина та, что вексельный кредит предвосхищает деньги, как платежное средство, между тем как подтоварный кредит предвосхищает их, как средство обращения. В основе обеспечения векселя лежит товар, наполовину уже реализованный. В подтоварном кредите обеспечением служит товар, у которого реализация еще вся впереди. Более того, подтоварный кредит может даже ухудшить шансы на реализацию. И не только потому, что товар заарестовывается (банковская техника обходит это затруднение), но и потому, что, давая закладывателю товара передышку, под товарный кредит, так сказать, ослабляет перистальтику товарного обращения, ослабляет импульс к продаже. Вследствие этого подтоварный кредит является ценоповышающим фактором.

## Банковая прибыль мобилизационная.

Прибыль банка, активы которого непосредственно основаны на пассивах, составляется из следующих частей:

1. Прибыль денежно-торговая. Она выступает в виде комиссионного вознаграждения отчасти по чистокомиссионным операциям (инкассо, переводам) и в виде вычета из % по текущим счетам.

2. %% на собственный капитал банка.

3. Разница между активным и пассивным % по капиталам привлеченным.

4. Минус торговые расходы банка.

5. Минус %% по средней высоте кассы.

Сумма указанных слагаемых дает для формулы прибыли делимое. Делителем же является собственный капитал банка.

По отношению к высоте прибыли банк нельзя сравнить с другим предприятием, работающим на капитал собственный и привлеченный. В то время, когда последнее уже на собственный капитал получает прибыль, банк на собственный капитал, поскольку он не является денежно-торговым капиталом, получает только %. Если, оставив в стороне для простоты пункты 1, 4, 5 (допустим, что они взаимно покрываются), мы обозначим через $p'$ среднюю норму прибыли, через $Z_a$—норму процента по активным операциям, через $Z_p$—по пассивным операциям, то для того, чтобы дать банку прибыль по средней норме на его собственный капитал, сумма привлеченных капиталов при собственном капитале банка, равном 1, должна равняться $\frac{p'-Z_a}{Z_a-Z_p}$.

Пример:

Собственный капитал банка равен 1 миллиону, $p'=10$, $Z_a=5$, $Z_p=4$.

Вместо средней прибыли в 100.000 банк непосредственно получает на собственный капитал только 50.000. Недостающие 50.000 он должен покрыть разницей между $Z_a$ и $Z_p$—по привлеченным капиталом, в данном случае одним процентом. Ясно, что он должен для этой цели привлечь 5 миллионов. И только 6-й миллион уже начинает давать банку сверхприбыль за счет менее счастливых соперников, не могущих привлечь так много чужих капиталов, или за счет других отраслей применения капитала, норма прибыли которых в своем стремлении к средней находится в данное время ниже средней.

*Ф. Михалевский.*

# Остатки капиталистических отношений при пролетарской диктатуре на Западе [1]).

Советская Россия, в первые годы все с большей последовательностью становившаяся на путь национализации всех частей народного хозяйства и коммунистической организации распределения, на 4-м году своего существования произвела крутой поворот хозяйственной политики. Трудная и тернистая, но, как казалось, прямая дорога коммунистического строительства вдруг изогнулась, стала спирально огибать гору, давая иллюзию движения назад. Начался „всерьез и надолго“ период нэп'а, возвращения к товарному хозяйству, развития

1) Статья т. М. Рубинштейна была сдана в печать до V конгресса Коминтерна, почему в ней не мог быть использован материал программной комиссии К. И. и доклад на конгрессе т. Бухарина. Ред.



торговли и частнохозяйственных отношений под контролем рабоче-крестьянского государства, сохранившего в своих руках лишь основные „командные высоты“ промышленности.

Этот поворот хозяйственной политики был в 1921 г. совершенно неизбежен. Уже краткий 3-х летний период нэп'а показал его благотворное влияние, дав Советской России не только возможность „продержаться“ среди капиталистического окружения и установить некоторое равновесие во внешних сношениях (признания, торговые договоры и т. п.), но и дать толчок к восстановлению производительных сил и одновременному улучшению положения как рабочих масс, так и широких слоев крестьянства.

Но если переход к нэп'у был единодушно принят авангардом русского пролетариата, как неизбежный шаг, то при дальнейшем его развитии в глубине души части правящей партии и беспартийных рабочих масс все же шевелился иногда червячок сомнения. Все расширяющийся и углубляющийся охват нэп'а и особенно его бросавшиеся в глаза крайности и уродливые извращения казались угрозой основным принципам коммунизма и признаком ликвидации важнейших завоеваний революции. Еще сильнее были такие настроения за пределами Советской России. Само собой понятно, что враги Советской России, от теоретиков крупной буржуазии до реформистов всех мастей, дружным хором объявили коммунизм ликвидированным, а Россию идущей по прежнему пути капиталистического развития, к которому осталось лишь приспособить исковерканные большевиками и искусственно поддерживаемые террором и насилием политические формы. Но и у многих среди наших друзей (а таковыми были сознательно или бессознательно подавляющие массы пролетариата Зап. Европы) переход к нэп'у и его быстрое развитие вызвали некоторый осадок недоумения, разочарования и горечи. Нэп казался каким-то непредвиденным отступлением, уклоном с трудного, но прямого пути коммунистического строительства в стране, совершившей социальную революцию. Между тем, эти настроения, психологически вполне понятные, основаны лишь на ряде теоретических и практических заблуждений.

Практически необходимость нэп'а для России ясно показана опытом этих 3-х лет. Но и теоретически нэп вовсе не был непредвиденным уклоном. Нельзя забывать, что, непосредственно до Октябрьской революции и в первые месяцы после нее, партия большевиков вовсе не думала о всеобщей национализации народного хозяйства и предвидела возможность длительных переходных форм, представляющих сложную амальгаму элементов коммунистического строительства со значительными остатками капиталистических отношений. Когда Россия уже начала втягиваться в период „военного коммунизма“ (на причинах и неизбежности которого мы остановимся в другом месте), у Ленина мелькала мысль о возможности отступления. Как он говорил впоследствии на IV конгрессе Коминтерна, у него „еще в 1918 г.,

если не было плана отступления, то... все же общая неопределенная идея отступления была уже дана" [1]). Он рекомендовал задуматься над тем же иностранным партиям.

В 1921 г. необходимость для России нэп'а и его основные черты блестяще были развиты Лениным в ряде статей и выступлений. Нэп там рассматривается еще, как специфически русское явление, обусловленное подавляюще крестьянским характером страны. Но в дальнейшем у него не раз проскальзывает мысль, которую он не успел подробнее разработать, что сходные формы развития суждены и Западу, что и там „непосредственный переход к чисто-социалистическим формам и чисто-социалистическому распределению превышает наличные силы". Еще в 1919 г., отмечая, что в России диктатура пролетариата из-за крестьянского характера страны имеет некоторые особенности, он подчеркивает, что „основные силы и основные формы общественного хозяйства в России те же, как и в любой капиталистической стране, так что особенности эти, во всяком случае, не могут касаться самого главного" [2]).

Мы считаем, что этапы развития, в основном сходные с русским нэп'ом, неизбежны в первый период после социалистической революции не только для преобладающе аграрных стран, но и для промышленных областей Европы,—во всяком случае, для тех ее государств, которые первыми последуют примеру России и, пройдя через грозные потрясения революционного периода, установят диктатуру рабочего класса.

Теперь, когда „долгие муки родов" революции на Западе несколько затянулись, в этом вопросе полезно разобраться, чтобы яснее, без лишних иллюзий, представить себе ближайшие этапы предстоящего пути.

Ленин не раз говорил, что если на Западе революцию труднее начать, чем то было в России с ее слабой прогнившей буржуазией, то зато там ее неизмеримо легче будет продолжать и вести вперед коммунистическое строительство. Как писал Ленин еще в 1917 г., „государственно-монополистический капитализм есть полнейшая материальная подготовка социализма, есть преддверие его". А в послевоенный период эта подготовка идет в основных промышленных странах мира гигантскими шагами.

Но было бы глубоко ошибочно это относительное сравнение Ленина понимать схематически, на его основе недооценивать другие трудности коммунистического строительства на Западе, представлять себе его дорогу прямой и гладкой. Такое представление, основанное на недостаточном анализе современных условий, из которых рождается будущее, может привести лишь к излишнему повторению наших ошибок, к неиспользованию драгоценного опыта первой республики советов.

[1]) Ленин, т. XVIII, ч. II, 89 стр.
[2]) Ленин, т. XVI, стр. 348 (Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата).



Ленин не раз отмечал, что основная причина нэп'а—пестрый характер современного народного хозяйства, и особенно наличие в нем многочисленных раздробленных и технически отсталых крестьянских хозяйств—существует и в международном масштабе. Об установлении связи с крестьянским хозяйством он писал, что „эта задача принадлежит к числу труднейших задач социалистического строительства, которые встанут перед всеми странами" [1]). Он делал исключение лишь для Англии и то с оговоркой, что „если в ней крестьянство не играет такой важной роли, то в ней зато исключительно высок процент живущих по-мелкобуржуазному среди рабочих и служащих". И тогда же он предсказывал возможность и после победы пролетариата на Западе „свободы развития капитализма в известных пределах, под контролем и регулированием пролетарского государства".

Но, пожалуй, наиболее основательный анализ условий переходного периода в международном масштабе дан Лениным не только до нэп'а, но и до Октябрьской революции. Этот анализ (в главе XIII „Государства и революции") исходит из пророческих положений Маркса, в нескольких ярких строках характеризующего в „Критике готской программы" „первую фазу коммунистического строительства".

Маркс дает там свое классическое определение переходного периода, ставшее бельмом на глазу реформистов всех стран, всячески пытавшихся его извратить. „Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного переустройства одного в другое. Этому соответствует и в политике переходный период, во время которого не может быть иного государства, кроме революционной диктатуры пролетариата" [2]). Анализируя обстановку, в которой государству пролетарской диктатуры придется действовать, он пишет: „мы имеем здесь дело не с таким коммунистическим обществом, которое развилось на своей собственной основе, а с таким, которое только что выходит как раз из капиталистического общества и которое поэтому во всех отношениях,—в экономическом, нравственном и умственном,—носит еще отпечатки старого общества, из недр которого оно вышло" [3]). Поэтому он предвидит возможность сохранения и в первый период пролетарской диктатуры капиталистических форм заработной платы и неизбежность неравенства разных слоев населения.

„Эти недостатки",—пишет он,—неизбежны в первой фазе коммунистического общества, в том его виде, как оно выходит после долгих мук родов из капиталистического общества. Право никогда не может стоять выше экономического строения и обусловленного им культурного развития общества" [4]). Развивая положение Маркса, что

[1]) Ленин, т. XVIII, ч. 1, 314 стр. Тезисы о тактике Р.К.П.
[2]) К. Маркс, Критика готской программы, 1919, стр. 32.
[3]) Кр. готск. прогр., стр. 15. Ленин, 372.
[4]) Критика готск. прогр., стр. 18.

и в начальном периоде пролетарского государства буржуазное право остается в качестве регулятора распределения продуктов и распределения труда между членами общества, Ленин пишет: „Он (этот недостаток. *М. Р.*) неизбежен в первой фазе коммунизма, ибо, не впадая в утопизм, нельзя думать, что, свергнув капитализм, люди сразу научатся работать на общество без всяких норм права, да и экономических предпосылок такой перемены отмена капитализма не дает сразу“ [1]).

Ленин идет даже дальше. Разбирая рассмотренные Марксом остатки капитализма при первой базе коммунистического строительства, он пишет, что „буржуазное право по отношению к распределению продуктов потребления предполагает, конечно, неизбежно и буржуазное государство, ибо право есть ничто без аппарата, способного принуждать к соблюдению норм этого права. Выходит, что не только при коммунизме остается в течение известного времени буржуазное право, но даже и буржуазное государство—без буржуазии“ [2]) (теперь мы можем сказать—без власти буржуазии. *М. Р.*). При этом Ленин подчеркивает, что все эти явления не случайность, не парадокс: „Маркс не произвольно всунул кусочек буржуазного права в коммунизм, а взял то, что экономически и политически неизбежно в обществе, выходящем из недр капитализма“.

Долго ли будет продолжаться этот период „первой фазы коммунизма“?

Маркс попытался на это ответить в следующих строках: „на высшей ступени развития коммунистического общества, после того, как исчезнет порабощающее подчинение человека закону разделения труда, а вместе с ним и противоположность умственного и физического труда, и труд, перестав быть только средством для жизни, сам сделается первой потребностью жизни, когда вместе со всесторонним развитием индивидуумов разрастутся производительные силы и все источники общественного богатства будут литься широкой рекой,—только тогда впервые раздвинется узкий горизонт буржуазного права, и общество напишет на своем знамени: „всякий по своим способностям, всякому по его потребности“ [3]). Как мы увидим в главе об „издержках революции“, этот период не может не быть для первых государств пролетарской диктатуры весьма длительным,—целой эпохой в международном масштабе.

Эту первую фазу коммунистического строительства Ленин называет „переходным периодом в переходном периоде“: „вся диктатура пролетариата есть переходный период, но теперь мы имеем, так сказать, целую кучу новых переходных периодов“ [4]).

Как мы видим, основные характерные черты начала переходного

[1]) Ленин, т. XIV, стр. 374.
[2]) Ленин, т. XIV, стр. 377—378.
[3]) Маркс, Крит. готской программы, стр. 18. Ленин, т. XIV, 375.
[4]) Ленин, т. XVIII, ч. I, стр. 19.



периода намечены в вышеприведенных выдержках с достаточной ясностью. Маркс еще в 1875 г. наметил основные вехи развития после перехода власти в руки пролетариата. Но, разумеется, Маркс, для которого этот период диктатуры в то время был лишь отдаленным будущим, не мог и не пытался представить себе его деталей и конкретных форм. Как писал Ленин, мы ни в одной книжке не сможем найти ни одного слова о такой мудреной штуке, как, например, государственный капитализм при диктатуре пролетариата. Но теперь после опыта русской революции, во время затянувшихся родов германской, после опыта фашизма и колебаний крестьянства и городских промежуточных классов во время событий последних лет в России и на Западе, мы можем уже гораздо ближе рассмотреть основные черты переходного периода, в который мы вступили. То, что Маркс лишь смутно мог различать в телескоп своего научного гения, мы можем и с гораздо менее совершенными инструментами рассмотреть если не в деталях, то хотя бы в основных очертаниях. Конкретная обстановка в промышленных странах Европы к моменту перехода власти в руки пролетариата стала теперь для нас несравненно более близкой в отдельных случаях, как бы реально осязаемой. Мы подошли вплотную к периоду решающих битв за пролетарскую диктатуру, мы отдельными отрядами уже находимся в нем. И как бы ни был сложен и, быть может, длителен период этих битв, какие бы неожиданности ни стояли еще на пути, общее направление этого пути и основные контуры грядущего для нас уже более или менее ясны.

И все развитие событий в Западной Европе показывает, что приведенные выше замечания Маркса и Ленина всецело сохраняют значимость для первых государств пролетарской диктатуры в Западной Европе.

Для нас теперь ясно, что захват власти пролетариатом, который нельзя предсказать в месяцах, во всяком случае неизбежен в ближайший исторический период, и поэтому мы можем уже теперь иметь известное представление о технической, экономической и социальной обстановке в первые годы пролетарской диктатуры.

И вот обзор этой обстановки делает неизбежным уже не чисто теоретический, как в вышеприведенных замечаниях Маркса, а основанный на конкретных фактах вывод о неизбежности сохранения в этот первый период коммунистического строительства значительных остатков капиталистических отношений. По существу, к основным из этих остатков относится уже самая неизбежность существования государства с сопутствующим ему чиновничьим аппаратом, армией, бюрократизмом и т. п. Но, как мы увидим, в дальнейшем эти остатки капитализма значительно шире.

Основной причиной, рождающей эту пестроту переходного периода, является тот факт, что в начале пролетарской диктатуры даже в самых промышленных странах мира неизбежно длительное сохранение мелкого товарного хозяйства, вплоть до примитивнейших,

полунатуральных его форм в сельском хозяйстве, в обмене, в области интеллигентного труда и т. п.

Мало того, весьма вероятен даже известный временный рост его в результате технического регресса и разорения, созданного эпохой войн и революций. Это явление вызывается тем, что так называемые издержки революции в первую очередь сказываются на крупной промышленности и ее носителе—индустриальном пролетариате. Крупная промышленность восстанавливается гораздо труднее и медленнее, чем мелкая, в особенности, чем сельское хозяйство.

Основную роль в сохранении остатков мелкого товарного хозяйства после пролетарской революции будет играть крестьянство. Мы не можем здесь вдаваться в лежащую вне нашей темы область аграрного вопроса. Нам достаточно напомнить факт, отмеченный Лениным на 3-м конгрессе Коминтерна, что уже чисто-количественно „в большинстве капиталистических стран эти классы (мелкие производители и мелкие земледельцы. *М. Р.*) представляют очень сильное меньшинство, приблизительно от 30—45% населения. Если вы присоедините к ним мелко-буржуазные элементы рабочего класса, то выйдет даже больше 50%. Их нельзя экспроприировать или прогнать“ [1]).

В такой стране, как Германия, где сельское население составляет меньшинство, мы имеем несколько миллионов раздробленных крестьянских хозяйств.

Во всех странах мира, вплоть до наиболее „урбанизированной“ Англии, крестьянство представляет и будет представлять и после социальной революции многомиллионные массы, с которыми нельзя будет не считаться.

Уже для успеха самой революции поддержка части этих крестьянских масс (нигде не представляющих собой единого целого) будет необходима пролетариату даже самых промышленных стран. Буржуазия Запада не чета русской. Она многому научилась на русском опыте. Она будет защищать свое существование зубами и когтями, вернее аэропланами, удушливыми газами, минометами и танками. Ее влияние через прессу, религию и школы распространяется далеко за пределы крупной буржуазии, охватывая многочисленные промежуточные слои и проникая в верхушку рабочего класса. Для победы рабочего класса будет необходимо втягивание в борьбу и непролетарских слоев, в первую очередь беднейшего крестьянства, и хотя бы благожелательный нейтралитет среднего крестьянства. Это потребует в той или иной форме если не непосредственных уступок, то, во всяком случае, отказа в аграрной программе от всех мероприятий, могущих оттолкнуть крестьянство на сторону крупной буржуазии.

Но и после революции значение крестьянства не будет ограничиваться его чисто количественной ролью. Экономическое значение раздробленных и технически отсталых крестьянских хозяйств в начале переходного периода будет, пожалуй, больше, чем в капиталистических государствах до революции. Революция в промышленных странах, еле покрывающих свою потребность в сельско-хозяйственных продуктах собственным производством, или, как Англия и Германия, зависящих от ввоза, бесспорно вызовет значительные продовольственные затруднения. Неизбежные попытки блокады со стороны государств, где революция еще не победила, еще более усилят роль „своего“ крестьянства в снабжении продовольствием городов и промышленных районов. Экономическая роль крестьянства в первую фазу переходного периода таким образом вырастет (как и во время войны). Разумеется, теоретически городской пролетариат мог бы с самого момента взятия в свои руки власти и национализации промышленности организовать получение продовольственных припасов путем непосредственного планомерного обмена продуктов промышленности на хлеб. Такие попытки в самом широком масштабе, несомненно, будут. Но можно сомневаться, чтобы этот обмен, при отсутствии соответствующего аппарата, при необходимости для этого глубокой реорганизации самого производства, мог в первые годы функционировать с четкостью, достаточной хотя бы для минимального снабжения рабочего населения и армии.

Гораздо более вероятно, что обмен с крестьянством, как и при русском нэп'е, пойдет в первый период по пути „вольного рынка“ с участием кооперации и государственного аппарата и известным регулированием со стороны последнего.

Неизбежный для сохранения рабочей диктатуры экономический союз с крестьянством потребует, таким образом, со стороны рабочего класса значительных уступок, вернее самоограничения в преобразовательной деятельности, сохранения важных элементов капиталистических отношений.

Помимо этой экономической стороны, союз с крестьянством будет иметь огромное общеполитическое значение. Международное и внутреннее положение пролетарских государств в первый период после победы не может быть вполне устойчивым. Им предстоит длительная борьба как на внешних фронтах, так и с настойчивыми попытками остатков буржуазии внутри страны восстановить свое господство.

В этой борьбе без союза с широкими массами крестьянству не обойтись. А этот союз невозможен, если не считаться с экономическими особенностями и психологией крестьянства. Революция не скоро переработает созданный веками собственнический характер крестьянина. Попытки немедленного вмешательства молодого рабочего государства в мелкое крестьянское производство, даже если бы они были технически осуществимы, встретили бы непонимание, а во многих случаях и прямое противодействие подавляющего большинства крестьянства; они толкнули бы его на поддержку контр-революции, создали бы в самых промышленных странах грозные крестьянские Вандеи и могли бы привести революцию к крушению. Между тем капиталисти-

[1]) Ленин т. XVIII, ч. I, стр. 325.

ческие сельско-хозяйственные поместья, пригодные для немедленной национализации, составляют как в Германии, так и во Франции сравнительно ничтожное меньшинство. Массу же среднего крестьянства можно привлечь к революции и поддержке рабочей власти, только гарантировав им неприкосновенность их земельной собственности, во многих случаях даже некоторое ее расширение за счет экстенсивно обрабатываемых помещичьих угодий, свободу обмена с.-х. излишков и т. п.—то-есть то положение крестьянского хозяйства, которое установлено в России нэп'ом.

Таким образом, несмотря на численное преобладание пролетариата, роль крестьянства в революции и непосредственно после революции будет на Западе очень большой, в ряде стран, быть может, не менее значительной, чем в России. Ее отражения наложат глубокий отпечаток на всю экономику и социальные отношения первой фазы переходного периода.

Остатки капиталистических отношений в первую фазу пролетарской диктатуры не ограничиваются ролью крестьянства. Во всех областях производства мы имеем в основных капиталистических странах значительные остатки мелкого промышленного производства, вплоть до полукустарных мастерских и ремесленных заведений.

Роль их, правда, из года в год уменьшалась, но как раз потрясения революционного периода темп этого уменьшения задерживают, а во многих случаях даже прерывают, вызывая временное усиление мелкого производства, а иногда и непосредственный рост его. Это явление наблюдалось в широком масштабе в первые годы Советской России, где мелкое, кустарное и ремесленное производство определенно вытесняли замиравшее крупное. На Западе оно не будет иметь столь широкого охвата. Но в той или иной степени считаться с ним придется и там. Как и сельское хозяйство, мелкое производство легче и быстрее восстанавливается от потрясений и разрушений революционного периода. В годы недостатка основных предметов потребления, при трудности получения капиталов, необходимых для восстановления крупной промышленности, пролетарское государство должно будет с этим считаться и будет вынуждено отказаться от попыток искусственно мешать этому временному росту мелкого производства с неизбежно создаваемым им ростом капиталистических отношений.

В гораздо большей степени, чем в производстве, эти явления скажутся в области распределения и обмена. Здесь к моменту революции останется наибольшее количество несозревших для национализации форм.

Между тем, к этой области с особенным правом можно применить слова Троцкого, что новых методов распределения еще нет и „надо пользоваться старыми рыночными, пока не создали новых, централизованных, плановых, учетных". И хотя капиталистический опыт Запада



в этом отношении несравненно больше русского (военное распределение и карточная система в Германии, насчитывающая многие десятилетия кооперация, централизация и регулирование торговли трестами и синдикатами, развитие универсальных магазинов и т. п.), однако весь этот опыт, а главное производственные основы его развития в первый период коммунистического строительства недостаточны, чтобы без непредвиденных веских оснований повторять неудавшийся русский опыт всеобщей национализации торговли.

Помимо влияния всех этих остатков мелкого производства в сельском хозяйстве, промышленном производстве и обмене, в странах, которые первыми успешно закончат революцию, значительную роль будут играть остатки капиталистических отношений, обусловливаемые другого рода причинами. Революция произойдет и закончится победой в разных странах, разумеется, неодновременно. Совершенно неизбежен более или менее [illegible]ельный период, когда в одних странах станет у власти диктатура пролетариата, в то время как в других волна рабочей революции закончится временным поражением, а в группе третьих капитализм будет даже продолжать развиваться и капиталистическое государство будет еще настолько сильным, чтобы отражать напор рабочего класса.

Между тем, страны пролетарской диктатуры не могут существовать вне международного обмена. Чем более промышленный характер носит страна, тем сильнее ее связь с мировым рынком, тем болезненнее всякий, даже кратковременный, отрыв от него. Наблюдаемые в послевоенный период стремления капиталистических государств к промышленной „автарктии" недостаточно развиты, чтобы значительно ослабить эту зависимость. Такое государство, как Германия, с огромным разнообразием естественных богатств и производимых продуктов, все же не может обойтись без ввоза некоторых количеств хлеба, леса, хлопка, руды, каучука, меди и т. п. В случае хотя бы временного отторжения от пролетарской Германии Рурской области или глубокого разрушения ее в период революционной борьбы, Германия будет нуждаться и в ввозе известного количества угля. С другой стороны, многие отрасли германской промышленности издавна работали преимущественно на экспорт и не могут быть быстро всецело переведены на обслуживание только внутренних потребностей страны.

Между тем, мы, наряду с вероятной перспективой ожесточенной вооруженной борьбы с молодыми пролетарскими государствами соседних капиталистических стран, упорных попыток блокады и т. п., должны считаться и с более или менее длительными периодами мирного существования, вернее „мирных" форм борьбы, неустойчивого равновесия, подобного тому, которое мы переживаем вот уже три года.

Разумеется, это положение облегчается при увеличении числа пролетарских государств, между которыми немедленно устанавливается

[1]) См. „Современный капитализм и организация труда"

тесный военный, хозяйственный, финансовый и т. п. союз, вплоть до объединения их в С. С. С. Р. Но для первых государств, присоединившихся к С. С. С. Р., торговля с капиталистическими государствами, финансовые соращения с ними и т. п. будут играть весьма значительную роль. И несмотря на национализацию всей внешней торговли, самый факт этого обмена не может не требовать сохранения значительных остатков капиталистических отношений, особенно в области денежного обращения и неизбежного их отражения во всех областях социальной жизни. Для стран, вышедших из революции с огромным обнищанием, с исчерпанным золотым запасом, возможны даже те или иные формы иностранных концессий, смешанных обществ и т. п. форм привлечения иностранного капитала.

Помимо этой пестроты хозяйственных форм, являющейся основной причиной сохранения многих капиталистических форм организации труда, значительную роль будет играть та группа явлений, которую можно назвать психологическими остатками капитализма. Главным образом, о них-то и говорится в вышеприведенных отрывках Маркса и Ленина. К ним, пожалуй, в наибольшей мере приложимо и образное сравнение, к которому несколько раз возвращался Ленин, говоря, что „рабочий класс китайской стеной не отделен от старого буржуазного общества и, когда наступает революция, дело не происходит так, как со смертью отдельного лица, когда умерший выносится вон. Когда гибнет старое общество, труп его нельзя заколотить в гроб и положить в могилу. Он разлагается в нашей среде, он гниет и заражает нас самих“ [1]).

Остатки капиталистической, а отчасти и до-капиталистической психологии, навыков, традиций будут и на Западе весьма обширны и длительны не только в самых широких слоях промежуточных классовых групп, но и в среде пролетариата. Быть может, значительная часть нынешнего поколения будет в этом отношении (как носители и материал коммунистического строительства) почти безнадежна. Как ни велико воспитательное действие революционного периода, поднимающего к действию широчайшие массы трудящихся и меняющего психологию масс в течение недель и месяцев резче, чем за жизнь целых поколений прошлого столетия, все же слишком огромна тяжесть вековой некультурности, традиций, религии, демократических и реформистских иллюзий.

И рабочий Западной Европы, более культурный, чем русский, поголовно грамотный и часто почти поголовно организованный, в несравненно большей степени отравлен многолетним разлагающим влиянием капитализма. В своих верхних, наиболее культурных и организованных слоях, он и больше всего с ним сжился и, несмотря на все свои страдания, в период упадка капитализма не может себе представить другого строя. Эти верхние слои „рабочей аристократии“ и

[1]) Ленин, т. XV, стр. 321.



бывшей рабочей аристократии принесут с собой в государство пролетарской диктатуры значительную долю индивидуализма и ограниченности.

Но и подрастающее в революционный период молодое поколение не будет психологически свободно от наследия старого. Вместе с революционной энергией, героизмом, жаждой борьбы, строительства и знания оно впитает в себя известную „милитарность“, поверхностность и пестроту, созданную условиями переходного периода. Разумеется, практическая школа революции и революционного строительства стоит всех школ и университетов. Она позволяет творить чудеса, позволяет, как в России, ткачам и металлистам руководить армиями, областями, заводами и притом делать это лучше, чем это в данной обстановке могли бы делать (даже если бы они этого хотели) первоклассные специалисты дореволюционного периода.

Но в то же время эта постоянная, в революционных условиях совершенно неизбежная, переброска с одной работы на другую, с партийной агитации на управление областями, с профессиональной работы на хозяйственную, дипломатическую, военную или административную создает известную поверхностность, отвлеченные „организаторские“ навыки, не опирающиеся на знание и достаточный опыт. Все это вполне понятно. К власти приходит класс, который, несмотря на свое основное значение в производстве и обществе, всегда играл в них подчиненную роль, будучи винтиком машины, управлявшейся где-то наверху, механизмом, детали которого ускользали от его внимания. Теперь ему приходится управлять государством, строить промышленность, руководить армией, вести дипломатию и революционную пропаганду, устанавливать „смычку“ с крестьянством, торговать, бросаться от одной „ударной“ задачи к другой. На ходу ему приходится глотать опыт и знания. Молодежь—всегда наиболее революционная и передовая часть рабочего класса—выдвигается в первые ряды этой борьбы и лихорадочного строительства. Она берется за работу, часто недоступную ее силам и знаниям просто потому, что других нельзя найти. Бури революционного периода, наряду с развитием воли и энергии, создают нервную надломленность молодого поколения; физические лишения в данной обстановке не закаляют, а лишь ослабляют организм, создавая массовое развитие туберкулеза, нервных болезней, быстрое истощение и ослабление. К этому присоединяются психологические противоречия нэпа, отражающие пестроту хозяйственных форм. Словом, и в этом отношении пройдет немало времени, прежде чем сумеют выковаться широкие кадры действительно коммунистических работников. Как говорил Ленин, „следы старого в правах известное время после переворота неизбежно будут преобладать над ростками нового. Когда новое только что родилось, старое всегда остается в течение некоторого времени сильнее его“ [1]).

[1]) Ленин, т. XVI, стр. 253.

Таким образом и на Западе первая фаза переходного периода будет представлять пеструю картину смешения остатков старого и нарождающихся элементов нового. В экономической области мы встретим в самых развитых странах Европы все виды хозяйства, перечисленные Лениным для России, за исключением лишь патриархального хозяйства, т.-е. мелкое товарное производство, частно-хозяйственный капитализм, государственный капитализм и социализм [1]).

Другое количественное соотношение этих элементов, значительно меняя конкретную обстановку переходного периода, все же не вносит в нее основных принципиальных изменений.

И азбука марксизма, так же как и опыт Советской России, показывает, что эти разнородные хозяйственные формы не сожительствуют мирно друг с другом, как это хочется Каутскому в его идиллических картинах переходного периода [2]).

И после вооруженной победы пролетариата между ними продолжается непрестанная глухая борьба. Как следствие этой борьбы хозяйственных форм, продолжается и классовая борьба,—лишь в других формах и с другим соотношением сил, ибо в руках пролетариата находится государственный аппарат, армия, крупная промышленность, внешняя торговля и т. д.

В первые годы пролетарской диктатуры, когда чисто военная победа еще не окончательно упрочилась, борьба отчасти продолжается и в прежних формах (при вышеуказанном изменении соотношения сил). Недаром Ленин замечает, что именно после свержения буржуазии классовая борьба принимает самые резкие формы [3]), и что „мирного развития к социализму (и после победы. *М. Р.*) быть не может".

Развивая подробнее эту мысль, Ленин пишет: „Правилом при всякой глубокой революции является д о л г о е, у п о р н о е, отчаянное сопротивление эксплоататоров, сохраняющих в течение ряда лет крупные фактические преимущества над эксплоатируемыми" (международные связи, образование, технический и военный опыт). „Переход от капитализма к коммунизму есть целая историческая эпоха. Пока она не закончилась, у эксплоататоров неизбежно остается н а д е ж д а на реставрацию, а эта н а д е ж д а превращается в п о п ы т к и реставрации. И после первого серьезного поражения, свергнутые эксплоататоры с удесятеренной энергией, с бешеной страстью, с ненавистью, возросшей в сто крат, бросаются в бой" [4]).

Когда же эта вооруженная борьба будет окончательно подавлена, начинает еще яснее проявляться другая, не столь заметная, но еще более трудная и упорная борьба на хозяйственном фронте, борьба старых, привычных капиталистических методов с новыми, неиспытанными социалистическими. В этой борьбе запрещение, декрет, государственное принуждение, имея свое бесспорное значение, не смогут быть решающими.

[1]) Ленин, Очередные задачи Советской власти и о продналоге.
[2]) Каутский, На другой день после социальной революции.
[3]) Ленин, т. XVI, стр. 207.
[4]) Ленин, т. XV, стр. 467.



Капитализм, уже, казалось, разбитый и раздавленный, будет в ней оживать, получать все новую поддержку со стороны мелкого производства. Как писал Ленин еще до нэп'а: „мелкого производства осталось еще на свете, к сожалению, очень и очень много, а мелкое производство р о ж д а е т капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе" [1]).

В конечном счете в этой борьбе можно победить лишь в непосредственной конкуренции, выработав и показав на практике преимущества социалистических методов, их высшую производительность.

Как мы видим, действительная картина переходного периода как небо от земли далека от розово-идиллических построений Бебеля, Баллода, Каутского и др. Несмотря на то, что Каутский в то время, когда писал „Социальную революцию" и „На другой день после социальной революции" (1902 г.), слыл радикалом и, якобы, боролся с ревизионизмом, его переходный период является по существу реформистской иллюзией, мечтой о ревизионистском „врастании в социализм".

Об этих маниловских мечтах Ленин писал: „Кто допускает революцию пролетариата лишь „под условием", чтобы она шла легко и гладко, чтобы было сразу соединенное действие пролетариата разных стран, чтобы была наперед дана гарантия от поражений, чтобы дорога революции была широка, свободна, пряма, чтобы не приходилось временами, идя к победе, нести самые тяжелые жертвы, отсиживаться в осажденной крепости или пробираться по самым узким, непроходимым извилистым и опасным горным тропинкам,—тот не революционер" [2]).

Но если реформистской утопией являются картины переходного периода Каутского, то во многом неверными являются и созданные в период военного коммунизма в России теоретические схемы переходного периода Бухарина (в „Экономике переходного периода"), равно как и многие положения в главах об организации труда книги Троцкого „Терроризм и коммунизм". Неверным оказалось для России и, несомненно, неверным будет и на Западе тогдашнее представление Бухарина о том, что „капиталистические производственные отношения немыслимы при политическом господстве рабочего класса" [3]), что „старые понятия теоретической экономии моментально отказываются служить" [4]) и старые марксовские орудия—товар, цена, зарплата, прибыль—дают осечку" [5]). Неверно представление, что „поскольку рабочий класс становится господствующим, исчезает наемный труд и зарплата становится мнимой величиной" [6]) В основном преувеличено представление о том, что „каждый тип общества неизбежно отличается

[1]) Ленин, т. XVII, стр. 118.
[2]) Ленин, т. XV, стр. 409.
[3]) Бухарин, Экономика переходного периода, стр. 43.
[4]) Там же, стр. 124.
[5]) Там же, стр. 125.
[6]) Там же, стр. 135.

монизмом своей структуры, который есть основное условие существования всякой общественной системы" [1]). Переходный период как раз отличается отсутствием этого монизма.

Необходимо отметить, что, помимо этих преувеличений, вполне понятных для первого в мире периода военного коммунизма, бухаринская „Экономика переходного периода" содержит глубокий анализ революционной эпохи и ряд положений, всецело сохраняющих свою значимость для предстоящих революций на Западе. Бухарин впервые показал с полной ясностью и последовательностью, что переходный период гораздо сложнее, чем он изображался в реформистских иллюзиях. В частности, он впервые дал ясное представление об издержках переходного периода, налагающих глубокий отпечаток на всю его обстановку.

И на Западе первый послереволюционный период будет заключать в той или иной форме ряд основных черт того комплекса явлений, который получил в России нескладное название нэп'а. Значит ли это, что там не будет периодов, аналогичных русскому военному коммунизму? Такое утверждение мы считали бы ошибочным. Чем был военный коммунизм в России? Прекрасную его характеристику дал на IV конгрессе Коминтерна Троцкий. „К коммунистическому строительству,—говорил он,—часто придется подходить не с мерилом хозяйственной целесообразности, а военно-политической необходимости" [2]). В России хозяйственно-неразумная поголовная национализация была военно-политически неизбежна. Буржуазию надо было научить уважению к новой власти, принятию ее всерьез. Поэтому организационная хозяйственная работа не поспевала за разгромом врага, ограничиваясь элементарнейшими задачами—накормить и одеть Красную армию и основную часть рабочего класса. Примитивнейшее разрешение этих задач и было эпохой военного коммунизма. Это был „ряд чрезвычайных мер, имевших задачей поддерживать элементарную хозяйственную жизнь осажденной крепости". „В обстановке такой осажденной крепости,—писал Ленин,—потребительский коммунизм есть условие спасения рабочего" [3]).

Но все эти условия, вызвавшие военный коммунизм в России, весьма вероятно, можно сказать, почти неизбежны и в первых пролетарских государствах Запада. Поэтому и там, несомненно, будут периоды военного коммунизма, быть может, еще более глубокие и длительные, чем в России.

Но из всего вышеизложенного вытекает, что в общей картине первой фазы коммунистического строительства эти периоды будут все же лишь неизбежными уклонами, а не последовательными этапами непрерывного развития пролетарского государства на пути к социализму.

В области организации труда проявления нэп'а, особенно сохранение элементов товарного хозяйства и денежного обмена скажутся прежде всего в длительном сохранении (или восстановлении, если они будут уничтожены предшествующими периодами военного коммунизма) капиталистических форм зарплаты.

Помимо самого факта сохранения денежной зарплаты, неизбежно сохранение, по всей вероятности, и развитие сдельщины, отчасти и премиальных систем, неравномерность оплаты разных категорий труда и особенно высокая оплата специалистов и организаторов,—словом, сохранение, на-ряду с новыми, прежних капиталистических стимулов к труду. Наконец, нэп скажется в общей постановке проблемы о специалистах, на многих методах повышения производительности труда, в формах охраны труда,—словом, во всех областях организации труда. Он вызовет и многочисленные уклоны, настойчивые попытки разрешать вопросы организации труда чисто капиталистическими методами, по линии наименьшего сопротивления, т.-е. за счет безудержной интенсификации, возрождения капиталистических сторон тэйлоризма.

С этим явлением рабочему государству придется вести борьбу, стремясь органически объединить интересы развития производства с интересами работника.

Изучение русского опыта во всех этих вопросах, выделение тех его сторон, которые сохраняют свою значимость и для промышленных государств Европы, и исследование особенностей последних является уже теперь не абстрактной теорией, а одной из близких практических задач западно-европейского пролетариата. Разработка их может облегчить не только послереволюционное строительство, но и правильность тактики во время самой революции.

*М. Рубинштейн.*

1) Бухарин, там же, стр. 43.
2) IV Конгресс Коминтерна, протоколы стр. 78.
3) Ленин, т. XVI, стр. 235.

# Новое из наследства Маркса и Энгельса.

*(О книге первой „Архива К. Маркса и Ф. Энгельса“).*

Рассказывают, что Маркс шутил по поводу того внимания, которое в его время проявляли к нему русские. В наше время наш интерес к Марксу и его наследству едва ли вызовет у кого-нибудь улыбку недоумения. Всякий, кто дает себе труд хоть сколько-нибудь внимательно приглядеться к этому явлению, должен будет согласиться с Лениным, что „марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине **выстрадала** (разрядка Ленина *А. Тр.*) полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы“ („Левизны“, XVII т. Собр. соч., изд. 1923 г., стр. 119). Мало того, Россия первая дала „опытное“ подтверждение теории марксизма, первая своим революционным действием пытала и подтвердила правильность „руководства к действию“. Вот откуда идет интерес к марксизму со стороны революционной России. Россия, куда с XX столетия переместился центр тяжести революционной борьбы, становится и центром революционной мысли.

Вот почему сейчас, в эпоху малодушного отхода от марксизма большинства когда-то верных ему ортодоксов, в эпоху лакейски-угодливого выхолащивания революционной теории оппортунизмом всех мастей, Россия становится центром, оберегающим наследство духовных отцов и пророков рабочей революции. Но „хранить наследство—вовсе не значит еще ограничиваться наследством“, как говорил Ленин. И русские ученики Маркса-Энгельса ни в прошлом, ни сейчас не ограничиваются ролью хранителей музейного имущества. Они считали и считают себя хранителями идейного наследства своих учителей в том смысле, что они являются продолжателями их дела, исполнителями их заветов.

Среди этих заветов ими всегда высоко ставился завет дальнейшей разработки вопросов теории; но, может быть, никогда еще до последнего времени исполнение этого завета не встречало более благоприятных условий, чем сейчас. Достаточно указать на рязановский Институт Маркса-Энгельса, чтобы заставить согласиться с этим.



Этот последний в указанном отношении имеет столь большое значение, что едва ли будет преувеличением сказать, что вне его и помимо него продолжение дела Маркса-Энгельса в области теории сейчас уже не мыслимо. И это не только потому, что он за первые годы своего существования сумел собрать наследство, но в значительной мере и потому, что он, выполнив предварительную работу марксистского Калиты, теперь уже перешагнул за пределы Долгоруковской усадьбы, выступив в своем „Архиве М.-Э.“ с результатами своих первых исследований.

„Архив“, первый том которого только что вышел, представляет собой столь значительное явление в области теоретической жизни наших дней, что не остановить на нем внимания читателя было бы недопустимой вещью. Совершенно не боясь преувеличений, можно сказать, что выход „Архива“ в свет—целое событие своего рода. Достаточно указать на такой факт, как наличие в нем рукописи Маркса-Энгельса о Фейербахе, рукописи, ждавшей своего издания без малого восемьдесят лет, чтоб согласиться с высказанной мыслью. Но огромную ценность для изучения и разработки марксизма представляют собою и те исследования, печатание которых начинает „Архив“. Познакомить читателя более или менее подробно со всем этим материалом и составит задачу последующих строк. Но предварительно позволю себе изложить точку зрения самой редакции относительно характера и задач журнала, что даст возможность читателю составить представление о литературной физиономии этого нового органа.

Задачи журнала, заявляет редакция, определяются задачами издателя журнала—Института Маркса-Энгельса. Круг этих задач—„чтение, развитие, распространение идей научного социализма, иными словами **история** (разрядка редакции. *А. Тр.*) марксизма, его теории и практики“ (9 стр.). Что касается пределов, дальше которых журнал, желающий быть „по преимуществу **историческим**“ (подчеркнуто редакцией. *А. Тр.*), не простирает своего внимания, то таковыми в отношении в истории рабочего движения является конец прошлого столетия, точнее 90-е годы. В силу этого за полем зрения журнала остается история периода после краха II Интернационала. Точно так же „Архив“ точно определяет рамки своего участия в разработке вопросов русского рабочего движения, ограничиваясь, с одной стороны, „исследованием тех взаимоотношений — враждебных или дружественных,—которые установились между русскими людьми сороковых, шестидесятых и семидесятых годов“, а с другой,—„исследованием международных связей—идеологических и организационных—между социалистической, революционной, философской теорией и практикой на Западе и в России, в первую очередь—влияния и распространения теории и практики марксизма“ (9 стр.).

Но, собираясь быть историческим журналом, „Архив“ отнюдь не собирается рассматривать себя в качестве такового „только потому, что он ставит себе целью изучать **историю** Маркса и Энгельса, исто-

рию марксизма и пролетарского движения" (9 стр.). Для него история не только программа, но и своего рода методологическое credo. Поэтому он вовсе не ограничивает своих задач изучением истории марксизма и пролетарского движения, но включает в свою программу проблемы, выдвинутые Марксом и Энгельсом в их исторических работах, „а такими историческими работами,—поясняет редакция,—три тома „Капитала" являются не в меньшей степени, чем „Коммунистический манифест" и „18-е брюмера Луи Бонапарта" (10 стр.). Вот почему журнал одной из ближайших своих задач считает разработку истории человеческой идеологии.

Этими задачами самостоятельного исследования определяется содержание первого отдела „Архива",—„Статьи и исследования", как он назван в самом журнале.

Второй отдел носит название—„Из неопубликованных рукописей Маркса и Энгельса", чем определяется и содержание его.

Отдел третий обещает давать материалы для биографии Маркса и Энгельса, а четвертый,—„Критика и рецензии",—ставит своей задачей" тщательную инвентаризацию всей литературы о Марксе и Энгельсе" (10 стр.).

Такова физиономия нового журнала. Теперь я перейду к ознакомлению с содержанием его первой книги.

Не считая для себя возможным разбирать материал, выходящий за пределы вопросов моей специальности, я позволю себе остановиться на том, что может привлечь внимание товарищей, занимающихся философией. Единственно, что мне хотелось бы сделать во исключение этого,—это отметить значение статьи Д. Б. Рязанова „Возникновение I Интернационала", какое она может иметь при работе над проблемой класса; ценность ее в этом отношении увеличивается тем более, что автором приведены любопытнейшие документы, рисующие, во-первых, рост классового самосознания, процесс становления класса, и, во-вторых, своеобразную, данную самими рабочими, мотивацию необходимости Международного Товарищества Рабочих.

Перехожу к философскому материалу. Среди последнего нужно прежде всего остановиться на новом из наследства Маркса-Энгельса.

Одной из особенностей судьбы мыслителя-революционера является вот какое обстоятельство: в награду за муку мученскую вечных гонений при жизни, радетельные „наследники" после смерти обеспечат ему такой покой и безметежность дальнейшего существования, что он едва ли почувствует какую-либо перемену своего положения, отправившись туда, где „несть печали и воздыхания". Его так „угробят", так законопатят его мысли, почему-либо не по вкусу пришедшиеся наследникам, что он, наверное, не раз от возмущения перевернется в гробу с тем, чтобы с новой общественной встряской, когда арена жизни наполнится новыми силами, пророком которых он был при жизни, когда исполнятся его заветные мечты, чтобы тогда он мог презрением новой жизни отхлестать своего подленького эпигона. Одним из классических образцов такой судьбы является судьба Маркса и Энгельса. Их мысли нашли свое осуществление в жизни, оправдали себя de facto, но многие из них еще до сих пор хранятся под спудом у „наследников", ревниво оберегающих „покой" учителей. Вот хотя бы такой факт. Уже в сороковых годах Маркс и Энгельс установили, что „каждый стремящийся к господству класс,—если даже его господство означает, как в случае с пролетариатом, уничтожение всего старого общественного строя и господства,—должен прежде всего завоевать себе политическую власть, чтобы, в свою очередь, представить (как он вынужден на первых порах) свой интерес в качестве всеобщего интереса" (разрядка моя. *Л. Тр.*) [1]).



Думали ли Маркс и Энгельс, что эта истина осуществится и на них самих, и что только завоевание политической власти со всем привходящим к сему превратит интерес пролетариата к наследству своих учителей в интерес всеобщий, пробудив его особыми мероприятиями и у оппортунистических наследников. Тридцать лет проваляласъ у „наследников" рукопись о Фейербахе, и только рабочая революция в России на седьмом году своей истории делает эту рукопись предметом всеобщего интереса, по крайней мере, в пределах своего господства.

А рукопись нужная. Именно нужная,—я не говорю, что ценная,—что не ценно для нас из наследства учителей! Нужная потому, что исключила бы массу споров, подорвала бы почву под целым рядом извращений марксизма. Она прежде всего исключила бы возможность распространения тех сказок, усиленно распространявшихся различного рода „старателями", собиравшими философское золото на кантианских, махистских и иных приисках, сказок, с которыми немало повоевали покойные Плеханов и Ленин. Будь она издана раньше, все разговоры о недостатке в марксизме теории познания, потеряли бы почву и старателям не удалось бы ошельмовать и простачков по этой части. Первые отделы этой рукописи как раз посвящены решению проблемы теории познания. Это—теория познания диалектического материализма. Но понять ее, а стало быть, оценить и издать именно поэтому-то и не могли „наследники" из оппортунистов немецкой социал-демократии.

За изложением теории познания и в непосредственной связи с ней, как это и следует ожидать, дана и первоначальная формулировка философии истории, или, как теперь принято выражаться, теории исторического материализма. Любопытно отметить, что эта последняя здесь дана уже во всех своих чертах, так что все рассуждения о ранних, зрелых и прочих периодах марксизма, чему сейчас начинает предаваться марксизм на ближайшем Западе, едва ли имеют много смысла, как уже это отметил наш журнал и раньше.

Подлинный эффект разоблачения производит восстановление

[1]) Маркс и Энгельс о Л. Фейербахе,—„Архив", кн. I, 222 стр.

т. Рязановым настоящего текста энгельсова введения к Классовой борьбе." Всякий, кто прочитает напечатанные им и опущенные теми, кто переусердствовал по части превращения старика-революционера Энгельса в мирного поклонника законности во что бы то ни стало, места из введения, тот согласится с редактором „Архива", что мы имеем дело с друзьями, которые прекрасно знали, что они играют при этом (коверкании текста Энгельса. *А. Тр.*) крапленными картами" (261 стр.).

Мне остается еще сказать несколько слов о статье т. Деборина „Диалектика у Канта". Статья является первым очерком из целой серии очерков по истории диалектики.

Кант,—почтенная фигура в философии, ему было уделено очень и очень много внимания последующими поколениями философов. И тем не менее можно сказать, что статья, о которой идет речь, приоткрывает некоторые новые, по меньшей мере для русского читателя, стороны мировоззрения этого мыслителя. Правда, Кант уже подвергался критике в марксистской литературе: о нем высказывался Энгельс, не раз писал о нем Плеханов; но, тем не менее, никто из них не прослеживал ход за ходом мысли Канта на протяжении всей его очень долгой философской карьеры. Вот эту-то задачу и выполняет т. Деборин. Поставив целью всех своих очерков просмотреть, главным образом, историю развития диалектического метода (14 стр.), он начинает с анализа школы немецкого классического идеализма, первой вехой которой и стоит как раз Кант.

Анализ работ Канта приводит автора к заключению, что „зачатки диалектики мы находим у Канта. Можно сказать даже, что он является ее основателем, ибо он выдвигает п р о б л е м у д и а л е к т и к и (разрядка автора. *А. Тр.*), при чем дважды: один раз в „докритический" и второй раз в „критический" периоды своей деятельности" (15 стр.). И автор подробно обосновывает свою мысль, тщательно прослеживая ход мысли Канта, шаг за шагом шествуя по пятам его литературных выступлений как первого, так и второго периода.

Первый период, о котором, кстати сказать, русский читатель вовсе не имеет представления, заполнен у Канта работой „преобразования метафизики, т.-е. философии, в соответствии с достигнутыми успехами естествознания" (16 стр.), как оно нашло свое отражение в „материалистической системе Ньютона". Результатом этой работы явилась его космогония, изложенная в „Естественной истории и теории неба", и еще нескольких небольших работах того же периода, позволяющих утверждать, что „основные мысли", которыми они проникнуты, „сводятся к и д е е р а з в и т и я (курсив автора. *А. Тр.*) и своеобразной механической диалектике" (17 стр.). Более яркое выражение эта мысль получает в работе, относящейся к 1763 г.,—„Опыт введения понятия отрицательных величин в мировую мудрость". Все вместе взятое позволяет автору формулировать точку зрения Канта того периода следующим образом: „Природа уподобляется Кантом фениксу, который сжигает себя лишь для того, чтобы возродиться вновь молодым и обновленным из пепла. Природа распадается, разрушается, ввергается в хаос лишь для того, чтобы вернуться из него радикально обновленной и омоложенной. Развитие через борьбу противоположностей, через антагонизм сил—вот тот всеобщий закон, который выражает отношения явлений в мире" (27 стр.). Таков Кант первого, докритического периода.



Во второй, критический период, когда Кант занимается, главным образом, проблемой познания, эти мысли его получают „дальнейшее развитие и углубление". Основательное путешествие по кантовским „критикам" приводит автора к заключению, что „с самого начала своей философской деятельности Кант чувствует необходимость в новом методе, в новой логике"... Это обстоятельство постоянно толкает его в сторону диалектики, он „близко подходит к диалектической постановке некоторых основных вопросов,—правда, в мистифицированной, абстрактной и идеалистической форме" (44 стр.).

Тем не менее, всех трудностей преодоления формальной логики Кант не осилил даже и в пределах идеалистической диалектики. Положительная форма диалектики так и осталась для него Рубиконом, которого он никогда не перешел. Он временами вплотную подходит к п о л о ж и т е л ь н о й д и а л е к т и к е (курсив автора. *А. Тр.*). Однако он последнего шага не делает и остается на почве о т р и ц а т е л ь н о й д и а л е к т и к и (подчеркнуто автором. *А. Тр.*). Но его глубокий, хотя и односторонний анализ подготовляет положительную диалектику (57 стр.). В этом и заключается его глубокий смысл и ценность для диалектического материализма.

Будем же ждать с нетерпением следующих книг „Архива", приоткрывающего нам так много завес в сокровищницу идей и мастерскую работы великих мыслителей-революционеров пролетариата.

*А. Троицкий.*

---

## Фридрих Энгельс, как военный теоретик.

В нынешнем году русская марксистская литература обогатилась двумя новыми трудами Фридриха Энгельса, имеющими военный характер.

Первый из указанных трудов носит название „Статьи и письма по военным вопросам" и охватывает собою период времени от 1848 года до франко-прусской войны, при чем в этот сборник частично вошли письма Энгельса, относящиеся к франко-прусской войне.

Второй труд называется „Статьи о войне 1870—1871 г.г." и содержание его посвящено франко-прусской войне.

Нет надобности говорить, что обе эти книги должны представлять чрезвычайно большой интерес и в особенности для русского читателя. И это вполне понятно. Для пролетариата Советской России, силою истории призванного к организации обороны единственной в мире социалистической республики, появление этих произведений

Энгельса приобретает, несомненно, важное значение как в теоретическом, так и в практическом отношениях.

Военным наукам у нас, как и следует в настоящий исторический момент, отведено подобающее место. В этом отношении Советская Россия стремится ни в коем случае не отставать от своих противников. Вопросы военной истории, теории и практики изучаются у нас напряженно, тщательно, детально. И можно с уверенностью сказать, что за шесть с половиною лет существования Советской России у нас выработался необходимый кадр военных работников как теоретиков, так и практиков, приобретших свой военный опыт в самом горниле революционной борьбы.

Продолжающаяся около трех лет передышка позволила нашим военным товарищам ближе подойти к военным наукам. Военное дело, изучавшееся в период гражданской войны на скорую руку, наспех, непосредственно для практических задач момента, в настоящее время изучается в совершенно иной, более благоприятной обстановке, свойственной мирному времени. И теперь-то в процессе основательного и вдумчивого изучения военных наук перед нами должен неизбежно вставать целый ряд вопросов и задач военного характера, тесно связанных с современным экономическим и международным положением Советской России и всецело вытекающих из тех целей, которые ставит себе партия, руководящая пролетарской революцией.

Для всякого, занимающегося в настоящий момент военными науками, сразу становится ясным, что недостаточно только изучить и осмыслить весь прошлый военный опыт. Необходимо еще приспособить результаты этого изучения к тем величайшим заданиям, выполнение которых для пролетариата стоит в порядке дня.

„Наш командный состав,—пишет в своем предисловии к „Статьям и письмам по военным вопросам" товарищ Попов,—должен учиться понимать войну, должен видеть связь военной организации с экономической структурой общества и с его политическими учреждениями, связь военной техники с экономической страны, роль и значение всех факторов, обусловливающих победу и поражение, наконец, должен знать конкретные военные науки, в частности военную историю".

В этом отношении нашим военным работникам еще предстоит колоссальная работа, т. к. военная наука до недавнего времени находилась в монопольном обладании господствовавших до Октябрьской революции классов. А это не могло не наложить на нее специфически классового отпечатка. И в особенности касается это военной истории.

Нет надобности подробно говорить о том, что большинство наших военных историков были исключительно профессионалами в области военного дела, т.-е. людьми исключительно узкой специализации, а главное людьми, совершенно лишенными общественно-научного мировоззрения.

Последнее обстоятельство не могло, конечно, не отразиться на характере их исторических трудов, и в этом отношении труды Энгельса резко отличаются от трудов представителей официальной военной науки.

Величайшая фигура основоположника научного социализма встает перед нами здесь в новом свете.

В своих военных трудах Энгельс является крупнейшим военным теоретиком и притом настолько компетентным в военном деле, что эти труды его, выпускавшиеся анонимно, приписывались первоклассным военным авторитетам тогдашней буржуазной Европы.

Вот что писал Лассаль Марксу по поводу того впечатления, которое произвела в прусских военных кругах вышедшая анонимно брошюра Фридриха Энгельса „По и Рейн": „Относительно „По и Рейн" Гацфельд, которая у своего свояка, генерала Ностица, встречается со всем прусским генералитетом, и племянник которой Ностиц—адъютант у „прекрасного Вильгельма", рассказывала мне, что в высоких и высших военных кругах (между прочим, и в кружке принца Карла Фридриха) на твое сочинение глядели как на произведение остающегося в тайне прусского генерала. То же самое мне сообщает ассесор Фридлендер (брат редактора „Wiener Presse") произошло и в Вене. Я сам беседовал об этом с генералом Пфуэлем (Маркс к Энгельсу, III, № 625). Но, являясь крупнейшим теоретиком военной науки, Энгельс в своих военных трудах остается неизменно верным созданному им мировоззрению, т.-е. мировоззрению научного коммунизма, и это-то как раз и придает его военным трудам исключительный интерес и значение.



В своей статье „Развитие военного искусства в эпоху капитализма" Энгельс, излагая историю военной техники и указывая на те изменения, которые развивающаяся военная техника последовательно производила в боевой тактике, формулирует свои основные взгляды на современное военное искусство следующими словами: „Ничто не зависит в такой степени от экономических условий, как армия и флот. Вооружение, состав, организация, тактика и стратегия зависят прежде всего от достигнутой в данный момент ступени производства и от путей сообщения. Не „свободное творчество разума" гениальных полководцев действовало здесь революционизирующим образом, а изобретенье лучшего оружия и изменение живого солдатского материала; влияние гениальных полководцев в лучшем случае ограничивается тем, что они приспособляют характер борьбы к новому оружию и новым образцам" [1]).

Эти основные взгляды Энгельса красною нитью проходят последовательно через все его военные труды, и в этом их главная ценность. В этом отношении военные труды Энгельса по своим выдающимся достоинствам могут быть вполне поставлены рядом с историческими работами Маркса. В них так же, как и в работах Маркса, та же сила анализа, та же железная логика, та же голая без прикрас и сентиментальностей истина. И действительно, только социолог-материалист такой исполинской величины, как Энгельс, мог вполне отчетливо разобраться в сложной исторической обстановке любого исторического периода; только у Энгельса, в совершенстве владеющего диалектическим методом, могла иметься способность почти безошибочного исторического прогноза, только Энгельс, с присущей ему проницательностью, был в состоянии, как это видно из настоящих трудов, учесть целый ряд факторов не военного порядка, оказывающих, однако, громадное влияние на ход военных операций.

Здесь как раз Энгельс, точно так же, как и Маркс, на собственном примере, в своих личных трудах, выявил подлинную силу своей собственной теории, силу им же созданного метода.

В самом деле: целый ряд мест из трудов военного характера, вышедших из-под пера Энгельса, является наглядным доказательством только что приведенного утверждения. Так, например, относительно последствий мировой войны, которая, по мнению Энгельса, неминуемо должна была возникнуть между германско-австрийской коалицией и франко-русским союзом (он предвидел и это), Энгельс в своем предисловии к труду Боркгейма. „Воспоминания о германских квасных патриотах 1806—1807 годов" рисует необычайно верную и в настоящее

[1]) Ф. Энгельс, Статьи и письма по военным вопросам, стр. 283.

время слишком хорошо знакомую нам картину империалистической войны 1914—1918 г.г. и ее последствий.

Вот какие строки читаем мы в этом предисловии Энгельса: „От восьми до десяти миллионов человек будут избивать друг друга, причем они так объедят Европу, как этого никогда не удавалось рою саранчи. Получится следующее: опустошения тридцатилетней войны на протяжении от трех до четырех лет и распространенные по всему материку Европы: голод, болезни, всеобщая вызванная острою нуждой одичалость армий и народных масс; безнадежная путаница в наших искусственных условиях торговли, промышленности и кредита с завершением всего в общем банкротстве; крушение старых государств и их традиционной государственной мудрости в такой мере, что короны дюжинами будут валяться на улицах, и не найдется никого, кто захотел бы поднять их; абсолютная невозможность предусмотреть, как все это кончится, и кто выйдет победителем; абсолютно верен один только результат—всеобщее истощение и возникновение условий для окончательного торжества рабочего класса".

Далее в своем письме к Зорге, написанном в 1888 году и касающемся всецело будущей мировой войны, Энгельс пишет следующее: „Война отбросила бы нас назад на годы. Шовинизм все потопил бы, так как это была бы борьба за существование... В действие были бы пущены от десяти до пятнадцати миллионов солдат.. И дело не кончилось бы быстро, несмотря на колоссальные военные силы... И если все пойдет по желанию Бисмарка, то на нацию будет возложено столько тягостей, каких она раньше никогда не терпела, и вполне возможно, что отсутствие решающих битв и частичные поражения вызовут внутренний переворот. Если же немцы с самого начала будут побиты или будут вынуждены на продолжительную оборонительную войну, тогда переворот уж, несомненно, наступит... Победительницей явилась бы по всей линии американская промышленность и поставила бы всех нас перед выбором: либо вернуться к сельскому хозяйству..., либо—социальный переворот".

Приведенные выписки едва ли нуждаются в каких-либо особых комментариях. Прогноз, за исключением отдельных деталей, в общем сделан поразительно верно. Вся Европа и поныне несет на себе все указанные Энгельсом последствия мировой войны, и последствия эти далеко еще не скоро будут изжиты. Но особенно заслуживает быть отмеченным предсказание Энгельса относительно победы американской промышленности. Конечно, полного торжества американской промышленности не наблюдается, но крупный рост экономического могущества Соединенных Штатов Северной Америки за счет Европы не подлежит ни малейшему сомнению. Так, например, до мировой войны южно-американский рынок целиком принадлежал Англии, теперь он надолго и прочно перешел Северо-Американским Соединенным Штатам, и все старания Англии вернуть этот рынок обратно до настоящего времени успехом не увенчались. Далее, до войны Соединенные Штаты были в долгу у Европы: в настоящее время картина наблюдается обратная: Соединенные Штаты являются кредитором Европы. Проф. Любимов в своем „Курсе политической экономии", изданном в 1924 году, пишет, что до войны почти не было ни одного крупного американского предприятия, акции которого не принадлежали бы в значительной мере европейцам, а теперь, наоборот, значительная доля крупнейших европейских предприятий принадлежит капиталистам Америки. Ту же самую картину констатирует проф. Любимов относительно экспорта и импорта С. Штатов. За шесть лет, предшествовавших войне, вывоз С. Штатов в Европу составлял всего лишь 7.963 миллиона долларов; за промежуток времени с 1915 по 1921 г. он возрос до 24.283 миллиона долларов. Наоборот, ввоз из Европы в С. Штаты понизился почти на 21%.



Таким образом в общих чертах предвиденье Энгельса оправдалось, и разница наблюдается только в степени роста американской промышленности за счет европейской. Что же касается неизбежности социального переворота, явившейся в результате мировой войны, то неизбежность эта слишком остро чувствуется пролетариатом Европы: таковой переворот для европейского пролетариата является задачей сегодняшнего дня.

Но перейдем непосредственно к книге Энгельса „Статьи и письма по военным вопросам". Книга эта состоит из четырех частей, из которых каждая имеет совершенно самостоятельное значение.

В первую часть вошли: статья о парижском восстании, имевшем место в июне 1848 года, статья о революционном движении в рейнской Пруссии в 1849 году и статья „Возможность и предпосылки войны священного союза против Франции в 1852 году".

Вторая часть под заглавием „Восточная война 1853—1856 г.г." составляет почти половину всей книги, и содержание ее посвящено детальному обзору крымской кампании.

Затем идут последовательно друг за другом статьи „По и Рейн", „Савойя, Ницца и Рейн" и глава из „Анти-Дюринга"—„Развитие военного искусства в эпоху капитализма", вместе составляющие третью часть.

В четвертой части помещены письма Энгельса к Марксу по военным вопросам за время с 1854 по 1871 год.

Наиболее законченными и интересными являются части вторая и третья, ярко описывающие этапы политической истории Европы за пятидесятые и начало шестидесятых годов прошлого столетия.

Этот промежуток времени для Европы был чреват целым рядом событий в области ее политической жизни, и потому на нем придется остановиться несколько подробнее.

Пятидесятые годы в Европе были годами злейшей реакции, которая повсеместно царила после неудачной революции 1848 года. Самым главным оплотом этой реакции являлся русский царизм, активно принявший участие в подавлении революции и заливший потоками крови Венгрию, восставшую против габсбургского самодержавно-полицейского гнета. Вполне поэтому понятно, что, когда началась война Турции в союзе с англо-французской коалицией против николаевской России, игравшей роль европейского жандарма, Маркс и Энгельс приветствовали эту войну, поскольку она (в случае ее неудачного исхода для России, а таковой исход можно было предвидеть) должна была бы привести к ослаблению русского царизма. „Самым важным,—писал Франц Меринг,—Маркс считал непримиримую борьбу против той варварской державы, глава которой находится в Петербурге, а руки ведут подкопы во всех кабинетах Европы" [1]).

И Маркс, и Энгельс видели в русском царизме не только „временную опору европейской реакции, но и главного врага", против которого должны быть направлены совокупные усилия международного пролетариата, т. к. „даже пассивное существование русского царизма" представляло определенную угрозу для развития европейского рабочего движения. Дело в том, что своим систематическим вмешательством в европейские дела русское самодержавное правительство ставило целый ряд препятствий не только развитию револю-

[1]) Фр. Меринг, Карл Маркс, история его жизни, стр. 193.

ционного движения пролетариата, но даже образованию и развитию элементарной гражданственности у буржуазных классов, стремившихся хотя бы и к весьма умеренным демократическим реформам. К тому же в интересах царской России было поддерживать те пережитки феодализма, которые в средине девятнадцатого столетия были необычайно характерны для центральной Европы. Учитывая постоянную раздробленность Германии на целый ряд мелких государств, русский царизм, пользуясь принципом „divide et impera", мог вполне навязывать каждому из этих государств свою волю. Так и было в действительности. Достаточно вспомнить, что даже такие крупные государства, как Австрия и Пруссия, долго играли роль вассалов по отношению к России и в своей внешней и внутренней политике руководствовались ее указкой. А если принять во внимание захватнические стремления крепостнической России, если учесть, что Россия того времени всеми силами стремилась создать себе такое географическое положение, которое смогло бы укрепить ее господство над Европой, то будет понятна та линия, которой придерживались Маркс и Энгельс в своих взглядах на смысл и значение восточной войны.

И действительно, мы видим, что на страницах „Нью-Йоркская Трибуна" Маркс и Энгельс вели самую ожесточенную кампанию против самодержавной России.

„Нью-Йоркская Трибуна", по словам Меринга, воодушевленно выступала за независимость поляков и требовала войны с Россией, как с мощным резервом европейской контр-революции.

Но каково же было отношение Энгельса к Турции и ее союзникам?

Небольшая территориально, не имевшая ни самостоятельной политики, ни влияния на европейские дела, Турция, конечно, не могла возбуждать никаких опасений в смысле угрозы для международного революционного движения. И поэтому вполне понятно, что в войне между Россией и Турцией симпатии Энгельса были на стороне последней.

Что же касается союзников Турции, то отношение к ним было здесь несколько иное.

Англия, как единственная в то время страна в капиталистическом отношении вполне развитая и стремившаяся к монополистическому господству на европейских рынках, издавна видела во Франции свою соперницу. Роль Англии в ее борьбе с Великой Французской революцией и позднее, во время наполеоновских войн, слишком общеизвестна, чтобы на ней подробно останавливаться. Несмотря на свой прославленный политический режим, „демократическая" Англия конца восемнадцатого и начала девятнадцатого века по своим экономическим интересам являлась естественной союзницей крепостнической России против Франции. Коалиции против Великой Французской революции, против Наполеона, в которых главную роль играла Россия, были, как известно, почти полностью созданы на английские деньги. Но, начиная со второй четверти XIX века, долговременная вражда между Англией и Францией прекратилась и в войне против Турции в 1828 году недавние враги, объединенные общими экономическими интересами, выступали как союзники. Стремясь упрочить свое влияние на берегах Средиземного моря и простирая свои вожделения и на Балканы, Англия и Франция естественно должны были столкнуться с Россией, бесцеремонно хозяйничавшей на Балканском полуострове, где она „отечески" опекала „братские" славянские племена и не прочь была „опечь" и Турцию. На почве этого столкновения и возник англо-французско-турецкий союз против России.



Был и еще один момент, несколько содействовавший возникновению союза между Англией и Францией;—заключался он в том, что в обеих странах господствовал однородный реакционный политический режим.

Несмотря, однако, на все это, союз Англии и Франции с Турцией вызывал у Энгельса сочувственное отношение. Энгельс так же, как и Маркс, прекрасно понимал, что реакционный политический режим при наличии развитого капитализма являлся в обеих странах режимом не только временным, но и относительно кратковременным, поскольку в противовес этому режиму выдвигалась сила пролетариата, имевшего за собой, как в Англии, так и во Франции, многолетний революционный опыт. Царская Россия в смысле опасности для международного рабочего движения была куда более сильным врагом и для разгрома этого врага необходимо было направить все усилия. Необходимо при этом отметить, что к полной победе над Россией союзники не стремились: они желали лишь частичного ее ослабления, и эту их двойственную линию Франц Меринг характеризовал следующими словами: „И Маркс, и Энгельс считали эту войну, поскольку ее вела Франция и в особенности Англия, только показной, хотя она и стоила миллиона человеческих жизней и несчетных миллионов деньгами. Так оно, действительно, и было, в том смысле, что ни лже-Бонапарт, ни лорд Пальмерстон не намеревались сразить русского колосса в его жизненном нерве" [1]).

Так или иначе, но из двух зол приходилось выбирать меньшее, и потому ориентация Энгельса была на союзников.

Взятая Энгельсом политическая линия не помешала тем не менее ему быть объективно беспристрастным в оценке деталей войны, за которою он наблюдал с очень большим интересом. И если мы обратимся к статьям, посвященным описанию крымской кампании, то мы увидим, насколько реально была учтена Энгельсом вся экономическая и политическая обстановка, имевшая место как у союзников, так и в России. Статьи эти необычайно ярко показывают, насколько вся практика войны в ее мельчайших деталях была тесно связана с развитием производительных сил и внутренним политическим режимом, господствовавшим у воюющих сторон.

Николаевская Россия, бонапартовская Франция и пальмерстоновская Англия изображены Энгельсом фотографически верно со всеми их специфическими особенностями, явившимися в результате определенной системы. Весь этот материал представляет очень большую ценность для нашего командного состава, с военно-исторической стороны. Но есть и другая сторона, благодаря которой изучение военных трудов Энгельса приобретает непосредственно практическое значение.

„Изучение истории войн нашей эпохи,—пишет тов. Попов в своем предисловии к разбираемой нами книге,—необходимо связано с изучением конкретной обстановки, в которой они происходили, с изучением театров войны. А эти театры продолжают существовать и теперь. Они являются ареной не только прошлых, но и будущих войн".

И в качестве иллюстрации к этой мысли тов. Попов приводит целый ряд фактов. Он устанавливает, что блестящее описание кавказского театра войны сохраняет свое значенье и поныне, т. к. теперешняя наша граница с Турцией почти совпадает с границей 1853 года.

Далее в оценке Севастопольской кампании тов. Попов приходит к заключению, что „колоссальные потери людьми, испытанные Рос-

[1]) Франц Меринг, История германской социал-демократии, стр. 192.

сией в эту войну, имели в своем основании те же самые причины, благодаря которым царская Россия была разбита в мировой войне, от которых мы страдали в последнюю гражданскую войну и над устранением которых Красная армия работает и поныне".

Целый ряд и других имевших место в этой войне моментов, приводимых т. Поповым, ярко указывают, насколько важным для нас является изучение военных трудов Фридриха Энгельса, как писателя определенного мировоззрения.

Настоятельная необходимость такового изученья очень рельефно указана т. Троцким в его предисловии ко второй книге Энгельса „Статьи о войне 1870—1871 г.г.":

„Проработка очень скупого энгельсовского текста,—пишет т. Троцкий.—Сравнение его оценок и прогнозов с одновременными оценками прогнозами тогдашних военных писателей представляли бы крупный интерес и являлись бы не только ценнейшим вкладом в биографию Энгельса—а его биография есть глава в истории социализма,—но и чрезвычайно яркой иллюстрацией к вопросу о взаимоотношении между марксизмом и военным делом".

Статьи „По и Рейн" и „Савойя, Ницца и Рейн" были написаны Энгельсом в 1859 и 1860 г.г. и содержание их тесно связано с тем международным положением, которое имело место в Европе перед итальянской войной и во время последней. В то время Италия была раздроблена на целый ряд мелких государств, и некоторые из этих государств находились всецело в зависимости от Австрии.

Габсбургской Австрии были подчинены не только Ломбардия и Венецианская область, но ее влияние шло гораздо дальше, т. к. фактически оно распространялось также и на всю среднюю Италию.

При этом заслуживает быть отмеченным тот факт, что свое господство на итальянской территории Австрия могла поддерживать только при помощи насилия, и эта ее насильственная политика, систематически проводимая по отношению к итальянскому населению естественно вызывала со стороны последнего страшное озлобление и самый решительный протест, проявления которого временами выливались в форму террористических актов.

Борьба за свою независимость, за освобождение от иноземного владычества к концу пятидесятых годов прошлого столетия начинала принимать в Италии все большие и большие размеры. Этим движением были охвачены решительно все классы общества. Но, несмотря на отчаянную борьбу, итальянский народ был все же слишком слаб, чтобы преодолеть могущество Австрии, упорно стремившейся удержать под своею властью верхнюю Италию.

Это свое упорное желание обладать указанной территорией Австрия старалась оправдать мотивами национальной обороны. Основная линия венского правительства по данному вопросу заключалась в том, что верхняя Италия необходима не только Австрии, но и всему германскому союзу как опорный пункт против Франции, что река По важна для Германии в стратегическом отношении. „Габсбургский наместник гласил, что Рейн надо оборонять на берегах По" [1]).

К 1859 году положение в Италии стало особенно напряженным, и перед итальянским народом выяснилось, что рассчитывать в борьбе с Австрией на собственные силы ему не приходится, что освобождение от австрийского ярма станет возможным лишь при наличии иностранной помощи. Таковую помощь Италия надеялась получить от бонапартистской Франции, с которой на этот счет велись определенные переговоры.

[1]) Фр. Мерринг, цитир. сочинение.



Положение создавалось довольно-таки пикантное. Франция, искони стремившаяся к ослаблению Италии, неукоснительно старавшаяся вплоть до последнего времени поддерживать в Италии ту же политическую раздробленность, что и в Германии, выступала теперь в качестве активного борца за объединение и освобождение Италии от австрийского гнета.

И если бы мы пожелали уяснить себе те истинные мотивы, которые руководили Бонапартом в его „великодушном" желании оказать помощь Италии, то лучше всего нам следовало бы обратиться к письму Маркса, написанному им 4 февраля 1859 года Лассалю, в котором Маркс подробно описал создавшееся политическое положение и указал на те причины, которые побуждали Бонапарта к войне. Война для Бонапарта была буквально необходима и в первую голову к этой войне вынуждало Бонапарта чрезвычайно стесненное финансовое положение Франции.

„Без войны,—писал Маркс,—кормить французскую армию стало вовсе уже невозможно, а Ломбардия лакомый кусок. К тому же при войне становятся и возможными „военные займы". Всякий же другой заем теперь невозможен" [1]).

Далее Марксом указывалось, что „за последние два года Бонапарт ежедневно все более и более терял уважение всех партий Франции и его дипломатические дела представляли целый ряд неудач" [1]).

Следует при этом принять во внимание, что к этой войне Бонапарта систематически подстрекала Россия, рассчитывавшая принять в ней активное участие, т. к. Россия, по словам Маркса, ожидала в то время „внутренней аграрной революции и внешняя война в качестве громоотвода была бы, может быть, для правительства желательна, не говоря уже о всех дипломатических целях" [1]).

Было и еще одно немаловажное обстоятельство, являвшееся причиной „великодушных эмоций" французского императора. Согласно договору с Сардинским министром иностранных дел Кавуром, Наполеон, в случае удачной войны, должен был получить и территориальные компенсации в виде присоединения к Франции Савойи и Ниццы. В своей статье „Савойя, Ницца и Рейн" Энгельс подробно останавливается на тех выгодах, которые должна была получить Франция от приобретения Савойи и Ниццы, и выгоды эти в военном отношении Энгельс считает колоссальными.

Весною 1859 года война уже была в полном разгаре.

Не рассчитывая на свои собственные силы, совершенно лишенная союзников, угрожаемая со стороны России, давшей Луи Бонапарту „письменные обязательства" [2]), Австрия всячески старалась втянуть в эту войну весь германский союз, всемерно стремясь доказать, что в обладании верхней Италии заинтересована вся Германия, как целое.

К этому приблизительно времени и появились статьи Энгельса „По и Рейн" и затем „Савойя, Ницца и Рейн".

В статье „По и Рейн", появившейся весною 1859 года, Энгельс со свойственной ему логикой и научно обоснованной аргументацией доказывал, что германский союз совершенно не заинтересован в утверждении своего господства в верхней Италии. Даже более: с точки зрения Энгельса господство это для германского союза являлось

[1]) Маркс Лассалю № 50 от 4.II 1859 г.

[2]) Согласно этих „письменных обязательств" „Россия должна была мобилизовать 4 армейский корпуса и выставить их на прусской и австрийской границе, чтобы облегчить Наполеону его игру" (Фр. Энгельс, „Савойя, Ницца и Рейн", стр. 247.)

крайне нежелательным, поскольку оно вызывало в итальянском населении страшную ненависть не только к Австрии, но и ко всей Германии. А если принять во внимание, что свое господство в Италии Австрия была в состоянии поддерживать лишь путем организованного сверху террора, путем неслыханных жестокостей и возмутительных насилий, чинимых австрийскими властями в отношении итальянского населения, то таковое господство Энгельс считал для Германии определенно вредным.

Едко высмеивая немецких квасных патриотов, носившихся с идеей германской великодержавности и мечтавших о создании средне-европейской империи, которая „в самом непродолжительном времени овладеет мировым могуществом на суше и на море и откроет новую историческую эпоху",—Энгельс заявляет, что все эти патриотические фантазии он не собирается даже рассматривать: настолько они абсурдны.

„Нас интересует здесь,—говорит Энгельс,—следующее: необходимо ли для обороны Германии перманентное господство в Италии и полное обладание Ломбардией и Венецией? Или, переводя вопрос на чисто военный язык, нуждается ли Германия для обороны своей южной границы в обладании Эчем, Минчио и нижним течением По?" [1])

И в своей статье Энгельс наглядно доказывает, что если для Австрии является важным обладание линией Минчио, то для Германии в целом это совершенно не является необходимостью.

Притязания Австрии на верхнюю Италию с рекою По Энгельс сравнивает с притязаниями Франции на левый берег Рейна. При этом Энгельс указывает, что если исходить из чисто военных соображений, то Франция имеет гораздо больше прав на Рейн, чем Германия на По.

И поэтому Энгельс самым решительным образом считает нужным протестовать против захватнической политики Австрии.

„Вместо того, чтобы стремиться к усилению при помощи захвата чужой территории и угнетения чужой национальности,—пишет Энгельс,—постараемся стать едиными и сильными в своем собственном доме" [2]).

Создание национального единства, уничтожение пережитков феодализма—вот что рекомендовал Энгельс Германии. И Энгельс, и Маркс прекрасно видели, что революционные стремления германского пролетариата могли бы быть осуществлены только при наличии объединения Германии. И к этой теме они оба неоднократно возвращались начиная с 1848 года вплоть до франко-прусской войны, положившей основание германскому объединению.

Но, являясь горячим протестантом против захватов и аннексий, Энгельс тем не менее являлся ярым сторонником решительного отпора домогательствам Луи Бонапарта. Со свойственной ему гениальной прозорливостью Энгельс вскрыл подлинные причины и цели итальянской войны, начатой Луи Бонапартом под флагом освобождения Италии. Он наглядно указал, что война ведется не из-за объединения [3]) Италии, а направлена в лице Австрии против всего германского союза.

„Вопрос о владении Ломбардией,—писал Энгельс,—должны решать между собой Италия с Германией, а не Луи Бонапарт с Австрией. Луи Бонапарт является здесь третьим лицом, которое вмешивается ради собственных интересов, резко противоречащих немецким" [4]).

[1]) Ф. Энгельс, „По и Рейн", стр. 188.

[2]) Ф. Энгельс, цит. соч.

[3]) О том, как проводил Луи Наполеон объединение Италии на практике, см. стр. 272 („Савойя, Ницца и Рейн"). Италия согласно его плана должна была делиться по меньшей мере на 3, а то и на 4 государства.

[4]) Ф. Энгельс, „По и Рейн", стр. 233.



Освобождение Италии является таким образом только предлогом для войны и по отношению к этому третьему лицу может быть, по мнению Энгельса, лишь один разговор: „раз на нас напали, мы вынуждены обороняться".

Еще ярче подчеркивала эту же самую мысль статья „Савойя, Ницца и Рейн".

„На одного из нас напали,—писал Энгельс в этой статье,—и напал некто чужой, ничего общего не имеющий с Италией, но зато крайне заинтересованный в том, чтобы захватить левый берег Рейна. Этот чужой—Луи Наполеон, и перед лицом воплощенных в нем традиций Первой Империи все мы должны сплотиться. Вот что понял народ своим инстинктивным, но верным чутьем" [1]).

Таким образом мы видим, что в этих двух статьях Энгельс является ярым сторонником самой энергичной защиты Германии от Наполеона III.

И можно сказать с уверенностью, что иной точки зрения при данных конкретных обстоятельствах быть и не могло.

Победа бонапартистской Франции, действовавшей в полном контакте с русским царизмом, неминуемо должна была содействовать еще большему расчленению Германии, еще большему ее порабощению.

Эта победа даже не исключала возможности раздела Германии.

В четвертой главе статьи „Савойя, Ницца и Рейн" Энгельс подробно разбирает сложившуюся политическую ситуацию и указывает на те опасности, которые угрожали бы германскому народу в случае осуществления планов „франко-русского комплота". Само собой разумеется, что при таком положении вопрос о возможности успешной революционной борьбы пролетариата совершенно шел на смарку, т. к. непременным условием таковой успешности являлось национальное единство. К защите этого единства и призывал Энгельс в статьях „По и Рейн" и „Савойя, Ницца и Рейн". Это единство, по мнению как Энгельса, так и Маркса, являлось той необходимой базой, на основе которой и могло успешно развиваться германское рабочее движение. Здесь таким образом перед нами не шовинизм, не патриотизм социал-оборонцев, а подлинная защита интересов революции.

О том, насколько Энгельсу чужды были „оборонческие" настроения, свидетельствует его книга, посвященная франко-прусской войне.

Эта война поставила проблему национального объединения Германии на почву ее реального осуществления, и потому нам при разборе этой книги придется остановиться на этом вопросе несколько подробнее. По этому вопросу мы располагаем более или менее обширным материалом в виде переписки Маркса и Энгельса [2]), не оставляющей ни малейшего сомнения в том, что ни тот, ни другой никогда не были немецкими патриотами типа Шейдеман, Эберт и К° и что их „патриотизм" (если вообще можно говорить в применении к ним о таковом) всегда обусловливался интересами международного рабочего движения.

Нам остается сказать еще несколько слов о статье „По и Рейн". Появление этой статьи, как уже указывалось выше, вызвало буквально сенсацию в германских военных кругах. По своим выдающимся достоинствам статья эта и поныне признается исключительно талантливой в смысле правильности стратегического анализа. И тов. Попов подробно указывает (стр. XLVII, XLVIII, XLIX), насколько блестяще

[1]) Ф. Энгельс, „Савойя, Ницца и Рейн", стр. 239.

[2]) Часть этой переписки в виде писем Энгельса к Марксу имеется в книге „Статьи и письма по военным вопросам".

опыт мировой войны подтвердил предсказания Энгельса, сделанные им как относительно всей мировой войны в ее целом, так и относительно отдельных ее моментов.

Но есть в этой статье одно место, которое лишний раз показывает, насколько обладал Энгельс способностью исторического прогноза, и место относится к нарушенью нейтралитета Бельгии. Энгельс предвидел, что нейтралитет Бельгии в будущей мировой войне неизбежно будет нарушен, при чем нарушение этого нейтралитета, в силу чисто стратегических соображений, в равной мере могло бы исходить как от Германии, так и от Франции.

Не обольщаясь никакими иллюзиями относительно ценности международных договоров, которые заключались между буржуазными правительствами, Энгельс в указанной статье писал следующие, имеющие буквально пророческое значение, строки: „Здесь можно оставить без внимания те обстоятельства, что благодаря европейским договорам Бельгия, подобно Швейцарии, есть страна нейтральная. Во-первых, практике истории придется еще доказать, что этот нейтралитет во время европейской войны нечто большее, чем лист бумаги".

Германский канцлер Бетман-Гольвег, который несомненно никогда не читал Энгельса, как известно, полностью повторил его слова, заменив только выражение „лист бумаги" выражением „клочек бумаги".

Заканчивая наш краткий обзор книги „Статьи и письма по военным вопросам", нельзя не отметить, что наравне с исчерпывающей эрудицией по военной науке и связанным с ней дисциплинам, наравне с громадной проницательностью, которую обнаружил Энгельс в своей оценке грядущих событий европейской истории, мы все же находим у Энгельса и некоторые, если можно так выразиться, логические lapsus'ы, которые неосведомленного читателя могут поставить в тупик.

Так, например, в статье „Военное искусство в эпоху капитализма" Энгельсом высказана определенно „странная" мысль. То состояние военной техники, которое Энгельс наблюдал во время франко-прусской войны, он считает в указанной статье пределом человеческих достижений в этой области.

„Франко-прусская война,—пишет Энгельс,—отмечает собою поворотный пункт, имеющий гораздо большее значение, чем все предыдущие перемены. Во-первых, оружие так усовершенствовано теперь, что какой-либо новый прогресс в этой области, который мог бы иметь сколько-нибудь революционизирующее действие, невозможен".

Такой взгляд т. Попов объясняет тем, что Энгельс был уверен в близком крушении капитализма и в том, что социализму после своей окончательной победы не понадобится развивать военную технику.

И объяснение т. Попова находит полное подтверждение. Из истории социализма нам известно, что Маркс и Энгельс считали, что свержение капиталистического строя должно произойти при их жизни. К этому моменту и приурочивались некоторые отдельные этапы в их тактике. Да наконец своему изучению военных наук Энгельс, принимавший активное участие в баденско-пфальцском восстании, придавал глубоко практическое значение. Отмечая, как ревностно и основательно занимался Энгельс военными науками, Франц Меринг писал, что эта „старая склонность" питалась практическими потребностями революционной политики. Энгельс имел в виду „огромное значение, которое parti militaire приобретает в ближайшем революционном движении".

Вторая книга Энгельса посвящена франко-прусской войне, во время которой Энгельс был военным корреспондентом английской газеты „Pall Mall".



Книга эта представляет собой целый ряд военных обзоров, последовательно написанных Энгельсом в указанной газете в связи с развивавшимися военными операциями. И поэтому для более отчетливого понимания этого труда, необходимо напомнить читателю ту позицию, которую заняли Маркс и Энгельс в отношении к франко-прусской войне.

Из предыдущего изложения видно, что на протяжении своей жизни Маркс и Энгельс в своем отношении к тем или иным историческим событиям, происходившим на их глазах, всегда неизменно руководились интересами международного рабочего класса. Не будучи в состоянии воспрепятствовать возникновению той или иной войны, они старались всячески использовать данную войну в интересах международного рабочего движения.

„Для них (т.-е. для Маркса и Энгельса),—писал Франц Меринг,—всякая война имела свои предпосылки и следствия, и уже от последних зависело, как должен отнестись к ней рабочий класс".

И поэтому во франко-прусской войне позиция Маркса и Энгельса обусловливалась исключительно интересами как немецкого, так и французского пролетариата.

Чтобы правильно понять те исторические условия, в которых развивалось германское рабочее движение в период, предшествовавший франко-прусской войне, необходимо хотя бы вкратце припомнить то экономическое и политическое положение, в котором находилась тогдашняя Германия. Как известно, в то время Германия не представляла собой единого государства, каковым она сделалась после франко-прусской войны. Расчленение Германии на целый ряд отдельных самостоятельных государств, самостоятельная политика каждого из этих государств, мелкие распри между ними,—все это для немецкого пролетариата являлось фактором, задерживавшим развитие классовой борьбы.

Необходимость национального объединения, наличие которого положило бы основание для мощного развития рабочего движения, уже задолго до франко-прусской войны прекрасно сознавалось Марксом и Энгельсом.

И еще в 1848 году во время германской революции, когда Маркс от имени центрального комитета коммунистической партии выпустил свое знаменитое воззвание, содержащее семнадцать требований „в интересах немецкого пролетариата, мелкой буржуазии и крестьянства", то среди этих требований на первом месте стояло требование провозглашения всей Германии единой и нераздельной республикой.

Таким образом национальное единство Германии являлось, по мнению Маркса и Энгельса, тем необходимым условием, которое должно было бы обеспечить германскому пролетариату возможность развития рабочего движения. Этой точкой зрения и определялась та позиция, которую заняли Маркс и Энгельс как во время австро-прусской войны, так и во время франко-прусской.

Ко времени франко-прусской войны было уже вполне ясно, что о революции, которая смогла бы положить начало созданию германского объединения при тогдашних условиях, не могло быть и речи, так как германский пролетариат был и разъединен, и слишком малочисленен, и плохо организован для того, чтобы произвести революцию. И хотя усиленным темпом идущее промышленное развитие Германии и создавало в среде германского народа объединительное движение, но характер этого движения был несколько иного порядка.

Франц Меринг в своей книге, посвященной жизнеописанию К. Маркса, характеризует тогдашнее политическое положение следующими словами:

„Тогда уже выяснилось, что национальная революция невозможна, ввиду трусости буржуазии и слабости пролетариата, что спасянная „кровью и железом" великая Пруссия открывает более благоприятные перспективы для классовой борьбы пролетариата, чем,— к тому же, конечно, маловероятное—восстановление немецкого союзного сейма с его жалкой захолустной политикой" [1]).

Этими-то как раз соображениями и руководствовались Маркс и Энгельс в своем отношении к франко-прусской войне.

Потратившим в свое время немало усилий на борьбу против „всяких династически-сепаративных стремлений велико-прусской политики", Маркс и Энгельс принуждены были, однако, „считаться с северо-германским союзом, как с фактом действительности, ничуть не желанным и тем более вызывающим восторг", но все же создающим для немецкого рабочего движения определенный стимул к развитию.

Изданная в настоящее время переписка между Марксом и Энгельсом дает возможность точно установить их взгляды на те последствия, которые ими ожидались от франко-прусской войны.

21 июля 1870 года, т.-е. на следующий день после объявления Наполеоном войны Пруссии, Маркс писал Энгельсу:

„Французов надо вздуть: если пруссаки победят, тогда централизация государственной власти принесет пользу централизации германского рабочего класса. Перевес Германии перенесет центр тяжести западно-европейского рабочего движения из Франции в Германию, и стоит только сравнить движение, начиная с 1866 г. до настоящего времени в обеих странах, чтобы увидеть, что немецкий рабочий класс теоретически и организационно выше французского. Его перевес на мировом театре над французским явился бы в то же время и перевесом нашей теории над теорией Прудона".

В письме от 8 августа 1870 г. Маркс, верный занятой ранее позиции, писал Энгельсу: „Империя создана,—т.-е. Германская империя. Так или иначе, хотя и не тем путем, какой предполагался и не так, как это представляли, но, повидимому, все плутовство со времени второй империи вело, в конце концов, к выполнению национальных задач 1848 г.—Венгрия, Италия, Германия! Мне кажется, что движение подобного рода будет доведено до конца тогда, когда дело дойдет до драки между русскими и пруссаками".

И, наконец, 15 августа 1870 г., Фридрих Энгельс, бывший в то время уже корреспондентом газеты „Pall Mall" и внимательно следивший за ходом военных действий, в письме к Марксу определил свое отношение к войне следующими словами:

„Мне кажется, что дело обстоит следующим образом: Бонапарт втравил Германию в войну за ее собственное национальное существование. Если она окажется побежденной Бонапартом, то бонапартизм укрепится на целые годы, Германия же на целые годы, а может быть, даже на целые поколения, погибнет. О самостоятельном немецком рабочем движении в таком случае не может быть больше и речи; борьба за восстановление национального бытия поглотит тогда все, и в лучшем случае немецкие рабочие окажутся на буксире у французских. Если победит Германия, то французский бонапартизм во всяком случае погибнет, исчезнет, наконец, вечная склока из-за

[1]) Франц Меринг, История жизни К. Маркса, стр. 352.



восстановления немецкого единства; немецкие рабочие смогут организоваться в совершенно ином национальном масштабе, сравнительно с тем, что было до сих пор, а французские рабочие, каковое бы правительство ни последовало за этим, будут иметь, конечно, более свободное поле действия, чем при бонапартизме.

Как видно из приведенных писем, взгляды Маркса и Энгельса и здесь, как и во всех вопросах на протяжении всей их жизни, были вполне тождественны. В этом отношении у обоих великих родоначальников научного социализма всегда наблюдалось полное единомыслие, полный контакт.

И проглядывая настоящий труд Энгельса, мы видим, что в первый период войны симпатии его находились на стороне Пруссии, выполнявшей историческую задачу национального объединения. И хотя труд Энгельса носит на себе характер редкой объективности, каковая является неизменной принадлежностью писателя материалистического мировоззрения, тем не менее целый ряд как бы случайно брошенных замечаний наглядно показывает, на чьей стороне находился военный корреспондент газеты „Pall Mall" в первую стадию войны.

В особенности достается всей бонапартовской системе. Каждый неудачный шаг французской армии, каждый промах Луи Наполеона и его соратников Энгельс объясняет как следствие всей системы Наполеоновского режима. И эти места его труда имеют исключительно важное значение. Здесь перед нами не военный корреспондент, не „остающийся в тайне прусский генерал", а прежде всего социолог, умело оперирующий с историческими фактами и поразительно тонко разбирающийся в сложной обстановке.

И действительно, перед нами, как живая, встает прогнившая насквозь Вторая Империя с ее продажностью, взяточничеством и шкурничеством, с ее чванным шовинизмом, с ее полным умственным и моральным банкротством.

Верный своему мировоззрению, Энгельс с беспощадной силой анализа обнаруживает, что все французские неудачи в этой войне могут быть объяснены тем поистине трагически бедственным положением, до которого была доведена Франция хозяйничаньем Бонапарта и его присных.

Бонапартизм с самого начала своего существования находил должную оценку у Маркса и Энгельса. Об этом достаточно свидетельствуют и исторические труды, и переписка обоих. Когда началась франко-прусская война, то Маркс, в адресе, изданном 23 июля 1870 г. генеральным советом Интернационала, первый предсказал неизбежную гибель Наполеона и его империи. И настоящий труд Энгельса, рассматривая подробно шаг за шагом развивающиеся военные события, приведшие к падению Второй Империи, дает полное фактическое обоснование утверждению Маркса. В этой своей работе Энгельс как бы дополняет Маркса, и в то же время эта работа Энгельса является необходимым введением в другой труд Маркса, а именно в книгу о гражданской войне во Франции. Причины возникновения и затем гибели Парижской Коммуны нам становятся особенно понятными после прочтения настоящей книги Энгельса.

Падение Второй Империи, как известно, последовало через полтора месяца после начала войны. В начале сентября 1870 г. главная французская армия капитулировала при Седане, при чем Наполеон был взят в плен, и этот факт знаменовал собой падение Второй Империи. И действительно, во Франции была немедленно образована буржуазная республика. Казалось бы, теперь война должна была кончиться, тем более, что прусский король неоднократно заявлял, что он воюет не с французским народом, а с правительством француз-

Франц Меринг в своей книге, посвященной [illegible] К. Маркса, характеризует тогдашнее политическое положение следующими словами:

„Тогда уже выяснилось, что национальная революция невозможна, ввиду трусости буржуазии и слабости пролетариата, что спаянная „кровью и железом“ великая Пруссия открывает более благоприятные перспективы для классовой борьбы пролетариата, чем,—к тому же, конечно, маловероятное—восстановление немецкого союзного сейма с его жалкой захолустной политикой“ [1]).

Этими-то как раз соображениями и руководствовались Маркс и Энгельс в своем отношении к франко-прусской войне.

Потратившим в свое время немало усилий на борьбу против „всяких династически-сепаративных стремлений велико-прусской политики“, Маркс и Энгельс принуждены были, однако, „считаться с северо-германским союзом, как с фактом действительности, ничуть не желанным и тем более вызывающим восторг“, [illegible] щим для немецкого рабочего движения определен[illegible] витию.

Изданная в настоящее время переписка [illegible] Энгельсом дает возможность точно установить [illegible] последствия, которые ими ожидались от франко-пр[illegible]

21 июля 1870 года, т.-е. на следующий де[illegible] ния Наполеоном войны Пруссии, Маркс писал Эн[illegible]

„Французов надо вздуть: если пруссаки побе[illegible] лизация государственной власти принесет пользу [illegible] манского рабочего класса. Перевес Германии перене[illegible] западно-европейского рабочего движения из Фра[illegible] и стоит только сравнить движение, начиная с 186[illegible] времени в обеих странах, чтобы увидеть, что немец[illegible] теоретически и организационно выше французского [illegible] мировом театре над французским явился бы в то ж[illegible] сом нашей теории над теорией Прудона“.

В письме от 8 августа 1870 г. Маркс, верны[illegible] позиции, писал Энгельсу: „Империя создана,—т.-е. Германская империя. Так или иначе, хотя и не тем путем, какой предполагался и не так, как это представляли, но, повидимому, все плутовство со времени второй империи вело, в конце концов, к выполнению национальных задач 1848 г.—Венгрия, Италия, Германия! Мне кажется, что движение подобного рода будет доведено до конца тогда, когда дело дойдет до драки между русскими и пруссаками“.

И, наконец, 15 августа 1870 г., Фридрих Энгельс, бывший в то время уже корреспондентом газеты „Pall Mall“ и внимательно следивший за ходом военных действий, в письме к Марксу определил свое отношение к войне следующими словами:

„Мне кажется, что дело обстоит следующим образом: Бонапарт втравил Германию в войну за ее собственное национальное существование. Если она окажется побежденной Бонапартом, то бонапартизм укрепится на целые годы, Германия же на целые годы, а может быть, даже на целые поколения, погибнет. О самостоятельном немецком рабочем движении в таком случае не может быть больше и речи; борьба за восстановление национального бытия поглотит тогда все, и в лучшем случае немецкие рабочие окажутся на буксире у французских. Если победит Германия, то французский бонапартизм во всяком случае погибнет, исчезнет, наконец, вечная склока из-за

[1]) Франц Меринг, История жизни К. Маркса, стр. 352.



[illegible] единства; но на почве обострившейся [illegible] национальное [illegible] от 26 января 1871 г. [illegible] пор, а французские строки, каковое бы [illegible] за этим, будут более мнение, приписывающее [illegible] бонапартизмандованию—отсутствию [illegible]

Как [illegible] писем, [illegible] забывать, что Тренн[illegible] здесь, как и во [illegible] очень боится Ля-Виллет, Бельвиля и других вполне тождествен[illegible] Парижа. Он боится их больше, нежели [illegible] ников научного социа[illegible] не просто предположение или выполный контакт. [illegible] не допускающего сомнений, о письме,

И проглядывая настоящий труд [illegible] правительства, в котором первый период войны симпатии его [illegible] требуют [illegible] выполнявшей историческую задачу [illegible] хотя труд Энгельса носит на себе характер [illegible] неизменной принадлежностью писателя материали[illegible] воззрения, тем не менее целый ряд [illegible] наглядно показывает, на чьей стороне находил[illegible] спондент газеты „Pall Mall“ в первую стадию войны. [illegible] достается всей бонапартовской системе. Каждый [illegible] французской армии, каждый промах Луи Наполеона [illegible] Энгельс объясняет как следствие всей системы [illegible] режима. И эти места его труда имеют исключительно [illegible] Здесь перед нами не военный корреспондент, не [illegible] айне прусский генерал“, а прежде всего социолог, [illegible] ий с историческими фактами и поразительно тонко [illegible] сложной обстановке.

[illegible] льно, перед нами, как живая, встает прогнившая [illegible] Империя с ее продажностью, взяточничеством и [illegible] ее чванным шовинизмом, с ее полным умственным [illegible] кротством.

[illegible] му мировоззрению, Энгельс с беспощадной силой [illegible] вает, что все французские неудачи в этой войне могут быть объяснены тем поистине трагически бедственным положением, до которого была доведена Франция хозяйничаньем Бонапарта и его присных.

Бонапартизм с самого начала своего существования находил должную оценку у Маркса и Энгельса. Об этом достаточно свидетельствуют и исторические труды, и переписка обоих. Когда началась франко-прусская война, то Маркс, в адресе, изданном 23 июля 1870 г. генеральным советом Интернационала, первый предсказал неизбежную гибель Наполеона и его империи. И настоящий труд Энгельса, рассматривая подробно шаг за шагом развивающиеся военные события, приведшие к падению Второй Империи, дает полное фактическое обоснование утверждению Маркса. В этой своей работе Энгельс как бы дополняет Маркса, и в то же время эта работа Энгельса является необходимым введением в другой труд Маркса, а именно в книгу о гражданской войне во Франции. Причины возникновения и затем гибели Парижской Коммуны нам становятся особенно понятными после прочтения настоящей книги Энгельса.

Падение Второй Империи, как известно, последовало через полтора месяца после начала войны. В начале сентября 1870 г. главная французская армия капитулировала при Седане, при чем Наполеон был взят в плен, и этот факт знаменовал собой падение Второй Империи. И действительно, во Франции была немедленно образована буржуазная республика. Казалось бы, теперь война должна была кончиться, тем более, что прусский король неоднократно заявлял, что он воюет не с французским народом, а с правительством француз-

ского императора. Несмотря, однако, на эти заявления, война приняла завоевательный характер, так как прусское правительство, помимо военной контрибуции, на уплату которой вполне была согласна республиканская Франция, требовало территориальных уступок, а именно присоединения к Германии Эльзаса и Лотарингии.

Конечно, эти домогательства Бисмарка встретили самый решительный отпор со стороны германской социал-демократии и Интернационала.

5 сентября брауншвейгский исполнительный комитет опубликовал воззвание, в котором призывал рабочий класс к демонстрациям за почетный мир с французской республикой и против аннексии Эльзаса и Лотарингии, а 9 сентября генеральный совет Интернационала выпустил составленный Марксом и Энгельсом адрес [1]), проливающий яркий свет на политику прусского правительства и подробно вскрывающий подлинную сущность создавшегося положения.

Само собой разумеется, что все эти события не могли не оказать влияния на военные обзоры Энгельса, помещаемые им в газете „Pall Mall". Симпатии Энгельса сразу переходят во французский лагерь и, сохраняя по-прежнему неизменную объективность в оценке происходивших тогда военных операций, Энгельс дает резкую отповедь и аннексионистским стремлениям пруссаков, и их шовинизму, являвшемуся в результате удачной войны, и их военной системе, тесно связанной с реакционной внутренней политикой, и возмутительным способам ведения войны, которые практиковались пруссаками как в отношении французских вольных стрелков, так и в отношении мирного населения. Ряд страниц, находящихся в этой книге, главы „Как сражаться с пруссаками" и „О вольных прусских стрелках" и много других отдельных мест дают должную оценку прусскому милитаризму и прусской военной клике.

Как военный корреспондент газеты „Pall Mall", Энгельс питал большие симпатии к той героической обороне, которую проявил французский народ во вторую стадию войны. Но, как реальный политик, он не мог не видеть также и того, что представляла собой новоявленная французская республика, в правительство которой пыталось войти, да и вошло, достаточное количество реакционных элементов, не исключая и деятелей Второй Империи.

Вот характеристика того положения, которое создалось после падения Второй Империи и о котором Энгельс писал Марксу в письме от 4 сентября 1870 г.:

„И тут (т.-е. после низложения Наполеона) является несчастный Жюль Фавр и предлагает, чтобы Паликао, Трошю и еще несколько деревенщин образовали правительство. Такой шушеры мир еще не видал! Но все-таки надо ожидать, что, когда это станет известно, в Париже что-нибудь разразится... Может быть, образуется правительство левых, которое после некоторого для видимости сопротивления заключит мир".

Эти строки свидетельствуют, что Энгельс вполне ясно и отчетливо представлял себе создавшееся положение. Объективным чутьем реальнейшего политика он уже прозревал грядущие события, он ясно видел обострявшуюся с каждым днем классовую борьбу в осажденном Париже, он должным образом оценивал буржуазных республиканцев à la Гамбетта, которые, так же как и Луи Наполеон, давали сражения по соображениям политического характера, совершенно не считаясь с неблагоприятными стратегическими условиями.

Вместе с тем Энгельс вполне допускал возможность измены

[1]) Энгельсу в этом адресе принадлежал военно-научный обзор.



французского главного командования на почве обострившейся классовой борьбы. По этому поводу в обзоре от 26 января 1871 г. мы читаем следующие весьма знаменательные строки:

„По слухам в Париже существует общее мнение, приписывающее недостаток доверия солдат к высшему командованию—отсутствию военных успехов. И это справедливо. Не следует забывать, что Трошю—орлеанист и как таковой очень боится Ля-Виллет, Бельвиля и прочих „революционных" кварталов Парижа. Он боится их больше, нежели пруссаков, и с нашей стороны это не просто предположение или вывод. Мы знаем из источника, не допускающего сомнений, о письме, посланном из Парижа одним из членов правительства, в котором сказано, что от Трошю со всех сторон требуют энергичного наступления, но что он постоянно отказывается из опасения, что такой образ действий может отдать Париж во власть „демагогов". Падение Парижа кажется теперь почти неизбежным".

Если сопоставить указанное поведение генерала Трошю с могущим возбудить подозрение поведением генерала Бурбаки и уже совсем не внушающей никаких подозрений предательской ролью маршала Базена, о которой пишет Энгельс в обзоре от 4 ноября, то факт измены французского императорского генералитета, мечтавшего о возвращении Второй Империи, не подлежит ни малейшему сомнению.

А если учесть, что все эти заключения Энгельсу, как военному корреспонденту, пришлось делать в самом круговороте быстро идущих друг за другом событий, то нельзя не удивиться той изумительной проницательности, которую в данном случае обнаружил Энгельс, так как все его предположения впоследствии были самым точным образом подтверждены историками франко прусской войны и Парижской Коммуны.

В этом отношении Энгельс обладал редкой способностью объективного анализа совершающихся событий, являясь всегда отнюдь не увлекающимся современником, а трезвым историком. И достаточно прочесть хотя бы главы, посвященные франко-прусским переговорам, положению дел в России и целый ряд других мест настоящей книги, чтобы воочию убедиться, насколько реально оценивал Энгельс тогдашнее политическое положение.

Появление рассмотренных нами двух книг Энгельса, несомненно, должно послужить стимулом к тому, чтобы все военные труды Энгельса (а таковых не мало) были переведены на русский язык. Помимо своего исторического значения, труды эти имеют громадное значение и для современного военного строительства Советской России.

Статьи Энгельса о милиционной системе, о военном воспитании молодежи должны сыграть громадную роль в деле нашей военной системы. Статьи эти частично предвосхищают целый ряд мероприятий Советской власти по всевобучу, допризывной подготовке и т. п.

В этом случае вполне был прав Э. Дран в той оценке, которую он сделал Энгельсу как военному писателю в своей книге „Фридрих Энгельс о войне".

„Эту свою склонность (т.-е. склонность к изучению военных наук),—пишет Дран,—Фридрих Энгельс развил в серьезных, упорных и многолетних занятиях, приведших его к научным результатам. Поэтому-то произведения в данной области носят более чем злободневный характер и некоторые страницы их отличаются такою свежестью, живостью и действительностью, что стоит труда вновь воспроизвести их, хотя бы только с целью доказать, что военная наука теоретически и практически вполне совместима с духовным руководительством пролетариата" [1]).

*М. Абрамович.*

[1]) Э. Дран, Ф. Энгельс о войне, стр. 4.

# Гильфердинг против социализма.

С апреля месяца с. г. в Берлине начал выходить журнал „Интернационального обозрения социализма и политики" „Die Gesellschaft", под редакцией г. Р. Гильфердинга. Можно смело сказать, что скромность и бесцветность названия журнала прямо пропорциональны нескромности задач, возлагаемых на него его сотрудниками. Старик Каутский, изощряющийся последние годы в отречении от того, чем он жил ранее, и в восхвалениях того, что в свое время презирал, поместил в первом номере целую статью, в которой доказывал, что новоиспеченному журналу предстоит быть органом специально (по поводу его выхода в свет) изобретенной им „четвертой фазы марксизма". Но для того, чтобы понять, в чем заключаются особенности этой „фазы", нужно остановиться главным образом не на статье Каутского, от работ которого вместе с революционным духом отлетел и весь былой блеск, а на передовой статье самого редактора, г. Гильфердинга, посвященной „проблемам времени". Она настолько симптоматична для характеристики современной социал-демократии и ее идеологии, что мы позволим себе посвятить целую статью разбору этой новой фазы во вращении оппортунистической луны вокруг неизменно притягивающего к себе все ее помыслы и движения господства капитала.

## I.

Основным, определяющим фактором действия для всякого политика, и марксиста в особенности, является то, как он понимает современную ему действительность и прежде всего ее экономику. Глупо мечтать о решающих битвах, когда противник находится в расцвете своего могущества, а массы инертны и неорганизованы и, наоборот, предательство не вести их в бой на завоевание власти, когда силы противника тают, обстановка против него, а массы горят желанием решающей битвы. Революционная теория должна уметь вскрыть противоречия, заложенные в окружающих нас условиях, поняв их—указать момент и путь для их изменения. Марксизм является такой революционной теорией; в этом—неоценимое значение его, как орудия пролетарской классовой борьбы, вскрывающего возрастающие противоречия капиталистического строя, объясняющего причины его распада, указывающего силы, ведущие к победе революции. Но как всякое оружие—марксизм действует лишь в руках того, кто хочет им действовать и побеждать. Если же по самой своей природе ты не создан для борьбы, если основные твои интересы расходятся с ее потребностями, то естественно, что на твоих глазах окажутся такого рода очки, что сквозь них боевая обстановка всегда будет представляться в искаженном виде и из орудия борьбы марксизм превратится для тебя



лишь в средство оправдать свое бегство от нее. Таков Рудольф Гильфердинг. Он—марксист, он—социалист, он даже считает себя иногда чем-то вроде революционера. Но сквозь оппортунистические очки марксизм, и социализм и революция приобретают в его глазах такую окраску, что всегда и везде их красный цвет подменяется желтым, и всюду и везде на деле от них остаются лишь рожки да ножки.

Мы начнем с анализа того, как представляется Гильфердингу все современное состояние мира.

Для нас, для революционных марксистов,—это период войны и следующих за нею революций. Это—длящийся до сих пор период тяжелого кризиса капитализма, роющий ему могилу. Для Гильфердинга, и в этом основное отличие оппортунистического понимания эпохи, в наши годы не существовало революций. Он просто их не помнит, не удосуживается нигде ни разобрать, ни оценить, как некоторый самостоятельный фактор современного положения; к анализу революций он питает непреодолимое отвращение, которое, впрочем, компенсируется вполне невежеством его в их понимании.

Он слеп на оба глаза в отношении революционной стороны эпохи. Для него существует лишь ее внешняя, военная сторона. И раз война взята независимо от создаваемой ею революционной обстановки, раз игнорируется эта последняя,—то понятно, что с окончанием войны, по Гильфердингу, „мир вновь находит свое экономическое, политическое и духовное равновесие". В другом месте он пишет, что „как в экономии, также и в политике, война только повысила интенсивность уже данных тенденций развития". Менее всего он имеет в виду в данном случае революционные тенденции этого развития, „расширенное воспроизводство капиталистических противоречий". Переживаемый капитализмом мировой кризис имеет своей первопричиной, по Гильфердингу, лишь те диспропорции, которые получились в нем в результате неравномерного роста во время войны различных отраслей производства. Это объяснение кризиса упускает из виду, что он коренится не только в этом конце концов преодолеваемом самим капитализмом противоречии, а и в более глубоких явлениях распада мирового хозяйства, разрушения производительных сил во время войны в вытекающих отсюда неслыханной эксплоатации и нищете масс, т.-е. игнорирует все то, что делает кризис революционным фактором, все то, что толкает массы на борьбу против империалистического и капиталистического варварства.

И, наоборот, раз корни кризиса в одних диспропорциях хозяйства внутри страны, то по мере преодоления внутринациональной конкуренции, по мере концентрации и централизации капитала в руках немногих трестов и синдикатов, естественно, капитализм должен не разлагаться, а расширяться и укрепляться далее, преодолевая все свои экономические противоречия. Гильфердинг развертывает эту

# Гильфердинг против социализма.

С апреля месяца с. г. в Берлине начал выходить журнал „Интернационального обозрения социализма и политики" „Die Gesellschaft", под редакцией г. Р. Гильфердинга. Можно смело сказать, что скромность и бесцветность названия журнала прямо пропорциональны нескромности задач, возлагаемых на него его сотрудниками. Старик Каутский, изощряющийся последние годы в отречении от того, чем он жил ранее, и в восхвалениях того, что в свое время презирал, поместил в первом номере целую статью, в которой доказывал, что новоиспеченному журналу предстоит быть органом специально (по поводу его выхода в свет) изобретенной им „четвертой фазы марксизма". Но для того, чтобы понять, в чем заключаются особенности этой „фазы", нужно остановиться главным образом не на статье Каутского, от работ которого вместе с революционным духом отлетел и весь былой блеск, а на передовой статье самого редактора, г. Гильфердинга, посвященной „проблемам времени". Она настолько симптоматична для характеристики современной социал-демократии и ее идеологии, что мы позволим себе посвятить целую статью разбору этой новой фазы во вращении оппортунистической луны вокруг неизменно притягивающего к себе все ее помыслы и движения господства капитала.

## I.

Основным, определяющим фактором действия для всякого политика, и марксиста в особенности, является то, как он понимает современную ему действительность и прежде всего ее экономику. Глупо мечтать о решающих битвах, когда противник находится в расцвете своего могущества, а массы инертны и неорганизованы и, наоборот, предательство не вести их в бой на завоевание власти, когда силы противника тают, обстановка против него, а массы горят желанием решающей битвы. Революционная теория должна уметь вскрыть противоречия, заложенные в окружающих нас условиях, поняв их—указать момент и путь для их изменения. Марксизм является такой революционной теорией; в этом—неоценимое значение его, как орудия пролетарской классовой борьбы, вскрывающего возрастающие противоречия капиталистического строя, объясняющего причины его распада, указывающего силы, ведущие к победе революции. Но как всякое оружие—марксизм действует лишь в руках того, кто хочет им действовать и побеждать. Если же по самой своей природе ты не создан для борьбы, если основные твои интересы расходятся с ее потребностями, то естественно, что на твоих глазах окажутся такого рода очки, что сквозь них боевая обстановка всегда будет представляться в искаженном виде и из орудия борьбы марксизм превратится для тебя



лишь в средство оправдать свое бегство от нее. Таков Рудольф Гильфердинг. Он—марксист, он—социалист, он даже считает себя иногда чем-то вроде революционера. Но сквозь оппортунистические очки марксизм, и социализм и революция приобретают в его глазах такую окраску, что всегда и везде их красный цвет подменяется желтым, и всюду и везде на деле от них остаются лишь рожки да ножки.

Мы начнем с анализа того, как представляется Гильфердингу все современное состояние мира.

Для нас, для революционных марксистов,—это период войны и следующих за нею революций. Это—длящийся до сих пор период тяжелого кризиса капитализма, роющий ему могилу. Для Гильфердинга, и в этом основное отличие оппортунистического понимания эпохи, в наши годы не существовало революций. Он просто их не помнит, не удосуживается нигде ни разобрать, ни оценить, как некоторый самостоятельный фактор современного положения; к анализу революций он питает непреодолимое отвращение, которое, впрочем, компенсируется вполне невежеством его в их понимании.

Он слеп на оба глаза в отношении революционной стороны эпохи. Для него существует лишь ее внешняя, военная сторона. И раз война взята независимо от создаваемой ею революционной обстановки, раз игнорируется эта последняя,—то понятно, что с окончанием войны, по Гильфердингу, „мир вновь находит свое экономическое, политическое и духовное равновесие". В другом месте он пишет, что „как в экономии, также и в политике, война только повысила интенсивность уже данных тенденций развития". Менее всего он имеет в виду в данном случае революционные тенденции этого развития, „расширенное воспроизводство капиталистических противоречий". Переживаемый капитализмом мировой кризис имеет своей первопричиной, по Гильфердингу, лишь те диспропорции, которые получились в нем в результате неравномерного роста во время войны различных отраслей производства. Это объяснение кризиса упускает из виду, что он коренится не только в этом конце концов преодолеваемом самим капитализмом противоречии, а и в более глубоких явлениях распада мирового хозяйства, разрушения производительных сил во время войны в вытекающих отсюда неслыханной эксплоатации и нищете масс, т.-е. игнорирует все то, что делает кризис революционным фактором, все то, что толкает массы на борьбу против империалистического и капиталистического варварства.

И, наоборот, раз корни кризиса в одних диспропорциях хозяйства внутри страны, то по мере преодоления внутринациональной конкуренции, по мере концентрации и централизации капитала в руках немногих трестов и синдикатов, естественно, капитализм должен не разлагаться, а расширяться и укрепляться далее, преодолевая все свои экономические противоречия. Гильфердинг развертывает эту

тугановскую теорию во всю ее ширину со всеми вытекающими из нее выводами.

Мы имеем „переход от капитализма свободной конкуренции к организованному капитализму", возглашает он. Разорванные ранее формы индустриального, торгового и банковского капитала объединяются в форме капитала финансового. С ростом монополистического капитала имманентная анархия капиталистического производства преодолевается на капиталистическом же базисе. Так создается организованное, хотя и иерархически организованное хозяйство. На его почве уменьшается неустойчивость капиталистических производственных отношений, смягчаются кризисы или, по крайней мере, их действие на рабочих.

В подобном „организованном хозяйстве" наступает, по Гильфердингу, настоящий золотой век капитализма. Отношения труда приобретают в нем устойчивый характер, сокращается безработица, смягчаются ее последствия благодаря страхованию. Сама рабочая армия расчленяется на находящиеся на различных ступенях слои служащих с чиновничьим характером (Очень любопытное в устах Гильфердинга и, как увидим далее, многозначительное положение). Результатом всех этих благодетельных для рабочего класса процессов, естественно, может быть лишь все большее приглаживание рабочих к капиталистическому строю, рост среди них консервативных тенденций.

Такова картина современного капитализма работы Р. Гильфердинга. В ней все есть, коль нет обмана. Коли нет обмана, потому что в действительности все обстоит как раз обратно тому, что с таким восхищением рисует Гильфердинг.

Совершенно не верно, что рост картелей и трестов, финансового капитала преодолевает те экономические противоречия, которые заложены в самом фундаменте капиталистического производства Маркса—а установление глубочайших антагонизмов в капитализме, ведущих к его разрушению, есть основное положение марксизма!— Маркса ревизовать не так легко даже первоклассным фокусникам оппортунизма типа Гильфердинга. Устраняя свободную конкуренцию в местном, ограниченном масштабе, преодолевая ее мирные формы, современный капитализм воспроизводит ее в во много раз расширенном масштабе на мировом рынке, где основные противоречия титанов капитализма решаются силой в столкновениях вооруженных до зубов империалистических государств. Именно эти экономические противоречия, порождающие войны и вместе с ними неслыханные хозяйственные потрясения и кризисы, делают нашу эпоху эпохой революции, показывают, что возросшим производительным силам уже невмоготу в рамках прежних производственных отношений.

Но что до всего этого экс-министру Гильфердингу и экс-марксисту Каутскому? Этот последний на стр. 25 черным по белому пишет:

„Если социализму должно предшествовать банкротство капитализма, то его моральное банкротство перед массами, а не его экономическое банкротство через потрясения в производстве".

Далее, он пишет, что к социализму ведет лишь перепроизводство капитализма или его техническая возможность, путая при этом совершенно различные вопросы.

Техническая возможность перепроизводства может означать в действительности, в переводе на марксистский язык, лишь то, что производительные силы общества возросли выше, чем в состоянии уложить их в своих рамках данная экономическая структура. Но это вовсе не значит, что эта техническая возможность реализуется, пока все еще существуют данные производственные отношения. Революционная обстановка заключается как раз в конфликте между возросшими производительными силами и старыми производственными отношениями. При всех технических возможностях на деле мы можем иметь загнивание общественной системы, парализующей не только дальнейший рост производства, но и разрушающей его. Такими разрушительными в отношении производительных сил свойствами и отличается как раз современный капитализм, всякое изобретение в условиях которого сейчас же используется как изобретение в области производства средств разрушения. Этого диалектического процесса Каутский органически не в состоянии понять. Отсюда его пошлое рассуждение о моральной дискредитации капитализма в глазах масс, подменяющее экономические противоречия эпохи. Но, как известно, на моральных моментах далеко не уедешь. Считать основными противоречиями капитализма его моральные противоречия—значит вернуться к того типа утопическому, мелко-буржуазному социализму, в котором от действительного социализма не остается уже ни грана.

Для марксиста трудно себе представить большую глубину падения и теоретического убожества. Теоретическое убожество очень часто может являться не только следствием индивидуальной бездарности того или иного представителя того или иного класса,—оно может служить также и выражением его подлинных интересов и психологии. Рассуждения Гильфердинга и Каутского при всей их бедности имеют определенные практические выводы. Гильфердинг на их основе решается при этом создать даже нечто вроде новой „оригинальной" quasi-марксистской теории „хозяйственной демократии". Перейдем же к ее разбору.

## II.

Раз современный капитализм лишается в представлении Гильфердинга разъедающих его экономических противоречий, преодолевает их, то и процесс обобществления его должен быть, по Гильфердингу, иной, чем по Марксу. Задача введения социализма сводится тогда к задаче перехода иерархически организованного хозяйства в демократически организованное. Это и есть пресловутая проблема „хозяйственной демократии" (Wirtschaftsdemokratie).

Гильфердинг сравнивает это свое детище, плод грустных раздумий после катастрофического падения с министерского кресла, с делом жизни Маркса и Энгельса – научным социализмом. Он провозглашает ни много, ни мало новый период в истории социализма. „Если Энгельс считал делом своей и Марксовой жизни продвижение социализма от утопии к науке, то сейчас идет дело о применении социальной науки к социальной организации. Это будет переходом от научного к конструктивному социализму".

Трудно пересчитать число ошибок, навороченных в этом предложении. Во-первых, о какой социальной науке, которую должно приложить к социальной организации, идет речь. Если о марксизме, то разве он не применялся, начиная с Маркса и до наших дней, к анализу всех общественных организаций и общественных явлений последних 75 лет? Если же нет, то какую же еще „конструктивную", мы сказали бы „организационную", науку имеет в виду Гильфердинг и в каком отношении ее можно было бы сопоставить, ну, хотя бы, со „всеобщей организационной наукой" Богданова, как известно, весьма далекой от марксизма? Мы увидим в дальнейшем, что между Богдановым и Гильфердингом царит, может быть и без непосредственного влияния одного на другого, трогательнейшее согласие по целому ряду основных вопросов времени. Это доказывает лишь общность их социальной природы. Ультра-левый некогда Богданов, бывший в свое время за Керенского, и экс-министр буржуазного коалиционного правительства Гильфердинг сходятся на одном пути — зрелище для богов!

Во-вторых, о какой социальной организации, в которой должна быть применена эта туманная „социальная наука", идет речь? Как известно, по Марксу, социальная организация капитализма заключается прежде всего в том, что общество при нем разделяется на классы, ведущие между собой классовую борьбу. Если Гильфердинг говорит о социальной организации, игнорируя этот момент, то, ведь, это и есть чистейший утопизм мечтать о планомерной организации всего общества до уничтожения классов. Марксовская диалектика обобществления производства революционным путем победоносной классовой борьбы подменяется плоской организационной задачей, совершенно не учитывающей структуру и противоречия того, что подлежит организации. И Гильфердинг, и Богданов в данном случае повинны в одном и том же грехе.

В-третьих. Зачем понадобился особый термин „конструктивного" социализма? Что он значит? Чем этот конструктивный социализм отличается от научного социализма Маркса? Тем, что он не научен, или тем, что он не социализм? Непреодолимое влечение Гильфердинга к новому обозначению этого нового его, якобы марксистского, выверта свидетельствует лишь о том, что он сам чувствует, насколько он далек от действительного марксизма.

Научный социализм Маркса был научен, между прочим, потому, что он был революционен. Он отыскал в современном нам капиталистическом обществе ту силу, которая революционным путем призвана его изменить—рабочий класс. Конструктивный социализм Гильфердинга не революционен и не научен, так как не опирается на добросовестное изучение и понимание действительности, тех фактов, которые ведут к ее изменению. Для Гильфердинга „ясно", что установление хозяйственной демократии может быть осуществлено „в длительном историческом процессе", в котором все усиливающаяся организация хозяйства капитализмом будет вместе с тем подвергаться все более демократическому контролю. Таким образом даже тот основной антагонизм, который признает в современном капитализме Гильфердинг, антагонизм многомиллионных масс пролетариев и горсти капиталистов-владельцев организованного иерархически хозяйства,—и этот антагонизм разрешается не борьбой и революцией, а в „длительном историческом процессе" путем „демократического контроля".



В пояснение к этому несравненному месту Гильфердинг пишет: „Так как если переход политической власти от одного класса к другому может быть совершен в относительно коротком акте, т.-е. революционно, то изменение экономии само по себе может совершиться лишь в длительном органическом развитии, т.-е. эволюционно". Здесь что ни слово, то перл.

Во-первых, любопытно „глубокое" понимание Гильфердингом революции. Революционно то, что совершается в относительно (??) коротком акте. Ни слова ни о классовой борьбе, передвижении социальных сил в революции, ни о чем, действительно напоминающем революцию. Наоборот, если революционное понимать так же плоско, как его понимает Гильфердинг, то тогда, напр., и „завоевание власти" путем какой-либо парламентской махинации или путем выборов есть несомненная революция. Ведь, все это совершается в относительно короткий срок нескольких недель!

Во-вторых. Признание революции возможной лишь в области политической и отказ от революционного метода завоевания власти в области хозяйства есть типично-буржуазная точка зрения. Буржуазия, особенно в период своей юности, всегда признавала правомерность и целесообразность политической революции и всегда отрицала ее в области производства и собственности, считая их неприкосновенными святынями. Точка зрения Гильфердинга есть по существу та же самая точка зрения лишь в завуалированном виде. Это подтверждается и тем, что Гильфердинг в данном случае как бы противопоставляет политическую и хозяйственные области, считает их независимыми друг от друга и таким образом раз и навсегда лишается понимания того, какую роль в завоевании власти в производстве может иметь для рабочих завоевание ими политической власти, диктатура в государстве. Политическая форма, государство представляют таким образом для него, как и для любого дюжого буржуазного профессора, некую самоцель, независимую от той экономической борьбы, которую ведут борющиеся классы.

Но Гильфердинг не ограничивает свой отказ от марксизма отказом от революционного переворота в области экономии, хотя и этого, казалось бы, за глаза достаточно даже для такого ренегата, как Бернштейн. Впрочем, в современной социал-демократии столько молодчиков уже перещеголяло Бернштейна, что возникает вопрос, может ли он вообще быть масштабом в этом отношении.

Гильфердинг идет по пути отказа от самого социализма, по крайней мере в таком виде, в каком его до сих пор принимали все марксисты.

Начинает в этом отношении Гильфердинг с установления роста чувства ответственности у производителей, по мере их все большего вовлечения в руководство производством, одной из предпосылок хоз. демократии и социализма. Гильфердинг в данном случае совершенно последовательно с своей точки зрения требует такого чувства ответственности от рабочего не за социализированное производство, управляемое рабочим классом после завоевания его во время революции, а за капиталистическое производство, лишь к участию „в руководстве“ которым привлекаются производители. Каково может быть это участие при условии сохранения частной собственности капиталистов на фабрики и заводы, ясно всякому мало-мальски здравому человеку. И ясно, вместе с тем, что поэтому в таком виде проповедь чувства ответственности может означать лишь парализацию сил рабочих в их стачках и иных формах борьбы с капиталом. Но когда сталкиваются нужды „хоз. демократии“ и простых рабочих в их повседневной борьбе с капиталом,—разве не ясно, на чью сторону будет лить воду Гильфердинг и кому он будет сочинять апологетические теории?

Однако и сама по себе „хоз. демократия“ в понимании Гильфердинга, отвлекаясь от всех условий, делающих ее в современной обстановке пустым орудием для одурманивания масс в угоду господствующим классам, весьма и весьма подозрительна по части социализма.

Гильфердинг находится целиком и полностью под влиянием буржуазного понимания вещей, его методов.

Как известно отличительной чертой буржуазного понимания демократии является формальное ее толкование. Это вполне объясняется тем, что задачей буржуазии в свое время являлось лишь добиться формального, политического равенства, сохранив и даже усилив неравенство фактическое, экономическое, социальное. Для Гильфердинга его хоз. демократия носит такой же формальный характер. Демократия не означает с его точки зрения равные функции различных людей. Она есть лишь принцип выбора (Ausleseprinzip). Социальная дифференция заключает в себе не только различия владения (собственности), но также и различия в образовании, в знании и в возможности образования. Хозяйственная демократия так же мало уничтожит различие функции внутри производственного процесса, как и различные природные особенности индивидов к их выполнению. Однако она постулирует равенство исходного пункта для всех, ко всем функциям, и к высшим (?, каким именно „высшим“ в социализированном „хоз.-демократическом“ обществе? *И. К.*), поскольку это возможно по их способностям“.



Отсюда Гильфердинг делает вывод, что недаром все великие социалисты (утописты?) были полны большого интереса к педагогике. Мы должны воспитать себя к господству в общественном производственном процессе, проблема педагогики есть важнейшая проблема общественного устройства.

Чтобы разобрать все нагроможденные в этом предложении ошибки, нужно слишком много места. Мы ограничимся указанием важнейших и отысканием того политического смысла, который заключает в себе подобная постановка вопроса.

Во-первых, верно, что социальная дифференциация заключается не только в различиях владения, собственности между людьми. Но так же верно, что все прочие различия зависят именно от этого основного различия. Конечно, остаются различия природных дарований между людьми и т. д., хотя эту сторону дела нельзя преувеличивать, так как решающее значение и тут оказывает социальная среда. Поэтому все коммунисты всегда учили, что коммунизм должен установить не только формальное равенство прав людей, хотя бы и не только в политической, но и в хозяйственной деятельности, не просто заимствовали у буржуазии ее идеал, лишь несколько расширив его, а полагали, что коммунизм даст действительное равенство, при котором не будет людей, специально посвященных одной какой-либо функции, на которую они будут автоматически обречены обществом, независимо от их воли. Ибо только таков и может быть смысл конкуренции талантов на „высшие“ функции, в представлении Гильфердинга. Коммунизм вообще не предполагает никаких высших функций. Все выполняют по очереди и желанию необходимую организационную общественную работу и она ничем в общественном мнении не отличается от всякой другой. Это так же очевидно, как и то, что и в буржуазном обществе меньше всего различия общ. положения зависят от различия талантов. Гильфердинг упорно игнорирует основное, классовое отношение и подменяет его техническими отношениями в производственном процессе различных профессий рабочих и служащих. В этом отношении он опять идет по одной дороге с нашим Богдановым, причем упорно записывает, как мы видели выше, и всех техников, чиновников и т. д. в ряды рабочего класса. Это есть, очевидно, его „высшие“, наиболее образованные и т. д. слои. К ним он возвращается несколько раз. Этим же он раскрывает свою собственную природу.

## IV.

Как мы уже видели, путь к социализму „хоз. демократии“ вполне последовательно у Гильфердинга упирается в проблему воспитания рабочего класса, в проблему культуры. И здесь у него

точка соприкосновения с Богдановым. Культурно-воспитательная и организационная задача подменяет политическую задачу борьбы за власть, классовую борьбы рабочих за коренные свои интересы. Но, как всякий реформист, Гильфердинг не против поддержки мелкой экономической борьбы рабочих, отвлекающей их от борьбы за действительное преобразование капиталистического общества. По этому случаю он сочиняет опять целую теорию. Можно сказать, что его плодовитость на теории касательно социализма прямо пропорциональна действительному отказу от него. Если первым оппортунистическим выводом из „конструктивного социализма" Гильфердинга была его реформистская программа педагогического преодоления капитализма, то вторым оппортунистическим выводом является его обоснование постепеновского крохоборчества тред-юнионизма.

Социализм возник, по Гильфердингу, как философская идея, поднимавшая угнетенных и бедных, воодушевлявшая их на борьбу, организовывавшая массы в их повседневной борьбе за повышеное зар. платы, сокращение раб. дня, право стачек и полит. свободы. Смысл раннего социализма Гильфердинг видит в словах Маркса, что через посредство его „философия становится силой, овладевая массами". Он был постулатом, привнесенным извне в рабочее движение, а не требованием самих рабочих. И потому, чем более вовлекались в движение сами широкие рабочие массы, борющиеся за повседневные свои нужды, тем более становилась социальная реформа вместо преодоления капитализма содержанием их стремлений. Социализм превратился в идеологию. Идея превращается в идеологию тогда, когда действие ее определяется непосредственно иными целями, которые лишь посредственно приводят к реализации идеи в действительности. Что марксизм стал идеологией—это подтвердила его судьба во время войны. Рабочий класс свои силы направляет не к осуществлению социализма, а к улучшению своего положения, к расширению социальной реформы и политической демократии.

Разве это не прямой разрыв с социализмом? Гильфердинг всей этой тирадой засвидетельствовал лишь, что он ничего не понимает ни в социализме, ни в его истории. Невероятно, но факт.

1. Он не понимает, что, возникая даже в голове не рабочего (но и в его голове—Вейтлинг, Бебель и др.), социализм, марксизм выражает все же с самого начала не просто измышление философствующих буржуа или интеллигентов, а действительные нужды и цели рабочего движения, осознает их неосознанные и смутные стремления. Идеал вовсе не есть, как это вслед за Кантом думает Гильфердинг, нечто оторванное от действительности и парящее над нею, а выражение уже существующих в действительности тенденций ее развития.

2. Уму непостижим фокус с превращением социализма из идеи в идеологию. Вообще слову „идеология" не повезло, и его терзают в одинаковой мере и слишком умные оппортунисты, и иногда не всегда отыскивающие за словом смысл марксисты. Конечно, можно



назвать и пень собакой, но—что отсюда следует? Идеология класса есть совокупность его представлений, чувств, идей и методов. Если социалистический идеал рисуется Гильфердингу как некая гегелевская идея, непроизвольно реализующаяся в пестрой и противоречивой борьбе повседневных интересов действительности, то это чепуха, так как наш идеал, в марксистском его понимании, не есть нечто оторванное от этих повседневных интересов, и рассматривает их и борьбу за них, как необходимый момент, который должно поднять на уровень всеобщей борьбы за уничтожение капиталистического строя. Марксизм есть идеология рабочего класса, осознающая его идеалы, указующая ему путь к их реализации. Все мудрствование с идеологией в устах Гильфердинга означает лишь его желание оторвать марксизм, как что-то постороннее, от рабочего движения. С какой целью? С целью оправдать и обосновать тред-юнионистскую тактику, являющуюся тактикой как раз не тех, во имя кого так распинается Гильфердинг.

В рабочих массах экономизм, тред-юнионизм растет лишь до тех пор, пока они еще политически незрелы и подпадают под влияние буржуазии, либералов, или тогда, когда в их среде выделились уже перезрелые слои рабочей аристократии и бюрократии, заинтересованные в устойчивости капиталистического строя. Этих последних и представляют все теории Гильфердинга.

## V.

Что это так, видно прежде всего из рисуемой Гильфердингом перспективы будущего. Принципиально обосновывая крохоборчество, как программу деятельности рабочих организаций, вместе с тем Гильфердинг проповедует, что сами эти организации не являются чем-то единым, как в свое время он учил о расслоениях внутри „хоз. демократии". Одним из значительнейших вопросов профсоюзов рабочих и особенно служащих для Гильфердинга является квалификация их членов. Борьба за хоз. демократию ведет с его точки зрения к новой дифференциации внутри масс, к повышению ценности личности внутри организации и к новому духу соперничества в социальной жизни.

Это есть оправдание засилия профсоюзной и партийной бюрократии на Западе, мелко-буржуазная идеология, откладывающая социализм в прекрасное далеко, не понимающая его равенства и товарищества, не мыслящая себе недифференцированного общества, без „высоких" и „низких" функций.

Это—оправдание господства подучившихся подручных капитала над миллионными массами рабочих. Ведь, талант, знание и образование есть также одна из основных причин социальной дифференциации. Отсюда недалеко и до оправдания господства капитала, как носителя социального опыта, до которого до сих пор не доучились рабочие, отсюда же бесцветная водица педагогики для исцеления всех общественных зол.

Отсюда и вся политическая программа.

Гильфердинг не понимает значения Советов. Возникновение их в России, напр., является для него лишь возмещением в свое время недостатка у нас профорганизаций рабочих. Сейчас же советы, по Гильфердингу, только орудие в руках олигархии Р.К.П. Он не видит их значения как боевых органов пролетарской диктатуры, ибо для него самой проблемы диктатуры не существует.

Поэтому же он не дооценивает, как и все оппортунисты, роль партии, ее организации. Ему ближе амофрные профсоюзы, в которых гораздо легче опираться на менее сознательные политически слои рабочих, где их легче обманывать, прикрываясь якобы ведущейся борьбой за их экономические интересы.

Поэтому же он, как и подобает всякому мелкому буржуа, разражается утопией „реалистического пацифизма", преодоления войн при условии сохранения капитализма.

Борьба с капиталистическими монополиями, захватившими в свои руки государственную власть в стольких странах, у Гильфердинга вызывает лишь вопрос о том, какие хозяйственно-политические средства, какой новый юридический порядок права торговли, акций, картелей, права государства нужен для их обуздания. Как будто дело в правах, а не в реальной силе и власти.

Всюду и везде—одно и то же. Там, где дело касается социализма и действительной борьбы за него—его подменяет мелко-буржуазная утопия; там, где дело идет о реальной программе действия—на-лицо приспособление к буржуазии и вера в ее организационные таланты и лучшие чувства по отношению к рабочим.

## VI.

Итак, Гильфердинг за годы войны, революции и дни своего министерства, как мы видели, ничего не забыл и ничему не научился.

Четвертая фаза марксизма, открываемая по Каутскому „Die Gesellschaft", есть на деле фаза откровенного разрыва с ним мелко-буржуазной, служило-чиновничьей, откровенно-реформистской партии рабочей аристократии и бюрократии, опирающейся на политическую несознательность рабочих масс, ищущей поддержки среди городского и сельского мещанства, социал-демократии.

Она и видеть не хочет и не понимает революции. Для Каутского сегодняшнего дня—вся заслуга марксовского Интернационала в основании пролетарских боевых организаций на легальной почве. Былой враг Бернштейна ничем ныне не отличается от любого, самого захудалого, бернштейнианца. Социализм для него не может быть результатом перебоев в производственном аппарате. Даже большевики,—пишет он,—через год заметили, что разрушение производства не ведет к социализму. Дом не строится в момент пожара. Однако Каутский не понимает, что пожар останавливается тем скорее, чем скорее разрушают загоревшиеся уже здания. Капитализм сжигает уже давно стоящие



под его ярмом производительные силы, и временное дальнейшее разрушение их есть предпосылка нового роста производства в будущем. Схема же мирного врастания в социализм есть гвоздь оппортунизма. Пример с большевиками у Каутского прямо чудовищен, так они-то занялись восстановлением производства после завоевания его в руки рабочего класса и отнюдь не собирались вернуть его для подправки в руки капитала. Стоит с этим сегодняшним рассуждением Каутского сравнить то, что писал некий марксист около двух десятков лет назад: „С одной стороны, оппортунисты допускают, что дальнейшее развитие уже достигнутых завоеваний—законов об охране труда, профессиональных союзов и потребительных обществ,—достаточно, чтобы выбить класс капиталистов из всех его позиций и незаметно его экспроприировать без политической революции, без изменения существа государственной власти. Эта теория постепенного экономического врастания в государство будущего представляет собой модернизирование старого антиполитического утопизма и прудонизма. А, с другой стороны, они считают возможным, что пролетариат достигнет политической власти без революции, т.-е. без значительного государственного переворота, просто посредством мудрой тактики совместного действия с близко стоящими к пролетариату буржуазными партиями; в коалиции с последними он образует власть, на создание которой не способна ни одна из участвующих партий в отдельности. Этим путем хотят избегнуть революции, которая представляет собой весьма устарелый, варварский способ, не имеющий места в наш просвещенный век демократии, этики и человеколюбия. Эти построения, будучи доведены до логического конца, совершенно уничтожают социал-демократическую тактику, обоснованную Марксом и Энгельсом. Эти построения с нею несовместимы". Это писал некий Карл Каутский, не имеющий ничего общего с теперешним Каутским-сотрудником „Die Gesellschaft", в своей брошюре „Путь к власти" (изд. „Волна", 1918 г., стр. 8, 18). На стр. 73 той же брошюры он писал: „О преждевременной революции не может быть больше речи в то время, когда пролетариат извлек из данной государственной основы столько сил, сколько можно было из нее почерпнуть, и когда ее перестройка стала условием его дальнейшего подъема".

Как далеко до этой брошюры, даже при некоторых ее недостатках, всем теоретикам современного нам догнивающего II Интернационала! Пути его с социализмом и марксизмом разошлись раз и навсегда, и никакая вода не может уже воскресить его больше, хотя бы размазываемая и крупнейшими бывшими теоретиками марксизма.

Но и мертвые могут вредить, распространяя вокруг себя трупный запах. Переставая быть социалистами и лишь маскируя себя под марксизм, давно забыв его, теоретики типа Гильфердинга отражают вместе с тем некоторые действительно существующие силы, с

которыми революции предстоит еще долгая борьба. Меньшевистская и оппортунистическая идеология воскрешается вместе с каждой новой потугой капитала встать на ноги то в виде всеисцеляющей программы культуры, подменяющей политическую борьбу, то в виде всеобщей организационной науки, подменяющей бесцветной схемой задачи классовой борьбы и анализа классовых отношений. Быть начеку против того и другого, против оппортунистического понимания эпохи, замазывания его противоречий, апологетизма хозяйственной мощи и способностей капитала,—задача всех действительных марксистов, видящих антагонизмы, разъедающие современное нам капиталистическое общество и становящихся в ряды для выполнения завета Маркса стать его могильщиками.

„Безвыходных положений не бывает". Если пролетариат будет распылен, партия его дезорганизована, если он будет бессилен совершить революцию и поднять взбудораженные кризисом капитализма массы, то, в конце концов, капитализм, сломив подъем рабочего движения, теоретически рассуждая, может превратиться в железную пяту, „иерархически-организованное хозяйство" Гильфердинга. В этом он прав. Но и здесь путь капитализма лежит не сквозь мирные долины цветущего благополучия всех классов общества, а в дыму войн и неслыханной эксплоатации масс в периоды капиталистических кризисов и хозяйственного распада. Поставленная историей проблема заключается в том, сумеет или не сумеет пролетариат в этот жестокий век сломить своего врага и установить новый, свой общественный порядок. Кто же затушевывает эту революционную ситуацию эпохи, замазывает эти внутренние и на данной ступени не разрешимые иначе, чем потом и кровью рабочих, противоречия капитала—тот неизбежно придет к оппортунизму и оправданию господства капитала, к отказу от социализма, как программы действия, как пришел к этому ex-министр и ex-марксист в журнале отставных и настоящих министров,—Р. Гильфердинг.

*Ник. Карев.*



# Трудовая школа у Шарля Фурье.

## 1. Цели и средства воспитания в строе Гармонии.—Критика воспитания в строе цивилизации.

Известно, что К. Маркс считал инициатором идеи трудовой школы Роберта Оуэна. Само собой понятно, что своим практическим опытом в Нью-Лэнарке Оуэн вполне завоевал себе право на этот титул. Но, если подойти к рассматриваемому вопросу с точки зрения его теоретической постановки и роли, отводимой детям в строе ассоциации, то первое место среди основоположников трудовой школы должно быть отдано Шарлю Фурье, который вопросу о характере и значении детского воспитания и роли детского труда в фаланге придал всеобъемлющую широту и при его разрешении проявил удивительную оригинальность, умея в то же время оставаться вполне объективным. У Фурье „класс" детей является необходимой составной частью производственной организации фаланги; выбросьте „маленькие орды" и „маленькие банды",—и фаланга лишится одного из своих главных устоев. У Фурье, труд детей (начиная с четырехлетнего возраста) является не только средством, но и самоцелью; Фурье теснее и крепче, чем кто-либо, связывает воедино воспитание с вводимой им трудовой организацией. Издержки воспитания оплачиваются у него той пользой, которую в его процессе приносит детский труд. Фурье, таким образом, доводит идею трудовой школы (и наглядного обучения) до крайних логических пределов.

Своей педагогической теории Фурье отводит много страниц своих произведений; но здесь, как и всюду у нашего автора, чтобы через оболочку утопизма добраться до реалистического ядра, нужно отделить существенное от несущественного, от засоряющей его шелухи. Такой шелухой, например, является его намерение посредством воспитания отполировать низшие классы (polir la classe plebeiene), привить им деликатные манеры и вежливый литературный язык, дабы не оттолкнуть от них богачей и аристократов, которые войдут в фалангу. Такой шелухой далее является его теория аналогий, которую он считает самой драгоценной частью своей научной программы и которую он рекомендует преподавать детям, начиная с 8-летнего возраста.

Подобные идеи должны быть отнесены к несущественной части его педагогической теории, потому что они могут быть отброшены без всякого вреда для принципиальной ее стороны. Так должно быть поступлено с указанной теорией аналогий, которая не находится ни в какой связи с принципами трудового воспитания и, как совершенно ненаучная, должна быть целиком отброшена; точно так же должно быть поступлено с идеей об „отполировании" низших классов, что, как указано, является одной из многочисленных приманок для привлечения в фалангу богатых и знатных, ибо, бросив эту мысль в начале своих рассуждений о воспитании, Фурье к ней уже больше не возвращается на протяжении всех своих дальнейших рассуждений об этом предмете, как бы сам признавая, что никакого существенного значения она в его теории не имеет и ни в какой существенной связи с ней не находится. Подобных шероховатостей и мелочей, а иногда чудачеств и наивностей, встречаешь немало по пути, знакомясь с воззрениями Фурье в той или иной области, но за ними не-

трудно разглядеть более здоровую и подчас паразительно глубокую и научную часть его воззрений.

Если мы совершим указанную операцию над педагогической теорией Фурье, то увидим, что в своих основных линиях эта теория покоится на экономико-материалистической базе. Можно даже без преувеличения сказать, что нигде экономико-материалистические воззрения Фурье не выступают с такой рельефностью, как в вопросах воспитания.

На вопрос, какова цель воспитания, Фурье отвечает: с одной стороны, развитие в индивиде индустриальных навыков и индустриального влечения, а с другой—развитие и укрепление общественных чувств, короче говоря, надлежащая подготовка работника для строя ассоциации.

При обосновании указанных целей, или, вернее говоря, указанной двуединой цели воспитания, Фурье исходит из устанавливаемого им понятия о цели человеческой жизни, которая по его воззрениям заключается в достижении счастья и наиболее полном наслаждении им; а счастье, учит он, это роскошь, которая бывает двух родов—внешняя, т.-е. богатство, и внутренняя, т.-е. здоровье и всестороннее развитие чувств. Одна внешняя роскошь без внутренней ничего не стоит, ибо, раз у нас нет здоровья и всестороннего развития чувств, то мы не можем должным образом использовать богатство; наоборот, цветущее здоровье и всестороннее развитие чувств становятся для нас мученьем, если мы не имеем средств для удовлетворения наших потребностей.

Итак, воспитание должно нас вести к счастью в вышеуказанном смысле, а для этого оно должно развивать в индивиде индустриальное влечение, ознакомить его со всеми главными видами индустриального труда, развить в нем здоровье и телесную ловкость, что необходимо не только для наслаждения богатством, но также для наилучшего выполнения индустриальных функций. Но так как правильная постановка производства богатств возможна лишь в строе ассоциации, то воспитание,—что не менее важно,—должно содействовать развитию и укреплению заложенного в человеке инстинктивного стремления к ассоциации в противоположность индивидуалистическому строю, насильственно поддерживаемому цивилизацией к горю всех людей [1].

Наилучшим средством воспитания является индустриальный труд, развивающий наши физические силы и способности; только индустриальный труд создает надлежащее развитие человека, вызывает интерес к наукам и искусствам; одним словом через индустриальный труд мы идем к укреплению тела, развитию духа, приобретению знаний. Но этого мало. Трудовое воспитание в сообществе с себе подобными,—а вне этих условий оно вообще невозможно,—будет содействовать развитию духа общественности, без которого невозможна утилизация индустриальных знаний, т.-е. невозможно достижение богатства и человеческого счастья. Фурье намечает еще некоторые другие подсобные средства воспитания, но все они, как мы увидим, тесно связаны с индустрией или обеспечивают ей наилучшее развитие.

Начертанные здесь основные контуры воспитания отнюдь не субъективны. Подобное воспитание, по мнению Фурье, вытекает из свойств детской природы и из цели человеческой жизни. Фурье называет это воспитание естественным в противоположность искусственному и уродливому воспитанию строя цивилизации.

„Если бы в цивилизации, — говорит Фурье,—воспитание развивало в каждом ребенке его естественные склонности, то все дети, даже богатых родителей, почувствовали бы влечение к различным самым демократическим ремеслам, каковы слесарное, плотничье, кузнечное и т. п.“ [1].

Человек создан для гармонии и для ассоциации, говорит в другом месте Фурье; в нем заложены стремления, соответствующие возможностям, достижимым при сосьетарном строе. Не получая воспитания, соответствующего их природе, дети восстают против родителей. В младенческом возрасте этот протест выражается в капризах и криках. Крик—это своего рода месть за противоестественное воспитание. Более взрослые дети мстят родителям непослушанием, обманами, уничтожением и разрушением вещей. Родители, с своей стороны, обрушиваются на детей репрессиями в виде самых разнообразных наказаний. Между родителями и детьми, воспитателями и воспитываемыми водворяется вечная война, своего рода классовая борьба [2].

„Природа вкладывает в каждого ребенка большое количество, приблизительно до 30 склонностей к труду“,—говорит наш автор в „Новом индустр. мире“. На развитии и усовершенствовании этих склонностей Фурье строит систему воспитания в фаланге.

Подчеркивая свою объективность в вопросе о цели и методе воспитания, наш автор говорит в том же сочинении: „Я избегал произвольных построений во всем, что касается вопроса о телесном воспитании детей и о взглядах, которые в них нужно развивать. Моралисты хотят, чтобы ребенка воспитывали в презрении к нечестивым богатствам и в любви к истине; экономисты,—чтобы его воспитывали в любви к коммерции и лжи, двум неразрывным предметам. Мы не рискнем впасть в подобные противоречия. Для установления истинных тенденций строя Гармонии в этом вопросе, мы имеем верное руководство, а именно влечение, исчисленное аналитически и синтетически. Куда толкает нас это влечение? Во-первых, к роскоши, во-вторых, к группам, сериям и единству“ [3]. Роскошь, разъясняет далее наш автор, это ловкость и здоровье (внутренняя роскошь), с одной стороны, производительная индустрия (путь внешней роскоши),—с другой. Группы и серии, это—общественность, вытекающая из страсти к единению (uniteisme).

Не нужно думать, однако, что Фурье выбрасывает за борт науку в собственном смысле. Нет, науке Фурье отводит то почетное место, которое ей подобает в строе материально-духовного совершенства, каким является гармония; он только изменяет метод преподавания. „Ученье,—говорит он,—должно базироваться на той любознательности, которая рождается из индустриальных занятий; школьные занятия должны иметь непосредственную связь с работами в мастерских и в поле, удовлетворяя вопросам вызванным этими занятиями“ (курсив наш. *А. А.*) [4].

Между тем воспитательные методы цивилизации основаны на совершенно противоположных принципах; они обусловлены той целью, которая цивилизация ставит воспитанию. Критика Фурье направлена против буржуазного воспитания, так как трудящиеся не получают „воспитания“; поэтому они фактически, хотя в очень слабой степени, приближаются к методу воспитательного развития, изображаемому

[1] См. Th. de l'Unité univ., ч. IV, стр. 1—16, и Nouv. Monde industr. et soc.

[1] Th. de l'Unité univ., ч. III, стр. 543.
[2] Там же, ч. IV, стр. 65.
[3] Там же, ч. IV, стр. 11.
[4] Th. de l'Unité univ., ч. IV, стр. 116—117.

Фурье, и во всяком случае не претерпевают отрицательных влияний современного буржуазного воспитания.

„Современное воспитание,—говорит Фурье в „Теории всемирного единства“,—не умея создавать в ребенке подобных побудительных мотивов (влекущих его к производительному труду), стремится достичь своих целей другими средствами, стараясь внушить ребенку сыновное почтение, любовь к естественной простоте и преклонение перед правилами „чистой и нежной“ морали... Все это—догматические пошлости! Все эти старания отцов и педантов не только не приводят к цели, но ведут к обратному; они превращают ребенка в маленького заговорщика, лицемера, который, притворяясь послушным, в самом деле горит нетерпением приняться с компанией сорванцов-товарищей за дело разрушения и уничтожения, лишь только он скрылся от взоров наставника-педанта. По этому поводу некоторые теоретики восклицают: „Дети, это маленькие дьяволы!“.—Это неверно, отвечу я им; а вот, что отцы большие дураки, это не подлежит сомнению, ибо они не додумались до системы гармонического и сосьетарного воспитания, превращающей в полезных членов общества детей в том возрасте, когда в цивилизации еще не начинается воспитание“ [1]).

„В гармонии,—говорит там же Фурье,—четырехлетний мальчик, будь это даже сын монарха, сумеет зарабатывать средства к жизни самыми различными ремеслами; он сумеет также равномерно упражнять все члены своего тела и подчинять все свои действия интересам общего блага... Я обращаю особенное внимание на это обстоятельство, чтобы заинтересовать читателя нижеизлагаемой методой воспитания, призванной осуществить все те задачи, о которых теперь даже не осмеливаются мечтать. При современных методах, несмотря на все благие намерения, умеют только воспитывать легионы малых вандалов, которые ищут случая, чтобы что-нибудь разрушить или уничтожить вместо того, чтобы создавать, и которые, достигши зрелого возраста, составят, под эгидой морали, легионы взрослых вандалов, грабящих, разрушающих, сжигающих и убивающих для защиты священных доктрин коммерции и совершенства метафизических абстракций“ [2]). Современный строй, говорит в другом месте наш автор, воспитывает торговцев, чиновников, воинов,—одним словом, всю ту ораву, которую Фурье, при рассмотрении постановки производства и обмена в строе цивилизации, относит к паразитам, полупаразитам и вредным элементам общества.

Фурье не дает стройной критики воспитания в периоде цивилизации, а только попутно, при изложении своей системы, отмечает отрицательные, вредные и смешные стороны воспитания в этом строе.

„Сосьетарное воспитание,—говорит он в „Новом индустриальном мире“,—имеет целью содействовать полному развитию материальных и интеллектуальных способностей и приспособлению их к производительной индустрии. Воспитание в строе цивилизации идет противоположным путем; оно подавляет и извращает способности ребенка. Те незначительные духовные силы, которые оно им оставляет, развиты в них так, что отклоняют их от индустрии, возбуждают к ней отвращение, склоняют к разрушению и уничтожению.

„Воспитание в строе цивилизации,—говорит далее наш автор,—направлено в сторону, противоречащую природе, ибо первая цель природы или влечения, это—р о с к о ш ь, которая может родиться только из индустрии, а к ней-то ребенок в строе цивилизации не

[1]) Там же, стр. 18.
[2]) Th. de l'unité univ., ч. IV, стр. 16.



чувствует никакого влечения, хотя некоторые продукты этой индустрии, как игрушки, красивые головные уборы, лакомства, очень ему нравятся...

„Внутренняя роскошь, это—телесная сила и утончение чувств. Воспитание в цивилизации ослабляет здоровье ребенка... Если мы возьмем без всякого выбора 100 детей из богатого класса, которые получают тщательный уход, своевременное лечение, хорошую пищу, то мы увидим, что они слабее, чем сто деревенских полуголых ребят, подвергающихся всем неблагоприятным влияниям погоды, лишенных часто куска черного хлеба и не знающих, что такое помощь врача. Таким образом воспитание в цивилизации не дает человеку здоровья или внутренней роскоши, хотя и стремится к этому. Точно также воспитание в цивилизации не ведет к утончению чувств, которые, будучи грубы,—что вполне естественно,—у деревенских детей, остаются также мало развитыми у детей богатых классов, благодаря спекулятивному воспитанию, внушающему родителям и наставникам, чтобы они препятствовали развитию в детях наклонности к роскошным украшениям и любви к гастрономическим блюдам, что явится главной пружиной в системе естественного и гармонического воспитания“ [1]).

Фурье—враг семейного воспитания; он его считает вредным во всех отношениях, не находя в нем ни одной положительной черты. Как мы выше отметили, он в семейных отношениях родителей и детей видит своего рода „классовую“ вражду. Эта вражда между родителями и детьми и непонимание друг друга подготовляется и воспитывается с самого нежного младенческого возраста. Причину всего этого следует искать в том, что семья, как основная трудовая ячейка строя цивилизации, противоречит принципам правильной организации индустрии, а потому неспособна развивать в индивиде ни правильных индустриальных навыков, ни общественных инстинктов [2]). Она портит ребенка с самого младенчества; она прежде всего развивает в ребенке эгоизм, так как сама является воплощением трудового эгоизма. Это внедрение эгоизма в ребенка начинается с той порчи, которой подвергает младенца воспитательница-мать.

„Руссо, желая возвратить матерей к их естественным обязанностям,—говорит наш автор,—упрекает их в том, что они не кормят грудью своих собственных детей. Руссо хотел возвратить человечество к законам природы. По поводу этого я считаю нужным сказать следующее. Во-первых, в цивилизации вообще не может быть речи о возвращении к законам природы, так как цивилизация насквозь противоречит этим законам. Во-вторых, к кому обращается Руссо? Естественно, к богатым женщинам, потому что, насколько мне известно, все крестьянки и все малосостоятельные горожанки сами кормят своих детей, не имея средств для найма кормилиц. По этому поводу я, в-третьих, хотел бы сказать следующее. Если б существовали трибуналы для привлечения к ответственности женщин, совершивших вредные и непоправимые проступки в период кормления, жертвой которых явились их дети, то я привлек бы их к этому суду и присудил бы к принудительным работам $^{9}/_{10}$ богатых женщин, кормящих грудью своих детей; они не воспитательницы, они убийцы своих малюток. Эти матери умеют создавать только тысячи капризов в своих детях, капризов, которые, подобно духовному яду, медленно убивают несчастных младенцев. Отец, занятый лганьем в своей лавке,

[1]) Nouv. Monde industr. et soc., стр. 167—168.
[2]) См. Th. de l'Unité univ., ч. II, стр. 86 и 127, и Nouv. Monde industr., стр 246—266.

конечно, доволен, что жена его, благодаря кормлению ребенка, прикована к дому и не может бегать по городу, чтобы сплетничать и заниматься любовными интрижками. Что касается меня, то я считаю счастьем для детей, что богатые матери их не кормят и не воспитывают сами, потому что они, вследствие своей праздности и собственной негодности, не способны привить им ничего кроме тысячи скверных привычек, между тем как крестьянка, у которой нет времени, чтобы предаваться нежностям или пошлостям подобного рода, дает своему ребенку то, чего требует природа, и не потакает его капризам [1]).

Фурье уверяет, что крики и капризы малюток—протест против неправильного их воспитания, ибо природа предуготовила ребенка к общественному воспитанию в детских серистерах (залах для детских серий) и ребенок инстинктивно рвется из душной, скучной и вредной обстановки семейного воспитания в кругу матери, тетушек и бабушек на простор серистера, где он с первых дней своего существования будет окружен равными себе и в их кругу сумеет развивать и упражнять свои товарищеские чувства.

Порчу ребят, начатую матерями, совершают обыкновенно отцы, которые все, как известно, втайне считают своих детей совершенствами. Если пребывание в кругу товарищей в продолжение дня принесло известную пользу ребенку, то эта польза будет уничтожена пошлыми сентенциями отца. Пребывание в кругу товарищей благотворно тем, что последние, как известно, не стесняются высмеивать недостатки отсталых или неразвитых, заставляя их подтянуться и исправиться. Чтобы успокоить своего первенца или любимчика, отец начинает его уверять, что он—совершенство, лучший из всех мальчиков, какие существуют на свете; что дети, над ним смеявшиеся—варвары, враги приличного общества и нежной природы.

Только воспитание строя Гармонии способно „нейтрализовать и уничтожать вредное влияние отцов, в которых вечно-злосчастная философия видит естественных наставников своих детей. Разве она не знает, что отец, весь преданный наживе, способен развить в своих детях только жадность и в конце концов заставить его войти в сделку с пороком, чтобы обеспечить себе хорошее состояние... Таким образом отец испортит ребенка нравственно, а мать—физически, благодаря порокам существующего строя и опасной снисходительности к своим чадам. Отсюда мы видим, что вмешательство родителей в воспитание является источником двойной порчи“ [2]).

В предыдущей статье о Фурье мы упоминали о двойной „гамме“ раздоров между родителями и детьми, устанавливаемой нашим автором. Перечисление этих раздоров или несходств в характере между родителями и детьми, случаев несовпадения их интересов и стремлений и вообще отрицательных сторон и несправедливостей семейных отношений показывает, насколько Фурье считал современную семью ненадлежащей базой для правильного воспитания.

Испорченный семейным воспитанием ребенок вступает в школу. Что представляет собой современная школа? Фурье не находит слов, чтобы заклеймить школьную систему в строе цивилизации. Он сравнивает ее с тюрьмой, которая одновременно губит и тело и душу ребенка.

„Какое влияние на здоровье подрастающего поколения, — говорит наш автор в „Теории всемирного единства“,—могут иметь наши школы, куда ребенка запирают словно в тюрьму и где в атмосфере холода и скуки притупляют его ум посредством латыни или грамматики. Такой способ обучения расстраивает одновременно и его дух, и его тело. Наши системы воспитания таким образом противоречат природе, так как идут в разрез с первоначальным голосом влечения, который нас устремляет к сложному богатству, т.-е. к здоровью или внутренней роскоши и индустрии, т.-е. источнику внешней роскоши“.

Фурье проводит остроумную параллель между современным трудовым строем и школой. Современный строй,—говорит он,—при котором отцы, словно пленники, вынуждены целые дни проводить в канцеляриях и конторах или изнывать на фабриках, запирает и детей на круглый год в школу-тюрьму, заставляя их в ясную и дождливую погоду сидеть согнувшись над книгой, между тем как ребенку хочется, и для него полезно, резвиться в поле, гулять в лесу или в саду. Может ли он после этого почувствовать к учению что-либо, кроме отвращения? Наши политики и моралисты постоянно говорят о природе, но лишь только они переходят от теории к практике, от слов к делу, они совершенно о ней забывают. Чтобы убедиться, в чем заключается действительное влечение детской природы, достаточно посмотреть на детей в летнее время. Посмотрите, как они, одевшись в летние костюмы, возятся в сене, с каким удовольствием они помогают собирать виноград, орехи и разные плоды, как охотно они преследуют вредных птиц и т. п. (Фурье подчеркивает влечение детей не только к приятной, но одновременно и к полезной индустриальной деятельности). Если в такой момент предложить им вернуться в школу, то по расстройству и унынию, которые ими овладеют, вы легко убедитесь, насколько сидение взаперти в обществе педанта-учителя соответствует природе ребенка, желающего наслаждаться хорошим временем года и стремящегося к производительной сельской работе в обществе себе подобных. Политики и моралисты, быть может, мне ответят, что школьная наука, хотя и неприятна ребенку, но необходима для него, чтобы стать человеком, достойным имени свободного гражданина конституционной и торговой страны. Допустим, что они правы, т.-е. что наука действительно нужна ребенку для указанной цели; но существует другой более правильный путь усвоения науки ребенком,—это путь влечения и соревнования, пробуждаемых в ребенке „кабалистом“ (т.-е. страстью к интриге, вызывающей соревнование), благодаря чему он за зиму в продолжение сотни двухчасовых уроков получит больше знаний, чем в триста дней, которые он теперь должен высидеть в школе или пансионе.

Согласно со своим материалистическим взглядом на воспитание Фурье, как мы видели, выдвигает телесное и индустриальное воспитание на первый план, отводя так называемому духовному воспитанию второе место, ибо само телесно-индустриальное воспитание дает толчок и направление развитию чувств и ума. Современное же воспитание,—говорит наш автор,—рассматривает тело, как придаток души, и стремится формировать душу, не обращая внимания на тело и его потребности, т.-е. не внимая голосу природы. Между тем следовало бы поставить дело как раз наоборот, следует формировать тело, считаясь прежде всего с телесными склонностями, ибо душа—это властелин, который является в свой замок лишь тогда, когда слуга все приготовил для его встречи; нужно, следовательно, под-

[1]) См. Th. de l'Unité univ., ч. IV, стр. 47—50.
[2]) Th. de l'Unité univ., ч. IV, стр. 34.

готовить тело для восприятия всех душевных способностей, как знаний, так и чувств, как красоты, так и справедливости.

Из неправильного взгляда на отношение между телесным и духовным воспитанием вытекает и другая отрицательная сторона в постановке современного образования; это—предпочтение, отдаваемое теории перед практикой. По нынешней системе воспитания ребенок до семи лет оставляется в безделии; с седьмого года ему начинают прививать теоретические знания, которые он воспринимает с отвращением, в результате чего он не приобретает ни навыка к работе, ни действительно полезных знаний. В строе Гармонии дело будет поставлено как раз наоборот. Там уже с двух лет ребенок занимается полезными работами и к шести годам он, играя, усваивает много практических сведений, под влиянием чего у него является интерес к точным наукам. Воспитание в цивилизованном обществе противоречит детской природе; составляя часть системы цивилизации, современное воспитание так же нелепо, как и вся система.

Подобно тому как тяжелый отталкивающий труд строя цивилизации возможен только благодаря страху голода и других лишений, так и воспитание в этом строе невозможно без применения насилия. Современного ребенка можно заставить учиться лишь посредством наказаний, розок и лишений. Выкиньте из современной педагогической системы все виды застращивания и репрессий—и школа лишится главной опоры, более того, она лишится своих учеников.

Итак, воспитание в строе цивилизации не достигает своих целей; оно не дает ребенку ни здоровья, ни развития чувств, ни полезных знаний. Из чувств, которое современное воспитание особенно стремится развить, первое место занимает моральное чувство. Современное воспитание стремится внедрить в детей правила морали и сыновнего долга. Достигает ли воспитание свою цель в этой области?

Мораль внушает юноше отвращение к незаконным любовным связям. Но как только юноша вступает в жизнь, родственники, соседи, слуги, товарищи приучают его смеяться над теми самыми правилами, которые внушали ему страх и уважение в детстве; они заставляют его следовать правилам света и не обращать внимания на правила морали, запрещающие предаваться наслаждениям, среди которых на первом плане для молодого человека стоят любовные похождения. Да и сама природа учит юношу пренебречь запретами морали. Едва ли можно встретить теперь 16-летнего юношу, который, подобно библейскому Иосифу, бежал бы от прелестной женщины, предлагающей ему свою любовь. Над таким молодым человеком все смелись бы, как смеялись бы над финансистом, упустившим удобный случай присвоить на законном основании чужую собственность.

Мораль внушает детям и юношам презрение к богатству, приводя в пример древних мудрецов и героев—Цинцинната, Диогена, Зенона и др. Но лишь только он вступает в жизнь, родители, друзья, тетушки и все окружающие начинают поощрять его в стремлении устроить себе карьеру и восхваляют его успехи на этом поприще. А что такое карьера в современном строе цивилизации? Богатство и почести, т.-е. прямая и замаскированная эксплоатация и господство над людьми. Если, наоборот, молодой человек остается верен принципам морали и старается их проводить в жизнь; если он предпочитает бедность богатству, безвестность — славе, подчиненное положение—господству, то на него начинают смотреть, как на чудака, от него отворачиваются; ни один отец, слывущий в обществе порядочным, не отдаст замуж свою дочь за такого сумасброда, он вскоре потеряет своих друзей и доброжелателей.



Таковы же последствия современного морального воспитания во всех других областях жизни. Мораль учит юношу любви к истине, а торговля, составляющая основу современного строя цивилизации, учит обманывать; мораль учит своего воспитанника любви к ближнему, а промышленность и коммерция, т.-е. вся практическая жизнь, направляют его на путь ожесточенной конкуренции, т.-е. на путь взаимной грызни, взаимоподавления, взаимопотребления.

Таковы провалы и противоречия современного воспитания, являющиеся отражением и следствием основного противоречия, в котором бьется строй цивилизации—этот мир навыворот (monde à rebours).

## 2. Общественное воспитание в строе Гармонии.—Воспитание до трехлетнего возраста.—Серии нянь, кормилиц, надзирательниц.—Индустриальное воспитание с 3-хлетнего возраста.—Воспитательная роль товарищей и нейтрализация ими вредного влияние родителей и семьи.—Выводы.

Выше мы в общих чертах указали, каковы цели и средства воспитания по воззрениям Фурье. Здесь мы отметим еще одну важную особенность его воспитательной системы.

У Фурье воспитание соединено с жизнью; можно даже сказать, что у Фурье дети не проходят предварительной стадии воспитания, а сразу вводятся в жизнь. Сущность этого принципа становится ясной, если мы посмотрим, что представляет собой в указанном отношении современное воспитание в строе цивилизации. При современном воспитании ребенка отделяют, отгораживают от жизни; его до известного, иногда очень позднего, возраста подготовляют к жизни, в которую он, смотря по характеру воспитания и образования, на 20—25 году, а иногда даже позже, только „вступает“. У Фурье воспитание соединено с жизнью; у него ребенок 3—4 лет уже становится молодым гражданином, имеющим свои права и обязанности и живущим той жизнью, к которой его влечет его детская природа, его детские „страсти“, инстинкты и потребности. Следуя своим природным влечениям, ребенок вступает в взаимодействие с окружающей средой и, претерпевая на себе ее влияние, „учится“, чтобы тут же утилизировать приобретенные знания для своей личной и общественной выгоды, которые вполне совпадают в фаланге.

При такой постановке дела воспитание достигает той троякой цели, которую в дальнейшем подробно развивает и обосновывает наш автор: 1) оно подготовляет всесторонне развитых в индустриальном отношении граждан для жизни в сосьетарном строе; 2) дает возможность извлечь из детей громадную пользу для общества вместо тех расходов и убытков, которые они причиняют ему в настоящее время; 3) доставляет детям максимум радостей и удовольствий в период воспитания.

Придавая большое значение постепенности переходов („градуированности“) во всей внутренней организации фаланги, Фурье делит все подлежащие воспитанию возрасты (за исключением младенцев) на 6 колен, а все вообще возрасты, до самых старших включительно, на 16 колен или 32 хора, считая отдельно мужские и женские колена. Младенцы до 3-х летнего возраста, не входя в состав колен, делятся на три категории: „грудных“ (nourissons) до 1 года, „карапузов“ (poupons) до 2-х лет и „шалунов“ (lutins) до 3-х лет.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-е | колено составляют | „малыши" обоего пола (bambins и bambines) | от 3-х до | 4½ лет |
| 2-е | „ „ | „херувимы" и „херувимки" (chérubins и chérubines) | „ 4½ „ | 6½ „ |
| 3-е | „ „ | „серафимы" и „серафимки" (séraphins и séraphines) | „ 6½ „ | 9 „ |
| 4-е | „ „ | „лицеисты" и „лицеистки" (lycéens и lycéennes) | „ 9 „ | 12 „ |
| 5-е | „ „ | „гимназ." и „гимназистки" (gymnasien и —ennes) | „ 12 „ | 15½ „ |
| 6-е | „ „ | „юноши" и „юницы" (jouvenceaux и —elles) | „ 15½ „ | 20 „ |

Но и внутри колен Фурье предусматривает подразделение детей на три категории; так, например, херувимы делятся на полухерувимов от 4½ до 5 лет, херувимов от 5 до 6 лет и сверх-херувимов от 6 до 6½ лет.

„Если архитектора и основатели пробной фаланги, — замечает Фурье,—не будут считаться с указанной градацией при устройстве и распределении зал, то они могут, как уверяет наш автор, нанести тяжелый вред пробной фаланге и правильному ее устройству и еще больше вреда—правильному проявлению влечения (к всех детских инстинктов и „страстей"), а в результате придется прибегнуть при воспитании детей к излюбленному средству философов—принуждению; если же требование прогрессивности при распределении детей по возрастам и правила свободного влечения будут вполне удовлетворены, то мы увидим, что в фаланге ребенок 4 лет, предоставленный самому себе, проявит больше благоразумия и опытности, чем у нас мужчины 30—40 лет".

Общественное воспитание детей в фаланге начинается с самого их рождения, ибо дети чуть ли не с первых дней появления на свет стремятся к жизни в серистерах в обществе себе подобных и мстят родителям своим криком за неудовлетворение их законных желаний. Для размещения в серистерах Фурье делит грудных детей на три категории по их характеру: на „тихих" (pacifiques), „беспокойных" (mutins) и „дьяволят" (diaboltins). Согласно этому принципу они распределены по трем смежным залам, достаточно отделенным друг от друга, чтобы „дьяволята", постоянно орущие, не могли беспокоить „тихих" и даже „беспокойных", все же более усидчивых, чем они.

Дети находятся на попечении нянь, составляющих отдельную серию, куда поступают особы, склонные к этому занятию по своему естественному влечению. Матерям остается только являться в определенные часы для накормления своих малюток грудью; но если обстоятельства помешали какой-либо из них явиться для исполнения этих обязанностей, то это не может принести существенного вреда ребенку, так как существуют особые добавочные кормилицы, разделенные на категории по темпераментам, могущие всегда заменить отсутствующих матерей. Такого рода замена невозможна в строе цивилизации; она представляет собой одну из выгод больших ассоциаций.

Люльки будут заменены эластическими цыновками; в образуемых ими углублениях ребенок может свободно барахтаться; подвешенные в промежутках веревочные или шелковые сетки оберегают ребенка от возможности выпасть и вместе с тем не препятствуют ему видать своих соседей, что является для него большим развлечением и удовольствием. Все эти эластичные люльки приводятся в движение механически, благодаря чему можно будет качать 20 детей сразу. Таким образом в строе Гармонии какой-нибудь малыш сумеет один сделать то, что в нашем строе получается от производительной работы 20 человек.

Помещения грудных детей посещаются ежедневно врачами, которые в фаланге заинтересованы в том, чтобы дети всегда были здоровы, потому что они получают свое вознаграждение не по числу больных, а по числу здоровых; значит, чем больше будет здоровых, тем больше будет их вознаграждение.



Сообразно трем вышеуказанным категориям грудных детей, няни тоже делятся на три категории:

няни для тихих, куда относятся наименее терпеливые,
„ „ беспокойных, куда относятся особы среднего характера,
„ „ дьяволят „ „ наиболее уравновешенные и терпеливые

Фурье довольно подробно трактует об образовании серий нянь обоего пола, менторов и менторш, руководителей и руководительниц. Механизм этих серий, как и всех серий, приводится в движение тремя главными страстями, и в особенности кабалистом (соперничеством и интригами), который проявляет свое действие не только в отношениях между сериями внутри фаланги, но также между сериями нянь различных фаланг. Чтобы привлечь возможно больше членов в серию нянь, Фурье относит их обязанности к наиболее важным в общественном отношении, ставя их в категорию милосердия и религии наравне с должностными лицами, ухаживающими за больными и слабыми.

Какие развлечения нужно дать „грудным" и „карапузам", чтобы их занять и успокоить, это—вопрос второстепенный. Важно свести их в одну комнату с их сверстниками; вы легко сумеете убедиться, как они будут счастливы в залах для „карапузов", и что, вернувшись домой, они опять начнут орать и капризничать. Укажу еще на одну сторону воспитания детей рассматриваемого возраста. У нас ребенок идет на прогулку только с няней, которая к тому же назначает где-нибудь на углу свидание своему ухаживателю; ребенок не только не имеет соответствующего развлечения, но остается без надзора. В фаланге „карапузы" идут на прогулку целой толпой, в сопровождении нескольких „херувимов", играющих на свирелях, между тем как несколько „малышей" им аккомпанируют на барабанах, треугольниках и бубнах. К детскому отряду будет, конечно, приставлен старший для надзора.

Итак, мы видим,—заключает Фурье,—что общественное воспитание будет служить как к пользе детей, так и их родителей. Что бы ни говорили моралисты, но нет ни одной супружеской четы, которую не утомляла бы и не расстраивала вся обстановка, воспитания грудного младенца, вся грязь и неприятные обязанности, связанные с этим делом. Чтобы сделать всех отцов и матерей самыми ярыми сторонниками сосетарного строя, достаточно было бы их повести,—если б существовала хоть одна фаланга,—в серистер, где будут воспитываться „грудные", „карапузы" и „шалуны", подразделенные на соответствующие группы и находящиеся на попечении нянь, точно так же разделенных на категории и группы.

Фурье, как мы видим, только в общих чертах изображает воспитание детей в периоде до 2 лет для того, чтобы поскорее перейти к вопросу, стоящему в центре его воспитательной системы.

Главной целью воспитания является развитие индустриального влечения и ознакомление воспитанников с основными элементами промышленной техники в фаланге. Такова цель. Средства возбуждения индустриального влечения определяются особенностями детской природы.

Фурье набрасывает законченную картину трудовой школы в строе фаланги, где воспитание и обучение с 3-хлетнего возраста происходит в мастерских, где руководителями детей, их контролерами, экзаминаторами и судьями являются товарищи, а роль старших сво-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-е | колено составляют | „малыши" обоего пола (bambins и bambines) | от 3-х до | 4½ лет |
| 2-е | „ „ | „херувимы" и „херувимки" (chérubins и chérubines) | „ 4½ „ | 6½ „ |
| 3-е | „ „ | „серафимы" и „серафимки" (séraphins и séraphines) | „ 6½ „ | 9 „ |
| 4-е | „ „ | „лицеисты" и „лицеистки" (lycéens и lycéennes) | „ 9 „ | 12 „ |
| 5-е | „ „ | „гимназ." и „гимназистки" (gymnasien и —ennes) | „ 12 „ | 15½ „ |
| 6-е | „ „ | „юноши" и „юницы" (jouvenceaux и —elles) | „ 15½ „ | 20 „ |

Но и внутри колен Фурье предусматривает подразделение детей на три категории; так, например, херувимы делятся на полухерувимов от 4½ до 5 лет, херувимов от 5 до 6 лет и сверх-херувимов от 6 до 6½ лет.

„Если архитектора и основатели пробной фаланги, — замечает Фурье,—не будут считаться с указанной градацией при устройстве и распределении зал, то они могут, как уверяет наш автор, нанести тяжелый вред пробной фаланге и правильному ее устройству и еще больше вреда—правильному проявлению влечения (и всех детских инстинктов и „страстей"), а в результате придется прибегнуть при воспитании детей к излюбленному средству философов—принуждению; если же требование прогрессивности при распределении детей по возрастам и правила свободного влечения будут вполне удовлетворены, то мы увидим, что в фаланге ребенок 4 лет, предоставленный самому себе, проявит больше благоразумия и опытности, чем у нас мужчины 30—40 лет".

Общественное воспитание детей в фаланге начинается с самого их рождения, ибо дети чуть ли не с первых дней появления на свет стремятся к жизни в серистерах в обществе себе подобных и мстят родителям своим криком за неудовлетворение их законных желаний. Для размещения в серистерах Фурье делит грудных детей на три категории по их характеру: на „тихих" (pacifiques), „беспокойных" (mutins) и „дьяволят" (diaboltins). Согласно этому принципу они распределены по трем смежным залам, достаточно отделенным друг от друга, чтобы „дьяволята", постоянно орущие, не могли беспокоить „тихих" и даже „беспокойных", все же более уживчивых, чем они.

Дети находятся на попечении нянь, составляющих отдельную серию, куда поступают особы, склонные к этому занятию по своему естественному влечению. Матерям остается только являться в определенные часы для накормления своих малюток грудью; но если обстоятельства помешали какой-либо из них явиться для исполнения этих обязанностей, то это не может принести существенного вреда ребенку, так как существуют особые добавочные кормилицы, разделенные на категории по темпераментам, могущие всегда заменить отсутствующих матерей. Такого рода замена невозможна в строе цивилизации; она представляет собой одну из выгод больших ассоциаций.

Люльки будут заменены эластическими цыновками; в образуемых ими углублениях ребенок может свободно барахтаться; подвешенные в промежутках веревочные или шелковые сетки оберегают ребенка от возможности выпасть и вместе с тем не препятствуют ему видать своих соседей, что является для него большим развлечением и удовольствием. Все эти эластичные люльки приводятся в движение механически, благодаря чему можно будет качать 20 детей сразу. Таким образом в строе Гармонии какой-нибудь малыш сумеет один сделать то, что в нашем строе получается от производительной работы 20 человек.

Помещения грудных детей посещаются ежедневно врачами, которые в фаланге заинтересованы в том, чтобы дети всегда были здоровы, потому что они получают свое вознаграждение не по числу больных, а по числу здоровых; значит, чем больше будет здоровых, тем больше будет их вознаграждение.



Сообразно трем вышеуказанным категориям грудных детей, няни тоже делятся на три категории:

няни для тихих, куда относятся наименее терпеливые,
„ „ беспокойных, куда относятся особы среднего характера,
„ „ дьяволят „ „ наиболее уравновешенные и терпеливые

Фурье довольно подробно трактует об образовании серий нянь обоего пола, менторов и менторш, руководителей и руководительниц. Механизм этих серий, как и всех серий, приводится в движение тремя главными страстями, и в особенности кабалистом (соперничеством и интригами), который проявляет свое действие не только в отношениях между сериями внутри фаланги, но также между сериями нянь различных фаланг. Чтобы привлечь возможно больше членов в серию нянь, Фурье относит их обязанности к наиболее важным в общественном отношении, ставя их в категорию милосердия и религии наравне с должностными лицами, ухаживающими за больными и слабыми.

Какие развлечения нужно дать „грудным" и „карапузам", чтобы их занять и успокоить, это—вопрос второстепенный. Важно свести их в одну комнату с их сверстниками; вы легко сумеете убедиться, как они будут счастливы в залах для „карапузов", и что, вернувшись домой, они опять начнут орать и капризничать. Укажу еще на одну сторону воспитания детей рассматриваемого возраста. У нас ребенок идет на прогулку только с няней, которая к тому же назначает где-нибудь на углу свидание своему ухаживателю; ребенок не только не имеет соответствующего развлечения, но остается без надзора. В фаланге „карапузы" идут на прогулку целой толпой, в сопровождении нескольких „херувимов", играющих на свирелях, между тем как несколько „малышей" им аккомпанируют на барабанах, треугольниках и бубнах. К детскому отряду будет, конечно, приставлен старший для надзора.

Итак, мы видим,—заключает Фурье,—что общественное воспитание будет служить как к пользе детей, так и их родителей. Что бы ни говорили моралисты, но нет ни одной супружеской четы, которую не утомляла бы и не расстраивала вся обстановка воспитания грудного младенца, вся грязь и неприятные обязанности, связанные с этим делом. Чтобы сделать всех отцов и матерей самыми ярыми сторонниками сосьетарного строя, достаточно было бы их повести,—если б существовала хоть одна фаланга,—в серистер, где будут воспитываться „грудные", „карапузы" и „шалуны", подразделенные на соответствующие группы и находящиеся на попечении нянь, точно так же разделенных на категории и группы.

Фурье, как мы видим, только в общих чертах изображает воспитание детей в периоде до 2 лет для того, чтобы поскорее перейти к вопросу, стоящему в центре его воспитательной системы.

Главной целью воспитания является развитие индустриального влечения и ознакомление воспитанников с основными элементами промышленной техники в фаланге. Такова цель. Средства возбуждения индустриального влечения определяются особенностями детской природы.

Фурье набрасывает законченную картину трудовой школы в строе фаланги, где воспитание и обучение с 3-хлетнего возраста происходит в мастерских, где руководителями детей, их контролерами, экзаминаторами и судьями являются товарищи, а роль старших сво-

дится к тому, чтобы уберечь детей от вреда, который они могут себе причинить по неопытности, и давать указания в тех случаях, когда знания старших товарищей оказываются недостаточными.

### Основные особенности детской природы. — Роль игрушек.

Преобладающие стремления у всех детей следующие: 1) живость, подвижность, манера все трогать руками, хватаясь каждый раз за что-нибудь другое; 2) страсть шуметь, выбирать работу, сопровождающуюся шумом; 3) обезьянничание или мания подражать; 4) любовь к маленьким инструментам или мастерским; 5) стремление к обществу более сильных и ловких.

Начнем с третьего свойства или мании подражательности. Дети младшего возраста стремятся подражать детям, на один или два возраста старшим. На этом свойстве, главным образом, покоится метод воспитания „малышей" и „карапузов".

Эта страсть или мания подражать развивается в них с особенной силой, когда они наблюдают маневры и процессии, каковы, например, военные упражнения, процессии ладаноносцев, эволюции танцовщиков в опере. Соберите 100 малышей или „карапузов", покажите им эти маневры и эволюции, и вы увидите, как они сейчас начнут им подражать: ружья они заменят палками, кадила—камнями, привешенными к веревкам, а посохи—ивовыми ветвями. Если вы дадите им маленькие ружья, маленькие кадила, маленькие посохи, вы их приведете в восторг, и вы увидите, с каким почтительным вниманием они будут выслушивать наставления, которые им будет делать какой-нибудь старший товарищ, примерно шести лет; их восторг увеличится, если вдобавок им дадут соответствующие костюмы с украшениями, например, маленькие гренадерские шапки для маневров, маленькие стихари для процессий и маленькие свирели для хореографических упражнений.

„Карапузы" и „малыши" найдут все эти маленькие приборы и орудия в своих воспитательных серистерах, где они будут иметься в достаточном количестве и различной величины для различных возрастов: самые маленькие получат деревянные ружья, деревянные кадила, конечно, без огня; следующий возраст—оловянные кадила и металлические ружья; более старший возраст—серебряные кадила и т. д. Только такая прогрессивность во всем способна возбуждать соревнование, без которого гармоническое воспитание не мыслимо.

Все эти игрушки, которые ныне фабрикуются в громадном количестве без всякой пользы для воспитания, здесь получат важное в воспитательном отношении применение. Например, если „карапуз" получит игрушечную повозку и деревянную лошадку, то не для того, чтобы ее за один день поломать к великой радости родителей, видящих в этом ум или ловкость, а для того, чтобы извлечь отсюда пользу для своего индустриального развития. Он должен научиться запрягать и распрягать свою маленькую лошадку раньше, чем ему будет поручена маленькая тележка, запряженная собакой для перевозки мелких вещей. В строе Гармонии не будет ни одной игрушки, которая не служила бы индустриальному воспитанию ребенка. Таким образом игрушки, которые в нашем строе стоят небогатой семье сравнительно большие денег, не принося никакой пользы, в строе Гармонии явятся драгоценным средством воспитания, привлекая ребенка к производительной индустрии, пристращая его с $2^1/_2$-летнего возраста к множеству работ, из которых не менее чем по трем он через $^1/_2$ года в состоянии будет сдать экзамен, чтобы перейти в низшую категорию „ма-



лышей", где уже имеются довольно опытные работники (habiles travailleurs), зарабатывающие минимум средств существования [1]). Но для того, чтобы указанные игрушки давали производительные результаты, необходимо собрать множество детей, и, распределив их по группам, создать между ними соревнование, пустить в ход приманки, затрагивающие самолюбие, приманки постепенных наград и привилегий как в отношении парадных украшений, так и индустриальных занятий и инструментов.

Природа вложила в каждого ребенка большое количество склонностей к труду, не меньше 30,—говорит Фурье в другом месте (в „Новом промышленном мире"). Чтобы открыть преобладающие в нем склонности, его нужно повести в мастерские, где работают другие дети при помощи маленьких инструментов; он сумеет там удовлетворить своей страсти все рассмотреть вблизи, потрогать руками; через несколько недель легко будет убедиться, какие мастерские и инструменты его более всего привлекают, какие работы наиболее соответствуют его склонностям.

У нас в большинстве случаев склонны думать, что дети—маленькие лентяи и обуза родителей. Это совершенно неверно. Дети очень любят работу. Но эта любовь к работе может обнаружиться только в строе серий, а в строе цивилизации она заглушается, вследствие чего дети принуждены здесь быть лентяями и бременем для своих родителей. Укажем еще, например, на манию ребенка все трогать, все переворачивать, всюду входить и влезать. В современном строе эту манию не могут целесообразно использовать. Чтобы гарантировать себя от вреда, который, при нынешней системе воспитания, может причинить ребенок, его нужно держать под вечным присмотром или поместить в комнате, где нет никакой мебели ни другой утвари, дабы он ничего не поломал или не испортил.

А между тем эта мания все трогать вытекает из естественной страсти к труду; и чтобы направить ее на надлежащий путь, нужно повести ребенка в маленькие мастерские, где при помощи маленьких инструментов работают дети 3—5 лет, и оставить его здесь в компании товарищей. Повинуясь своим природным стремлениям, ребенок начнет проделывать то же самое, что окружающие его более старшие товарищи. Сначала, быть может, с новичком выйдут какие-нибудь недоразумения, он будет дичиться, его оттолкнут, не окажут ему должного внимания; но через несколько дней он освоится с обстановкой и сойдется с товарищами, и воспитателю придется только издали наблюдать за его деятельностью, проявляя свое вмешательство только в исключительных случаях.

Влияние всего этого будет столь велико, что ребенку достаточно будет провести три месяца в серистере низшей категории „карапузов", чтобы он успел во всем, что ему нужно, для перехода в следующую ступень. Дух соревнования и склонность к подражанию будут

[1]) Приспособление детей с 3—4 лет к промышленному труду кажется нам приемом, заимствованным из копилки чудачеств, которыми изобилуют воззрения нашего автора. Между тем Роберт Оуэн, во время своей агитации за принятие парламентом закона, запрещающего работу на фабриках детей моложе 10 лет, показывал перед парламентской комиссией, что он неоднократно видел на фабриках детей в возрасте 4—5 лет, а однажды видел даже трехлетнего малютку. Работа таких малюток заключалась в собирании из-под машин рассоренного на полу хлопка. Если, таким образом, дети в указанном возрасте в продолжение нередко 10 часов в день исполняли на фабриках в крайне антигигиенической обстановке работы, несоответствующие ни их склонностям, ни их силам, то не должно казаться невероятным и невозможным, чтобы такие же дети в приятной гигиенической обстановке делали при посредстве маленьких инструментов легкую работу, способную их занять, как забавная игра.

его толкать к ознакомлению с множеством трудовых приемов. Преподавателям ничего не остается, как только ждать вопросов и отвечать на них. Одно желание—перейти из категории аспирантов в категорию новичков, а отсюда в баккалавры, будет достаточно, чтобы довести до высшей степени прилежание какого-нибудь „карапуза" или „малыша" и заставить его пополнить все погрешности, которые он чувствует в этой или иной отрасли [1]).

Для каждого возраста найдутся работы и орудия, соответствующие его силам и способностям,—говорит наш автор в другом месте (в „Теории всемирного единства"), развивая ту же мысль об использовании мании подражательности для развития индустриального влечения и индустриальных навыков. Здесь автор подчеркивает ту постепенность (градуированность), которая играет такую значительную роль в механизме его ассоциации.—Сама природа,—уверяет он,—позаботилась об этом. Например, группа херувимов, занятых возделыванием и приготовлением к столу мелких овощей, отвозят их в кухню в небольших повозочках, запряженных собаками, и занимаются там чисткой и мойкой этих овощей, серафимы отвозят свои овощи на повозочках большего размера, запряженных осликами; лицеисты при своих работах пользуются маленькими лошадьми (пони); гимназисты—лошадьми средней величины, юноши—обыкновенными лошадьми. Аналогичный порядок нужно установить во всех мастерских при всех работах, чтобы каждый ребенок имел работы по своим силам.

По уверению Фурье, дети так быстро освоятся с такими порядками, к которым они приноровлены по своей детской природе, что они явятся образцом для своих родителей; в пробной фаланге строй групп и серий сложится у детей в продолжение нескольких недель, между тем как у взрослых, привыкших к старым порядкам, на это потребуется несколько месяцев. Дети будут пионерами в деле организации новых форм жизни, они будут указывать взрослым путь в фалангу [2]).

Фурье считает колено „малышей" самым важным в воспитательном отношении, так как в возрасте 3—4½ лет начинают развиваться первые ростки многих индустриальных призваний, и чтобы их не заглушить, а тем более дать им правильное развитие, нужно с этого момента поставить правильно дело воспитания. Для этого ребенку, с того момента, когда он в состоянии свободно двигаться, должна быть предоставлена полная свобода обегать все мастерские; более того, детей нужно начать водить по мастерским в более раннем возрасте под присмотром надзирателей и надзирательниц, расставленных всюду, где бывают дети низшего возраста, нуждающиеся в присмотре. Таким образом уже с 2½ лет ребенка можно предоставить своему влечению, которое его приведет в основные учреждения фаланги—мастерские и сады. Здесь будут происходить крайне интересные и привлекательные для него собрания детей старших возрастов, работающих под руководством какого-нибудь „патриарха" или „почтенного", который примет под свое руководство новоприбывших малышей, снабдит их маленькими инструментами и материалами и даст им работу, соответствующую их возрасту; а так так в самом малом возрасте у ребенка могут обнаружиться самые различные способности различных степеней, то „карапузы" и „малыши", подобно взрослым, будут распределены по разным категориям на „новичков", „баккалавров", „лиценциатов", смотря по обнаруженным способностям, так что какой-нибудь малыш сумеет быть „лиценциатом" в группе спичек, „баккалавром" в группе чистки гороха и „новичком" в группе резеды, имея на своей одежде и головном уборе различные значки и украшения соответственно своим титулам [1]).

Средства стимулирования индустриального влечения.—Посмотрим,—говорит Фурье,—какими средствами можно зародить в ребенке священный огонь индустрии, индустриальное честолюбие, чувство, совершенно незнакомое детям нашего строя, которые, наоборот, состязаются в причинении обществу возможно большего зла, при чем тот, кто наделал больше пакостей, считается самым ловким.

Сосьетарный строй внушает ребенку с самого младшего возраста совершенно иные наклонности—стремление отличиться в 20 или 30 родах индустрии; он имеет множество средств, стимулирующих в ребенке индустриальное влечение.

Фурье перечисляет в одном месте своих сочинений 16, а в другом—24 таких средств. Укажем из их числа следующие:

1. Элегантность маленьких мастерских, имеющихся при каждом серистере.

2 Приманки украшений (в костюме и головном уборе), даваемых постепенно, по мере заслуг.

3. Участие в парадах и маневрах.

4. Право выбора индустриальной отрасли по своим вкусам и силам.

5. Отсутствие родительской лести, недопускаемой в сосьетарном строе, где ребенка судят и увещевают его собственные товарищи.

6. Энтузиазм, возбуждаемый чудесами, совершаемыми хором, на один возраст старшим, являющимся для детей образцом подражания.

7. Развлечения, даваемые короткими, часто сменяющимися сеансами, где много веселья и интриг.

8. Соревнование, возбуждаемое соперничеством между хором и смежным полу-хором; соревнование, возбуждаемое насмешками тех, которые уже допущены в высшую ступень.

9. Официальное вмешательство „патриархов"; очень любимых маленькими детьми и очень терпеливо дающих им указания и наставления.

Посмотрим сначала, каково влияние украшений и привилегий? У нас достаточно,—говорит Фурье,—крестьянскому парню увидеть красивый султан на военном головном уборе, чтобы он позволил записать себя рекрутом и лишился надолго свободы. Каково же должно быть влияние этих украшений и привилегий, чтобы привлечь ребенка к удовольствиям, которые во множестве его ожидают на веселых собраниях с товарищами одинакового с ним возраста.

Под словом „привилегий" Фурье подразумевает занятия и развлечения, соответствующие определенному возрасту. Например, „серафиму" 7-ми лет нельзя позволить свободное обращение с огнестрельным оружием. Шестому колену—юношей и юниц,—находящемуся в периоде, переходном к зрелости, может быть дозволено чтение таких книг и знакомство с такими предметами, которое не может быть дозволено детям низшего возраста. Гимназистам от 12 до 15 лет будет разрешено употребление огнестрельного оружия, чего нельзя дозволить лицеистам от 9 до 12 лет. Последние имеют право на парадах и маневрах ездить на маленьких лошадях, но таких вещей нельзя дозволить серафимам, т.-е. детям в возрасте от 6½ до 9 лет; они еще

---

1) См. Th. de quatre mouv., стр. 28—36, и Nouv. Monde industr. et soc., стр. 181.
2) См. Th. de quatre mouv., стр. 28—36, и Nouv. Monde industr. et soc., стр. 181.

1) См. Th. de l'Unité univ., ч. IV, стр. 19—27.

слишком слабы для обращения с лошадьми, но им можно разрешить употребление маленьких топориков и других маленьких инструментов, что воспрещено херувимам в возрасте от $4^1/_2$ до $6^1/_2$ лет и т. д.

Нетерпеливое стремление быть допущенным ко всем этим привилегиям является очень сильным стимулом для детей, которые жаждут подняться со ступени на ступень, всегда стремясь опередить свой возраст...

Фурье придает большое значение параду и помпе для возбуждения в детях влечения ко всем видам занятий, входящим в программу их воспитания.

При распределении всяких степеней и титулов нужно побольше торжественности и помпы,—замечает наш автор.—Предварительно устраивается парад, по окончании которого перезвоном колоколов на башне порядка дается сигнал к промоции (производству в чин); тогда хор детских трубачей приближается к балдахину, где сидят патриарши мужского и женского пола, перед которыми разложены украшения, предназначенные для раздачи. Бьют в барабай. Герольд хора малышей провозглашает: „От имени суверенной Гнидской фаланги и достопочтенного хора „малышей“ этой фаланги Гима, „карапуз“ высшей категории, 35 месяцев от роду, допущен в хор „малышей“ с разрешением носить украшения младшей категории „малышей“ и пользоваться прерогативами этой высокой корпорации. После этого капитан хора подводит его к одному из патриархов, который возлагает на него украшения, присвоенные его новому достоинству. Затем с той же помпой следует провозглашение других кандидатов, при чем выступление каждого приветствуется громким тушем [1])

Экзамены и экзаменаторы. Так как возбуждение соревнования является по Фурье одним из наиболее важных воспитательных средств, то он не только не отказывается от такого средства, как экзамены, но, наоборот, придает им большое значение в своей воспитательной системе. Вместе с тем, он делает в области экзаменов нововведение, которое впоследствии будет заимствовано социалистической школой: это нововведение заключается в том, что экзаменаторами детей являются их товарищи, но только старшие их на один хор; вообще принцип товарищеского суда является у Фурье одним из излюбленных средств морального воздействия, при помощи которого он надеется вытеснить родительские и менторские наставления, увещевания и взыскания, не только не ведущие к своей цели, но обыкновенно дающие обратные результаты.

„Переход из одного хора в другой,—говорит Фурье,—обусловлен соответствующими испытаниями. Всякий раз, когда ребенок ходатайствует (un enfant postule) о переводе из низшего хора в высший, он должен выдержать соответствующий экзамен.

При переходе из разряда „шалунишек“ в хор „малышей“ он должен выдержать 7 телесных испытаний по его собственному выбору, заключающиеся в 7 упражнениях, которые должны обнаружить ловкость различных частей его тела, а именно: 1) одно упражнение левой руки и ее кисти; 2) правой руки и ее кисти; 3) левой ноги и ее ступни; 4) правой ноги и ее ступни; 5) обеих рук и их кистей; 6) обеих ног и их ступней; 7) обеих рук и обеих ног. После этого его подвергают умственному испытанию, а именно он должен дать удовлетворительное объяснение одного из свойств божества, относящегося к экономическим средств, каковое свойство наиболее понятно детям. При переходе из хора „херувимов“ в хор „серафимов“ ребенок подвергается 12 испы-

[1]) См. Th. de l'Unité univ., ч. IV, стр. 19–27.



таниям, семи телесного характера и пяти духовного, кроме специального вопроса, касающегося одного из свойств божества, а именно распределительной справедливости; при переходе из „серафимов“ в „лицензы“—16 испытаниям и т. д. Экзаминаторами являются члены того хора, куда желает быть допущенным экзаменующийся; в качестве консультантов к ним присоединяют несколько сивиллов и сивилл [1]).

У экзаминаторов-товарищей,—говорит наш автор в другом месте,—не будет ни снисхождения, ни жалости к экзаменующимся, потому что группы и серии, стремясь, вследствие постоянного соперничества, к лучшим результатам своих трудов, не допустят в свои ряды новых товарищей, недостаточно подготовленных. Точно также будут существовать соперничества между одинаковыми хорами в одной и той же фаланге, для чего необходимо будет собирать периодически по 5–6 хоров „малышей“ или „херувимов“, чтобы устраивать между ними состязания на маневрах, парадах, в опере и маленьких мастерских. При таких обстоятельствах ни один недостойный кандидат не будет допущен в высшую ступень, несмотря ни на какие просьбы и протекцию. Дети—самые строгие судьи, а позор провала заставит кандидатов подтянуться. Кто после нескольких испытаний в продолжение полугода не обнаружит должных успехов, тот будет отнесен в группу полухарактеров [2]).

Благотворное влияние товарищей и нейтрализация им вредного влияния родителей.—Громадное преимущество гармонического воспитания,—говорит Фурье,—это нейтрализация им вредного влияния родителей, которое способно только задержать или извратить развитие ребенка.

В этом причина возмущения против системы воспитания строя Гармонии родителей и философов, которые с негодованием восклицают: „Вы, значит, хотите отнять ребенка у его естественного воспитателя—у его отца!“—Я ничего не хочу; я не придерживаюсь метода софистов, для которых их глупые капризы являются законами в деле воспитания. Я только ограничиваюсь анализом принципов естественного влечения. Что же делать, если это естественное влечение дает девятнадцати двадцатых детей характеры и наклонности, совершенно противоположные тем, которые желали бы воспитать в них нежные отцы; что делать, если влечение ведет их посредством восходящего тона расположения низших к высшим, совершенно противоположного тому, которое природа вложила в семейные группы.

Если вы хотите итти в воспитании правильным путем, путем естественного влечения, то действуйте противоположно тому, как поступает философия, которая всегда находится во вражде с природой или естественным влечением. Если философия требует, чтобы отец был воспитателем своего ребенка, и вместе с тем желает, чтобы он не баловал его, то выдвиньте совершенно противоположный взгляд, чтобы отец не был воспитателем ребенка, и пусть он имеет полную свободу его баловать. Вы увидите далее, что этот принцип будет осуществлен в Гармонии, где отцы не будут воспитателями своих детей и им будет дана полная свобода их баловать, т.-е. им будет позволено, следуя своим естественным импульсам, потакать всем фантазиям своих детей, согласно правилу нисходящего тона, т.-е. склонности высшего к низшему.

Каждый ребенок будет получать достаточно выговоров, наста-

[1]) Th. de l'Unité univ., ч. IV, стр. 8–10.
[2]) Там же, стр. 121.

влений и насмешек со стороны равных ему, т.-е. товарищей. Эти внушения, получаемые высшей категорией „карапузов“ со стороны низшей категории „херувимов“, становятся мощным стимулом соревнования, которое неспособно возникнуть из воспитательного влияния родителей, всегда восторгающихся самыми неловкими проделками своих детей. Совершенно иначе будет происходит дело между детьми; они не любят комплиментов и жалости. Какой-нибудь „малыш“, сколько-нибудь изощрившийся в индустрии, будет беспощаден к отсталым; в то же время „карапуз“, осыпаемый насмешками не осмелится сердиться или плакать, потому что он встретит град еще более злых насмешек или его вытурят из залы.

Короче говоря, истинным воспитателем ребенка, способным вызвать в тридцатимесячном „карапузе“ священный огонь индустриального соревнования, является компания других детей, старше его на полгода или год, стоящих выше его по своему рангу и отличиям. Когда какой-нибудь „карапуз“ или „малыш“ обегал в течение дня полдесятка подобных групп, испытав на себе их насмешки, то он ясно почувствует, чего недостает ему в познаниях, и, никем не подталкиваемый, он сам побежит к патриархам, чтобы выслушать их наставления и указания.

После этого ему не повредит, если родители, раньше чем он ляжет в постель, будут производить над ним свое вредное влияние, уверяя его, что с ним были слишком строги, что он прекрасный мальчик, что ему нет равного. Вся эта болтовня проскользнет мимо его ушей. Впечатления пережитого дня для него убедительнее. Он чувствует себя униженным, вследствие насмешек „малышей“, в обществе которых он провел день; напрасно родители станут его уверять, что „малыши“, оттолкнувшие его от себя—варвары, враги приличного общества и нежной природы. Все эти пошлости, изрекаемые родителями, останутся без всякого влияния на душу ребенка, и, возвратившись на следующий день в сестер малышей, он будет помнить только о вчерашнем афронте. И в результате окажется, что не отец исправляет ребенка, а ребенок—отца, потому что ребенок постарается исправить тот вред, ту порчу, которые отец причинил ему накануне: он это исправит, удваивая свои усилия, чтобы выйти из состояния неразвитости, которую он сознал, благодаря живому примеру своих сверстников и товарищей, старших его на полгода или год.

Впрочем, для порчи детей у родителей будет мало удобных моментов, так как в мастерских родители встречаются с детьми только начиная с колена „херувимов“; „карапузы“ и „малыши“ будут работать в отдельных мастерских для маленьких; наконец, родители будут настолько увлечены своими занятиями и интригами, что им будет не до детей. За детьми в мастерских будут наблюдать члены колен „патриархов“, „уважаемых“ и „почтенных“. Что же касается „херувимов“, то они в строе Гармонии будут достаточно тренированы, чтобы не боятся этой порчи; выговоры и наставления они будут получать от „серафимов“ и в свою очередь будут их делать „малышам“ [1]).

Некоторые выводы из вышеизложенного.—Итак,—заключает Фурье, как видно из вышеизложенного, пятилетний „херувим“ будет уже основательно знаком с несколькими индустриальными областями и будет самостоятельно зарабатывать средства к существованию. Но для достижения этого необходимо соблюдать условия, которые уже указаны выше и которые сводятся к следующему:

1) Хоры „малышей“, „херувимов“ и „серафимов“ должны быть

[1]) См. Th de l'Unité univ., ч. IV, стр. 30–34.



распределены по возрастам и по талантам, на три категории каждый хор. Такое разделение, если принять еще во внимание разделение по полам, рождает двухсложное соперничество, еще не столь заметное среди малышей, но уже сильное среди „херувимов“ и „серафимов“, благодаря допущению их к больших маневрам и мелким культурам.

2) Развитие „херувимов“ и „серафимов“ должно вестись преимущественно в области материальной, а не духовной. Не должно стремиться, как ныне, делать из шестилетнего малыша скороспелого умника и педанта; прежде всего нужно развить в нем сноровку в области физической и индустриальной; это не только не замедлит его духовного развития, но, как увидим дальше, будет ему содействовать. Разве мы не видим, что шестилетний „херувим“, который с отвращением поддается школьной учебе, с восторгом предастся индустриальным занятиям всякого рода. Ясно, что природа стремится дать ему сначала материальное развитие, а потом уже духовное. А потому воспитание „херувимов“ и „серафимов“ должно вестись прежде всего в мастерских, а затем на больших маневрах с старшими хорами, в процессиях и на парадах. Посмотрите, как счастлив ребенок, когда его допускают к подобным упражнениям, и как он страдает, когда его усаживают за книгу.

3) Физическое развитие имеет целью, во-первых, обеспечение самого лучшего состояния здоровья и, во-вторых, развитие ловкости и подвижности. То и другое необходимо для преуспеяния ребенка в индустрии, где он должен обладать такой же ловкостью, быстротой и подвижностью, которые мы встречаем среди гимнастов, акробатов и фокусников. Эти качества, приобретаемые первоначально в мастерских и парадах, будут завершены в опере [1]).

### 3. Опера и ее воспитательное значение.—Театр в строе фаланги.—Образовательное значение кухни.—Научное образование в собственном смысле.

Если мастерская развивает в ребенке индустриальное влечение и вырабатывает в нем технические навыки, то пополнение и завершение этого образования ребенок получит в опере и кухне.

Какова роль кухни в этом отношении, об этом скажем дальше, а теперь коснемся образовательного значения оперы.

Сначала укажем на то, что у Фурье дети (и взрослые члены фаланги) являются в опере не только зрителями, а главным образом участниками; образовательное значение оперы прежде всего в этом непосредственном участии. Опера таким образом является у него театральным действием, основанным на непосредственном единении артистов и зрителей, единении, превращающем самих зрителей в участников пьесы. Таким образом ребенок довершает и совершенствует свое „материальное“ образование (об умственно-нравственном образовании речь впереди), становясь артистом, при чем само понятие оперы Фурье берет в наиболее широком смысле.

В опере, по словам Фурье, нужно различать следующие отрасли: 1) пение или размеренный человеческий голос; 2) игру на инструментах или размеренный искусственный звук; 3) поэзию или размеренное слово; 4) жест или размеренную телесную экспрессию; 5) танцы или размеренное шествие; 6) гимнастику или размеренное движение;

[1]) См. Th de l'Unité univ., ч. IV, стр. 71—74.

7) живопись или размеренное украшение; 8) механику или размеренное геометрическое расположение [1]).

Составленная из этих частей, опера есть организация всех элементов размеренной материальной стройности (de touts les accords matériels mesurés), в которой должны принимать участие все без различия пола и возраста. В современном строе опера служит лишь для легкого развлечения и в большинстве случаев ведет к расточительности и разврату; в сосьетарном же строе опера, как мы увидим дальше, будет служить самым важным и полезным целям воспитания и будет дружеским союзом людей, постоянно встречающихся в самых различных трудовых сериях. Опера, которая теперь связана с такими большими расходами, ничего не будет стоить или будет стоить очень мало в сосьетарном строе, где сама фаланга выделит из своей среды певцов, танцоров, художников, и где в конечном счете почти все члены фаланги, за исключением самых бездарных, будут ее участниками. Таким образом в каждой фаланге будет до 1200 исполнителей, пригодных для той или иной цели, для той или иной функции во всеобъемлющей организации искусств—музыки, поэзии, художества, мимики, танцев, декламации и пр.,—которая называется оперой.

Опера приучает ребенка к ловкости и стройности во всех его физических движениях, а эти качества благоприятно влияют на его самочувствие и здоровье и являются, таким образом, необходимым условием внутренней роскоши. С другой стороны, опера, приучая ребенка с младенческих лет к всевозможным гимнастическим и хореографическим упражнениям, подготовляет надежных и умелых работников для работ в сериях, где ритмичность и стройность в работе являются не только желательным, но большей частью необходимым элементом, без которого будет тормозиться целесообразность организации труда и его производительность. Опера, таким образом, является необходимой для воспитания внешней роскоши, т.-е. индустриальной ловкости, ведущей к приобретению богатств. Опера, следовательно, является чрезвычайно важным вспомогательным средством воспитания. Она будет развивать детей не силой принуждения, а единственно только привлекательностью всех своих элементов, так как в ее ведении находятся все физические упражнения, столь любимые детьми, начиная с ружейных приемов и кончая качанием кадил, все световые эффекты, разнообразные живописные костюмы, музыка, танцы и пр. [2]).

„У нас в опере,—говорит Фурье в другом месте (в „Теории всемирн. единства", ч. IV),—допускается в очень малой степени или совершенно не допускается гимнастика; этот жанр искусства очень любим народом и потому вытеснен в второстепенные народные театры. По моему в этом следует видеть не усовершенствование, а порчу вкуса. Все материальные проявления гармонии благородны; но так как гротеск, головоломные прыжки, хождение по канату и т. п. нравятся народу, то уже в силу этого они должны были быть отвергнуты нашими высшими кругами. Гимнастика вновь станет всеобщей любимой отраслью искусства в строе, где высшие и низшие классы образуют одно целое по тону и манерам".

„В строе цивилизации,—говорит далее Фурье,—опера, если допустить ее доступность для широких слоев, может давать одни только отрицательные результаты в деле воспитания. В настоящее время она не только не способна содействовать нравственному развитию

[1]) Th. de l'Unité univ., т. IV, стр. 76—77.
[2]) См. Nouv. Monde industr. et soc., стр. 223—224.



народа, но является одним из средств дальнейшего раскола между богатыми и бедными. Даже для богатого ребенка современная опера представляет опасность в воспитательном отношении. В самом деле, созерцание этого объединения изящных искусств возбуждает у него энтузиазм к благородным и возвышенным идеям; проникшись таким настроением, ребенок должен вернуться к жалкой действительности, т.-е. к общению с миром низости и нравственной испорченности. Такая двойственность не может содействовать созданию нравственного и счастливого индивида.

Ребенок строя Гармонии не подвержен этой опасности. Он выходит из оперы, т.-е. из храма материальной правильности (justesse materielle), чтобы окунуться в жизнь фаланги, т.-е. в океан страстной правильности (justesse passionnelle), проявляющейся в сериях и группах, где он видит, как каждая страсть содействует социальному согласию, истине, единству, материальной картиной которых является опера. Опера, таким образом, будет содействовать развитию тех нравов, которые являются основой жизни в Гармонии; опера, следовательно, будет компасом мудрости в воспитании, между тем как теперь она является обманчивым огоньком, сбивающим с пути [1]).

„Быть может,—замечает наш автор,—мне сделают упрек, что я хочу превратить весь мир в комедиантов. На это я отвечу следующее. Во-первых, комедиантов не будет, раз все люди станут таковыми; во-вторых, разве современное воспитание не делает из людей социальных арлекинов; разве у нас не жонглируют мужчины—честностью, а женщины—любовью и верностью? Наша система воспитания порождает моральных и политических скоморохов и фигляров, не достойных даже имени комедиантов, которое в точном смысле этого слова означает художника, верного природе и истине".

Фурье считает воспитание в опере необходимым для детей, начиная с самых младших возрастов. Ни один „малыш" не будет допущен в хор „херувимов", пока он не приобретет способности выступать в одной из отраслей оперного действия... Чтобы подготовить к этому детей с колыбели, чтобы развить в них правильный слух, в оперу приводят детей, начиная с двухлетнего возраста, для чего должны быть отведены более отдаленные ложи в театре.

Некоторые делают против устройства оперы то возражение, что это слишком дорогое удовольствие. Устройство театра, и в особенности оперы, дорого обходится даже большим городам; тем более она будет не по силам фаланге. На это я отвечу, что опера обойдется недорого фаланге, у которой будут свои каменщики, плотники, кузнецы, одним словом, вся необходимая рабочая сила; материалы же можно будет получить в кредит. Что же касается артистического состава, то в каждой фаланге будет не меньше 1.200 своих собственных артистов; каждый ребенок в фаланге с колыбели будет воспитываться на театральных подмостках; каждый будет в состоянии выполнять какую-нибудь функцию в области музыки, хореографии, декламации или механики. Недостаток в местных силах будет пополняться странствующими труппами.

В строе Гармонии будут смотреть, как на природный недостаток,

[1]) Как мы выше видели, Фурье называет оперу средством „материального" воспитания, и он действительно делает ее таковым в своей фаланге; между тем, как явствует из последних строк, опера у него является также средством развития нравов, лежащих в основе строя Гармонии. Тут противоречие только кажущееся, ибо у Фурье, как мы уже отметили и как дальше еще более выяснится, материальное усовершенствование индивида (индустриальное развитие плюс укрепление здоровья и развитие и утончение органов чувств) ведет к усовершенствованию нравственному и умственному.

если ребенок в 4½ года не будет обладать правильным голосом, верным слухом и чувством ритма. Но таких дефектов не будет, так как ребенок с колыбели будет воспитываться в музыкальных хорах, и всякая группа будет иметь свои канты и гимны, которыми она будет начинать и кончать работу, как теперь начинают и кончают пением день в монастыре.

Что касается нравственного значения оперы для ребенка, то она будет для него школой морали в образах. Здесь молодежь будет учиться отвращению ко всему, что оскорбляет чувства истины, справедливости и единения. В балетных фигурах и в хоре всякий будет подвергаться критике со стороны правильности голоса, жестов и движений. Здесь каждый будет учиться подчинять свои действия и движения общей гармонии. Опера, таким образом, является материальной школой единения, правильности и истины. В этом смысле она является образцом божественного духа, истинной опорой правов в Гармонии.

Благодаря постоянному общению фаланг в области театрального искусства и благодаря странствующим труппам, опера будет содействовать единению в области языка. Все ведет к единению в строе Гармонии, а язык—это главное звено в этой широкой цепи [1]).

Говоря об опере, скажем несколько слов о том, каков будет вообще театр в строе фаланги, согласно изображению нашего автора.

Самым лучшим поприщем для развития талантов всех родов,—говорит наш автор (в „Теории четырех движений"),—будет театр, так как сценические упражнения являются путем к изучению всех наук и искусств и даже механики, имеющей громадное применение на сцене.

Фурье изображает характер и значение сцены в строе прогрессивных серий. Он исходит из вышеприведенного положения, что в каждой фаланге среди 1620 человек, ее населяющих, найдется все разнообразие характеров (которое Фурье определяет цифрой в 810), из коих каждый заключает в себе зародыш того или иного таланта. Умелым развитием естественных качеств посредством естественного воспитания, а потом умелым подбором и упражнением можно набрать и сконструировать в каждой фаланге театр, который по своим достоинствам будет стоять не ниже парижского театра. В театральном искусстве будут участвовать все жители фаланги, начиная с детей, ибо театр является не только развлечением, но и школой искусства, и участие в тех или иных театральных действиях будет необходимым условием допущения в хоры, на парады, празднества и торжества. Таким образом сама жизнь сольется с театром. Театр и жизнь будут черпать друг у друга свои элементы. Но если уже театр какой-нибудь фаланги по своим достоинствам будет стоять не ниже столичных театров, то можно себе представить, какого великолепия достигнет театр, где будут фигурировать корифеи целой провинции, а тем более целой страны. Но Фурье идет дальше. Он в каждой стране создает странствующие труппы из лучших артистических сил. Эти странствующие труппы он называет „chevalerie errante" (странствующее рыцарство). Он пишет: „Сегодня мы будем видеть представление „Розовых трупп", прибывших из Персии и дающих представления драматического и лирического характера; несколько дней спустя являются „Лилейные труппы", представления которых носят характер поэтический и литературный. Постепенное появление этих караванов будет рядом празднеств и восхитительных развлечений для каждого любителя наук и искусств.

[1]) См. Th. de l'Unité univ., ч. IV, стр. 75—84.



„Вот „розовые труппы" прибывают в Сен-Клу в окрестностях Парижа. Их караван состоит из 300 рыцарей и 300 рыцарш. Все они родом из Персии, и являются наиболее выдающимися талантами в области драмы и лирики в своей стране. В их рядах самые выдающиеся певцы и певицы, танцоры и танцорши, музыканты и музыкантши. В Сен-Клу их встречает местный рыцарский отряд, состоящий из самых богатых людей, любителей театра и музыки, образующих корпорацию для встречи странствующих трупп и для устройства им соответствующего приема.

„Розовые труппы" дают спектакль, прелесть которого не поддается описанию. Между тем прибывают труппы Гортензии из Мексики. Между труппами той и другой национальности происходят состязания в Сен-Клу, Нейли, Марли, одним словом, всюду, где они встречаются. Те, на чьей стороне осталась победа, получают знамя с соответствующей надписью. Какое прекрасное зрелище будут представлять эти состязания наилучших артистических сил различных стран и народов—само собой понятно.

Если странствующие труппы объявят в Сен-Клу о своем дальнейшем движении к Орлеану, то депутаты, прибывшие из фаланг, лежащих по пути, постараются увлечь ту или другую часть труппы к себе. Здесь пребывание артистов будет дивным праздником, как для них самих, так и для местного населения, которое постарается доставить прекрасным гостям максимум удовольствия, беря все расходы по их пребыванию и передвижению на свой счет. Таким образом,—заключает Фурье,—что касается зрелищ, то самый бедный человек в строе прогрессивных серий будет безвозмездно получать их в сто раз больше, чем ныне получают монархи" [1])...

Кухня и ее образовательное значение.—„Образовательное" значение кухни! Не скрывается ли тут недоразумение?—спросит, быть может, читатель. Нет, Фурье будет говорить именно о кухне и ее образовательном значении. Он бесстрашно разрывает со всеми старыми понятиями в педагогической области, как и в других, и столь же бесстрашно строит свою новую воспитательную систему, исходя из вышеотмеченных основных принципов. Среди этих принципов, как уже было указано, наиболее видное место занимает следующий. Ребенок должен учиться не в школе, где ему вдалбливают в голову отвлеченную мудрость, восприятию которой противится все его существо, а из жизненной практики—при посредстве работ в мастерских, в садах, в кухне, к которым он начинает чувствовать влечение с самых малых лет. В глазах Фурье кухня—это мастерская для изготовления пищи: она важнее всех других мастерских в образовательном значении потому, во-первых, что здесь приходится иметь дело с растениями и животными в их естественном виде, что ведет к наглядному ознакомлению с ботаникой, зоологией и анатомией; во-вторых, потому, что к изучению этой производственной отрасли нас толкает самый могучий стимул—чревоугодие; в-третьих, потому, что чревоугодие должно явиться, с одной стороны, основой сложной гигиены, а с другой стороны, стимулом важнейшей части производительной деятельности человека [2]). К сказанному нужно прибавить, что Фурье, как известно, в основу своей ассоциации клал сельско-хозяйственное производство и потому считал наиболее важной в образовательном

[1]) См. Th. de quatre mouv., стр. 230—236.

[2]) В статье о Фурье в № 3 нашего журнала „Элементы диалектики и экономического материализма в воззрениях Ш. Фурье") мы отметили, какое громадное значение Фурье придает чревоугодию в деле усовершенствования промышленности, главным образом, конечно, сельско-хозяйственной.

отношении мастерскую, где происходит окончательная обработка сельско-хоз. продуктов для целей потребления, т. е. кухню.

„Говорят, что дети чревоугодники,—так начинает Фурье главу (в „Теории всемирного единства") о воспитательном значении кухни.— Это неточное выражение. Дети не чревоугодники, а обжоры, потому что чревоугодник, гурман, это—человек с тонким вкусом умеющий смаковать пищу. Дети же, вследствие своей жадности, поглощают зеленые сливы, обжираются незрелыми яблоками. Мораль хочет исправить детей, умерить их страсть к обжорству; такое „исправление" принесет им один только вред, лишив их одного из благодетельнейших стимулов. Тот, кто хочет их исправить, должен действовать другим путем: он из обжор должен их превратить в гурманов, гастрономов. Это возможно только посредством воспитания их на кухне.

„Давно замечено, что повара не обжоры, а гурманы. Имея перед собой пищу в изобилии, они отвыкают от обжорства, если раньше страдали этим недостатком, и становятся разборчивыми в пище, знатоками и ценителями хороших блюд и хороших припасов. Этим путем нужно идти, чтобы привить гастрономию детям, потому что гастрономия, как уже было указано, ведет нас к богатству, группам, индустриальным сериям. Но, скажут мне, вы хотите сделать всех кулинарами. На это я возражу тем же, чем возразил на аналогичный упрек, сделанный мне по поводу оперы: не я хочу, а природа хочет. Сама природа вложила в детей страсть к кухне. Вы считаете эту страсть вредной, а я считаю ее полезной, благодетельной. Ибо, как может в ребенке развиться интерес к агрономии и зоотехнике, если не под влиянием кухни? Объяснимся. Наш крестьянин выращивает овощи и домашних животных, не заботясь об их качествах, а единственно с той целью, чтобы их сбыть обманным образом покупателю. Почему он так поступает? Потому, что в нашем строе интересы производителя и потребителя не только разъединены, но прямо противоположны. Но в сосьетарном строе эти интересы будут объединены и каждый член фаланги будет заинтересован в изготовлении наилучших съестных припасов. Где же он может научиться пониманию их качеств? где его лаборатория?—Кухня.

„Вот почему необходимо использовать страсть детей к работе в кухне, чтобы утончить их вкусы, сделать из них самых тонких гастрономов. Вкус—это колесница на четырех колесах, которые суть: 1) культура; 2) консервирование; 3) кухня; 4) гастрономия. Все они вместе создают гигиеническое равновесие, главным элементом которого является потребление, поставленное на гигиенических началах. Вот наиболее важные отрасли детского воспитания и образования. Развивая эти стороны человеческой деятельности, мы подготовляем человека для счастья, между тем как мораль, ограничивая и исправляя человека, готовит его для печального существования, в котором вкусные блюда предлагают ему заменить нравоучительными пошлостями.

„Итак, школой ребенка является кухня, куда цивилизацией ему запрещен доступ. Там его работа будет происходить под двойным стимулом, вследствие удовольствия, доставляемого ему маленькими приборами, и вследствие страсти к вкусным блюдам. Впрочем, в более младшем возрасте на него притягательнее будет действовать страсть к сладостям, а потому его работа должна происходить в кондитерском серистере, смежном с кухней, куда он перейдет впоследствии. Кондитерский серистер—первая школа „карапузов" и „малышей".

„Насколько такое воспитание важно для будущего члена фаланги, можно видеть из любого примера. Как известно, существует множество сортов капусты, не менее двадцати. Современная мораль



стремящаяся к исправлению страстей, к упрощению вкусов, т.-е. к искалечению человеческой природы, а не ее развитию и утончению, современная мораль говорит ребенку: ты должен одинаково относиться ко всем сортам капусты и даже предпочитать низшие сорта высшим, ибо добрый республиканец должен употреблять грубую пищу. Сосьетарный строй, стремящийся к разностороннему развитию человеческих вкусов, заинтересован в том, чтобы ребенок научился различать все нюансы вкусов, а этого он может достичь, пробуя и смакуя все виды капусты; тогда, конечно, он в будущем сумеет дать направление этой отрасли огородничества для собственного блага и блага своих ближних. Но этого мало. Разнообразие вкусов и их утончение, умение различать всевозможные оттенки пищи и ими наслаждаться необходимо для того, чтобы было возможно образовать все группы, требуемые для полноты и законченности серий и для полного развития игры страстей в них.

„Но для того, чтобы сделать кухню привлекательной для ребенка, нужно ее обставить совершенно иначе, чем у нас. Вся утварь ее должна быть трех категорий по величине: нормальная, средняя и маленькая с соответствующими нюансами в каждой категории, чтобы удовлетворить все вкусы. Ребенка мало заинтересует обыкновенный кухонный вертел, на котором жарится мясо; но если вокруг трех очагов разной величины находится целый ряд вертелов семи или девяти родов, то такая обстановка заключает в себе много привлекательного для него. „Херувимы" присматривают за вертелами наименьшей величины, на которых жарятся жаворонки, трясогузки и другие птицы малой величины; „серафимы" находятся у небольших вертелов, на которых жарятся перепела, дрозды, голуби; лицеисты и гимназисты работают у очага с средним огнем, средней утварью и средней величины птицами и т. д.

„Насколько отлична кухня строя Гармонии от современной кухни, настолько же отличны друг от друга повара того и другого строя. Современный повар—низший и маловажный служащий; повар строя Гармонии, искусство которого базируется на знании культуры растений и животных, на основательном знакомстве с соответствующими отраслями химии и гигиены, будет ученым высшего ранга и самым важным членом педагогического совета" [1]).

Научное образование.—Прочитав все вышеизложенное, некоторые могут подумать, что основатель строя Гармонии отводит второстепенное и даже третьестепенное место научному образованию в собственном смысле этого слова. Это был бы поспешный, несоответствующий действительности, вывод. Фурье, как можно видеть из различных мест его сочинений, отводит самое почетное место науке вообще и точным наукам в особенности, и своим питомцам в строе Гармонии стремится дать самое широкое научное образование, что является конечной целью его воспитательной системы. Он только изменяет метод преподавания, делая его в высшей степени предметным и наглядным, связывая его с практикой жизни и в первую очередь с трудовым воспитанием.

„Нет более распространенной страсти среди родителей,—говорит наш автор,—как стремление видеть в своих детях скороспелое развитие всех способностей. Чтобы достичь этого, наши современные теории стремятся заполнить ум ребенка всякими научными тонкостями, заставляя его с шести лет заниматься такими вещами, к изучению которых он должен приступить с 12 лет.

[1]) См. Th. de l'Unité univ., т. IV, стр. 102—115.

Сосьетарный строй также стремится к скороспелому развитию способностей ребенка, но он будет при этом сообразоваться с естественным ходом вещей, согласно которому, во-первых, воспитание телесное должно предшествовать воспитанию духовному; и, во-вторых, воспитание должно следовать системе сложной скороспелости, а не простой, которой придерживается современная педагогия. Эта педагогия зиждется на простом методе воспитания духовного или телесного. Первое (т.-е. духовное) воспитание заключается в том, что в ребенке стремятся преждевременно развить все духовные способности в ущерб телесным; благодаря этому нарушается естественное равновесие, что можно видеть на примере таких чудо-детей, как Паскаль, Пик де ла Мирандоль и других подобных гениев, умерших преждевременной смертью. Простое материальное воспитание стремится к развитию тела в ущерб душе. Молодых людей, воспитанных по этому методу, мы тоже встречаем немало в наше время; их прототипом можно считать Томаса Диафурю-сына".

Этому одностороннему скороспелому развитию Фурье противоставляет скороспелое сложное развитие, которое заключается в том, что ребенок развивается одновременно физически и умственно.

„Чтобы воспитать детей по методу скороспелого сложного развития, говорит Фурье,—нужно с самого юного возраста привлечь их к материальному труду, который при нынешнем строе не представляет собой ничего приятного. Ученье должно занимать второе место; оно должно базироваться на той любознательности, которая рождается из индустриальных занятий...

„Например, Низю 6 лет увлекается уходом за фазанами и гвоздикой; он принимает активное участие в интригах фазаньей и гвоздичной групп. Чтобы заставить его заняться наукой, ни в коем случае не следует прибегать к отцовскому авторитету или страху наказания, или привлекать его приятной перспективой наград и привилегий. Нужно так поставить дело, чтобы Низю и ему подобные сами просились в школу. Как же это сделать? Нужно действовать на чувство этих естественных руководительей ребенка. „Почтенный" Теофраст, который в фазаньей группе руководит „херувимами" и помогает им своими советами, принес в один из сеансов толстую книгу с картинами различных видов фазанов, разводимых в данном кантоне и в других более отдаленных местностях. Подобные картинки чрезвычайно нравятся детям пяти лет; они жадно на них набрасываются. Под картинками находятся хорошенькие объяснительные надписи: две-три таких надписи прочитываются детям; заинтересованные, они хотят познакомиться с остальными; но „почтенный" или „серафим", стоящие во главе этой группы, заявляют, что у них нет времени останавливаться на этих объяснениях. Это, конечно, хитрость, применяемая в серистерах младшего возраста. Все сговариваются отвечать „херувиму", что у них нет времени заниматься этими объяснениями, и отказываются ему отвечать, когда он обращается с вопросами, подчеркивая при этом, что, если он хочет все знать, он должен научиться читать, как такой-то и такой-то из его сверстников, которые, умея читать, уже допущены в детские библиотеки. Давая такой ответ нашему „херувиму", книгу с прекрасными картинками уносят в школьную библиотеку.

„Под влиянием подобного двойного афронта в фазаньей и гвоздичных группах, Низю решает научиться грамоте, чтобы быть допущенным в детские библиотеки и иметь возможность читать толстые книги с красивыми картинками. Он сообщает о своем намерении своему другу Эвриалу и они вместе составляют благородный заговор научиться грамоте. Свой замысел они открывают кому-нибудь из



старших, который приходит им на помощь. Таким образом цель достигнута; наш „херувим" привлечен к обучению грамоте не насилием и приказом, а собственным желанием; его не заставили учиться, а он сам просил об этом; его быстрые успехи наглядно докажут преимущества этой системы".

„Пустите в ход подобные побудительные мотивы, и успехи будут столь же быстры, насколько они медленны и сомнительны при тех средствах, к которым прибегают в настоящее время, каковы приказ отца, строгости педанта-учителя, взыскания и наказания.

„Указанный метод будет применен при преподавании всех отраслей науки; но его применение возможно только в связи с работами, которыми ребенок страстно увлечен. Вот почему воспитание должно начинаться с индустриальных работ, и нет ничего хуже простой современной системы, стремящейся сделать из ребенка геометра или химика раньше привлечения его к работам, способным возбудить в нем желание познакомиться с математикой или химией для применения приобретенных знаний к этим работам" [1]).

Вот еще пример, из коего видно, как работы в мастерских и поле или другие стороны практической жизни будут стимулировать любознательность детей, толкая их к приобретению научных знаний. Положим, что какая-нибудь фаланга, например, медонская группа, детей культивирует спаржу; в версальской фаланге существует группа детей, культивирующих то же растение. Предположим далее, что на одном из многочисленных конкурсов, устроенных кантонами, версальская группа получила высший приз за свою спаржу. Само собой понятно, что это огорчит спаржевую группу из медонской фаланги; медонцы будут крайне заинтересованы в том, чтобы узнать, чем объясняется успех версальцев. Тут на помощь является учитель естествознания или агрономии. Так как успех версальцев объясняется преимуществами почвы, то учитель этим воспользуется для того, чтобы дать детям естественно-историческое понятие о почве и ее составных элементах, а также о том, как улучшить почву на своем участке. Таким образом, помимо практической пользы, получится обогащение детского ума знаниями. Повторяя такие беседы, учитель ознакомляет детей с начатками естествознания и до того заинтересовывает их этой наукой, что они даже сами будут стараться узнать дальнейшее из книг.

Не нужно думать, что дети занимаются только мелкими культурами; они участвуют также в крупных культурах, каковы возделывание гороха, чечевицы и т. п. Занимаясь культурой этих растений, дети должны изучить качества почвы, характер удобрений, задуматься над вопросом о влиянии литературы, чтобы узнать причины удач и неудач в этой области у себя и в других фалангах. Таким образом ребенок становится химиком и физиком, сам того не замечая, увлеченный целиком соревнованием и борьбой групп.

К аналогичным последствиям приведет работа на кухне, в саду, в мастерских. Ребенок учится работая. В процессе работы у него возникает ряд вопросов, на которые руководители работ отвечают систематическим научным ознакомлением с той или другой главой естествознания или техники. Так в процессе работы дети знакомятся с основами всех наук; и если ныне у некоторых избранных натур, несмотря на антипедагогические методы ознакомления с наукой, все же возникает рвение к той или другой отрасли ее, заставляющие их отдаться избранному предмету на всю жизнь, то тем более это воз-

[1]) Th. de l'Unité univ., ч. IV, стр. 44—46.

можно в сосьетарном строе, где будут существовать все условия для дальнейшего научного развития, и ни одного из современных бесчисленных препятствий, какими являются: отсутствие средств, сословные предрассудки, правовые ограничения и пр.

Выгоды индустриального воспитания. Эти выгоды Фурье разделяет на 4 категории:

1. Положительные материальные. Дети 4—5 лет будут делать работу, которой теперь заняты люди 30—40 лет, и будут делать ее гораздо лучше. В кухнях, мастерских, в хлевах и пр. есть тысячи мелких работ, нетрудных, требующих ловкости и быстроты, которые дети, благодаря своей подвижности, будут исполнять несравненно быстрее и лучше, чем взрослые.

2. Положительные духовные. Маленькие дети-работники являются очарованием фаланги, благодаря своей ловкости, соревнованию, участию в опере, церемониях и парадах. Это индустриальное сотрудничество детей и возникающие между ними общность и согласие будут очень важным источником для установления взаимного согласия между родителями.

3. Отрицательные внутренние. Благодаря индустриальному воспитанию, начинаемому в возрасте 3—4 лет и заканчиваемому в продолжение нескольких лет детства, каждый индивид выигрывает большой период юношеского возраста, который он в настоящее время тратит на подготовку к какой-нибудь профессии и тратит большей частью без пользы, не достигая цели.

4. Отрицательные внешние. Этот вид экономии очень важен и заключается в том, что сосьетарным воспитанием достигается избежание тех убытков, которые ребенок в современном строе приносит своими разрушительными тенденциями [1]).

## 4. Юные пионеры в строе фаланги (маленькие орды и маленькие банды).

Как выше было отмечено, дети у Фурье показывают пример сосьетарности родителям и заражают их своим энтузиазмом, укрепляя в них общественные склонности, увлекая их к строению новых форм жизни [1]). Причина этого явления, как полагает Фурье, заключается в том, что у детей природные общественные инстинкты еще свежи и не ослаблены отрицательными, антиобщественными сторонами цивилизации, как у родителей, у которых эти инстинкты способны проснуться под влиянием примера детей. Другая особенность большинства детей (в особенности мальчиков), по мнению Фурье, заключается в их склонности к нечистоплотности, в особенной любви к грязным работам, к работам, сопровождающимся шумом и гамом и т. п.

Эти особенности детской натуры Фурье стремится использовать для нужд строя Гармонии, образуя в фаланге своего рода организации юных пионеров—маленькие орды и маленькие банды. Этим организациям Фурье дает ряд функций, чрезвычайно важных в хозяйственном и общественном отношениях.

„Нет добродетели более редкой, — говорит Фурье, — чем патриотизм, хотя все партии любят надевать на себя его маску. Но юные души способны проявлять такой патриотический пыл, на который ни в коем случае не способны взрослые, готовые в любое время продать свои убеждения за какую-нибудь хорошо оплачиваемую должность. Сосьетарный строй сумеет использовать эту склонность детей к актам социального самопожертвования; он сумеет использовать молодых деятелей на таких постах, где спасуют их отцы, и прежде всего для работ, которые у взрослых людей обыкновенно вызывают отвращение. Это отвращение, которое ныне преодолевается за деньги, должно быть преодолеваемо только путем влечения в строе, где основным двигателем социального механизма будет удовольствие. Режим индустриального влечения рухнул бы, если б он не нашел средств сделать привлекательными такие неприятные работы, которые у нас в строе цивилизации выполняются за деньги“...

„Гармоническое воспитание имеет более важную задачу, чем делать из детей молодых ученых; сосьетарный строй хочет из них сделать героев социальной добродетели, существ, преданных поддержке универсального единства. Какой смысл имело бы развить ум, не воспитав душу, приобщить детей к знанию, не создав в них нравов, соответствующих тому прекрасному строю, который должен обеспечить счастье всего человечества?“

„Почему,—спрашивает в другом месте Фурье,—дети призваны к такой выдающейся роли в механизме общественного единения? Это потому, что дети в области аффективных страстей подвержены главным образом одной—дружбе. Ни любовь, ни дух семейственности не могут их отклонить от этого чувства. Только среди них можно найти дружбу во всей чистоте и использовать ее для самой благородной цели, а именно для всеобщего социального милосердия“.

„Таким образом, главной опорой социального единства, цитаделью механизма страстей будет корпорация, состоящая из детей от 9 до 15 лет, т.-е. из двух колен лицеистов и гимназистов.

„Спешите же, философы-ригористы, и вы, добродетельные граждане, враги богатства и роскоши, я покажу вам братский союз, который в грандиозных размерах осуществит фактически то, что вы проповедуете только на словах — презрение к богатству. Среди маленьких орд найдете вы добродетель, заставляющую человека жертвовать всем своим достоянием в интересах своих сограждан и для блага отечества.

„Скажите по совести, верили ли вы, чтобы подобная добродетель действительно когда-либо осуществилась на деле? Правда, вы ее проповедуете, но вы нисколько не верите в нее и, во всяком случае, не спешите ее осуществить. Сознайтесь, что Гармония поступает вполне благоразумно, ища среди детей чемпионов добродетели, одна мысль о которых заставляет бежать цивилизованных отцов“.

Если мы возьмем детей, недостигших половой зрелости,—говорит далее Фурье,—то увидим, что среди мальчиков есть $^2/_3$, а среди девочек $^1/_3$, которые склонны к нечистоплотности и нечувствительны к стыдливости; они любят пачкаться в грязи и играть неопрятными предметами, употреблять грубые выражения, говорить высокомерным тоном; они склонны к упрямству, брани, сквернословию. Эти мальчики и девочки, набранные из 4-х колен лицеистов и гимназистов,— т.-е. из детей в возрасте от 9 до 15 лет — образуют маленькие орды.

„Вы, значит, намерены изменить страсти!—воскликнет какой-нибудь скептик. — Нет, отвечу я, это вы, недальновидные политики, стараетесь их переделывать в своих трактатах о „совершенном совершенстве“.

[1]) В своем докладе о молодежи на XIII-м съезде Бухарин говорит: „Затем они (пионеры)... запустили свои щупальцы по линии влияния на родителей, чем помогают разрушению старых отношений в семье... Пионеры во многих случаях оказывали такое влияние на своих родителей, что тащили их в партию, заставляли их записываться и делали все, чтобы склонить их к вступлению в партию“ (Цит. по отчету „Известий“ № 123 с. г.).

„Посмотрим, кто из нас занимается переделкой человеческих страстей. Всем хорошо известна страсть к нечистоплотности у детей 10—12 лет. Моралисты говорят, что нужно стремиться к исправлению этого недостатка, наказывая детей, когда они пачкают свою собственную и чужую одежду, или наносят грязь на учительскую кафедру.

„Вы, значит, говорите о неблаговоспитанных детях скажет какой-нибудь моралист; но есть, ведь, иные дети с другими наклонностями. Без сомнения, есть; я использую наклонности таких детей для организации маленьких банд. Но не подлежит сомнению, что до 12 лет $^2/_3$ мальчиков и $^1/_3$ девочек склонны к нечистоплотности, а потому тот, кто не задается целью переделывать страсти, должен найти средство использовать эти странные вкусы, которые природа вложила в половину детей. Из этой наклонности, которую моралисты считают пороком, Гармония, при посредстве маленьких орд, извлечет очень ценные выгоды для установления социального равновесия. Моя теория заключается в том, что бы использовать страсти, самые на первый взгляд неприятные, в том виде, в каком их дала природа. В этом заключается все волшебство, весь секрет исчисления влечения страстей. Нет надобности спорить о том, был ли бог прав или не прав, дав людям те или иные страсти; сосьетарный строй использует их, ничего в них не изменяя, такими, какими их дал бог"...

„Откуда берется страсть к грязи и нечистоплотности у детей 10—12 лет?—спрашивает далее Фурье.—Является ли она результатом плохого воспитания, недостаточных внушений? Нет, ибо чем более вы будете выговаривать им за эту наклонность, тем с большим усердием они будут ей предаваться. Есть ли это природная испорченность? Но тогда нужно предполагать, что сама природа испорчена. Если же, наоборот, естественная система распределения влечений правильна во всех деталях, то значит, что все инстинкты, считаемые порочными, должны иметь очень полезное применение. Цивилизация не дает нам ключа для разрешения этой загадки, объяснение которой мы находим в следующем: мания нечистоплотности есть импульс, необходимый, чтобы заставить детей вступить в маленькие орды, вооружить их способностью легко и весело переносить неприятные ощущения, связанные с грязными работами, и дать им возможность из карьеры неопрятности (de cochonnerie) сделать себе широкое поприще индустриальной славы и унитарной филантропии... Мания нечистоплотности, господствующая среди детей, есть своего рода дикий плод, который нужно рафинировать при посредстве двух стимулов—духа единения, проникнутого религиозным характером, и корпоративной чести" [1].

Организация маленьких орд.—Маленькие орды состоят из трех отделов—двух основных и резерва или вспомогательного корпуса. Фурье называет эти отделы очень странными названиями: два основных отдела он называет „хвастунами" и „негодяями" (sacripans и chenapans), а резерв—„сорви-головами" (garnements).

„Негодяи" увлечены грязными работами; „хвастуны"—опасными, требующими ловкости; „сорви-головы" участвуют в тех и других, женские части орд прислуживают на скотобойнях, выполняют самые неприятные работы в кухнях и прачечных.

Одежда маленьких орд должна заключать элементы смешного и варварского. Например, для парада они надевают венгерские костюмы, состоящие из доломанов и широких панталон; их шарф и пояса украшены железными кольцами, звенящими при всяком движении; кольца эти должны быть пустыми внутри, чтобы не быть тяжелыми.

[1] Th. de l'Unité univ., ч. IV, стр. 156—159.



Тот же вкус должен господствовать во всех других предметах — колесницах, упряжи и пр.; залы для собраний украшены фестонами из железных колец. Но все эти грубые украшения характеризуют только внешность, ибо по существу маленькие орды очень услужливы и любезны.

Маленькие орды выезжают на маленьких лошадях, какие ныне встречаются только в Исландии и Корсике. Для пробной фаланги их трудно будет найти, потому что в цивилизации ими не интересуются и не умеют их использовать; но в Гармонии такие лошадки будут иметь большое значение, так как без них невозможно образовать маленькую кавалерию, необходимую принадлежность маленьких орд и маленьких банд.

Моралисты, быть может, скажут: для детей полезнее итти пешком. Пусть лучше моралисты посоветуют пешее хождение своим министрам и высшим чиновникам; но они наверно откажутся это сделать под тем предлогом, что министры и высшие власти должны импонировать народу, а для этого они должны разъезжать в роскошных каретах. В Гармонии же, наоборот, министры будут итти пешком, а дети, составляющие маленькие орды и банды, будут ездить на лошадях, образуя маленькую кавалерию. Почему? Потому, что дети старших колен должны импонировать детям младших возрастов в материальном отношении своей блестящей внешностью, в моральном—своими благородными поступками. Это основной принцип воспитания в строе Гармонии.

Маленькие орды применяют татарский строй; они маршируют блоками или кругами, в свободном центре коих находится древко с орлом или львом. Двенадцать блоков, называемых облаками, образуют вихрь.

Орды имеют свой корпоративный язык или арго, свою маленькую артиллерию, своих генералов и генеральш, называемых ханами и ханшами,—татарскими названиями, потому что они применяют татарские маневры в своем строе. Они имеют также своих бонз или друидов, выбираемых из среды взрослых, сохранивших склонность к грязным работам и примкнувших к ордам; друиды и друидессы руководят работами маленьких орд. Чтобы быть допущенными в их сословие, нужно проделать двенадцать кампаний в индустриальных армиях.

Главным украшением маленьких орд служит двухцветная одежда, которую носит каждый участник орд; при этом нужно наблюдать, чтобы ни у кого эти цветы не повторялись в одинаковой комбинации; например, лазоревый доломан, малиновые панталоны; розовый доломан, изумрудные панталоны; фиолетовый доломан, канареечные панталоны; горчичный доломан, мореновые панталоны.—Таким образом, если отряд маленьких орд состоит из 50 всадников и всадниц, то их одежда должна состоять из 100 цветов, возможно артистичнее контрастированных, при чем цвета одной фаланги должны отличаться от цветов соседних фаланг, так что на собрании орд 4-х фаланг должны фигурировать 400 цветов, умело расположенных и сгруппированных. Эту роскошь цветов не следует считать излишней; необходимо, чтобы маленькие орды производили сильное впечатление на детей, с которыми следует разговаривать при посредстве глаз.

Кроме производства самых грязных работ, Фурье, как выше было указано, дает маленьким ордам еще одно назначение—быть примером бескорыстия. Маленькие орды не только берут незначительное вознаграждение за свой труд, который по распределительным принципам фаланги должен был бы быть вознаграждаем по высшей категории, но получаемые за указанную работу деньги они жертвуют на

„Посмотрим, кто из нас занимается переделкой человеческих страстей. Всем хорошо известна страсть к нечистоплотности у детей 10—12 лет. Моралисты говорят, что нужно стремиться к исправлению этого недостатка, наказывая детей, когда они пачкают свою собственную и чужую одежду, или наносят грязь на учительскую кафедру.

„Вы, значит, говорите о неблаговоспитанных детях скажет какой-нибудь моралист; но есть, ведь, иные дети с другими наклонностями. Без сомнения, есть; я использую наклонности таких детей для организации маленьких банд. Но не подлежит сомнению, что до 12 лет $^2/_3$ мальчиков и $^1/_3$ девочек склонны к нечистоплотности, а потому тот, кто не задается целью переделывать страсти, должен найти средство использовать эти странные вкусы, которые природа вложила в половину детей. Из этой наклонности, которую моралисты считают пороком, Гармония, при посредстве маленьких орд, извлечет очень ценные выгоды для установления социального равновесия. Моя теория заключается в том, что бы использовать страсти, самые на первый взгляд неприятные, в том виде, в каком их дала природа. В этом заключается все волшебство, весь секрет исчисления влечения страстей. Нет надобности спорить о том, был ли бог прав или не прав, дав людям те или иные страсти; сосьетарный строй использует их, ничего в них не изменяя, такими, какими их дал бог“...

„Откуда берется страсть к грязи и нечистоплотности у детей 10—12 лет?—спрашивает далее Фурье.—Является ли она результатом плохого воспитания, недостаточных внушений? Нет, ибо чем более вы будете выговаривать им за эту наклонность, тем с большим усердием они будут ей предаваться. Есть ли это природная испорченность? Но тогда нужно предполагать, что сама природа испорчена. Если же, наоборот, естественная система распределения влечений правильна во всех деталях, то значит, что все инстинкты, считаемые порочными, должны иметь очень полезное применение. Цивилизация не дает нам ключа для разрешения этой загадки, объяснение которой мы находим в следующем: мания нечистоплотности есть импульс, необходимый, чтобы заставить детей вступить в маленькие орды, вооружить их способностью легко и весело переносить неприятные ощущения, связанные с грязными работами, и дать им возможность из карьеры неопрятности (de cochonnerie) сделать себе широкое поприще индустриальной славы и унитарной филантропии... Мания нечистоплотности, господствующая среди детей, есть своего рода дикий плод, который нужно рафинировать при посредстве двух стимулов—духа единения, проникнутого религиозным характером, и корпоративной чести“ [1]).

Организация маленьких орд.—Маленькие орды состоят из трех отделов—двух основных и резерва или вспомогательного корпуса. Фурье называет эти отделы очень странными названиями: два основных отдела он называет „хвастунами“ и „негодяями“ (sacripans и chenapans), а резерв—„сорви-головами“ (garnements).

„Негодяи“ увлечены грязными работами; „хвастуны“—опасными, требующими ловкости; „сорви-головы“ участвуют в тех и других, женские части орд прислуживают на скотобойнях, выполняют самые неприятные работы в кухнях и прачечных.

Одежда маленьких орд должна заключать элементы смешного и варварского. Например, для парада они надевают венгерские костюмы, состоящие из доломанов и широких панталон; их шарф и пояса украшены железными кольцами, звенящими при всяком движении; кольца эти должны быть пустыми внутри, чтобы не быть тяжелыми.

[1]) Th. de l'Unité univ., ч. IV, стр. 156—159.



Тот же вкус должен господствовать во всех других предметах — колесницах, упряжи и пр.; залы для собраний украшены фестонами из железных колец. Но все эти грубые украшения характеризуют только внешность, ибо по существу маленькие орды очень услужливы и любезны.

Маленькие орды выезжают на маленьких лошадях, какие ныне встречаются только в Исландии и Корсике. Для пробной фаланги их трудно будет найти, потому что в цивилизации ими не интересуются и не умеют их использовать; но в Гармонии такие лошадки будут иметь большое значение, так как без них невозможно образовать маленькую кавалерию, необходимую принадлежность маленьких орд и маленьких банд.

Моралисты, быть может, скажут: для детей полезнее итти пешком. Пусть лучше моралисты посоветуют пешее хождение своим министрам и высшим чиновникам; но они наверно откажутся это сделать под тем предлогом, что министры и высшие власти должны импонировать народу, а для этого они должны разъезжать в роскошных каретах. В Гармонии же, наоборот, министры будут итти пешком, а дети, составляющие маленькие орды и банды, будут ездить на лошадях, образуя маленькую кавалерию. Почему? Потому, что дети старших колен должны импонировать детям младших возрастов в материальном отношении своей блестящей внешностью, в моральном—своими благородными поступками. Это основной принцип воспитания в строе Гармонии.

Маленькие орды применяют татарский строй; они маршируют блоками или кругами, в свободном центре коих находится древко с орлом или львом. Двенадцать блоков, называемых облаками, образуют вихрь.

Орды имеют свой корпоративный язык или арго, свою маленькую артиллерию, своих генералов и генеральш, называемых ханами и ханшами,—татарскими названиями, потому что они применяют татарские маневры в своем строе. Они имеют также своих бонз или друидов, выбираемых из среды взрослых, сохранивших склонность к грязным работам и примкнувших к ордам; друиды и друидессы руководят работами маленьких орд. Чтобы быть допущенными в их сословие, нужно проделать двенадцать кампаний в индустриальных армиях.

Главным украшением маленьких орд служит двухцветная одежда, которую носит каждый участник орд; при этом нужно наблюдать, чтобы ни у кого эти цветы не повторялись в одинаковой комбинации; например, лазоревый доломан, малиновые панталоны; розовый доломан, изумрудные панталоны; фиолетовый доломан, канареечные панталоны; горчичный доломан, мореновые панталоны.—Таким образом, если отряд маленьких орд состоит из 50 всадников и всадниц, то их одежда должна состоять из 100 цветов, возможно артистичнее контрастированных, при чем цвета одной фаланги должны отличаться от цветов соседних фаланг, так что на собрании орд 4-х фаланг должны фигурировать 400 цветов, умело расположенных и сгруппированных. Эту роскошь цветов не следует считать излишней; необходимо, чтобы маленькие орды производили сильное впечатление на детей, с которыми следует разговаривать при посредстве глаз.

Кроме производства самых грязных работ, Фурье, как выше было указано, дает маленьким ордам еще одно назначение—быть примером бескорыстия. Маленькие орды не только берут незначительное вознаграждение за свой труд, который по распределительным принципам фаланги должен был бы быть вознаграждаем по высшей категории, но получаемые за указанную работу деньги они жертвуют на

благотворительность или на улажение всяких конфликтов, возникающих на денежной почве. Такое бескорыстие Фурье считает возможным со стороны детей указанного возраста потому, что они свободны от всяких связей, носящих эгоистический характер, каковы связи любовные, семейные, связь с родителями, от которых дети отчуждены благодаря общественному воспитанию.

„Вот эти-то маленькие орды,—говорит Фурье,—призваны победить величайшего владыку мира—презренный металл, проще говоря, деньги. Маленькие орды—универсальное противоядие против жадности; они призваны положить конец всем препирательствам в вопросах материального интереса и водворить господство единства вместо раздоров вокруг золотого тельца.

„Вы, философы, которых прекрасные моральные теории в продолжение 3.000 лет разбивались в прах этим презренным металлом, вы, наконец, возмечтали одержать над последним победу путем избирательного бюллетеня, который сам оказался лишним стимулом продажности. Мы же укротим это чудовище посредством легионов детей. Маленькие орды будут одни бороться против презренного металла и заставят его склонить голову перед гражданской и религиозной добродетелью—милосердием“ [1]).

Но борьба с презренным металлом—косвенное назначение маленьких орд. Их прямые, непосредственные функции — грязные, неприятные и опасные работы; исполнение этих работ—их главный гражданский подвиг.

„Их место всегда на самом опасном пункте. Они спешат туда, где чувствуется ослабление индустриального влечения. Если в какой-нибудь отрасли ослабнет индустриальное влечение, серия рушится, а с ней, в конце концов,—фаланга. Скажут: есть же, однако, такие работы, которые способны возбудить одно только отвращение; такова, например, работа по очистке выгребных ям. Нужно стремиться преодолеть это отвращение, и при отсутствии прямых привлекательных средств прибегнуть к косвенным“.

Таким косвенным средством является дух, господствующий в маленьких ордах.

Маленькие орды выступают на трудные работы, объединившись из 3—4 соседних фаланг и образуя несколько когорт. Когорты поднимаются очень рано, в 4 ч. утра; четверть часа продолжается ранний завтрак, затем после религиозного гимна и торжественного парада они в 5 ч. выступают на работу. Бьют в набат, воздух оглашается звуками колоколов, гремят трубы, трещат барабаны, собаки завывают и скот мычит. Тогда орды, под предводительством своих ханов и друидов, с громкими криками устремляются вперед, проходят мимо патриархов, которые их окропляют. С неистовством они принимаются за работу, которую они выполняют, как дело милосердия, службу Богу и единству.

После работы—омовение и туалет, после чего до 8 ч. члены орд рассеиваются по садам и мастерским; затем они со своими „коллегиями“ торжественно восседают за завтраком; там каждая орда получает лавровый или терновый венок, которые они прикрепляют к своим знаменам; а после завтрака они садятся на своих лошадок и отбывают каждая в свою фалангу.

Среди функций маленьких орд не последнее место занимает починка дорог и содержание их в должном порядке. Большие дороги в Гармонии являются своего рода „залами единения“, а так как одна

[1]) Th. de l'Unité univ., ч. IV, стр. 138—147.



из главных функций маленьких орд является поддержание единства, то обязанность следить за порядком и чистотой на дорогах лежит на них. Только благодаря маленьким ордам большие дороги в строе Гармонии будут более тенисты, чем аллеи наших садов; они будут не только обсажены деревьями и кустами, но также украшены цветами, их тротуары будут летом ежедневно поливаться. Если дорога вдруг будет испорчена обвалом или дождем, то большой колокол бьет тревогу и маленькие орды немедленно выступают в путь и немедленно принимаются за исправление повреждений—ночью, при свете факелов.

Хотя труд маленьких орд самый тяжелый, так как стимулируется не прямым, а косвенным влечением, они, однако, получают самое ничтожное вознаграждение; они совсем отказались бы от вознаграждения, если б это допускалось в фаланге. Само собой понятно, что члены маленьких орд могут заработать много денег в других сериях, где они получают долю наравне со всеми; но в качестве членов маленьких орд они получают очень небольшое вознаграждение. Мало того, собранные ими средства они редко обращают в свою пользу, а обыкновенно употребляют на улажение недоразумений при дележе прибыли. Хранительницы социальной чести, они должны раздавить голову змее как в вопросах моральных, так и материальных, и, очищая страну от пресмыкающихся, они очищают общество от еще худшего яда; посредством своих денег они подавляют всякую вспышку жадности, способную разрушить серию, а с ней и фалангу. Они умеют употреблять к действительному благу общества самоотречение, предписываемое христианством, и презрение к богатству, проповедуемое философией.

За это их вознаграждают бесконечными почестями. Маленькие орды — первая кавалерия в свете; они участвуют во всех войсках сосьетарного строя; высшие власти приветствуют их прежде всех; маленьким ордам всюду воздаются почести, принадлежащие суверенам; при их приближении сигнальная башня приветствует их звоном во все колокола, а над куполом дворца поднимают знамя. К члену орды в парадном костюме обращаются с титулом „великодушный“, орды пользуются титулом „славных туч“; в храме члены орд занимают места в алтаре.

Маленькие орды начинают все работы индустриальных армий; без них армия не может приступить к работе. Они являются охранителями царства животных (как маленькие банды—царства растений). Тот, кто причинит вред четвероногому, птице, рыбе, насекомому жестоким обращением или заставит его страдать более, чем нужно, на бойне, обязан предстать перед судилищем молодых орд; и если это даже будет взрослый или пожилой человек, то тем хуже для него, он окажется перед судом детей, доказав этим, что он по уму стоит ниже детей, ибо в фаланге все убедятся, что животные только тогда приносят наибольшую пользу, когда с ними надлежащим образом обращаются и хорошо за ними ухаживают; а потому человек, который плохо обращается с существом, неспособным отплатить ему тем же, должен считаться ниже животных, которых он мучит [1]).

Таким образом,—замечает Фурье,—только благодаря маленьким ордам осуществится принцип братства, о котором столь бесплодно мечтали философы и политики. В самом деле, если б, как и ныне, выполнение грязных и отвратительных работ производилось за деньги, то эти работы стали бы уделом беднейших членов фаланги, к кото-

[1]) См. Th. de l'Unité univ., ч. IV, стр. 148—256. О маленьких ордах см. также Nouv. Monde ind. et soc., стр. 207—214.

рым более состоятельные, а тем более богатые, стали бы относиться с презрением; беря на себя указанные работы, маленькие орды уничтожают этот повод к нарушению в фаланге дружеских отношений, которые будут существовать во всех индустриальных группах, где будут перемешаны люди разных степеней состоятельности.

„Итак,— заканчивает свое рассуждение Фурье,—я мало-по-малу выплачиваю долг моралистам. Я обещал осуществить в строе Гармонии все химеры добродетели, которыми они питаются, вроде создания между людьми отношений нежного братства или внушения людям презрения к богатству и деньгам. Эти добродетели будут осуществлены сектой, которая сумеет заработанные ею деньги употребить для всеобщего счастья, и будет это делать не из презрения к богатству, а из презрения к эгоизму, который стремится употребить богатство только в свою пользу".

Маленькие банды. Мы видели только что, как наш автор использовал в интересах общественности такие детские пороки, как склонность к неопрятности, грязи, грубости, сквернословию и пр. В такой же степени он стремится использовать на благо своей фаланги другие черты детского характера, встречающиеся, по его мнению, преимущественно у девочек, а именно склонность к чистоте и порядку, красивым нарядам и изящным манерам. Обладающие этими особенностями дети образуют „маленькие банды", которые стремятся внести элементы изящного, тонкого, прекрасного в одежду, жизненный обиход и людские отношения, а также в фабричное производство и земледельческую культуру, а с другой стороны, развивают в своих сочленах вкус к литературе, искусствам и наукам.

Если большинство мальчиков,—говорит Фурье,—склонно к нечистоплотности и беспорядку, то большинство девочек имеет стремление к нарядам и изящным манерам. Согласно закону противоположности, в маленьких бандах будет $^2/_3$ девочек и $^1/_3$ мальчиков. Эта треть мальчиков будет состоять из таких скороспелых умов, как Паскаль, который с самых ранних лет имел ясно выраженное призвание к науке, или из тех женственных типов, которые с 9 лет чувствуют склонность к изнеженности и сибаритству. Понятно, что подобные мальчики откажутся от вступления в маленькие орды и войдут в противоположную корпорацию, в большинстве состоящую из девочек. Здесь мальчики отдают себя под руководство девочек не только потому, что последние здесь в большинстве, но главным образом вследствие того, что статутом этой корпорации является аттицизм (тонкость вкуса), тон, противоречащий тону малых орд. Если одна из этих корпораций славится своим уменьем преодолевать материальные препятствия, другая должна обнаружить такие же способности в духовной области. Вот почему маленькие банды отличаются более всего в науках, культурах и изящных производствах.

Мотивы своих костюмов маленькие банды заимствуют у различных эпох—у рыцарства и романтизма, у древности и современности; но костюмы должны быть различны в различных фалангах. Так, если банда из Сен-Клу присвоила себе костюм трубадура, то банда Марли берет для себя афинское одеяние и т. д. В этом отношении маленькие банды отличаются от маленьких орд, имеющих один костюм для целой провинции, но индивидуальных цветов для каждого члена. До тех пор, пока фаланга не в состоянии будет обзавестись зебрами для кавалерии маленьких банд, последние ездят на карликовых лошадках. У них прямолинейный строй в противоположность криволинейному строю маленьких орд.

Итак, отличительная особенность маленьких банд заключается в том, что в них будет господствовать вкус, свойственный женскому полу, а в особенности страсть к нарядам... Наших дам упрекают в любви к безделушкам и тряпкам. Этот недостаток, если считать его действительно таковым, даст благодетельные результаты в фаланге. Какой-нибудь моралист, прочтя эту фразу, с сомнением покачает головой и заявит, что он решительно не понимает, как можно из порока извлечь добродетель. Мы ему ответим: это возможно, если стремление к нарядам из индивидуальной страсти превратить в коллективную.



Маленькие банды являются охранителями социального очарования, пост менее блестящий, если угодно, чем тот, который предназначен для маленьких орд, но не менее полезный, как увидим дальше. Давая должное развитие этой мании к нарядам, мы получим следующую „кадриль" чудес: 1) индустриальную утонченность; 2) царство хорошего вкуса; 3) „сложное" просвещение; 4) „сложную" дружбу. Из единения этих элементов рождается социальное очарование и энтузиазм фаланги к ее работам.

Как уже было сказано, маленьким бандам принадлежит охрана растительного царства. Всякий, кто обломает дерево, сорвет, по небрежности или не имея на то право, цветок или плод, или будет топтать растения, тот отвечает перед судом маленьких банд. Как героини и герои хорошего вкуса и индустриальной утонченности и охранители растительного царства, участницы и участники маленьких банд особенно покровительствуют цветам, являющимся объектами очарования и утонченности. Маленькие банды в такой же степени заботятся о цветах, в какой орды о больших дорогах. На маленьких бандах лежит обязанность доставки цветов для алтарей и общественных зал.

Эта функция маленьких банд может вызвать осуждение наших ригористов, по мнению которых цветы бесполезны. Грубейшее заблуждение! В том-то и дело, что природа хочет посредством страсти к цветам привлечь женщин к земледельческой культуре, ибо от работы в цветниках они скоро перейдут к работе в фруктовых садах, огородах, оранжереях. Но для начала культура цветов является наилучшей школой агрономического просвещения детей и женщин. Ввиду указанной цели, в маленьких бандах будут смотреть на усовершенствование цветочной культуры, как на вопрос корпоративной чести; будут установлены премии за лучшие породы и экземпляры и в каждой фаланге будет учреждена академия цветочных игр.

В строе Гармонии цветы в клумбах будут предметом таких же воспитательных забот, как и цветы в школах, ибо гармонийцы понимают, что все объединено в плане природы, и что если мы неспособны утилизировать склонность к цветоводству для того, чтобы превратить ее в любовь к земледелию вообще, то мы не сумеем утилизировать также цветы духовные, родить из склонности к изящному склонность к добру.

Так как сосьетарный режим стремится к объединению всех видов труда и установлению между ними такой связи, чтобы из одного вида рождался другой, то не нужно огорчаться тем, что часть детей будет заниматься делом, которое с первого взгляда кажется легкомысленным; эта на первый взгляд малоценная работа приведет их к самым полезным видам труда. Чтобы всесторонне развить индустриальный гений, необходимо, чтобы часть детей отдавалась красоте и изяществу, ибо, возбуждая этим социальное очарование, они стимулируют социальное влечение. Заботясь об украшении всего кантона, будучи творцами социального очарования, хорошего вкуса и тона единения, маленькие банды получают часть функций, принадлежа-

щих французской академии: они следят за чистотой языка и правильностью произношения.

Само собой понятно, замечает по этому поводу Фурье, что такие права и привилегии послужат для рыцарей и рыцарш маленьких банд стимулом к основательному изучению языка и литературы. Кроме этой привилегии, они будут иметь еще ряд других; например, им принадлежит преимущественное право производить работы по убранству и украшениям в храмах и опере, во время парадов, празднеств и пиршеств; без маленьких банд никто не имеет права приступить к подобным работам.

К сказанному Фурье прибавляет: если Гармония некоторыми почетными уступками хочет привлечь маленькие орды к работам, вызывающим отвращение, то необходимо другими привилегиями привлечь маленькие банды к умственной деятельности, в особенности в области литературы, искусств и изящной промышленности. Указанная корпорация, состоя преимущественно из женщин, должна взять на себя все физические и духовные работы, не требующие большого физического напряжения, но требующие изящества и вкуса. Подобно тому, как маленькие орды выбирают среди старших членов общества „друидов", маленькие банды выбирают из среды взрослых в качестве сотрудников и руководителей „корибантов" и „корибантов". Собираясь в экспедиции, маленькие банды соединяются с большими бандами, выделяющими из своей среды „странствующих рыцарей".

Подводя итоги деятельности маленьких орд и маленьких банд, мы видим следующее. В то время, как маленькие орды борются с разрушениями, производимыми стихиями, безвозмездно берут на себя все неприятные и грязные работы, чем содействуют уничтожению кастового духа, уничтожению препятствий для сближения богатых с бедными,—маленькие банды направляют все внимание на то, чтобы сделать жизнь в фаланге приятнее, прекраснее, изящнее. Для этого они стремятся развить в группах и сериях всевозможные нюансы вкусов и наклонностей, чем и придают им законченность, делая более тонкой и острой игру страстей и в особенности борьбу на почве соревнования. В то же время происходит и развитие самих детей, участвующих в маленьких бандах; они развивают в себе вкусы и наклонности, делающие корпорацию банд резервуаром, из которого фаланга будет черпать артистические и научные силы. Орды и банды являются, таким образом, противоположностью и дополнением друг друга. Первые идут к прекрасному, делая добро, вторые, наоборот, идут к добру, делая прекрасное.

Этот контраст действий—универсальный закон природы, во всей системе которой мы находим „противовесы" сил, выражающиеся в движении прямом и обратном, в колебании восходящем и нисходящем, в световом отражении и преломлении, в силах центростремительных и центробежных. Этот принцип, распространенный во всей природе, эта игра противоположностей, прямого и обратного, абсолютно неизвестны в цивилизации, которая всегда своими „простыми" методами стремится направить воспитание на „прост й" путь и в то же время приноравливает его ко всем моральным требованиям всех каст, к различным системам в зависимости от смены министерств, беря сегодня своим идеалом—Брута, завтра—Цезаря [1]).

* * *

[1]) См. Th. de l'Unité univ., ч. IV, стр. 166–185; о маленьких бандах см. также Nouv. Monde ind. et soc., стр. 214—218.



К. Маркс, как известно, умел одним штрихом, одной мимоходом брошенной мыслью начертить целую программу деятельности в той или иной общественной отрасли в полном согласии с основами своего учения.

После всего вышеизложенного о трудовой школе у Ш. Фурье, трудно устоять перед соблазном процитировать известное место из I го т. Капитала, где Маркс касается вопроса о первоначальном образовании малолетних рабочих.

„Как ни жалки,—говорит он,—в общем постановления английского фабричного закона (60-х г.г.) относительно воспитания, они объявили начальное обучение обязательным условием труда. Их успех впервые доказал возможность соединения обучения и гимнастики с физическим трудом, а следовательно, и физического труда с обучением и гимнастикой... „Система труда,—цитирует Маркс доклад одного из фабричных инспекторов,—чередующаяся с школой, превращает каждое из этих двух занятий в отдохновение и освежение после другого, и, следовательно, она много пригоднее для ребенка, чем непрерывность одного из этих двух занятий"... Из фабричной системы, прибавляет Маркс, как можно проследить в деталях у Роб. Оуэна, вырос зародыш воспитания будущего, которое для всех детей с известного возраста соединит производительный труд с обучением и гимнастикой, при чем это будет не только методом повышения общественного производства, но и единственным методом создания всесторонне развитых людей" [1]). „Эта система,—закончим мы цитатой с стр. 373,—заменит „частичного" рабочего, простого носителя известной частичной общественной функции... всесторонне развитым индивидуумом, для которого различные общественные функции представляют сменяющие друг друга способы жизнедеятельности".

Как можно видеть из этого сжатого абриса „воспитания будущего", между ним и программой Фурье не только нет принципиальной разницы, но существует полное сходство. Вполне в духе Маркса Фурье хочет превратить воспитание в „систему труда, чередующуюся со школой", „объединить физический труд с обучением и гимнастикой" и частично рабочего превратить в всесторонне развитого в индустриальном отношении индивида, разбудив и усовершенствовав таящиеся в каждом человеке, как уверяет наш автор, „склонность к 30 видам труда".

Те красочные формы, в которые он облекает свои идеи и которые в глазах всех трезвых критиков неизменно казались плодом его пылкой фантазии, кажутся уже не столь фантастичными и более осуществимыми в иных условиях при свете современной действительности и ее многогранных проявлений.

*Арк. А–н.*

[1]) К. Маркс, Капитал, т. I, изд. „Пролетарий", 1923 г., стр. 369–370.

# БИБЛИОГРАФИЯ

**С. А. Жебелев. Сократ. Биографический очерк.** Гиз. Берлин 1923 г. (по договору с Гржебиным). Стр. 192.

Каждый помнит, конечно, Павленковскую серию биографий („Жизнь замечательных людей"), издававшуюся в конце прошлого века. В свое время она приносила известную пользу. В настоящее же время польза ее и аналогичных попыток весьма сомнительна. Но подобное мнение обязательно, очевидно, не для каждого автора: законы пишутся, ведь, не для всех!

С. А. Жебелев известен в русской философской литературе недавним переводом (и редакцией) „Творений" Платона, ученейшим исследованием об „Апостоле Павле и его посланиях" и пр. Теперь к списку этой высококультурной его деятельности прибавился популярный очерк „Сократ". Последний построен по типу Павленковских биографий, при котором у читателя не остается вполне отчетливого представления ни о том, чему учил данный человек, ни о том, в какой среде он жил и действовал [1]).

Прежде всего сама тема очерка. Вряд ли можно думать, что в настоящее время—в период жестокой классовой борьбы и строительства социализма—массовый читатель может всерьез заинтересоваться Сократом. Правда, вопросы общественной жизни выступают сейчас на передний план, но, как знает мало-мальски грамотный человек, совершенно в иной постановке, чем у Сократа в его время. Нам нужно подлинное теоретическое орудие для переустройства жизни, а вовсе не кислосладкие разговорчики о „добродетели", „благе" и пр. прекрасных вещах. Между тем, такая тема, как биография Сократа, способна фиксировать внимание лишь на последнем, тем самым отвлекая его от главного и основного. Короче говоря, тема сама по себе неудачна и никчемна. Пролетариат должен, конечно, узнать историю мысли, но с Сократом можно подождать, как можно подождать со специальным изучением деятельности Меровингов, папы Пия VII и др. Так думаем мы,—почтенный Жебелев (и Гиз?) думает иначе

Наконец, трактовку подобной темы можно было бы признать, даже приветствовать, если бы автор поставил себе задачей выяснить те общественные условия, идейным выражением которых явилась философия Сократа. Куда там! Жебелев, начитанный в „творениях" Платона и в „посланиях" святого апостола Павла, вероятно, даже не видит перед собой такой проблемы. Святость, как известно, несовместима с марксизмом (и, наоборот, марксизм со святостью—это, казалось бы, надо было помнить некоторым издательствам). Спешим оговориться: Жебелев в двух местах (стр. 16 и 161) замахивается насчет „фона исторической обстановки". Но все дело в том, что это лишь фон, на котором великий Сократ, а за ним и наш автор расписывают узоры своей философии. Все рассуждения Жебелева относительно войн, настроения

[1]) Мы вынуждены принести извинения почитателям изданий Павленкова: сочинение Жебелева раз в десять хуже.



охлоса и прочего, рассуждения, в стиле блаженной памяти Иловайского, даже и не пахнут марксизмом. Здесь не найти анализа классовой борьбы между демократией и аристократией, борьбы, жертвой которой и пал Сократ, как защитник аристократов; здесь не найти хотя бы краткого очерка экономического состояния Афин, хотя подобные материалы имеются даже в русской литературе (Виппер, Тюменев); здесь, короче, не найти ничего того, что сообщает исследованию определенной философской системы элементарные научные достоинства.

Зато, о! зато у Жебелева найдется немало строк, посвященных жене Сократа Ксантиппе (стр. 61, 62 и 63), тому, как вел себя наш философ во время и после боя, наконец, тому, сколь не любил он государственной работы. Во всем этом Жебелев формально прав: он пишет, ведь, биографию, где, как водится, нельзя не порассуждать касательно пресловутого характера Ксантиппы, наружности философа и прочих приятных и неприятных вещей. Но прав только формально. С точки зрения содержания все это не больше, чем копилка курьезов, собрание порой веселых, порой (и чаще) нудных анекдотов, знание которых для современного читателя совершенно не обязательно. До подлинно научного исследования или хотя бы популяризации Жебелев не сумел дойти.

Некоторый интерес представляют главы о „Софистике" (гл. V), о „Методе" (XIII) и о „Принципах „мудрости" Сократа" (XIV). Но и здесь автор не выходит за границы среднего учебника по истории философии (при этом он постоянно старается действовать на основе принципа „aurea mediocritas", усаживаясь почти во всех вопросах между... крайними мнениями отдельных исследователей—стр. 42 и др.). То, что узнаем мы из этих трех глав (три из восемнадцати!), представляет из себя теоретически нечто весьма тощее. Нужно буквально выкапывать жемчужные зерна (ах, если бы они были жемчужными!) из кучи всякого хлама, который попутно сообщается. Так, в главе „Метода" Жебелев уделяет немало места описанию того, как Сократ вовлекал своих слушателей в спор, и как относились к нему его собеседники. Зернышко же заключается лишь в том, что 1) „две вещи следует по справедливости приписать Сократу", говорит Аристотель: „индуктивные речи и установление общих понятий" (стр. 113) и 2) „при установлении определения понятий Сократ исходил обыкновенно из совершенно безусловных и общепризнанных данных и наблюдений, заимствованных по преимуществу из повседневной жизни" (стр. 119). Как легко видеть, здесь сообщено нечто сугубо тощее: об этом можно было прочесть и у других авторов.

Но это можно было бы еще принять: как известно, Сократ сам никакого литературного наследства не оставил, сообщений же современников мы имеем мало. Таким образом всякое исследование о Сократе будет по необходимости кратким: по человечеству понять Жебелева можно. Но все дело в том, что здесь имеется громадное „но". Ученый автор совершенно некритически относится к материалу. Так, напр., он сам признает, что „Сократ—типичный индивидуалист" (стр. 129). Однако при чтении книжки вы не найдете ни одного слова, где бы он указал, что индивидуализм, как философский, так и этический, не может в настоящее время считаться dernier cri de la science. Зато заметно обратное: говоря о социальной морали, он вслед за Сократом пережевывает старую жвачку: „Только „истинный закон" должен быть противополагаем установлениям существующего государственного порядка, и основою для этого должен служить рациональный принцип... Справедливость, эта основа счастья, должна стать и для государства высшею жизненною нормою" (132—133. Что касается политической реакционности этих слов, то к ней мы еще вернемся). И здесь наш ученейший автор не благоволит сделать ни примечания, ни критической оценки приведенного взгляда.

Примеров подобного „сократического догматизма", слегка, правда, модернизованного, можно было бы привести немало. Но это, пожалуй, и не требуется: намерения Жебелева и без того ясны. Укрывшись за маску изложения, он хочет, очевидно, популяризовать субъективистское и идеалистическое учение Сократа. Правда, нас можно было бы обвинить в таком неблагодарном занятии, как „чтение в сердцах". Но неосторожный автор спешит сам подтвердить высказанную здесь мысль: „Можно утверждать одно,— говорит он:—сократовское евангелие и для теперешнего, и для будущих поколений будет всегда служить источником жизни, нравственной силы и свободы" (стр. 190). Сказать яснее как будто бы нельзя: сократовское учение вечно, не сегодня, так завтра поколения вернутся к нему. При этом нужно отметить—вся история мысли остановилась, по Жебелеву, на Христе, и теперь спор может итти не между Марксом и Сократом (если этот спор надо вести, хотя тут все яснее ясного), а лишь между Христом и Сократом (стр. 190). Бедный Маркс, бедные марксисты, несчастная советская страна, мнящая себя осуществлением марксизма! Жебелев одним росчерком пера сводит вас на-нет.

Теперь становится вполне понятным, ради чего пишет Жебелев книжку о Сократе. Ему нужна та популяризация, которая, выходя за рамки одного лишь просвещения философски-не рамотного „охлоса", превращается в пропаганду известных философских идей, чтобы таким путем нажить политический капиталец. Только врядли это удастся. Теперешний „охлос" не так уж глуп и не склонен слушаться аристократов, какие бы „истины" они ни изрекали.

Если, как биограф и философ, Жебелев оказался изрядным реакционером, то еще реакционнее становится он, когда говорит о государстве. Правда, многое преподнесено здесь как изложение мыслей Сократа. Но это не должно нас смущать: Жебелев сам недвусмысленно солидаризировался с греческим философом (тем более, что на пространстве всех 192 стр. нельзя найти ни одного слова, критикующего Сократа в его взглядах на государство).

То, что говорит по данному вопросу ученейший автор, можно назвать доподлинным манифестом некоей новой для Советской России социальной группы. Вот что изрекает Жебелев: „Государство существует для граждан, граждане существуют для государства". При таком положении понятна и готовность граждан нести самые тяжелые жертвы ради государства... Ибо благо государства покоится на ясно сознаваемой гражданами, а не насильно прививаемой им необходимости жертвы для него. Лишь тогда может требовать государство подчинения всех жизненных интересов идее государства, когда все граждане чувствуют себя равноправными членами его, когда они сознают, что живут прежде всего для *своего* государства, для *своей* родины" (стр. 34. Курсив Жебелева). Прибавьте к этому длинные ламентации о вреде партийной борьбы (стр. 164), описание идеального государства, как нравственно разумного целого, благо которого совпадает с благом отдельных граждан и осуществляется в их разумном взаимодействии, в наиболее целесообразном разделении труда, соответствующем способностям, уменью, знаниям каждого (рабочему—работать, буржуазии—торговать, интеллигенции—управлять. *К. М.*), прибавьте, наконец, аристократическое презрение к толпе (ведь она осудила Сократа, осуждает и некоторых других!),—и вы получите законченный очерк политических взглядов. Под ними подпишется всякий нэпман. А если и не подпишется, то, как Жебелев, будет страстно восклицать, вспоминая доброе старое время (безразлично, русское или греческое): „Сколько плодотворных семян должно было залечь в его душе! Как сильно билось его сердце! Какой пламенной любовью должно было проникнуться оно к своей родине!.. будучи не только безмолвным зрителем расцвета своей родины, но и имея возможность содействовать этому расцвету по мере отпущенных ему природой сил",—здесь говорится о гражданине демократического государства (стр. 35—36).



По вопросу об оценке всего этого, как с научной, так и с политической стороны, не может быть двух мнений. Жебелев говорит здесь то, что страстно желает высказать молодая русская буржуазия. Но ученый автор не останавливается на этом: он дает большее—программу действий. „Патриоты, работавшие над восстановлением государства и возрождением народных сил, были убеждены,—говорит он,—что лишь основательное лечение может исцелить политические, экономические и нравственные недуги Афин. Они обращали свои взоры к их великому прошлому и думали, что государство может достигнуть прежней мощи и величия лишь в том случае, если в народе возродится внутренняя доблесть. А этого можно было достигнуть: 1) путем внедрения в народе истинного религиозного смысла, 2) путем укрепления расшатанного авторитета в государственной и семейной жизни, 3) путем приучения народа к беспрекословному исполнению его гражданских обязанностей" (145—146). Нетрудно видеть, что здесь Жебелев говорит скорее о России, чем об Афинах: измените прошедшее время на настоящее и будущее, и вы получите программу действий, которая способна собрать немало поборников. Нет нужды продолжать все это дальше. Намерения почтенного автора ясны. Ни к чему другому и не могло привести его общение с „творениями" Платона и с посланиями св. апостола Павла.

В конце своей книжки (опять-таки безоговорочно!) Жебелев приводит слова Ксенофонта о Сократе: „И если кому это (изложенное в книжке. *К. М.*) суждение не нравится, пусть он сравнит других людей с тем, что я сказал о Сократе, и тогда судит" (стр. 191). Мы благодарны автору за данное нам разрешение. Пользуясь им, мы говорим: жебелевская книжка, как со стороны философской, так и со стороны политической, никуда не годна. Ее ценность заключается, может быть, лишь в том, что она откровенно говорит о настроениях новой буржуазии. Но эта ценность весьма не велика: у пролетариата есть и иные методы улавливать настроения своих врагов. Есть способы и избавления от них. К их числу принадлежит и то, о чем говорит сам Жебелев: „В настоящее время этого (наказания борющихся против государства. *К. М.*) можно было бы достигнуть легче, проще и без применения слишком крутых мер; не нужно было бы даже возбуждать судебного процесса" (стр. 168).

Для того, чтобы избежать последнего и чтобы полностью использовать свои права, надо порекомендовать работникам Гиз'а получше забыть то, что говорит тот же Жебелев: „Во всяком случае, ясно, что о каком либо вмешательстве государственных органов в область науки и знания не может быть и речи" (стр. 158). Для Гиз'а должно быть „во всяком случае, ясно" как раз противоположное, иначе под его маркой будут выпускаться вещи ненаучные и политически-реакционные.

**К. Милонов.**

---

**Людвиг Крживицкий. Развитие нравственности.** Перев. с польского М. Троновской. Изд. „Новая Москва". 93 стр. Цена 40 коп.

Вопросы нравственности являются в наше время в высшей степени актуальными. Уже мировая война встряхнула огромные массы народа, всколыхнула низы, обнаружила всю гниль, всю мерзость, все идеологические и нравственные противоречия, на которых основывается буржуазный общественный строй.

После войны нравственная пустота буржуазии еще резче выявилась в фактах порабощения целых народов, в вероломстве по отношению к союзникам, в обмане своих собственных народов, в беспощадном подавлении стремлений пролетариата, в разгроме пролетарских организаций, в покуше-

ниях на профессиональные завоевания рабочих, в вакханалии спекуляции на валюте, на голоде народных масс. Все эти факты настолько разительны, что не могут не вызвать возмущения не только в среде рабочего класса, но и в среде лучшей части европейской интеллигенции. Нельзя отрицать того факта, что большая часть рабочих и тех членов других классов, которые борются вместе с рабочими, начинают процесс своего прозревания, искания правды в общественных явлениях, исходя именно из наблюдаемых ими фактов общественной несправедливости. Поэтому выяснение нравственной лживости класса буржуазии является чрезвычайно сильным агитационным средством. Поэтому книжка Людвига Крживицкого, польского социолога и талантливого популяризатора, имеющего целью научно осветить проблему развития нравственности, является полезной, хотя она и обладает некоторыми недостатками, о которых мы ниже будем говорить.

Эта книжка, изданная под общей редакцией МК РКП в „Новой Москве“, является полезной и в России, где революция дала выход возмущению народных масс против господствующих классов. Процесс революционного разрушения и революционного строительства занял всю энергию пролетариата и крестьянства. Личная жизнь, вопросы быта, семьи, брака, отношение личности к обществу, к партии, все это ушло на последний план. Некогда было заниматься этими проблемами, да они и не могли иметь актуального значения в сравнении с основным вопросом „быть или не быть“. Их решали мимоходом, каждый в зависимости от своей „революционной совести“. Не то теперь, когда первый революционный порыв несколько стих, когда прежняя прямая дорога революционной борьбы сменилась извилистой, полной искушений, трудной дорогой медленного революционного строительства, требующего от каждого революционера, от каждого сознательного рабочего не только революционного порыва, но и стойкости в повседневной житейской обстановке Теперь вопросы нравственности возникают ежедневно. От них нельзя отмахнуться, потому что они требуют ответа, решения. Книжка Л. Крживицкого, хотя и будет полезной для многих, но русскому рабочему, русскому комсомольцу она вряд ли много поможет. Ее существенными недостатками являются, во-первых, то, что она вышла в 1913 году, т.-е. еще до войны, и поэтому лишена злободневности, во-вторых, что она все время трактует о прошлом, и все примеры в ней взяты из Рима, средневековья, в-третьих, в ней совершенно отсутствует критика нравственных отношений при капиталистическом строе, в особенности в эпоху его разложения, в-четвертых, она выдержана в равнодушном, холодном тоне, который хорош для ученого трактата, и мало подходящ для популярной брошюры, и, в-пятых, она не дает ответа на те вопросы, которые интересуют рабочего СССР.

Книжка начинается с критики попыток построения нравственности a priori и правильно заключает, что познание нравственности достигается исключительно путем исследования быта каждого исторического периода. Потом она пытается дать определение нравственного поступка, как оценки действия с точки зрения его ценности, при чем критерием ценности поступков являются нормы поведения, предписанные обществом. Не говоря о том, что уже это положение вызывает сомнения, Крживицкий устанавливает в дальнейшем закон, по которому нравственность все время эволюционирует, индивид стремится к проявлению своих инстинктов, но в процессе общественной эволюции все более дисциплинируется, совершенствуется и развивает в себе социальные склонности. Недаром Крживицкий вспоминает Ж. Ж. Руссо и его теорию общественного договора. Он очень близок к нему, так как хотя и оговаривается, что исходным моментом исследования должен быть общественный человек, но в действительности рассуждает так, как будто человек жил вначале вне общества, и лишь затем постепенно привыкает к общественной жизни. Такой взгляд, хотя бы и соединенный с идеями Дарвина-Спенсера об эволюции, в корне неправилен. Нет никаких оснований полагать, что нравственность европейца „выше“ нравственности австралийца. Дело здесь не в нравственной „высоте“, а в характере общества, в котором живут европеец и австралиец. Это станет еще яснее, если нравственность определять не как нормы, а как общественные учреждения, подобные религии, наукам, искусству. Крживицкий много уделяет места проблеме, возможна ли нравственность без религии, но очень мало и почти ничего не говорит об исторической связи религии с нравственностью в прошлом. А между тем, это вопрос важный, ибо он показывает, что нравственность была тесно связана с учреждениями, регулировавшими процессы общественного воспроизводства в определенных исторических условиях, всегда служила целям определенных классов.



Нравственность освобождается сейчас от религиозной опеки, но почему это происходит? Крживицкий доказывает, что это возможно, что люди не станут не дикарями от того, что перестанут верить в бога. Об этом, конечно, говорить нужно, но также нужно объяснить, что в странах, где имеются высоко развитые производительные силы, там падает значение религии, в силу определенных социальных причин. Отсюда и неверность дальнейшего определения нравственности, как „кодекса“, собрания установлений, стремящихся смягчить в обществе трения между индивидами. Нравственность, как и религия и различные формы идеологий, имела значительно более широкие функции на службе у различных классов.

В общем, книжка Крживицкого заслуживает внимания. В бедной русской марксистской литературе по вопросам этики она, несомненно, займет не последнее место. В особенности в ней хороши те места, где автор переходит к конкретному изложению.

**Г. Тымянский.**

---

**Н. Бухарин. Атака.** Сборник теоретических статей. Гиз. М. Стр. 303.

„Атака“ содержит в себе десять статей тов. Бухарина, написанных по различным теоретическим вопросам, и его „проект программы Коммунистического Интернационала“.

Сборник не совсем выдержан в стиле заголовка („Атака“), ибо включает статьи, написанные в „разъяснительном“ духе („К постановке проблем теории исторического материализма“), а также разрабатывающие вопрос в положительном смысле (напр.: „Теория пролетарской диктатуры“, „Буржуазная революция и революция пролетарская“, „Ленин как марксист“). Но в своей целокупности сборник дает достаточное представление об „атакующей“ деятельности т. Бухарина в области теории марксизма. Остается пожалеть, что к сборнику опоздала его новая статья о накоплении капитала, помещенная в этой и предыдущей книгах нашего журнала.

Объектом критического оружия т. Бухарина являются фигуры различного калибра и социального удельного веса (Бем-Баверк, Туган-Барановский, Оппенгеймер, Струве, Павлов, Эммануил Енчмен). То общее, что поставило их под перо т. Бухарина, заключается в том, что все они, так или иначе, явно или скрыто (с Марксом на устах) критикуют марксизм.

По отношению к Бем-Баверку, которому посвящена первая статья сборника („Теория субъективной ценности Бем-Баверка“), за т. Бухариным числится большая заслуга,—заслуга совершенно исчерпывающей критики австрийских построений (см. его „Политическую экономию рантье“), после которой вряд ли стоит заниматься выискиванием новых противоречий в психологических узорах Бема.

Следующие критические статьи направлены против представителей либерально-буржуазной политической экономии с их дуалистическими построениями и попытками „очистки марксизма от ненаучных элементов“. После

того, как диктатура австрийской школы (в бемовской формулировке) в буржуазной экономии начала ослабевать, и после того, как революционными событиями последних лет марксизм выдвинут с новой силой и энергией, по отношению к этому последнему со стороны буржуазной науки нужно ожидать (может быть, в другой форме и в других областях) волны новых попыток „очистки марксизма". Поэтому статьи т. Бухарина, как образец борьбы с аналогичными попытками, сохраняют и посейчас свое значение. К сожалению, критику теории ценности Тугана нельзя признать исчерпывающей.

С точки зрения вопросов современной политики, большое значение имеет „Енчменияда" и ответ проф. Павлову. Аудитории, к которым обращаются эти статьи, различны. Первая обращена к нашей учащейся партийной молодежи и направлена против теории пятнадцати анализаторов Енчмена, получившей в одно время чуть ли не стихийное распространение в наших вузах и рабфаках. Последнее обстоятельство сигнализировало партии ненормальную постановку вопросов воспитания молодого поколения нашей партии в вузах, нашедшую свое выражение в его подверженности и теоретическим, и политическим уклонам. Что касается ликвидации влияния енчменизма, то за статьей т. Бухарина—немалая заслуга. Статья подвергает енчменовскую „новую биологию" уничтожающей критике,—логической и социологической,—вскрывает интимную связь „откровений блаженного Эммануила" с солипсизмом, с „писаниями эмпириокритиков, позитивистов и неокантианцев", вскрывает грубо-вульгарную поверхностность, индивидуализм, торгашество новой теории, ее резкий антимарксистский характер, несмотря на все заклинания Енчмена именем Маркса. В заключение т. Бухарин ставит общий вопрос о судьбах нашей молодежи, об условиях и возможностях ее перерождения. К этой молодежи статья и обращена.

К совершенно другому общественному слою адресуется ответ на вводную лекцию проф. Павлова—выдающегося современного ученого, неуклонно и сознательно проводящего объективно-материалистический (т.-е. по существу марксистский) метод в области физиологии, но совершенного обывателя в вопросах революции. По университетскому обычаю проф. Павлов посвятил свою вводную лекцию некоторым общим вопросам, избрав в качестве таковых некоторые проблемы современности Как выбор проблем, так и подход к ним чрезвычайно выпукло характеризует сомнения, шатания безысходных противоречий, в которых беспомощно путается и барахтается часть интеллигенции, пытающаяся ставить перед собой вопросы революции и формулировать свое к ним отношение. Такие выражения, как напр.: „я мучаюсь, и моя мысль бросается во все стороны, ища выхода, и его не находит", или „я опять в тупике, я опять ничего не понимаю",—очень правильно передают эти настроения. „Тупиков" оказывается очень много. „Догматизм" компартии, „отсутствие" шансов на мировую революцию, ужасы гражданской войны, некультурность рабочих. Тов. Бухарин весьма терпеливо разъясняет, доказывает, что эти „тупики" или высосаны из пальца, или являются меньшим злом, что у проф. Павлова неверен самый подход к разрешению вопросов революции, который ставит его в противоречие с его же собственным (и нашим) материалистическим методом, который применяется им в физиологии.

То обстоятельство, что проф. Павлов в своей области—материалист, облегчает т. Бухарину его задачу, ибо дело сводится к тому, чтобы и общественные вопросы разрешать тем же объективно-материалистическим путем, который проф. Павловым выстрадан и на фактах проверен в течение всех его двадцатилетних исследований.

Что же касается мелко-буржуазной интеллигенции, которая сейчас обнаруживает явный поворот в нашу сторону, желание с нами работать, то, хотя она в массе и не имеет такого выстраданного метода, все же статья т. Бухарина окажет ей большую услугу, помогая вылезать из тех „тупиков", которые, несомненно, ее мучили (и теперь, возможно, мучают), как и проф. Павлова. Поэтому эта статья является чрезвычайно своевременной и отвечающей молекулярным процессам, происходящим внутри интеллигенции. Отсюда—необходимость возможно широкого ее распространения в виде брошюры в указанной среде.

Из прочих, не критических статей необходимо отметить „К постановке проблем теории исторического материализма",—разъяснение к его „Теории исторического материализма". Мы не останавливаемся на ней, отсылая т.т. к той дискуссии, которая велась уже вокруг первой работы т. Бухарина. Настоящая статья помогает уяснению его точки зрения и ставит ряд важнейших проблем для исследователя-материалиста.

„Ленин как марксист", удовлетворяет назревшую потребность осмыслить сущность и основы ленинизма. Статья выдвигает, между прочим, задачу реабилитации Ленина как теоретика.

В заключение нужно отметить, как характерную черту всех статей т. Бухарина, необыкновенную простоту его логических конструкций, ясность логического стержня, уменье сочетать популярность с глубиной анализа, что дает возможность понять его статьи и сравнительно малоподготовленным т.т., и, с другой стороны, и квалифицированным т.т. дает или новые мысли, или новой угол зрения.

**А. Зайцев.**

---

**Карл Каутский. Марксова теория государства в освещении Кунова.** Предисловие Л. Рудаша. Перевод с немецкого П. Виноградской. Изд-во Социалистической Академии. Москва 1924. Стр. 70.

Брошюра К. Каутского является его ответом на те места книги Г. Кунова „Марксова теория истории, общества и государства", в которых автор нападал на Каутского, обвиняя его в „вульгарном марксизме". В брошюре Каутский не столько защищается, сколько сам переходит в нападение, доказывая, что Кунов не понимает, извращает, — словом, сам вульгаризирует марксизм.

Очевидно, когда кривой пытается исправлять слепого, то для окружающих спор их не может принести никакой пользы, так же, как и не способен представить какой-либо интерес. Автор предисловия к русскому переводу, т. Л. Рудаш, полагает все же, что „брошюра Каутского, пожалуй, представляет известный интерес для русской революционной публики", поскольку она „развертывает перед нами яркую картину того, как два оппортуниста взаимно ругаются, срывают друг с друга маски" и т. п. Мы не знаем, насколько все это интересно, но ясно, во всяком случае, то, что для русской революционной публики маски с обоих ренегатов социализма сорваны уже давно и не „друг с друга", а объективной действительностью последних лет.

Книга Кунова в русском переводе не появлялась; широкий читатель ее не знает; брошюра Каутского рассчитана (хотя бы фактом своего перевода) на широкого русского читателя. В чем же смысл, мы сказали бы более, в чем оправдание русского перевода, да еще в таком авторитетном издании, как Социалистическая, ныне Коммунистическая, Академия?

Когда т. Ленин опубликовал свою классическую брошюру „Пролетарская революция и ренегат Каутский", то объект его полемики, брошюра Каутского „Диктатура пролетариата", также не была известна широкому русскому читателю. Но от Ленина до Каутского дистанция, выражаясь скромно, громадная. При всей своей полемичности книжка Ленина научала нас подлинному марксизму, обогащала и развивала марксову теорию государства, в особенности пролетарского государства, наконец, дополняла книгу самого Ленина „Государство и революция".

Конечно, ничего подобного в рецензируемой брошюре Каутского против Кунова нет. Автор предисловия пишет: „Точку зрения Маркса на государство Каутский в основном излагает правильно. Искажения у него начинаются только тогда, когда он подходит к вопросу о диктатуре пролетариата в „переходную эпоху". Но в том-то и дело, что этот вопрос является центральным, что с признания и принятия диктатуры пролетариата только и начинается марксист, как это блестяще выразил Ленин: „Марксист—лишь тот, кто распространяет признание борьбы классов до признания диктатуры пролетариата". Между тем, в специальном параграфе „Марксово понимание государства" (две страницы!) Каутский, конечно, ни единым словом не обмолвливается о пролетарской диктатуре. Правда, он говорит о переходе власти в руки пролетариата, но, как достаточно известно, Каутский под этим „переходом" мыслит нечто принципиально отличное от революционной диктатуры.

Через всю брошюру проходит абсолютное непонимание или нежелание понять существеннейшее различие пролетарского и буржуазного государств, как двух типов или форм государства, над выявлением чего особенно потрудился Ленин.

Кривой Каутский, очевидно, не в силах исправить слепого Кунова, и потому просто дико читать, когда первый берет под защиту Маркса, которого второй обвиняет в „анархизме" и „утопизме" за стремление уничтожить государство (какое: пролетарское? буржуазное? *И. Л.*). Известное место из письма Маркса к Кугельману от 12 апреля 1871 года, где Маркс в качестве „предварительного условия всякой действительной народной революции" ставит необходимость сломать бюрократически-военную машину буржуазного государства, Каутский толкует так: „Маркс, говоря о перевороте, произведенном Коммуной в государственной системе, нигде не имел в виду уничтожения государства,—и даже самую необходимость такого переворота ограничивал европейским континентом... Он говорил только о том, что необходимо сломать бюрократически-милитаристическую машину, оставшуюся от этой Второй Империи". Вместо принципа уничтожения всякого буржуазного государства Маркс в интерпретации Каутского лепечет об уничтожении Второй Империи! Каутский полагает, что он достиг своей цели, защитил Маркса от обвинения его в „анархичности и утопичности", но не уничтожил ли он этой защитой того, кого надлежало защищать, Маркса?

Приведенное место—одно из наиболее характерных для всей брошюры. Вся она написана в этом же духе и стиле. На стр. 36 русского перевода Каутский, приводя слова Маркса „свобода состоит в том, чтобы превратить государство из органа, стоящего над обществом, в орган ему подчиненный", утверждает, что здесь Маркс имеет в виду преобразование буржуазного государства в духе демократии. На стр. 53 он заявляет, что „уже в период Интернационала Маркс считал систему демократического господства (?!) достаточной для того, чтобы сделать возможным пролетариату завоевание политической власти без насильственных мер", чем дальше же, тем больше Маркс и Энгельс „отходили от своей первоначальной концепции, находившейся еще под влиянием якобинских воспоминаний". Словом, Маркс и Энгельс в ловких руках Каутского превращаются в дюжинных либералов квази-социалистического толка, в парламентских политиканов. Повторяем, в этом тоне написана вся брошюра. Зная Каутского последних лет, никто этому не удивится, но, пожалуй, многие удивятся факту издания этой брошюры нашей Комакадемией.

Брошюре предпослано в качестве противоядия предисловие т. Рудаша. Но предисловие не уничтожает, вообще говоря, книги. Данное же предисловие больше подчеркивает взаимную грызню Каутского с Куновым, чем исправляет обоих. Совершить последнее, значит, написать книгу, а не предисловие, что, конечно, не входило в задачу т. Рудаша. Но нужно было помнить и то, что полемика Каутского с Куновым является для книги внешним, а для русского читателя она на три четверти пропадает еще и потому, что он не читал книги самого Кунова.



Отнюдь не будет ересью, если мы скажем, что больше было бы пользы издать на русском языке книгу Кунова, скажем, так, как это делал уже т. И. И. Степанов: с сокращениями, с солидным, научным предисловием, нежели переводить и издавать с поверхностным предисловием абсолютно ненужную у нас брошюру Каутского.

Интерес представляет, правда, академического характера, приложение, затрогивающее спорный в марксизме вопрос о терминологии. Gemeinschaft и Gesellschaft на русском языке, да и на немецком, у различных авторов включают различное содержание. Мы, подобно Л. Рудашу, не будем останавливаться на этом приложении, но скажем, что вопрос этот не схоластический и что Кунов не так-то не прав в своем разграничении терминов. Все это приложение неизбежно проигрывает в переводе, ибо русский язык, как это подчеркнуто и переводчиком, не способен передать всех оттенков указанных понятий.

Перевод брошюры сделан в общем хорошим литературным языком: встречается, правда, несколько шероховатостей: „брутально-террористическое господство", почему не „грубо-террористическое"? В „Нищете философии" Маркс называет государство официальным выражением классовых антагонизмов внутри, как сказано у переводчика, буржуазного общества. В данном случае bürgerliche Gesellschaft здесь не буржуазное, а гражданское общество в смысле гегелевском, а это нечто иное, чем то, что говорит переводчик.

**И. Л—л.**

---

**Д. С. Садынский. Социальная жизнь людей.** Введение в марксистскую социологию. Издат. ВСНХ УССР. Харьков 1924. Стр. 203.

Книга Садынского должна, по мысли автора, представлять собой „пропедевтический курс науки об обществе". В основу ее автором положены лекции, читанные им в вуз'ах.

Центральный пункт книги автор видит в выяснении понятия „общество людей", ибо он настойчиво усматривает общественные организации и в царстве животных. К выяснению указанного понятия автор подходит исподволь, давая ряд подсобных, постепенно суживающихся определений.

Об их познавательной ценности можно судить по следующему: общество, это—„объединение людей, которые при всем отличии друг от друга все же обладают некоторыми общими чертами". Как будто ясно, что все это определение уже воочию заключено в самом слове общество.

Пытаясь найти общественные формации в зоологическом мире, автор, конечно, приводит муравьев и пчел. Довольствуясь голыми и поверхностными аналогиями, он говорит, напр., о „рациональном молочном хозяйстве муравьиного общества". Все эти примеры давно уже были достоянием буржуазной социологии; от них не веет марксизмом, они ничего не дают для уразумения общественных явлений.

Общество животных автор определяет так: это—группа особей одного и того же вида, объединенных сознанием в совместной борьбе за существование. Это же определение, по Садынскому, „в значительной мере совпадает по смыслу" с определением общества людей, ибо разница между животным и человеком только количественная. В курсе лекций автора, конечно, фигурирует переход количества в качество, и очень жаль, что этого перехода автор не усматривает в переходе от животного к человеку. А между тем, так именно смотрели и Фейербах, и Маркс.

Конституирующим человеческое общество признаком Садынский считает

„осознанные формы борьбы за жизнь“ или акты труда. При исходной точке зрения автора это очень непоследовательно, ибо сознание присуще животным обществам, акты труда также. Всякий, действительно, согласится, что и пчела трудится, что и у муравьев имеется сотрудничество. Где же в таком случае разница, где грань? Садынскому ничего не остается, как искать ее в степени сознательности, что он и делает: „лишь момент сознательности сильнее определяется, ярче выступает в последнем определении (человеческого общества. *И. Л.*), как характерное, отличительное свойство общественной жизни людей. Вряд ли следует доказывать, что не момент сознательности является решающим в человеческом обществе. Не здесь марксисты делают ударение, а, следовательно, должно было сделать его и „введение в марксистскую социологию“.

Почему бы автору не обратить внимания на производство орудий? Почему бы ему не определить в своем введении общество, по-марксистски, как совокупность производственных отношений. Тогда все эти понятия: сознательность, труд, даже люди—все уже на-лицо, ибо производственные отношения не мыслимы без людей, без сознания, без труда.

Конечно, и такое определение, по Марксу, не что иное, как абстракция, но, ведь, сейчас же встает вопрос: совокупность *каких* производственных отношений? капиталистических? рабовладельческих? И при первом же ответе на вопрос абстракция становится конкретным понятием.

Автор введения вообще старается избегать марксистской терминологии; дело, конечно, не в словах, но дело в том, что „производительные силы“, „производственные отношения“ и ряд других категорий исторического материализма, действительно, выясняют нам то, что происходит в обществе. Термины же автора, его положения, напр.: „перевес ассимиляции общественной энергии над дезассимиляцией“ после марксистских положений ничего не дают, а только путают. Автору не мешало бы прочесть, что писал Ленин по поводу „Оснований социальной философии“ Суворова, у которого тоже шел разговор об ассимиляции и дезассимиляции общественной энергии. Это—Суворов, это—Спенсер, это—Богданов (есть и по этой части грех у Садынского), но не марксизм.

Отправляясь от некоторых других марксистских социологов, выпячивавших роль техники в ущерб конкретному единству производительных сил, автор *техникой* заменяет основное понятие исторического материализма, „производительные силы“, и вся его теория принимает характер *технического* материализма: „экономика, кратко формулируя связь социальных явлений, *первично обусловлена техникой*, ею *вызывается*“. Получается некий провиденциальный, раз навсегда данный рост техники, а экономика, по существу, отправляется в „надстройку“. Надо ли говорить, что это не марксизм.

Важнейший конфликт между производительными силами и производственными отношениями фигурирует в книге Садынского только однажды, именно во всем известной цитате из Маркса, но он не получает ни объяснения, ни развития; это и понятно, ибо он не вяжется с концепцией автора: извольте толковать о противоречии между техникой и производственными отношениями!

Вторую часть введения Садынского составляет „исторический очерк социологических учений“. Такие очерки хороши не как введение, а как „послесловие“, ибо читателю, не знакомому с социологическими системами ню другим более подробным источникам, они ничего не дают. Действительно, трудная и неблагодарная задача на восьмидесяти страницах изложить хотя бы главнейшие учения. А, ведь, автор взял так широко, что захватил и Моисея, и библейских пророков. Мы не беремся быть судьями в отношении их „социологических учений“, но скажем, что, напр., Гегелю определенно не повезло, вероятно, вследствие того, что автор не очень внимательно читал



его работы. „Ничто“ превращается в тезис, „бытие“ в антитезис. Если бы Гегель узнал, что он свою логику и всю систему начинает с „ничто“, он, мягко выражаясь, был бы очень удивлен. У самого Садынского капиталистический строй есть тезис, а социалистическое общество—антитезис...

Можно было бы многое еще сказать о книге Садынского, но вывод останется тот же: марксистская „социология“ получила немарксистское введение.

**И. Л.**

---

**О. Д. Хвольсон. Характеристика развития физики за последние 50 лет.** Госиздат. Ленинград 1924 г.

Проф. Хвольсон сравнивает старую и новую физику; физику 50 лет тому назад, когда он только приступал к научной работе, и физику 1923 года. Разница получается поразительная, успехи колоссальны. При всем том проф. Хвольсон остается глубоко неудовлетворенным и разочарованным. В старой физике все было так понятно, объяснение явлений давало полное удовлетворение; в новой физике, наоборот, непонятные явления объясняются посредством непонятных гипотез; новая физика заражена тлетворным духом, против которого проф. Хвольсон протестует, которого он не приемлет. Прежде всего проф. Хвольсон недоволен электрической теорией Максвелла и дальнейшим ее развитием—электронной теорией. Еще более он недоволен теорией квант и происшедшим из нее методом квантования. Именно теория квант, по словам проф. Хвольсона, „заражает все отделы физики тою болезнью, тем разочаровывающим неприемлемым духом, которым в настоящее время страдает физика“ (158 стр.). Той и другой теории проф. Хвольсон ставит в вину непонятность исходных положений. Вместе с тем проф. Хвольсон вынужден признать, что обе теории охватили и подчинили себе всю физику и оказались в высшей степени плодотворными.

Зато проф. Хвольсон отдыхает душой на теории Эйнштейна. Эта последняя теория всецело удовлетворяет запросам проф. Хвольсона, ее он считает вполне понятной. Хотя в то же время проф. Хвольсон вынужден признать, что, производя переворот в основных понятиях, теория Эйнштейна в научной практике почти все оставляет по старому.

Физика, говорит проф. Хвольсон, должна не только наблюдать явления и открывать законы, но и объяснять их посредством других, более скрытых и в то же время более элементарных явлений, находящихся как бы за кулисами явлений наблюдаемых. Это совершенно справедливо, с этой мыслью материалисты вполне согласны. В старой физике, говорит проф. Хвольсон, эти закулисные явления, посредством которых объяснялись наблюдаемые явления, были совершенно понятны; наоборот, в новой физике они непонятны. Но что это значит, что указанные закулисные явления непонятны? Значит ли это, что они для нас непривычны, что они еще не связаны в цельную картину, что наш интеллект к ним не в достаточной мере приспособился? Или может быть, наоборот, явления не приспособлены к нашему интеллекту, превышают слабые силы нашего разума и потому вовсе не могут быть познаны? Проф. Хвольсон склоняется ко второй мысли. Но проф. Хвольсон желает прежде всего рассуждать строго; говоря о „непонятном“, он хочет точно определить, что он под этим словом подразумевает. Вот его определение: „Мы находим гипотезу непонятной, во-первых, если в ней содержатся элементы, резко противоречащие твердо установленным физическим законам, из которых они, по непонятной причине, представляют исключение; во-вторых, когда в нее введены величины, для которых дано математическое выражение, но физическое значение которых остается вполне непонятным, между тем как из всего построения теории, основанной на данной гипотезе, явствует, что именно

эти величины играют существенную роль в весьма многих и разнообразных явлениях" (205 стр.).

Это очень хорошо: непонятные гипотезы—это те, которые содержат непонятное! Вот вполне понятное определение непонятного!

Из рассуждений проф. Хвольсона вполне ясно, что он хочет абсолютного знания, что только установление полной гармонии между запросами интеллекта и внешним миром дает ему удовлетворение; иными словами, он ценит только метафизический элемент в знании, и „не приемлет" научно-практического элемента. Например, в старой физике положительное и отрицательное электричество были равноценны, и различались только направлением возбуждаемых сил. В новой физике масса положительного электричества в 1840 раз больше массы отрицательного. Проф. Хвольсон недоволен: „Простое и ясное заменено чем-то туманным, далеко еще не выясненным. Во всяком случае, это не прогресс" (211 стр.). С точки зрения метафизики это несомненный регресс, но только с этой точки зрения, а становиться на такую точку зрения для естествоиспытателя по меньшей мере странно.

Вполне естественно, что проф. Хвольсон приходит в результате к агностицизму и рекомендует оставить всякую надежду на возможность познания внешнего мира:—lasciate ogni speranza!

Мысли, высказанные проф. Хвольсоном, проливают неожиданный свет и на его прежнюю научно-литературную деятельность. Проф. Хвольсон, сказали бы мы, слишком аподиктичен. Он допускает только аподиктическое знание; где он не находит такого знания, там отрицает всякую возможность что-либо знать. Так, в третьем томе своего „Курса физики" он аподиктически заявлял, что допущение эфира безусловно необходимо и что действие через пустоту на расстояние является полнейшим абсурдом. В четвертом томе того же труда проф. Хвольсон, с не меньшей аподиктичностью, заявлял, что признание ненужного эфира является абсурдом и что все действия передаются на расстояние через пустоту со скоростью света. После таких аподиктических заявлений становится вполне понятным его последнее заявление:—lasciate ogni speranza!

Проф. Хвольсон опасается, что молодые физики не оценят его критических замечаний и не присоединятся к его точке зрения. Мы также уверены, что они не могут присоединиться: такая точка зрения мало подходит для естествоиспытателя.

**И. Орлов.**

---

**Философия науки. Естественно-научные основы материализма.** Часть I. Физика. Под редакцией проф. А. К. Тимирязева. Выпуск 2. Госиздат. Ленинград 1924 г.

Выпуски „Естественно-научных основ материализма" представляют собою ценный вклад в нашу популярную литературу по естествознанию. Выходящие в значительном количестве популярные книжки в большинстве носят на себе явный отпечаток идеалистических влияний, приводящих к искажению предмета. Кроме того, авторы популярных брошюр в погоне за новизной и сенсацией часто стремятся оторвать сегодняшний день естественно-научного иследования и в частности физики от его вчерашнего дня, создать ложное впечатление, будто между вчерашним и сегодняшним днем существует коренное противоречие, непроходимая пропасть.

В противоположность такой установившейся в популярной литературе своего рода традиции, 2 выпуск „Естественно-научных основ материализма" дает нам картину перехода от исследований вчерашнего дня к новейшим открытиям. Здесь мы встречаем имена М. Планка, Герца, Гельмгольца, Перрена, Милликана, Дж.-Дж. Томсона, Рутерфорда, Дж. Дарвина—блестящих исследователей, сделавших замечательные открытия и проложивших путь своими трудами к открытиям последних дней. Всем указанным авторам



в сборнике предоставлено слово, при чем взяты их популярные статьи и речи, с которыми они выступали по тем или иным поводам. Когда выдающиеся естествоиспытатели рассуждают без философских предубеждений о предмете их исследований, материалисты почти всегда могут быть совершенно довольны.

Таким образом статьи сборника дают ценный, вполне доброкачественный материал, дают те основы, без которых невозможно разобраться надлежащим образом в новейших открытиях.

Две статьи М. Планка заключают в себе полемику с Махом. В противоположность Маху, который настаивает на том, что в природе существуют простые качества, не связанные между собою и не сводимые друг на друга, Планк подчеркивает единство всех сил природы, одну общую основу, к которой могут быть сведены теплота, свет, электричество и проч., а также независимость их от индивидуальности отдельных наблюдателей. Во второй статье Планк показывает, что философские предубеждения Маха приводят его к утверждениям, совершенно неудовлетворительным с точки зрения физики, например, в области учения о теплоте. Кроме того Планк констатирует, что Маху не удалось выполнить поставленную им задачу—преодолеть метафизику в естествознании. В самом деле, у Маха, как остроумно доказывает Планк, принцип экономии означает не столько экономию сил исследователя, сколько экономию самой природы, т.-е. становится вполне метафизическим принципом.

Статья Генриха Герца представляет предисловие к его известной „Механике". Герц критикует изложение механики Ньютона и обсуждает, каким образом механика может быть изложена вполне логически строго. Первоначальный план Герца заключался в том, чтобы положить в основу механики понятие энергии; он подробно объясняет, почему он вынужден был от этого плана отказаться. В основу своего труда Герц ставит следующие оригинальные идеи: понятие силы изгоняется и заменяется понятием неизменной связи между массами; если движения наблюдаемых масс не могут быть выведены из принципов механики, то картина гипотетически дополняется скрытыми массами, которые однако неизменным образом связаны с первыми. Таким образом движения наблюденных масс объясняются механически посредством допущения скрытых масс. Ввиду абстрактности изложения статья Герца более трудна для чтения, нежели все другие статьи сборника; со стороны же содержания она удовлетворяет нас менее. Понятие силы у Ньютона настолько объемлюще, что охватывает собою и реакции неизменных связей; поэтому, в конечном счете, механика связанных масс Герца только частный случай ньютоновой.

Гельмгольц в своей речи „О происхождении и значении геометрических аксиом" решительно порывает с Кантом, под влиянием которого он находился, и доказывает опытное, эмпирическое происхождение аксиом. После работ Римана и Гельмгольца проблема математической достоверности получила совершенно новую постановку, и влияние философии Канта было сильно подорвано.

Указанные четыре статьи посвящены общим вопросам. Остальные статьи доказывают реальность молекул, атомов и электронов и излагают различные способы их непосредственного наблюдения, измерения и подсчета.

Обращают внимание прекрасные и увлекательно изложенные работы Перрена и Милликана. Дж.-Дж. Томсон рассматривает вопрос о реальности эфира, а также дает простое и остроумное объяснение известному явлению изменения массы электрона в зависимости от скорости. В заключение Дж. Дарвин вводит в круг новейших проблем, относящихся к строению атома, связанных с именами Бора и Астона.

Подбор статей очень удачен. Почти все статьи можно характеризовать, как блестящие.

**И. Орлов.**

**Анри Пуанкаре. Последние мысли.** Перевод А. И. Стожарова, под ред. А. П. Афанасьева. Научное Книгоиздательство. Петроград 1923 г.

Существует мнение, что ученые не должны писать стихов, а поэты вмешиваться в дела науки. Знаменитый Гюйгенс, пораженный красавицей и умницей Нинон Ланкло, посвятил ей четыре стиха. Злой остроумец Вольтер постоянно демонстрировал эти стихи в качестве доказательства того, что ученым не следует заниматься поэзией, хотя сам он считал себя вправе написать трактат о физике Ньютона. Араго в отместку приводит два образца поэтической науки, из которых первый принадлежит Буало:

Que l'astrolabe en main, une autre aille chercher.
Si lè soleil est fixe ou tourne sur son axe [1]).

Второй образец создал поэт, который „не плавал около мыса Горна и даже не читал путешествия Кука".

Que du pôle glacé jusqu'au pôle brulant [2]). Подобного рода ученость встречается, однако, не только у поэтов. Существуют мыслители, которые с астролябией в руках стараются определить, вращается ли солнце около оси, и измеряют расстояние от ледяного до жгучего полюса. К таким мыслителям принадлежит Пуанкаре-философ. Стихи Гюйгенса, осмеянные Вольтером, имели, по крайней мере, определенный смысл: восхищение женской красотой. Гюйгенс, без сомнения, не был Журденом, который 40 лет не знал, что он говорит прозой. Но философия А. Пуанкаре—это нечто загадочное, это расстояние от ледяного до жгучего полюса. Пуанкаре—гений в своих научных делах.

„О вы, Анри Пуанкаре, чье немое, тяжелое лицо гения я созерцал", восклицает А. Франс в „Жизни в цвету". Действительно, немой гений Пуанкаре достиг упорным трудом значительных научных результатов—в теории чисел, геометрии, физике. Из физических трактатов общеизвестны „Космогонические гипотезы", „Теория вихрей", „Теория Ньютонова потенциала", „Электричество и оптика". Но когда немой философски заговорил, получился неприятный результат. Анри Пуанкаре провозглашен великим философом Франции, но нам кажется, что в это никто искренно не верит, что это скорее дань великому ученому, дань его философской слабости. В самом деле, философия Пуанкаре похожа на стихи некоторых современных поэтов. В таких стихах каждое отдельное слово понятно, но совокупность слов лишена какого-либо определенного смысла. Мы по нескольку раз перечитывали философские произведения Пуанкаре, находили отдельные остроумные и блестящие, даже ясные места, но общего смысла философии Пуанкаре никак уловить не могли. Каковы его принципы, что хочет он сказать в конечном итоге, что признает и что отвергает,—все это настоящая квадратура круга. В. И. Ленин, с присущей ему проницательностью и резкостью, отметил эту особенность Анри Пуанкаре, как философа. Это положение вещей легко объясняется тем, что Пуанкаре, как крупному ученому, нелегко идеалистически истолковывать то, что по существу материалистично. Каждый порядочный буржуазный ученый старается вести линию идеализма, но эта линия часто встречается с материалистической линией самой науки, и отсюда вытекают постоянные колебания и противоречия.

Возьмем, например, темы, рассматриваемые в рецензируемых „Последних мыслях", которые правильнее было бы назвать „Последними словами". Первая глава рассуждает об эволюции законов. Великолепная тема! Но для ее обсуждения необходимо исходить из ясных и отчетливых (пусть даже идеалистических) принципов. Но Пуанкаре хочет сидеть между двух стульев и впадает в противоречия. До § 11 мы поэтому не знаем, что именно хочет

[1]) Одна с астролябией в руках старается узнать, неподвижно ли солнце или вращается на оси.

[2]) От полюса ледяного до полюса жгучего.



доказать мыслитель. Наконец, с § 11 мы узнаем, что речь идет не об изменении законов, а о том, „могут ли люди их считать изменяющимися". Формулировка—не блещет ясностью. Что касается того, „изменяются ли сами по себе законы", то этот вопрос не имеет, согласно Пуанкаре, никакого смысла: законы, как известно, предписываются умом природе, а не наоборот. Это утверждение, как будто, противоречит многому из того, что раньше говорил философ, но § 11—заключительный и является белой идеалистической краской для черного дегтя материализма.

Вторая и третья главы хотят ответить на интереснейший вопрос: почему пространство имеет три измерения. Мы три раза перечитывали эти главы, стараясь уловить ответ на вопрос, но это была погоня за собственной тенью. С одной стороны, „мы все обладаем интуицией непрерывности любого числа измерений", так как мы „имеем способность построить непрерывность, как физическую, так и математическую". Эта способность „существует в нас до всякого опыта". Очень хорошо! Если здесь поставить точку, то получится известная идеалистическая теория пространства, хромая, правда, но к которой ловкий философ мог бы придумать костыли. Однако Пуанкаре не отличается ловкостью в философии, как и его кузен в политике. Пространство все же ощущается нами трехмерным; а чтобы отыскать причину этого, Пуанкаре прибегает к развитию гипостазированной мифической „способности до всякого опыта" на основании опыта! „Только внешний мир, только опыт побуждает нас развивать эту способность в одном направлении, а не в другом". Пуанкаре—представитель точных наук, и не удивительно ли, что он обывательское слово „способность" принимает за научное решение вопроса? Способность до всякого опыта—это идеалистический балласт, который сдерживает полет мыслителя и запутывает, затемняет отдельные верные его положения. В итоге—полная неясность в ответе на поставленный вопрос.

Третья глава посвящена логике бесконечности. Здесь опять-таки обнаруживается противоречие Пуанкаре-ученого и Пуанкаре-философа. Как ученый, Пуанкаре понимал опасность формализма в науке и полемизировал в этом с Ресселем и Кутюра. Идея „универсальной математики" поддерживалась в свое время Декартом и Лейбницем. Но она заглохла вплоть до появления известной книги Буля о „законах мышления" (1854 г.). Почему? А потому, что буржуазная наука в своем расцвете была занята очищением и выработкой понятий и ее мало интересовало совершенство логической формы. Когда же буржуазная мысль вступила в схоластический период развития, начался пышный расцвет математической логики и именно в самой передовой капиталистической стране. Англия—родина Дунса Скотта, Беркли, Юма, а также Буля, Джевонса, Венна, Макферлана, Ресселя, Уайтхеда. Пуанкаре видит, что в данный момент математическая логика не только бесполезна, но и опасна для науки, в которой царит еще страшная путаница самих понятий.

Еще в книге „Наука и метод" Пуанкаре показал образцы современной математической логики. Вот определение единицы, принадлежащее Бурсели-Форти:

$$\hat{1} = c\,T'\,\{K \circ \upsilon(u, h)\,\varepsilon\,(u\,\varepsilon\,U\,n)\}.$$

Это определение,—восклицает Пуанкаре,—удивительно способно дать идею о числе 1 тем, которые никогда о нем не слыхали!

В упомянутой главе Пуанкаре погружается в тонкости логики бесконечности Ресселя и Вермело.

Так как основные философские и научные понятия столь же запутаны, как отношения в современном классовом обществе, ясно, что предмет обсуждения Пуанкаре—схоластическая каша (пусть не сердятся на это определение адепты математической логики). 5-ая глава посвящена обсуждению

подобного же рода тонкостей, касающихся соотношения математики и логики.

Тема—в той трактовке, которую ей дают современные логики—идеалисты и полуидеалисты—в лучшем случае бесполезная.

В главах VI и VII, касающихся гипотезы квант и взаимоотношения эфира и материи, мы вступаем в иную атмосферу, так как здесь мы в специальной области мыслителя.

Когда дело идет о науке, инстинкт ученого вступает в свои права и не позволяет совершенно игнорировать интересы науки. В заключении к „гипотезе квант" Пуанкаре правильно ставит вопрос: „Станет ли над миром царить прерывность и окончательна ли ее победа? Или же узнают, что эта прерывность только кажущаяся и скрывает ряд непрерывных процессов? Первый видевший столкновение думал, что он видит прерывное явление,—мы же теперь знаем, что он видел только результат изменений скорости, весьма быстрых, но непрерывных. Стараться предугадывать сейчас же ответ на эти вопросы было бы напрасный тратой чернил".

Удивительны же эти философы со своей старой аристотелевской логикой: да—да, нет—нет! Немало, ведь, чернил было затрачено, чтобы объяснить, что мир одновременно прерывен и непрерывен, что это диалектическое противоречие подтверждается всей историей науки,—но диалектика упорно отрицается, и ученые ахают от удивления, замечая, что прерывность сменяется непрерывностью, и наоборот. В главе о „взаимоотношении материи и эфира" Пуанкаре не столь упрям, как Мах. Он признает, что „старые механические и атомистические гипотезы в последнее время приобрели такую прочность, что почти перестают казаться гипотезами: атомы более уже не являются удобными фикциями", „атом химика сейчас реальность". Впрочем, Пуанкаре не может удержаться, чтобы не выказать свою натуру скептика: нам, так сказать, кажется, что мы их видим с тех пор, как мы научились их считать. Но если принять во внимание, что школа Пуанкаре—Маха—Пирсона подвергает философскому сомнению реальность звезд и солнца, то замечание Пуанкаре покажется не столь страшным.

Главы VIII и IX трактуют о „морали и науке" и о „моральном союзе". Пуанкаре, как личность, был бескорыстным и величественной скромности человеком. Но проповедуемая им мораль—это гомеопатическое средство от облысения французского рантье, пацифистски настроенного, любящего проповеди на тему о любви к ближнему и стригущего купоны Шнейдера-Крезо.

Можно ли рекомендовать книгу Пуанкаре читателю? Мы советовали бы ему лучше ознакомиться с „Космогоническими гипотезами", „Теорией вихрей" и прочими научными трудами французского ученого. Что касается философии Пуанкаре, то пусть ею займется историк неосхоластики.

**З. Ц.**

---

**Новые идеи в физике. Сборник № 9.** Строение атома, II.

Сборник содержит две статьи: основной доклад Н. Бора о „Строении атомов и физико-химических свойствах элементов" и вводную статью Я. И. Френкеля: „Принципы квантной динамики Бора". Так как работы самого Бора неоднократно освещались на страницах журнала, то мы остановимся на работе Я. И. Френкеля. Эта работа представляет собою математическую интерпретацию доклада Бора; и для читателя, плохо знакомого с деталями Боро-Зоммерфельдовской теории строения атома, она прямо-таки необходима для понимания многих мест доклада, написанных в самой общей форме. Я. И. Френкель выясняет прежде всего предпосылки теории Бора, математически формулируя три основных принципа теории (прерывности, частоты и соответствия). Затем он развивает элементарную форму теории Бора, начиная с квантования круговых движений (§ 5), кончая рассмотрением искаженных, под влиянием магнитных и электрических полей, орбит и динамикой сложных атомов (§ 10). Перед восхищенным читателем в изящной, достаточно простой и ясной математической форме открываются тончайшие детали внутренней жизни атома.



Когда Ньютон вырвал у природы тайну планетных движений, астроном Галлей в торжественном посвящении „Началам" заявил:

Nec fas est propius Mortali attingere Divos.

Смертному больше, чем это, к богам не дано приближаться.

Но смертный, вооружившись спектральным анализом, проник в такие области, о которых даже и не снилось Галлею и его современникам. Инертно-твердый атом Ньютона оказался живой, развивающейся системой. В этом микрокосме царят те же законы, что и в планетном макрокосме. Вот, например, перед нами явление прецессии — явление, установленное для нашей земли еще в древности (Гиппарх) [1]).

Оказывается, что это тонкое явление движения имеет место в атоме. Плоская и пространственная прецессии, обусловленные различными причинами (изменчивостью массы в зависимости от скорости, магнитными и электрическими полями), объясняют такие замечательные явления, как тонкая структура (Feinstruktur) спектральных линий, эффект Зеемана и эффект Штарка. Последний, в частности, эффект вызывается действием электрического поля и усложняется так называемой путацией, которая имеет место и для земной оси.

Таким образом детская игрушка—волчок,—мир планет и ничтожно малый атом образуют единую систему, управляемую едиными законами материального мира. Против этого единства неосхоластика вела за последние десятилетия ожесточенную борьбу, руководясь старым испытанным правилом: divide et impera. Одно время казалось, что под влиянием критики школы чистого описания атомы и эфир безвозвратно изгнаны из области науки. Специальная теория относительности как будто даже подвела научно-гносеологический фундамент под отрицание эфира. Но эта временная победа идеализма сменилась жесточайшим и неслыханным поражением как на фронте эфира, так и на фронте атомов. Общая теория относительности показала, что эфир—этот „больной человек" физики—отнюдь не собирается умирать во славу Прекрасной Дамы Идеализма.

Наука же об атоме превратилась в подлинную „механику микрокосма", которая по научной строгости соперничает с „механикой макрокосма", небесной механикой, созданной гением Ньютона-Лапласа. Но схоластический идеализм не сдает и не сдаст своих позиций. Потерпев поражение на фронте чистого описания, он старается найти выход в Пифагорейско-Кантовской (точечной) или Лейбницевской (монадологической) теории физического познания. Эта идеалистическая соль вкраплена в большинство работ комментаторов современной физики, в частности и в статью Френкеля.

Прежде всего характерно общее освещение теории Бора-Зоммерфельда. Френкель констатирует, что теория квант представляет собою „компромисс между классической механикой и классической электродинамикой, а отнюдь не их органический синтез, который продолжает оставаться одной из насущнейших задач современной физики". Это замечание не совсем правильно.

Задача неосхоластики не допустить синтеза механики и электродинамики или, точнее, сведения электродинамики к механике, т.-е. простому,

[1]) Если ось вращающегося волчка подвергается действию известной силы (например, тяготения), то она начинает описывать конус: это и есть прецессионное движение. При известных условиях конус становится волнообразным — прецессия усложняется путацией.

ясному и отчетливому пониманию явлений природы. Но самое движение науки толкает к такому синтезу. Рассмотрим с этой точки зрения теорию Бора-Зоммерфельда. Я. И. Френкель очень ясно формулирует основные принципы классической механики и классической электродинамики. В первой царит инерция, постоянство массы, консервативность сил, отсутствие полей (постоянных и колебательных) при движении; во второй мы также имеем инерцию (самоиндукция), постоянство элементарного электрического заряда, но силы не являются уже консервативными, а регрессивными или прогрессивными, и при движениях появляются электромагнитные поля. Теория относительности покончила с постоянством массы, и так как электрический заряд встречается только в неразрывной связи с материей (Г. Ми определяет электричество как „связь“ между материей и эфиром), то, сохраняя в отношении $\frac{e}{m}$ $e$ — постоянным, мы тем самым перекидываем мост между классической механикой и электродинамикой. Далее, как видно из теории кинетического потенциала Гельмгольца-Неймана, имеется основание (теория Гербера) допускать и в механику неконсервативные силы; кроме того Михаил Фарадей предполагал (и вполне основательно), что при движении весомой материи образуются поля. С другой стороны, теория Бора-Зоммерфельда вынуждена допустить консервативность сил для ускоренных движений электронов по орбитам. Здесь вполне отчетливо намечается именно синтез, а не компромисс, как утверждает Френкель. Диалектику ясно, что в природе не существует ни абсолютно консервативных, ни абсолютно неконсервативных движений: всякое реальное движение имеет тот или иной заметный характер в зависимости от известных условий (например, степени скорости и ускорения). Здесь проявляется очень отчетливо великий диалектический закон перехода количества в качество:

При известном количестве движения проявляется качество консервативности или неконсервативности. Но Я. И. Френкель, как и другие сознательные или бессознательные метафизики, не хочет этого понимать. Для него имеет силу старое аристотелевское положение логики: да—да, нет—нет, а диалектика—это простой компромисс.

То же самое необходимо сказать о принципе прерывности Бора. Этот принцип провозглашается как абсолютное нарушение старой непрерывности, которая долго царила в физике („природа не делает скачков“). Такое понимание в высшей степени странно: непонятно, почему „прерывная“ стрельба из пушки является нарушением закона непрерывности. Истинная непрерывность—это непрерывности протяжения, и постольку, поскольку все явления совершаются в пространстве и времени, они непрерывны. Понятие же прерывности чисто-относительное, подобно тьме, холоду и прочим отрицательным определениям; это только качество, обусловленное известным количеством. Известная степень световых колебаний дает „земные“ лучи, известная степень теплового колебания образует „холод“,—точно так же известная скорость явления приводит к „прерывности“. Новая прерывность квант играет теперь роль мистического принципа.

Эту же мистику мы находим в другом вопросе, который обсуждается Я. И. Френкелем, вопросе о самоиндукции. Сам термин „самоиндукция“ — результат мистификации физики. Что такое, в самом деле, самоиндукция? Можно дать два объяснения этого явления—мы выберем наиболее простое и наглядное. Если вообразить себе изолированный электрон, то этот электрон связан с окружающим эфиром (силовые линии электрического поля). При движении электрона захватываются окружающие части эфира, и так как электрон и эфир—это материя, то этот электрон и увлекаемые части обнаруживают обычное сопротивление инерции. Эта „электрическая инерция“ и есть самоиндукция. Ясно, что она слагается из двух факторов: 1) инерции самого электрона и 2) инерции эфира, которая зависит от величины заряда, т.-е. связи электрона с эфиром. Вот почему полная сила самоиндукции выражается формулой

$$F = -m.g + k.\frac{dg}{dt},$$

где

$m$ — коэффициент самоиндукции или инертная масса электрона,

$k$ — коэффициент „электрического трения“, равный

$$k = \frac{2}{3}\frac{e^2}{c^3}$$ ($e$ — заряд, $c$ — скорость света) [1]).

Но схоластический идеализм не хочет признать эфира, и, чтобы объяснить опытный факт электрической инерции, он вынужден прибегнуть к весьма искусственной и мистической теории „самоиндукции“, т.-е. к утверждению, что электрон каким-то образом действует на самого себя—явление, напоминающее усилия, которые делает известный барон Мюнхгаузен, чтобы вытащить самого себя за волосы из болота. С точки зрения теории „самоиндукции“ эта самоиндукция вызывается индукционными импульсами (взаимной индукцией) частей электрона, усложненными своего рода „внутренним“ трением, обусловленным тем обстоятельством, что индукционные действия передаются не мгновенно, а с конечной скоростью $C$ (скоростью света). Первое слагаемое вышеприведенной формулы и выражает простую силу электрической инерции, а второе слагаемое говорит об усложнении „внутреннего трения“.

Примем, однако, эту теорию. Тогда необходимо принять все вытекающие из нее следствия. Оказывается, однако, что эти следствия ведут к абсурду.

Действительно, Я. И. Френкель указывает (стр. 35): „При отсутствии излучения, характеризующем консервативные движения, индукционные действия, образующие это излучение, должны были бы отсутствовать, и масса электрона, поскольку она обусловлена индукционными импульсами, равняться нулю. Однако тот факт, что она остается отличной от нуля, не может подлежать ни малейшему сомнению“. Более того: „целый ряд соображений, на которых я не имею возможности здесь останавливаться, указывают на то, что электроны не обладают вовсе протяженностью в пространстве, т.-е. не могут быть разделены даже мысленно на более мелкие элементы. При таких условиях о взаимной индукции не может быть и речи“. Тут перед нами обнаруживается полное бессилие схоластики сочетать науку с идеализмом.

В самом деле, отрицание эфира, которое привело к теории самоиндукции, требует, как дальнейшего необходимого логического шага, отрицания протяженности электронов: ибо что это за теория, которая одной части пространства приписывает реальное протяжение, а другую часть лишает этого протяжения. Но отрицание протяжения электрона опрокидывает всю теорию самоиндукции.

Каков же выход? В словесности. Я. И. Френкель заявляет: „Отказываясь от обычного электродинамического (даже!) истолкования массы, мы должны рассматривать ее, на-ряду с электрическим зарядом, как первичное свойство электронов“. Это и есть самая настоящая схоластика: то, что не умеют или не желают объяснить, объявляется „первичным свойством“.

За вычетом этих идеалистических уклонов, статью Френкеля можно вполне рекомендовать читателю, как ясное и сжатое изложение принципов динамики Бора. Предупреждаем, однако, что для чтения статьи требуется

[1]) Великолепное изложение вопроса у Джозефа Томсона „Электричество и материя“.

известная, повышенного характера, физико-математическая подготовка. В статье имеются опечатки (стр. 15, 26, 30, 60) и один lapsus случайного характера, который необходимо отметить: на стр. 49 Френкель говорит, что „простейшим силовым полем, обладающим симметрией осевого характера, является однородное магнитное поле“; очевидно, что автор имеет в виду осевую симметрию того поля, которое возникает вследствие движения электрона в однородном магнитном поле.

**З. Ц.**

---

**И. Дашковский. Конспектированный курс политической экономии.** Общая часть. 316 стр. Госиздат Украины. 1923 г.

**Ф. И. Михалевский. Начальный курс политической экономии.** 308 стр. Изд. „Московск. Рабочий.“ 1924 г.

Обе эти книги выбраны нами для того, чтобы с двух сторон иллюстрировать тот кризис с хорошим марксистским учебником политической экономии, из которого мы до сих пор не можем выбраться. Если в дореволюционные времена и в первые послереволюционные годы монополистом среди марксистских курсов политической экономии был курс Богданова, то за последнее время мы имеем целый ряд попыток (часто очень скороспелых) дать марксистски-выдержанный и удовлетворяющий требованиям педагогики учебник политической экономии. Несостоятельность ряда теоретических положений Богданова отодвинула его „курсы“ на задний план. Происходит пока отбор, никакого „признанного“ авторитета нет.

Книги Дашковского и Михалевского во многих отношениях представляют друг другу противоположность. Насколько аккуратно и тщательно обработана с внешней стороны книга Михалевского, настолько же неряшливо (нет даже оглавления) издан „курс“ Дашковского; стремление итти навстречу „новым веяниям“ в преподавании политической экономии у Михалевского противопоставляется марксовой схеме у Дашковского и т. д.

„Конспектированный курс“ И. Дашковского обращает на себя внимание полнотой теоретического обхвата и строгой выдержанностью ортодоксальной марксистской точки зрения. Кроме соединения, ставшего, впрочем, обычным, теории так называемого „чистого капиталистического общества“ и анализа новейшей фазы капитализма — финансового капитала, в курс введены также главы относительно условий развития капитализма в сельском хозяйстве и о роли государственных финансов в капиталистическом хозяйстве; в виде добавления дана критика австрийской и отчасти англо-американской школы. Кроме того, все изложенное пронизано чрезвычайно для учебника ценными критическими отступлениями по тому или иному отдельному вопросу. Так, например, разобрана теория накопления Розы Люксембург, ошибки Маслова и Богданова в теории земельной ренты и т. д. Как положительную же сторону курса приходится отметить его теоретическую чистоту и неурезанный марксизм. План сочинения в общем и целом идет по схеме Маркса, зато отделка работы никуда не годится. Язык достаточно небрежный и потому трудный, конкретных иллюстраций совершенно не достаточно, как уже отмечено — нет даже оглавления. Вообще, для того, чтобы сделать книгу удобочитаемой для совпартшкольца и пр., не сделано ничего. Поэтому, несмотря на довольно ценный материал, сконцентрированный на 300 страницах, „курс“ вряд ли станет комвузовским учебником политической экономии.

„Начальный курс“ т. Михалевского заранее рассчитан на роль учебника, и поэтому с внешней стороны он производит чрезвычайно благоприятное впечатление: два шрифта, детальное дробление материала подзаголовками, богатые иллюстрации. Содержание тоже приспособлено к роли учебника. „Курс“ т. Михалевского „идет навстречу веяниям, намечающимся в преподавании политической экономии“, как выражается в предисловии редактор экономической серии Ш. Дволайцкий. Это выразилось прежде всего в делении курса на 2 части, на 2 концентра. Первая часть—описательная—должна дать тот конкретный материал, на основе которого будет построено теоретическое здание второй части. К сожалению, приходится констатировать неудачу этой попытки: теоретическая часть осталась вполне самодовлеющей, развивающейся по своей внутренней логике, а богатый конкретный материал первой части остается богатым конкретным материалом—и только. Впрочем, нам кажется, что в этой неудаче затеи построения курса в два концентра кроется его спасение от теоретического извращения. Ибо, если действительно строить систему политической экономии на основе того материала, который дан в описательной половине (техника производства и обмена капиталистического общества), то это неизбежно поведет к вульгаризации теории. На основе анализа технических моментов капитализма невозможно построить теорию его общественно-экономической эволюции. Ф. Михалевский избежал теоретического грехопадения, но зато его методическая затея, следует признать, не удалась. Перегруженная конкретным материалом первая часть курса может, не принеся, правда, собой пользы, отбить охоту у читателя дочитать книгу до конца.

Кроме того, незначительные новшества по сравнению с общепринятым есть также и в плане работы. Отдел заработной платы перенесен за прибыль и ренту, накопление капитала в индивидуальном разрезе соединено с накоплением в смысле воспроизводства всего общественного капитала, и все это превращено лишь во „введение к теории кризисов“. Такая структура работы принижает громаднейшее самостоятельное значение теории воспроизводства и накопления капитала, с одной стороны, а, с другой стороны, вызывает некоторую путаницу в понимании накопления капитала. По существу теоретического отдела следует отметить неправильную на наш взгляд теорию редукции сложного труда к простому. Т. Михалевский объясняет способность производить большую, нежели простой, ценность сложного труда перенесением сгущенного в работнике прежнего общественного труда, потраченного на его выучку. Это опасный путь к объяснению величины производимой ценности через заработную плату. В теории кризисов упущено значение могущественного рычага—тенденции нормы прибыли к понижению.

Если бы теоретическую полноту курса Дашковского вложить без методических мудрствований в превосходную рамку живого, удобочитаемого, понятного построения курса Михалевского — получился бы великолепный марксистский учебник политической экономии. Пока же и тот и другой „курс“ идеала не достигли, хотя и тот и другой можно порекомендовать для разных кругов нашей учащейся молодежи.

**И. К-в.**

---

**С. Н. Гожанский. Очерки по политической экономии.** Пособие для партшкол, парткружков, профкружков, рабфаков и самообразования. Выпуск I. Заработная плата. 110 стр. Изд. „Красная Новь“. Главполитпросвет. Москва 1924 г.

Т. Гожанский является фигурой в некотором роде символической. С его именем связано целое течение в области преподавания общественных наук. Протекшая зима была полна дискуссий, „прожектов“ и практических попыток разрешения этого вопроса. „Новаторы“—и из них не последний т. Гожанский—производили, как и полагается новаторам, переворот. Долой схоластику, долой абстракцию,—подайте нам понятное, на конкретном материале современности построенное преподавание общественных наук,—вот лозунг методических „обновленцев“. Глядя на бесшабашное помахивание новехонькой методической оглоблей, невольно появлялось желание дать ей

иное направление. Ибо опасность угрожала не только преподаванию общественных наук, но уже и самой марксистской сущности их. Больше всего опасаться приходилось за судьбу политической экономии, т. к. здесь новоявленные реформаторы начали производить головоломные эксперименты, относясь с поистине юношеской—почти детской—беззаботностью ко всяким предостережениям.

Конкретизировать преподавание политической экономии, это значит, по мнению сторонников конкретизации,—построить всю систему теоретической экономии на основе близкого, известного слушателям конкретного материала окружающей их жизни. Заработная плата, рыночная цена, может быть, калькуляция наших трестов, совзнаки, червонцы и новые казначейские деньги—вот тот материал, который известен каждому слушателю, исходя из которого, объясняя который, мы просто и в понятной форме дадим всю премудрость политической экономии рабочим и крестьянам, сконцентрированным в наших совпартшколах и комвузах. Уже тогда указывалось—и в печати, и в устных выступлениях,—что методическая реформа должна неизбежно повести к методологической ревизии марксистской политической экономии. Нужна большая сила теоретической абстракции, чтобы в результате разбора всех перечисленных экономических явлений проникнуть за них, добраться до социальной сущности проблем, вскрыть закон сложения социальных сил, скрывающийся за поверхностной шумихой капиталистического рынка. Заработная плата, цена, деньги и все прочие явления экономической жизни менового общества имеют всегда две стороны. Можно изучить технические условия выпуска и циркуляции денег, их роль в товарной сфере, виды и подвиды денег—можно все это превосходно знать и ни на ноту не продвинуться в понимании денег, как экономической категории. Социальная сторона денег, их общественная роль и общественная закономерность их циркуляции постигаются только путем абстрагирования от внешней видимости всех условий денежного обращения. Мало того. Сами технические моменты циркуляции денег (условия полноценности и обесценения, количество и виды денег и пр.) не могут быть понятны, если не проделан предварительный анализ денег, как социальной, экономической категории. В этом случае получается блестящая вульгарная белиберда, столь богато представленная в экономической литературе. Тот, кто не может отрешаться от вульгарной простоты экономической поверхности, неизбежно становится вульгарно-поверхностным экономистом.

В стремлении наших методических реформаторов взять за основу „близкие", „понятные" явления окружающей экономической жизни слышались нотки подобного ревизионизма вульгаризаторов. Методическое направление, принципиально предающее анафеме всякую абстракцию, требующее, чтобы изучение политической экономии начиналось „с завода", конечно, должно было привести к своеобразному „верхоглядству". Изучая „завод", изучая „конкретности" экономической жизни—и только их, невозможно вырваться из тисков вульгаршины, т. к. действительный объект изучения политической экономии—общественные отношения капиталистического общества (в самом широком классовом смысле) не могут быть конкретно осязаемы в силу хотя бы того, что они являются отношениями. Товар, деньги в их материальности, в их циркуляции видимы и понятны каждому; их социальная роль, сущность представляемых ими социальных отношений невидима, непонятна и должна быть открыта теоретическим анализом. И так с каждой категорией. Без теоретической абстракции никак не отделаться от теоретической вульгаршины, и можно было опасаться за наших „конкретистов", что они добегутся до весьма конкретной вульгаризации теории Маркса.

К сожалению, самые худшие опасения оправдались. Если в разгар методической дискуссии мы в виде „вещественного доказательства" теоретического грехопаде ия „реформаторов" имели пару-другую совершенно безграмотных программ и тезисов, то теперь такое „вещественное доказательство" дано нам одним из руководителей „обновленческого похода"—т. Гожанским в виде его книжки „Очерки по политической экономии".



Сейчас мы имеем пока 1-й выпуск „Очерков". Вся работа должна охватить основные проблемы политической экономии в 8-ми выпусках. Порядок развертывания проблем автором выбран следующий: Вып. 1.—Заработная плата. Вып. 2.—Цена, стоимость и деньги. Вып. 3.—Прибавочная стоимость. Вып. 4.—Распределение прибавочной стоимости. Вып. 5.—Развитие капитализма в индустрии и сельском хозяйстве. Вып. 6.—Промышленный капитализм и его противоречия. Вып. 7.—Финансовый капитал. Вып. 8.—Распад капитализма и переход к коммунизму. Диалектика хозяйственного развития. Уже из этого простого перечня тем проглядывает „новометодическое" лицо т. Гожанского,—заработная плата поставлена в первую голову из-за исключительной близости ее к повседневной практике. Здесь же кроются важнейшие предпосылки теоретического убожества „труда" т. Гожанского.

Заработная плата является проблемой наиболее трудной для понимания в рабоче-крестьянской аудитории. Ценность, прибавочная ценность и другие проблемы в этом отношении представляют сравнительно незначительную трудность. С другой стороны, нельзя отрицать громадной важности правильного теоретического освещения этой актуальной, дышащей боевой классовой злободневностью проблемы. Здесь больше всего необходимо поэтому теоретической осторожности и выдержанности, чтобы не скатиться ни в сторону апологии капитализма, ни в сторону наивно-вульгарного рабочефильства и пустой (поэтому и безвредной) трескотни „против буржуазного строя".

Заработная плата представляется (и в форме зар. платы является) оплатой труда, которым рабочий ссужает капиталиста. В заработной плате весь труд представляется оплаченным, расщепление на необходимый и прибавочный труд погашено. В то же время заработная плата есть единственная форма проявления ценности рабочей силы, категории, вскрывающей всю механику капиталистической эксплоатации. Заработная плата, таким образом, является формой проявления оплаты части труда рабочего—формой, выступающей в виде оплаты всего труда. Пока не вскрыта объективно-социальная основа зарплаты—ценность рабочей силы, до тех пор капиталистически-эксплоататорский характер ее не выяснен, до тех пор капиталист является лишь „работодателем", доставляющим занятие и пропитание занятым на фабрике рабочим. Без анализа прибавочной ценности (а это предполагает уже данным анализ ценности) все разговоры о том, что в заработной плате капиталист не выплачивает полного продукта труда рабочего, будут простым словоблудием невежественного „рабочелюба".

Таким образом, уже один тот факт, что заработная плата разбирается в первом выпуске „Очерков" до анализа ценности и пр., заставляет нас ожидать всяческих прорех в понимании этой проблемы автором. А малейшая теоретическая невыясненность должна, как это само собой разумеется, свести на-нет и все попытки анализа отдельных сторон проблемы. Посмотрим, как выразилось это в книге т. Гожанского.

Чем определяется уровень заработной платы разных слоев рабочих? На этот основной вопрос т. Гожанский без запинки отвечает: „Рабочие с одинаковым уровнем жизни получают одинаковую плату, с разным уровнем жизни получают разную плату" (20). Полно, так ли, т. Гожанский? Может быть, зависимость обратная? Но т. Гожанский слышал что-то о средствах, необходимых для поддержания жизни, поэтому он стоит на своем. Чем же в таком случае объясняется уровень жизни? „Рабочий класс каждой страны связан в своих привычках, в уровне жизни с остальными классами, как стоящими ниже его, так и стоящими выше... В крупном городе поездка трам-

ваем входит в уровень потребностей рабочего, потому что она вошла в уровень выше его стоящих по состоятельности групп...“ (стр. 25). „Уровень жизни рабочих вырабатывается историческими условиями возникновения рабочего класса и темпом (быстротой) развития капитализма (а следовательно, и организацией рабочего класса). Второстепенное значение имеет и природа страны“ (стр. 28).

Эти рассуждения нам что-то очень знакомы. Откуда они? Досужий методист привел нас прямехонько к М. И. Туган-Барановскому. Заработная плата непосредственно определяется обычным уровнем потребностей, они в свою очередь—совокупным продуктом общества (достаток соседних групп), за перераспределение которого идет борьба между рабочими и капиталистами, которая при общем росте благосостояния с развитием капитализма решает, сколь значительную долю получит рабочий класс,—чем это не „социальная теория распределения“? А, ведь, т. Гожанский уверен, что он марксист.

По Марксу, зар. плата вовсе не определяется уровнем жизни. Уровень жизни, поскольку он определяет величину ценности раб. силы, зависит вовсе не от общего благосостояния и борьбы классов, а от более скрытых законов производства специфического товара—рабочей силы. Если зар. плата объясняется уровнем жизни, а этот уровень, очевидно, ничто иное, как реализованная зар. плата, то никакой экономической закономерности за колебанием уровня зар. платы не стоит, и все дело сводится к свободной игре социальных сил, которая может привести к полнейшей экспроприации капиталистов и превращению рабочих в капиталистов—получателей прибыли (опять Туган!). Это уже апология капитализма. Но т. Гожанский невольно переходит отчасти даже к апологии капиталистов. Не понимая объективно-социальных законов, он принужден объективную закономерность переносить в область сознательных целей класса капиталистов. „Теперь остается еще выяснить, почему капиталисты платят рабочим на содержание семьи... Класс капиталистов так же нуждается в семье рабочего, как и в машиностроительных и ремонтных фабриках. Семья рабочего—это фабрика, где производится живая рабочая сила для капиталистов“. Нечего говорить, что ни отдельные капиталисты, ни класс капиталистов не могут осознать всей важности поддержки семьи рабочего, так как закон воспроизводства рабочей силы, как таковой, нигде не проявляется. Опосредствующее влияние зар. платы скрывает все.

В анализе форм зар. платы т. Гожанский утверждает, что „всякая заработная плата должна дать возможность рабочему прожить определенное время: день, неделю, две недели, месяц и т. д.“,—и воображает, что он марксист. А между тем, сколько потрачено Марксом труда на доказательство, что прямой связи между минимумом средств существования и зар. платой нет, что зар. плата сама по себе есть оплата труда и ничего больше. Вульгарное упрощенство не есть марксизм. Само собой понятно, что наш автор ни зерна не понял в блестящем разборе Марксом социального значения различных форм зар. платы. Марксизм для него—книга за семью печатями. Поэтому он ограничивается описанием и только описанием различных форм зар. платы, пуская иногда шпильки по адресу капиталистов.

Совсем трудно приходится нашему „теоретику“ при анализе зар. платы в Советской России. Так как он проглядел социально-классовое значение зар. платы, то для того, чтобы доказать некапиталистический характер производства в условиях диктатуры пролетариата, ему приходится изворачиваться, пуская в ход все возможные и невозможные аргументы. Т. Гожанский насчитывает целых пять отличий зар. платы в СССР от зар. платы в капиталистических странах. Вот они: 1. „В Советской России заработная плата повышается в результате повышения успешности труда, а не в результате борьбы“ (стр. 64). 2. „В Советской России рост безработицы не влияет на уровень заработной платы“ (стр. 64). 3. „Россия первая из стран с падающей валютой ввела исчисление заработной платы в товарных рублях“ (стр. 66). 4. „При капитализме договариваются о зар. плате представители различных классов, у нас—одного. Противоположности интересов нет“ (стр. 74). 5. У нас повышение заработной платы производится без борьбы сознательной волей органов пролетарской гос. власти.



Как видно из перечня, различия—или надуманные ad hoc, или относительные, количественные различия, или же они являются следствием какой-то общей причины. Т. Гожанский видит даже такое наше отличие, как исчисление зар. платы в товарных рублях, и не замечает основного, решающего отличия—заработная плата уже не служит формой проявления и фетишистического заволакивания капиталистической эксплотации,—она, по форме оставаясь прежней, носит в себе существенно социально-экономическое содержание. И дело вовсе не в том, что нет борьбы за заработную плату—борьба может и происходить,—дело в том, что система зар. платы уже не служит звеном в механизме воспроизводящегося капиталистического общества. Если т. Гожанский не заметил важнейшей роли зар. платы, как капиталистической категории, то не удивительно, что он не заметил также и изменения этой роли в условиях диктатуры пролетариата. Теоретическая вульгаризация граничит здесь с политической опасностью.

Впрочем, новаторская перепутаница апогея своего достигает в гл. VI—„Превращение реальной заработной платы в рабочую силу“ (!!!), которая имеет три следующие подразделения: 1. Влияние заработной платы на напряженность труда и (?) ценность (!!) вырабатываемой им продукции. 2. Связь между отдельными предметами, составляющими реальную плату, и рабочей силой. 3. Законы превращения энергии, содержащейся в пище, в работу человека.

Из уважения к читателю я никаких цитат из этой главы приводить не стану. Ибо там господствует сплошная белиберда. Даже Туган здесь смутился бы от такого скопления теоретического убожества. Ценность, создаваемая рабочим, здесь зависит от зар. платы, перевод которой на калорийное исчисление дает нам возможность предвидеть, сколько ценности будет рабочим вложено в продукт и пр., и пр. Все это говорится (солнечная энергия, калории, килограммометры, компот, энергия, макароны, ценность, вареная колбаса—так и мелькают перед изумленным взором читателя) с страшно серьезным видом на протяжении 12 страниц, без намека на то, что вот он, Гожанский, строит новую „систему“ политической экономии.

К сожалению, худшие наши опасения оправдались. Методическое реформаторство привело т. Гожанского в ревизии Маркса к опошлению, тупейшей вульгаризации его положений и превращению анализа социальной системы капитализма в какую-то окрошку с квасом.

Книга т. Гожанского полезна только с одной стороны: все, кто были в лагере „конкретистов“ из теоретически осмысленных и не совсем по-детски наивных по части политической экономии людей, должны будут оглянуться на путь, пройденный т. Гожанским и кое о чем поразмыслить. Ведь т. Гожанский думает, что он марксист...

Что представят из себя следующие выпуски „Очерков“, вообразить не трудно уже теперь. Во всяком случае ценного—ни в качестве научной работы, ни в качестве пособия—ожидать невозможно. Придется только пожалеть, если желание т. Гожанского исполнится, и его „Очерки“ станут действительно „пособием для партшкол, парткружков, профкружков, рабфаков и самообразования“.

**И. Капитонов.**

**Г. Наумов. Введение в изучение экономической науки.** Очерк развития народного хозяйства. Москва 1923 г.

Последнее время на книжном рынке появился ряд элементарных учебников—курсов политической экономии, и таким образом, как будто, начинает изживаться острая нужда в марксистском популярном пособии по данному предмету.

Но не все из них удачны и смогут помочь начинающему рабочему или красноармейцу разобраться в сложных вопросах капиталистической и переходной экономики.

Одной из таких неудачных книг является „Введение в изучение экономической науки" Наумова. Уже объем в 322 страницы показывает на несоблюдение элементарного требования к популярному очерку,—быть достаточно легко усвояемым для непривыкшего еще к усидчивой работе читателя.

Автор причисляет себя к последователям Маркса и придерживается марксистской терминологии.

По своему построению очерк является почти точной копией „Краткого курса" А. Богданова, некоторые же основные положения (например, теория организаторов) взяты оттуда целиком.

Метод „исторического изложения" Наумов считает единственно правильным и целесообразным, потому что „он приучает читателя рассматривать каждое экономическое явление в его развитии и толкает мысль на путь диалектического анализа".

Но это верно лишь при том условии, если при этом изложении даются обобщения исторических фактов, показываются внутренние пружины экономической жизни общества.

Очерк не может похвастаться ни тем, ни другим. На протяжении 110 страниц вы имеете ряд не всегда связных рассказов из жизни первобытных людей и дикарей, буржуазную сказку о том, что у первобытного человека нельзя разобрать, где труд, где забава, о лени первобытного человека, о приручении домашних животных для забавы, о браке, семье, религии и т. п. Эта часть скорее походит на не совсем удачную историю культуры, чем на очерк экономической науки.

Автор не разделяет общепризнанного среди марксистов взгляда на политическую экономию, как науку о законах развития товарно-капиталистического общества.

„Политическая экономия изучает только то общее, основное, важнейшее, что наблюдается в хозяйственной деятельности человека на всех ступенях ее развития (некоторые понимают политическую экономию уже, как науку о хозяйстве капиталистического строя) или, выражаясь иначе, общие законы (теорию) производства, обмена, распределения и потребления" (стр. 21).

Наумов обещает дать в очерке рассмотрение „типических черт каждой отдельной эпохи и исторических сил, которые действовали в каждую из этих эпох" (стр. 19).

Как же выполняет он свои обещания?

Вообще для всех эпох он считает движущей силой развития—потребность и принцип экономии энергии.

Старая песенка на тугано-масловский мотив.

В введении, т.-е. в общей части, где устанавливаются общие методологические положения, он говорит: „Как ни разнообразны были приемы человеческого труда, в одном отношении человеческий труд остается неизменным (курсив наш. *Г.*) Человек всегда руководствуется стремлением сохранить свою энергию и сэкономить свой труд... Принцип экономии сил заставляет человека искать все более и более производительных занятий, ибо потребности, ради удовлетворения которых человек трудится, растут безгранично, беспредельно. Каждая вновь удовлетворенная потребность вызывает новую, более высокую" (стр. 9).



Можно ли придумать что-нибудь пошлее „принципа экономии сил"!

Стоит только взглянуть на рабовладельческое общество, где так не экономно растрачивалось колоссальное количество энергии производителей, или капиталистическое, где сплошь и рядом капиталист не вводит усовершенствованных машин лишь потому, что рабочие руки дешевле и выгоднее, чтобы убедиться в несостоятельности этого принципа.

Посмотрим далее.

„Растущие потребности (курсив наш. *Г.*) заставляют год от году расширять производство. Отсюда беспрерывное стремление человека к усовершенствованию орудий труда и увеличению производительности труда. Впрочем, человек вынужден заботиться об увеличении производительности труда и по другой причине: в силу естественных законов размножения" (стр. 10)... „В этих-то умеренных широтах и расцвел гений человека, возбуждаемый и закаляемый непреклонной борьбой за самые элементарные удобства (курсив наш. *Г.*)" (стр. 11).

Как видите, кроме плоских, ничего не объясняющих факторов, потребности и размножения, автор ничего не мог дать для своего „широкого" определения политической экономии.

„Гений расцвел в борьбе за элементарные удобства"... Это что такое? Или неосторожность в выражениях, или... недомыслие. Разве не известна роскошь капиталистов наряду с нищетой рабочих? разве удовлетворение элементарных потребностей, а не накопление и борьба за сохранение возможности эксплоатировать, заставляет капиталиста развивать технику? Это автор знает и об этом говорит в конце книги. Так зачем же, спрашивается, в общей части выдвигать такие принципы? Зачем забивать головы рабочих разной дребеденью?

В первой главе „Первобытный коммунизм" ни о каких движущих силах нет речи.

Во второй главе „Патриархально-родовая община" движущей силой является размножение. „А так как каждому племени, по мере его размножения, приходится занимать все более обширные пространства для охоты, то столкновения и войны между дикарями становятся все более частыми и истребительными. Человек волей-неволей начинает искать более спокойных и производительных занятий (курсив наш. *Г.*). Потребности его растут, и для их удовлетворения необходимы более совершенные способы труда. Человек переходит к новым занятиям и улучшает прежние" (стр. 35).

Видите, как это просто происходит!—Не хотим воевать. Давайте пойдем поспокойнее занятие. ~~Сели...~~ выбрали... улучшили и... перешли „к новым более совершенным способам труда". Чем не марксистское объяснение?

Автор, повидимому, не совсем еще разобрался даже в основных вопросах политической экономии.

В вопросе о стоимости он придерживается грубо-физиологической точки зрения. „Обмен возможен потому, что во всех видах труда заключается как бы сгусток, как бы осевшая, уплотненная человеческая энергия. Этот сгусток общечеловеческой энергии и есть то, что называют стоимостью продукта (курсив наш. *Г.*)... Определяя меновую стоимость товара, тем самым определяют количество трудовой энергии, осевшей в одном и другом продукте" (стр. 102). Далее: „количество трудовой энергии затраченной на изготовление вещи, можно было бы измерить разными физическими приборами. Можно было бы устанавливать, сколько веса потерял человек за работой, как изменились его кровообращение, дыхание, мускульная сила и пр. Но это был бы

очень длинный и сложный путь измерения трудовой энергии и стоимости (курсив наш. *Г.*), заключенной в товарах. В общежитии пользуются другим, более доступным способом. Затрата рабочей энергии измеряется количеством рабочего времени" (стр. 103).

Это неправильное, одностороннее понимание стоимости приводит его к дальнейшим неверным выводам. В силу его рассуждений, стоимость должна существовать всегда, во все эпохи, так как физиологическая затрата энергии существовала всегда. Но он слышал, что стоимость существует только в товарно-капиталистическом обществе. В одном месте он говорит: „В коммунистическом родовом быту преобладает простая форма стоимости" (стр. 51), а в другом—„стоимость возникает только в меновом или товарном обществе —при натуральном хозяйстве она не существует или, по крайней мере, не учитывается (курсив наш. *Г.*)" (стр. 102).

Исходной точкой при толковании стоимости для автора служит отдельный товар, стоимость отдельного товара. Он упускает из виду совсем общественную сторону вопроса, оставляя в тени первенствующее значение в образовании стоимости системы неорганизованного товарного хозяйства, вследствие чего трудовые физиологические затраты энергии (присущие всем эпохам) проявляются как абстрактный всеобщий труд и принимают форму стоимости, регулирующей распределение производительных сил по отдельным отраслям производства.

Необходимо заметить, что в понимании конкретного труда тоже не все благополучно. „Разница между отдельными конкретными видами труда заключается в том, что одни виды труда требуют большего количества мускульной или нервной энергии, другие—меньшего количества" (стр. 100).

Имеется в виду количественное, но не качественное различие.

Не менее неудачны определения капитала, различные в разных местах. Доказывая неправоту экономистов, заявляющих, что палка и камень дикаря есть капитал, и разъясняя различие между палкой и машиной, автор выдвигает эксплоатацию основным и единственным критерием этого различия. „Капитал, следовательно,—это не всякое орудие труда, но лишь такое, которое позволяет извлекать чужой прибавочный продукт, эксплоатировать другого человека" (стр. 112).

А разве ручная мельница и плуг римского рабовладельца не служили для эксплоатации другого человека?

Что же касается цен производства и превращения стоимости в цены производства, то здесь у автора и лютейшая неразбериха.

Во-первых,—непонимание цен производства. „В калькуляции его (капиталиста. *Г.*) интересует цена производства, т.-е. сумма, в которую обошлось изготовление товара. Только эту конкретную, выписанную в точных цифрах, цену он и сравнивает с рыночной ценой, ибо во всем процессе производства его интересует только разница между рыночной ценой и ценой производства, т.-е прибыль" (стр. 199).

Теоретическая бедность автора доходит до того, что он даже не знает, что с точки зрения Маркса в цену производства входят издержки + средняя прибыль; разница же между ценой производства и рыночной ценой (если она выше цены производства) является сверхприбылью.

Далее смешивается прибыль с прибавочной стоимостью. „Цены рыночные отличаются от цен производства только прибылью, которая присоединяется к цене производства, чтобы получить рыночную цену. В разных производствах, в разных предприятиях получается различная прибыль. Чем выше органический состав капитала (больше постоянный капитал в сравнении с переменным), тем относительно ниже прибыль. Сахарная промышленность дает, например, высокую прибыльность (до войны 15—20%), металлургия и горное дело, наоборот, низкую (4—5%)" (стр. 199).



Во-первых, предприятия с высшим составом капитала дают не низшую прибыль, а относительно меньшую массу прибавочной стоимости в сравнении с капиталом низшего органического состава, что, конечно, может существовать и существует в действительности на-ряду с высокой прибылью, так как они (предприятия с высшим составом капитала) получают в качестве прибыли часть прибавочной стоимости, произведенной в других отраслях с низшим органическим составом.

Во-вторых, примеры с сахарной и горной промышленностью, приводимые автором, не подтверждают, а опровергают его утверждение. Сахарная промышленность, где все производство основано на машинной обработке, является как раз предприятием с высшим органическим составом и дает высшую прибыль, тогда как в горном деле имеется низший состав капитала, так как отсутствует сырье и преобладает ручная работа в шахтах, следовательно, больший переменный капитал. Здесь же получается относительно низшая прибыль.

Можно было бы привести еще длинный ряд несостоятельных положений очерка,—например, о происхождении частной собственности, о государстве, о классах, но размер заметки не позволяет этого сделать. Достаточно и приведенного, чтобы считать книгу бесполезной для читателя и подчас вредной подделкой под марксистскую политическую экономию.

**И. Горшенин.**

# СООБЩЕНИЯ и ЗАМЕТКИ

## Общество воинствующих материалистов.

9 июня 1924 года состоялось общее собрание членов-учредителей „Общества воинствующих материалистов". На собрании присутствовали т.т. Г. К. Баммель, В. А. Ваганян, Б. И. Горев, А. М. Деборин, Н. А. Карев, С. С. Кривцов, В. И. Невский, И. Е. Орлов, Д. Б. Рязанов, В. К. Сережников, И. Н. Стуков, А. К. Тимирязев, А. Я. Троицкий и А. Д. Удальцов. Отсутствовавшие члены-учредители: Н. И. Бухарин и М. Н. Покровский передали ОВМ свое приветствие и обещание принимать активное участие в деятельности общества. Также отсутствовавший т. Л. Д. Троцкий прислал письменное приветствие, в котором, между прочим, писал:

„Вы намечаете три взаимно связанных задачи: пропаганду диалектического материализма, борьбу с идеализмом, борьбу с извращениями диалектического материализма. Думается, что эта последняя задача не менее важна, чем две первые—уже по тому одному, что в нашей стране, которою руководит материалистическая партия, идеализм действует преимущественно обходными путями, пытаясь софистицировать и фальсифицировать материалистическую диалектику.

„Общество воинствующих материалистов" не может не быть по разным радиусам связано со всеми отраслями научной деятельности. Материалистическая диалектика не мыслится нами вне человеческой практики, более узко, вне постоянного научного применения, вне живого исследования все нового и нового материала. В отличие от механических орудий материалистическая диалектика от применения на опыте не притупляется, а, наоборот, все более отгачивается".

Первое собрание целиком было посвящено выработке устава общества и выборам в его распорядительные органы. В результате обмена мнений устав ОВМ был принят в следующей редакции:

## УСТАВ

## ОБЩЕСТВА ВОИНСТВУЮЩИХ МАТЕРИАЛИСТОВ.

### I. Задачи общества.

1. Задачами ОВМ являются:
   а) научная разработка основ диалектического материализма;
   б) разработка диалектического метода в области естественных наук;
   в) исследовательская работа в области исторического материализма;



   г) научно-исследовательская разработка истории материализма и естественных наук;
   д) борьба с философским и естественно-научным идеализмом во всех его проявлениях;
   е) борьба с извращением и упрощением диалектического материализма.
   ж) активная пропаганда и популяризация диалектического материализма.

2. Для осуществления этих задач ОВМ:
   а) устраивает закрытые и открытые собрания для заслушания и обсуждения докладов членов общества;
   б) устраивает публичные лекции и диспуты с участием членов общества и приглашенных лиц;
   в) издает периодический орган, сборники под названием „Труды ОВМ", а также отдельные научные, оригинальные и переводные работы своих членов.

### II. Состав общества.

3. Членами ОВМ могут быть лица, стоящие на точке зрения диалектического материализма.
4. Зачисление в члены ОВМ производится общим собранием членов открытым голосованием простым большинством голосов.
5. Выбытие из членов ОВМ производится или по личному заявлению выбывающего, или по постановлению двух третей наличного числа членов общества по спискам.

### III. Средства общества.

6. Средства ОВМ составляются из:
   а) вступительных взносов в размере 1 руб.;
   б) ежегодных членских взносов в размере 5 руб., уплачиваемых в течение сентября—октября каждого года;
   в) доходов от устройства публичных лекций, докладов и т. п.;
   г) доходов от продажи изданий общества.

### IV. Распорядительные органы общества.

7. Все принципиальные вопросы, возникающие в жизни ОВМ и вытекающие из задач разрешаются на общих собраниях общества, которые считаются полномочными при наличии одной трети всех находящихся в Москве членов общества.

Примечание: Общие собрания происходят не реже одного раза в месяц.

8. Для руководства текущей, научно-исследовательской, редакционно-издательской, административной и хозяйственной работой ОВМ, открытым голосованием, простым большинством голосов избирает Президиум ОВМ в составе семи человек.
9. Из своего состава Президиум выделяет Редакционную Комиссию в составе 3 человек.
10. Для контролирования деятельности Президиума избирается Ревизионная Комиссия в составе 3 человек.

11. Президиум и Ревизионная Комиссия избираются сроком на 1 год.
12. Замещение выбывающих членов Президиума и Ревизионной Комиссии происходит согласно п.п. 7 и 8.
13. Местопребыванием указанных в п. 11-м распорядительных органов ОВМ является г. Москва.

Примечание: Район деятельности ОВМ определяется границами СССР, в городах которого могут быть организованы отделения общества.

14. Устав ОВМ может быть изменен общим собранием общества по предложению его членов большинством двух третей голосов.

## V. Порядок ликвидации ОВМ.

15. Общество воинствующих материалистов может быть закрыто: 1) по постановлению соответствующих органов власти, 2) по постановлению общего собрания членов ОВМ большинством двух третей голосов.
16. В случае закрытия ОВМ все имущество его передается в Институт К. Маркса и Фр. Энгельса при ЦИК СССР Комиссией, избранной для сего ликвидационным собранием ОВМ.

Произведенные на том же собрании выборы дали следующие результаты: в Президиум общества избраны т.т. Н. И. Бухарин, В. А. Ваганян, А. М. Деборин, И. К. Луппол, В. П. Невский, М. Н. Покровский и А. К. Тимирязев. Ревизионная комиссия образована в составе т.т. Степанова, И. П. Стукова и А. Я. Троицкого. Секретарем общества Президиум избрал т. И. Луппол.

Деятельность общества должна пойти, как это видно и из устава, по двум основным направлениям, которые выявят научную исследовательскую и актуально-пропагандистскую работу ОВМ: 1) устройство открытых собраний общества для заслушания научных докладов и сообщений, организация лекций, диспутов и т. п. и 2) издание печатных работ, соответствующих задачам и направлению общества.

В связи с летним затишьем следует ожидать, что деятельность ОВМ развернется лишь с осени. Ближайшее же время будет использовано для организационной и подготовительной работы.

В области издательской ОВМ предполагает выпускать оригинальные и переводные работы по актуальным вопросам и истории материализма, атеизма и естественных наук. В „атеистической серии“ предполагается к выпуску в ближайшие месяцы: „Завещание“ Ж. Мелье и „Разоблаченное христианство“ П. Гольбаха.

Для руководства редакционно-издательской работой Президиумом выделена специальная комиссия в составе т.т. Бухарина, Ваганяна, Деборина и Невского.

В ближайшее же время предполагается наладить тесную связь с научными организациями провинции, стоящими на материалистической точке зрения. Кроме того, следует ожидать основания в крупных провинциальных городах филиальных отделений ОВМ.

За всеми справками по делам ОВМ следует обращаться по адресу: Москва, Никольская ул., № 11, помещ. 4. Ежедневно от 12 до 2 ч. дня.

---



## Список книг, поступивших в редакцию для отзыва.

Издан. Моск. Комит. Р.К.П.—„Коммунист“ № 27 (март 1924 г.).

Изд. „Московский Рабочий“—Ф. П. Михалевский. „Начальный курс политической экономии“.
„Книгоноша“ № 12 (43)—22 марта 1924 г.
„Барабан“ № 4.

Изд. Госиздата. Меринг. История германской соц.-демократии.
„Книжная Летопись“ №№ 1, 2, 3 за 1924 г. и № 24 за 1923 г.
Проспект журналов Гиза.
Ярославский. Жизнь и работа В. И. Ленина.
Гражданский кодекс Р.С.Ф.С.Р.
Мещеряков. Соврем. кооперация.
Тун. История революционного движения в России.
Цыперович. За полярным кругом.
Платоныч. Бабий бунт.
Ленин. Новая экономическая политика.
Огнев. Яшка из кармашка.
Дж. Лондон. Бунт на „Эльсиноре“.
Семенов. Новый хозяин.
Бергстедт. Праздник Йоргена.
Мессио. Рациональная организация.
Лофер. Организация труда.
Коган. Пролог.
Князев. Современные частушки.
Джим Доллар. Месс Менд.
Никитин. Кулак.
Бруун. Счастливые дни Ван Цантена.
Овсянико-Куликовский. Собр. соч. IV: Пушкин.
Волков. Аграрно-экономическая статистика России.
Самойлов. Воспоминания об Ив.-Вознесенском движении.
Техника большевистского подполья, вв. I и II.
Смирнов. Очерк по аграрной статистике.
Барт. В мастерской германской революции.
Ходоровский. В. И. Ленин.
Керженцев. Принципы организации.
Чахотин. Организация, принципы и метод.
Смит. Основы статистической методологии.
Бюллетень № 1.
Шо. Назад к Мафусаилу.
Плеханов. Очерки по истории материализма.
Камерон. Собрание статей.
Нефедов. Сказка о заколдованном кладе.
Памяти борцам пролетарской революции.
„Советское право“ № 1.
К. Цеткин. Р. Люксембург и русская революция.
„Пролетарская революция“ № 1.
Владнева. Наташа Кривцова.
Бер. К. Маркс, его жизнь и учение.

**Издания „Красной Нови“:** Журналы: „Искра“.
„Коммунистическое Просвещение“.
„Коммунистический Интернационал“.
„Социалистическое Хозяйство“.
„Народное Просвещение“.

Шнеерсон. Опыт библиографии Маркса и Энгельса.
Каутский. Томас Мор.
Верди. Бесп. масса.
Каутский. Нет больше с.-д.
Укрепление кооперации.
Гарвуд. Обновленная земля.
Внешкольные экскурсии.

Издатель: Изд-ство „Красная Новь“. Отв. редактор: Редакционная коллегия.

Pod znamenem Marksizma

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

# ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

HOOVER WAR LIBRARY

№ 8–9
АВГУСТ — СЕНТЯБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — 1924